А. С. ГРИН

6

А. С. ГРИН

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. С. ГРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 6

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Вл. Росселъса

Составление
В. Ковского, Вл. Росселъса,
Е. Прохорова

Иллюстрации художника
С. Бродского

© Издательство «Правда», 1980
(Составление. Примечания.)

ДОРОГА НИКУДА

Роман

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

Лет двадцать назад в Покете существовал небольшой ресторан, такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там десять столиков, могущих единовременно питать человек тридцать, но даже половины сего числа никогда не сидело за ними. Между тем помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор, посуда мылась и вытиралась тщательно, ножи и ложки никогда не пахли салом, кушанья, приготовляемые из отличной провизии, по количеству и цене должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. Четыре картины в золоченых рамах являли по голубым обоям четыре времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся, с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» — хижину среди снежных сугробов. «Осень» озадачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая — «Зима» — могла заставить нервного человека задуматься над отношением действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся по́том в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времен года, под каждой картиной стояла надпись, сделанная черными накленными буквами, внизу рам.

Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери, со стороны улицы, висело меню — обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз пять протирал очки, если носил их, если же не носил очков,— его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол.

Вот это меню в день начала событий:

Ресторан
«Отвращение»

1. *Суп несъедобный, пересоленный.*
2. *Консоме «Дрянь».*
3. *Бульон «Ужас».*
4. *Камбала «Горе».*
5. *Морской окунь с туберкулезом.*
6. *Ростбиф жесткий, без масла.*
7. *Котлеты из вчерашних остатков.*
8. *Яблочный пудинг, прогоркший.*
9. *Пирожное «Уберите!».*
10. *Крем сливочный, скисший.*
11. *Тартинки с гвоздями.*

Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст:

«К услугам посетителей неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость».

Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузен, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно.

Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опустив глаза.

Повар сидел на кухне, и ему было смешно.

Из толпы выделился молчаливый человек с густыми бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей.

— К сожалению,— сказал Кишлот,— мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок.

— Старый дурак! — сказал человек и ушел.

До вечера никого не было. В шесть часов явились члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял; Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину:

— Итак, это только реклама?

— Да,— ответил Кишлот.— Мой расчет основан на приятном после неприятного.

Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк; он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил.

— Это что? Шутка? — с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость.

— Как хотите,— сказал Кишлот.— Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства.

— Нехорошо,— сказал толстяк.

— Но...

— Нет, нет, пожалуйста! Это крайне скверно, возмутительно!

— В таком случае...

— Очень, очень нехорошо,— повторил толстяк и вышел.

В девять часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет.

— Малодушный! — сказал ему Кишлот.

Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу, Тиррея Давенанта, который искал работу. Переговорив с Давенантом, Кишлот заполучил преданного слугу. Хозяин импонировал мальчику. Тиррей восхищался дерзаниями Кишлота. При малом числе посетителей служить в «Отвращении» было нетрудно. Давенант часами сидел за книгой, а Кишлот размышлял, чем привлечь публику.

Повар пил кофе, находил, что все к лучшему, и играл в шашки с кузиной.

Впрочем, у Кишлота был один постоянный клиент. Он, раз зайдя, приходил теперь почти каждый день,— Орт Галеран, человек сорока лет, прямой, сухой, крупно шагающий, с внушительной тростью из черного дерева. Темные баки на его остром лице спускались от вис-

ков к подбородку. Высокий лоб, изогнутые губы, длинный, как повисший флаг, нос и черные презрительные глаза под тонкими бровями обращали внимание женщин. Галераи носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а шею повязывал желтым платком. Состояние его платья, всегда тщательно вычищенного, указывало, что он небогат. Уже три дня Галеран приходил с книгой,— при этом курил трубку, табак для которой варил сам, мешая его со сливами и шалфеем. Давенанту нравился Галеран. Заметив любовь мальчика к чтению, Галеран иногда приносил ему книги.

В разговорах с Кишлотом Галеран безжалостно критиковал его манеру рекламы.

— Ваш расчет,— сказал он однажды,— неверен, потому что люди глупо доверчивы. Низкий, даже средний ум, читая ваше меню под сенью вывески «Отвращение», в глубине души верит тому, что́ вы объявляете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек просто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело, если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы то нормальное число посетителей, какое полагается для такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить. Вся реклама мира основана на трех принципах: «хорошо, много и даром». Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Были ли у вас какие-нибудь иные опыты?

— Десять лет я пытаюсь разбогатеть,— ответил Кишлот.— Нельзя сказать, чтобы я придумывал плохо. Мне не везет. В моих планах чего-то не хватает.

— Не хватает Кишлотов,— смеясь, сказал Галеран.— Драгоценный фантазер, будь в городе только две тысячи Кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и приказывали жестом руки. Расскажите, в чем вам не повезло.

Кишлот махнул рукой и перечислил свои походы на общественный кошелек.

— Я держал,— сказал он,— булочную, кофейную и зеркальный магазин. Магазин имел вывеску: «Все красивы»,— а в объявлении на окне говорилось, что из десяти женщин, купивших у меня зеркало, девять немед-

ленно находят себе мужа. Вот вам пример рекламы вашего типа! Дело не пошло. Торгуя булками, я объявил, что запекаю в каждую тысячную булку золотую монету. Была давка у дверей по утрам, но произошло так, что в конце недели одна монета оказалась фальшивой, и я познакомился со следственными властями. Кафе «Ручеек» было устроено, как настоящий ручеек: среди цветов, по жестяному руслу текло горячее кофе с сахаром и молоком. Каждый зачерпывал сам. Но все думали, что поутру в это русло сметают пыль. Теперь — «Отвращение». Я рассчитывал, что город взбесится от интереса, а между тем моя торговля вводит меня в убыток.

— Вполне понятно,— сказал Галеран.— Я уже изложил вам свое мнение на этот счет. Тиррей, принеси мне еще стакан кофе.

Давенант принес кофе и увидел, что у ресторана «Отвращение» остановился щегольской экипаж, управляемый кучером, усеянным блестящими пуговицами. Из экипажа вышли две девушки в сопровождении остроносой и остроглазой дамы, имевшей растерянный вид. Кишлот подбежал к двери, отвесив низкий поклон. Галеран задумчиво наблюдал эту сцену, а Давенант смутился, увидев девушек, несомненно принадлежащих к обществу, красивых и смеющихся, одетых в белые костюмы, белые шляпы, белые чулки и туфли, под зонтиками вишневого цвета. Одну из них еще рано было называть девушкой, так как ей было двенадцать лет, вторая же, семнадцатилетняя, никак не могла быть кем-нибудь иным, как девушкой.

Их спутница вскричала:

— Роэна! Элли! Я решительно протестую! Посмотрите на вывеску! Я запрещаю входить сюда.

— Но мы уже вошли,— сказала девочка, которую звали Элли.— На вывеске стоит «Отвращение». Я хочу самого отвратительного!

Пока она говорила, Роэна пожала плечами и, гордо подняв голову, переступила запретный порог.

— Надеюсь, вы не будете применять силу? — спросила она пожилую даму.

— Я запрещаю! — беспомощно повторила гувернантка, тащась за девушками.

Сметливый Кишлот обратился к Элли:

— Если маленькая барышня хочет, чтобы их старшая сестрица пожаловали, она должна ей сказать, что «Отвращение» только для виду, а кушать здесь одно удовольствие.

Гувернантка Урания Тальберг, изумленная словами Кишлота, но ими же и смягченная, так как ей польстило быть хотя на один миг сестрой хорошеньких девушек, возразила:

— Вы ошибаетесь, любезный, так как я наставница этих своевольных детей. Надеюсь, вы не заставите нас приглашать доктора после вашей стряпни?

— Если он и будет приглашен вами,— воскликнул Кишлот,— то лишь затем, чтобы провозгласить чудесный цвет лица трех леди, а также их бесподобный пульс.

— Ну, посмотрим,— снисходительно отозвалась Урания, присаживаясь к столу, где уже сидели Элли и Роэна. Они осматривались, а Давенант смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. Такие создания не могли есть из обыкновенных тарелок, но в ресторане не было золотых блюд.

На его выручку Кишлот бросился подавать сам, мечтая уже, что ресторан «Отвращение» стал модным местом, куда стекаются кареты и автомобили.

— Вот, мы сели,— сказала Урания.— Что же дальше?

— Что это значит? — спросила Роэна, строго указывая на меню, где значилось: «Тартинки с гвоздями».

— Тартинки с гвоздями,— объяснил Кишлот,— это такие тартинки, в которых нет ничего, кроме хлеба, масла, ветчины, икры или варенья. А относительно гвоздей написано для тех, кто — как бы сказать? — любопытен...

— Вроде нас,— перебила Элли.— Действительно, мы любопытны, но нам нисколько не стыдно!

— Элли! — застонала Урания.

— Многоуважаемая Урания Тальберг,— ответила непокорная девочка,— папа сказал, что сегодня мы можем делать решительно все, что хотим. Глупо было бы, если бы мы не воспользовались... Хозяин!

— Я здесь, барышня.

— Свариваются ли гвозди в желудке? И какой они толщины?

— Хозяин шутит,— решил вставить Давенант, чувствовавший себя так хорошо и неловко, что не знал, как приступить к своим обязанностям.

— Но мы тоже шутим,— ответила Элли, внимательно смотря на него.— Нам весело. Значит, ничего т а к о г о не будет? Очень жаль. В таком случае принесите мне молока.

— Чашку молока! — повторили Давенант и Кишлот.

— Чашку кофе и печенье,— заявила Роэна.

— Печенье! кофе! молоко! — закричал Давенант и, бросившись на кухню, чуть не сшиб хозяина, предоставив ему допытываться, не пожелает ли чего-нибудь гувернантка. Он вскочил на кухню и стал трястись от нетерпения над головой повара, который, торопясь, пролил кофе и расплескал молоко. Пока Давенант добывал эту пищу для фей, Кишлот принес сахар, печенье, салфетки и, удостоившись от Урании Тальберг приказания подать стакан холодной воды, явился с ним из-за стойки гордо и строго, дунув на стакан неизвестно зачем и каждому движению придав характер события. Все это очень забавляло девушек, вызывая свет смеха в их лицах и терзая гувернантку, стремившуюся поскорее оставить «вертеп».

Давенант вбежал, таща поднос с кофе и молоком. Заботливо расставил он чашки, опасаясь задеть необыкновенные существа, около которых метался так близко. Он отошел к буфету и стал жадно смотреть.

— Рой,— неосторожно сказала Элли сестре, подмигивая в сторону Галерана, сидевшего неподалеку от девушек,— вот там один из отравившихся пищей дома сего.

— Отравился и умер, и похоронили его,— громко подхватил засмеявшийся Галеран.

— Ах! — вздрогнула гувернантка.

— Элли! — зашипела Роэна.

Девочка, услышав голос осмеянного незнакомца, увела голову в плечи, глаза ее стали круглы и неподвижны. Вцепившись руками в чашку, чтобы не завизжать от хохота, она стиснула колени, скрючив пальцы ног, и, вспотев, пересилила себя.

— Уф-ф! Уф-ф! — едва слышно отдышалась Элли сквозь зубы.

Урания побледнела.

— Довольно! — заявила она, дрожа от негодования.— Какой стыд!

— Извините,— гордо обратилась Роэна к Галерану.— Моя сестра очень несдержанна.

— Эх ты! — горестно прошептала Элли.

— Я рад видеть детей Футроза,— добродушно ответил Галеран.— Я страшно рад, что вам весело. Мне самому стало весело.

— Как, вы нас знаете?! — вскричала Элли.

— Да, я знаю, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет: Орт Галеран.

Он встал, поклонясь так непринужденно, хотя сдержанно, что даже чопорная Урания вынуждена была ответить на его приветствие движением головы. Девушки сидели молча. Элли ущипнула себя за руку, а Роэна заинтересованно взглянула на человека, чье простое обращение подчеркнуло, а затем обратило в шутку неловкость девочки.

Давенант с завистью слушал внезапный разговор, печально думая, что он никогда не смог бы подражать Галерану. Каково было его изумление, смятение и восторг, когда Галеран, видя, что посетительницы собираются уходить, обратился к девушкам так неожиданно, что Урания онемела.

— Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там, у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Давенант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностное усилие с его стороны могло бы дать Давенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе.

— Что вы сказали? — крикнул Давенант.— Разве я вас просил?

Кишлот испуганно замахал руками, морщась и качая головой, даже указал пальцем на лоб.

Но было уже поздно. Давенант попал в свет общего внимания, и Элли, страшно довольная скандализованностью гувернантки, смело улыбнулась мальчику, тотчас шепнув сестре:

— Будем, как Аль-Рашид. Почему бы не так?

— Тиррей прав,— согласился, нимало не смущаясь, Галеран,— он меня ни о чем не просил. Эта мысль при-

шла мне в голову самостоятельно. Я думаю, что после такого моего выступления ваши впечатления приобретут цельность. В самом деле: странное кафе, странные посетители,— странность на странность дает иногда нечто естественное. А что может быть естественнее случайности? И я подумал: дурного ничего нет в моих словах, случай же налицо. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо...

— Однако...— нашла наконец силу и дыхание заговорить гувернантка,— я неприятно удивлена. О боже! Какой ужасный день. Роэна! Элли! Нам с о в е р ш е н н о пора идти.

Бессвязно проклокотав шепотом о неприлични сидеть долее за ужасным столом хотя бы еще одну ужасную минуту ужасного дня, Урания Тальберг, встав, строго посмотрела на бессознательно подошедшего Давенанта. Она вновь уселась, найдя совершенно некстати, что этот диковатый юноша с длинными руками довольно мил. Откровенное лицо Давенанта предстало нервной даме во всей беззащитности охвативших его надежд. Искренние серые глаза при полудетской линии рта и правильных чертах были его заступниками. В его привлекательности отсутствовала примитивность подростка: сложный характер и сильные чувства подмечались наблюдательным взглядом, но девушки видели, не разбираясь во всем этом, просто понравившегося им мальчика с встревоженным лицом и красивыми глазами, темноволосого и печального.

— Чего же вы хотите? — сказала Урания Галерану.— Я, право, не знаю... Это так неожиданно. Роэна! Элли!

Сконфуженный Давенант с тяжелым сердцем ожидал разрешения сцены, возникшей по мысли Галерана, которого он теперь проклинал. Всех выручил природный такт Элли, решившей, что шутливый тон будет уместнее всякой торжественности.

— Обожаю неожиданности! — сказала она.— Рой тоже любит неожиданности. Ведь правда, дорогая сестрица? Итак, мы решили в сердце своем: мы — «случайности». А вы — вы почему молчите? Ведь все это о вас!

Давенант, запинаясь, сказал:

— Заговорил не я. Сказал Галеран, чего я ему никогда не прощу.

— Но он угадал? — осведомилась Роэна тоном взрослой дамы.

Давенант ответил не сразу. Он сильно покраснел, выразив беглым движением лица нестерпимое желание удачи.

— Да. Если бы...

То была вырвавшаяся просьба о судьбе и пощаде. Волнение помешало ему сказать еще что-нибудь. Однако сочувственное любопытство девушек уже было на его стороне. Перемигнувшись, они подошли к Давенанту, говоря одна за другой:

— Вы, конечно, понимаете...

— Что ваш друг...

— Что в кафе «Отвращение»...

— С кушаньем «Неожиданность»...

— Произошло движение сердца...

— Мы клянемся вашей галереей: зимним летом и осенней весной...

— Постой, Рой!

— Не перебивай, Элли!

— Я не перебиваю. Мы сегодня делаем, что хотим. Тампико сделает все.

— Сделает все, что мы пожелаем! — воскликнула Элли, сердито смотря на Уранию, стоявшую уже у двери и саркастически поджавшую губы.— Придите завтра к нам. Хорошо? А мы сами скажем отцу. Вы уж с ним самим и поговорите. Якорная улица, дом 9 — это наш дом. Не раньше одиннадцати. Прощайте! — Элли неожиданно подбежала к Галерану, покраснела, но решилась и закончила: — Какой вы чудесный человек! Вы сказали просто, так просто... И так всегда надо говорить. Впрочем, я вам напишу, сейчас я думаю много и бестолково. Куда писать? Сюда? В «Отвращение»? Кому? Неожиданности?

— Элли! — воззвала Урания со стоном и хрипом.

Девочка кивнула ей. Стихнув, она присоединилась к сестре.

Кишлот тяжко вздохнул, почесывая бровь. Галеран загадочно улыбался.

Давенант двинулся к двери, затем оглянулся на хозяина и попятился.

Стало тихо в кафе. Живые голоса смолкли. Выбежав на блеск улицы, девушки раскрыли зонтики и, безмерно гордые своим приключением, уселись на сиденье коляски.

Вожжи поднялись, натянулись, и пунцовые цветы с белыми листьями умчались в ливень света, среди серых грив и беглых лучей. Еще раз в стекле двери блеснул красный оттенок, а затем по пустой улице проехал в обратную сторону огромный фургон, нагруженный ящиками, из которых торчала солома.

ГЛАВА II

Урбан Футроз так любил своих дочерей, что не отказывал им ни в чем; в награду за это ему никогда не приходилось раскаиваться в безмерной уступчивости любым просьбам избалованных девушек. Футроз родился бездельником, хотя его состояние, ум и связи легко могли дать этому здоровому, далеко не вялому человеку положение выдающееся. Однако Футроз не имел естественной склонности ни к какой профессии, и всякая деятельность, от науки до фабрикации мыла, равно представлялась ему не стоящей внимания в сравнении с тем, единственно важным, что — странно сказать — было для него призванием: Футроз безумно любил чтение. Книга заменяла ему друзей, путешествие, работу, спорт, флирт и азарт. Иногда он посещал клуб или юбилейные обеды своих сверстников, выдвинувшихся на каком-либо поприще, но, затворясь в библиотеке, с книгой на коленях, сигарами и вином на столике у покойного кресла, Футроз жил так, как единственно мог и хотел жить: в судьбах, очерченных мыслями и пером авторов.

Его жена, Флавия Футроз, бывшая резкой противоположностью созерцательного супруга, после многолетних попыток вызвать в Футрозе брожение самолюбия, треск тщеславия или хотя бы стыд нормального мужчины, добровольно остающегося ничтожеством, развелась с ним на четвертом году после рождения второй дочери, став женой военного инженера Галля. Она иногда переписывалась с Футрозом и дочерьми, сумев придать новым отношениям приличный тон, но не удержав сердца детей. Девочки еще больше полюбили отца, а когда ему удалось вполне понятно для юных голов дока-

зать им неизбежность такой развязки, не осуждая жену, даже оправдывая ее,— всех трех соединил знак равенства. Девочки открыли, что отец чем-то похож на них, и приютили его в сердце своем. Там занял он уютное, вечное место — наполовину сверстник, наполовину отец.

К такому-то человеку, представляя его сделанным из железа и золота, должен был явиться Тиррей Давенант. Когда девушки уезжали, он еще некоторое время смотрел на дверь даже после того, как стало пусто на мостовой. и опомнился лишь, когда увидел фургон с ящиками.

Вздохнув, Кишлот скептически поджал нижнюю губу, занявшись уборкой посуды, которую Давенант охотно оставил бы немытой, чтобы красовалась она в хрустальном ящике во веки веков.

— Однако вы смелый оригинал,— сказал Кишлот Галерану.—Репутация моего кафе укрепится теперь в светских кругах. Не так, так этак. Не тартинки с гвоздями, так рекомендательная контора.

— Вы не правы именно потому, что правы буквально,— возразил Галеран, набивая трубку.—Но вы не поймете меня.

— Что говорить: я, разумеется, бестолков,— отозвался Кишлот,— а вы человек ученый. Действительно вы знаете их отца?

— Да. Прежний садовник Футроза был мой приятель. Тиррей, не рассердился ли ты?

— Вначале я рассердился,— ответил Давенант, вспыхнув.— Я испугался.

— Чего?

— Не знаю.

— Хорошо. А затем?

— Рад был, конечно, что там говорить! — крикнул Кишлот.— Прожить жизнь слугой тоже несладко, это уж так. Ветрогонки-то забудут сказать отцу.

— Скорей я не был рад,— пояснил Давенант, обращаясь к Галерану.—Но вдруг стало приятно дышать. И больно. Они не ветрогонки,— задумчиво продолжал он, бессознательно удерживая блюдечко Элли, которое Кишлот так же машинально тянул у него из рук.— О! я очень хотел бы всего такого! — вскричал Давенант. Отдав блюдечко, он встрепенулся и смахнул крошки.— Как вы думаете, что теперь может быть?

— Об этом рано говорить,— сказал Галеран.— Зав-

тра увидимся, ты мне расскажешь, как ты ходил туда и что там произошло. Я должен идти.

— Почему вы так добры ко мне?

— На такие вопросы я не отвечаю. Сам не могу устроить твою судьбу, а случай был соблазнителен.

Галеран ушел, и Давенант вскоре после того опять начал обслуживать посетителей или отваживать любопытных, заходящих подпустить колкость, чтобы затем выйти, пожимая плечами. Когда Кишлот запер кафе было уже девять часов вечера. Подметая залу, мальчик увидел забытую Галераном книгу и взял ее к себе, в свою каморку за кухней. Ввиду важности ожидающего Давенанта события — идти завтра к Урбану Футрозу — Кишлот разрешил юноше отсутствовать три часа — от десяти утра до часу дня — и надавал ему столько советов, как держаться, говорить, войти, уйти и так далее, что Давенант просто ему не поверил. Кишлот нарисовал двойной образец — унижения и дерзкого вызова, сам не замечая, что перепутал принципы кафе «Отвращение» с приемами слезливых нищих. Давенант был рад, когда отделался от него. Не скоро он заснул, то начиная читать в книге о дьявольском игроке Мофи, который видел в зрачках противника отражение его карт, то продолжая носить стаканы с молоком на заветный стол, где сидели дети Футроза. Из них двух стало четыре, а потом больше, и он был в плену этих прекрасных лиц, милостиво дозволяющих ему слушать свою болтовню. Сон пожалел его наконец. Давенант спал, видя во сне замки и облака, и, встав утром, начал волноваться, едва протерши глаза.

У него был старенький синий костюм, купленный за гроши на деньги первого жалованья, и соломенная шляпа с порыжевшей лентой.

Он подровнял ножницами бахрому воротничка, начистил, как медь, башмаки и, поскорее хлебнув кофе, сумрачно выслушал последние наставления Кишлота, желавшего, чтобы Давенант, как бы случайно, сказал Футрозу, что «Отвращение» есть, в сущности, «Приятное разочарование» — небезынтересное для любознательных джентльменов, изучающих нравы города.

Давенант страшно жалел, что нет Галерана, который являлся не раньше полудня,— видеть этого человека теперь было для него равно дружескому напутствию.

Еще ничего не случилось, но кафе «Отвращение» с его посвистывающими стенными часами и полом, бывшим ниже улицы на три ступени, уже томило Давенанта, как скучное воспоминание. Повар начал допытываться, куда это идет слуга, одевшись, как в праздник, вместо полотняной куртки и тикового передника. Давенант скрыл от него истину, так как повар имел насмешливый ум. Он объяснил, что Кишлот будто бы дал ему поручение. Усомнясь, повар раздраженно передвинул кастрюлю и сказал:

— Тоже... с секретами.

Как ни подталкивал Давенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу: протереть окна, развесить бумажки для мух, написать меню, и лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили десять. Меж тем его жажда событий теряла свою ревнивую чистоту от разных замечаний Кишлота: «Хотя ты и нацепил галстук, однако поворачивайся проворнее», или: «Где твои глаза? Не упали ли они в молоко для девочек?..» Случайно его не было за стойкой, когда Давенант складывал ножи и вилки на обычное место буфета. Схватив шляпу, юноша отправился быстрым шагом и начал бродить по городу, медленно и неуклонно приближаясь к Якорной улице. Не было еще одиннадцати часов, но он уже разыскал дом Футроза — старинное здание из серого камня, с большими окнами и входом посредине фасада. Набравшись решимости, Давенант приблизился к огромной двери. На его робкий звонок явилась строгая пожилая горничная, с чем-то таким в лице, что делало ее частью этой волнующей Давенанта семьи. Неловко прошел он за горничной в гостиную. Пытаясь объяснить причину своего посещения, Давенант сказал:

— Вчера мне назначили... Какое-то дело...

Но горничная перебила его:

— Я уже знаю это, вас ждут. Садитесь и обождите. Я передам.

Давенант уселся на стул. Прежде всего он начал вслушиваться, не звучит ли где-нибудь женский смех. Ничего такого не слыша, предоставленный самому себе, он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия: гостиная была заманчива, как рисунок к

сказке. Ее стены, обтянутые желто-красным шелком турецкого узора, мозаики и небольшие картины развлекали самое натянутое внимание. Ковер цвета настурций, с фигурами прыгающих золотых кошек, люстра зеленого хрусталя, подвешенная к центру лепной розетки цвета старого золота, бархатные портьеры, мебель красного дерева, обитая розовым тисненым атласом, так сильно понравились Давенанту, что его робость исчезла. Обстановка согрела и оживила его. Великолепные растения с блестящими тяжелыми листьями стояли в фаянсовых вазах против трех больших окон. Рисунок ваз изображал летучих мышей над сумеречными холмами. Стеклянная дверь, ведущая на террасу, была раскрыта; за ней блестели небо и сад. Маятник каминных часов мерно касался невидимой однотонной струны низкого тембра.

Давенант засмотрелся на отрадную пестроту гостиной, не слыша, как вошел Футроз. Он вскочил, лишь когда увидел владельца дома перед собой. Но не колоссальный денежный туз с замораживающими роговыми очками стоял перед ним, а человек весьма успокоительной наружности — невысокий, худой; его черные волосы спускались бакенами до средины щек, придавая одутловатому бритому лицу с большим ртом и желтым оттенком кожи характерную остроту. Улыбка Футроза открывала перламутровой чистоты зубы; при этом на его щеках появлялись заразительно веселые ямочки, родственные ямочкам Элли. В его черных глазах мелькала искра иронии. Когда Футроз говорил, эта искра разгоралась и освещала все лицо, отчего взгляд менялся, становясь добродушно-серьезным. Отрывистый голос заканчивал этот облик, за исключением не упомянутого нами серого костюма и манеры дергать иногда левой рукой пуговицу жилета.

Усадив Давенанта против себя, Футроз сказал:

— Посмотрим, нельзя ли сделать для вас что-либо полезное. Девочки мне все рассказали, и я готов поддержать их желание устроить вашу судьбу. Вы не стесняйтесь меня. Ваш хозяин, как я слышал,— занятный оригинал. Расскажите мне о своей жизни!

Его простая манера выказывала несомненное расположение, и Давенант избавился от беспокойства, навеянного советами Кишлота. Но только он начал говорить,

как в гостиную вошло существо о двух головах: Роэна обнимала сестру сзади, установясь подбородком в волосы Элли. Заметив Давенанта, девушки остановились и, задумчиво кивая ему, вышли, пятясь, в том же нераздельном положении тесного объятия. Дверь прикрылась. За ней раздались возня и откровенный взрыв хохота.

Встретив и проводив дочерей укоризненным взглядом, Футроз сказал просиявшему Давенанту:

— Вы начали говорить. Выкладывайте свою биографию, после чего займемся обсуждением наших возможностей.

— Видите ли,— сказал Давенант, невольно посматривая на дверь,— самое интересное для меня то, что мой отец исчез без вести одиннадцать лет назад. Так и осталось неизвестным, куда он девался,— жив он или умер. Мне было тогда пять лет, и я помню, как моя мать плакала. Он вышел вечером, сказав, что направляется к одному клиенту — получить долг. Больше его никто не видел, и никто никогда не мог узнать о его участи, несмотря на всякие справки.

— Следовательно,— заметил Футроз, после приличествующего молчания,— ваш отец не заходил к клиенту, иначе был бы некоторый материал для решения таинственного вопроса.

— Да! И еще более, тот человек отсутствовал,— он уезжал в Сан-Риоль. Никак не мог он быть у него.

— Действительно!

— Когда я вырос,— продолжал Давенант, вздохнув,— многое мне приходило на ум. Я старался понять и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз что-то похожее на мои мысли представилось мне, очень странное.

— Мне интересно знать, рассказывайте.

— Это было так: я чистил башмаки, кто-то прошел за окном, и я вспомнил отца. Мне представился ночной дождь, ветер, а отец, будто бы размышляя, как достать денег, задумался и очутился в гавани — далеко, около нефтяных цистерн. Он стоял, смотрел на огни, на воду, и вдруг все огни погасли. Почему погасли? Неизвестно: так я подумал. Стало тихо. Дунет ветер, плеснет вода... И он услышал, знаете... стук барабана: солдаты вышли из переулка и прошли мимо него: «Раз-два... раз-два...»,—

а впереди шел барабанщик с темным лицом. Барабан гремел в ночной тьме, но нигде не было огней. Все спали или притаились... Конечно, дико! Я знаю! — вскричал Давенант, торопясь досказать.— Но барабан был. Вдруг мой отец очнулся. Он пошел прочь и видит — это не та улица. Идет дальше — это не тот город, а какой-то другой. Он испугался, а потом заболел и умер... В больнице, должно быть,— прибавил Давенант, с облегчением видя, что Футроз слушает его без насмешки.— Но он жив... Я иногда чувствую это. Большей частью я знаю, что он умер.

Сведя так удачно воображение с здравым смыслом, Давенант умолк.

Футроз спросил:

— Как это у вас получилось?

— Не знаю. Но стало представляться одно за другим. Я сам удивлялся.

— Вы фантазер,— заметил Футроз, задумчиво рассматривая Давенанта.— Одиннадцать лет — большой срок. Оставим это пока.

Давенант рассказал свою жизнь, но умолчал о том, что его отец адвокат Франк Давенант был горький пьяница и несчастливый игрок; сын стыдился говорить худо об отце, которого едва помнил. Болезненная мать Давенанта шесть лет билась с нуждой, брошенная родственниками на произвол судьбы, в отместку за то, что пренебрегла выгодной партией ради бедного юриста. Ей так и не удалось узнать, как кончает она свои дни: покинутой женщиной или вдовой. Не умевшая раньше ничего делать, Корнелия Давенант выучилась вязать чулки, мастерить шляпы, клеить рамки и коробки из раковин, иногда торговала цветами. Жизнь она провела в бедности, умерла в нищете, а Тиррея на одиннадцатом году его жизни взял к себе парусный мастер Кид, бездетный сосед Корнелии. К тому времени, как Тиррей окончил городскую школу, Кид и его жена уехали в Лисс, где мастер получил место начальника мастерской у крупного судовладельца. Давенанта Кид оставил в Покете, так как немолодая жена его неожиданно сделалась матерью, и чужой, да еще взрослый ребенок начал ей мешать. Уезжая, Киды отдали Тиррея работать харчевнику, имевшему несколько развозных тележек с горячей пищей, а затем Давенант был уступлен своим хозяином Кишлоту.

Футроз, выслушав, проникся сочувствием к юноше, ожидающему решения влиятельного человека с достоинством и застенчивостью младшего, но не ищущего.

— Вчера в вашем «Отвращении» был некто Галеран,— начал Футроз.— В сущности, это он натравил девочек на вас. Кто такой Галеран?

— Видите ли,— ответил, все еще посматривая на дверь, Давенант,— это человек очень хороший, и он часто по-дружески разговаривает со мной, однако ничего мне о нем неизвестно. Не знает этого даже Кишлот. Галеран приносит мне книги. Вообще он мне нравится.

— Разумеется, это вполне объясняет Галерана. Оставим его. Так чем привлекает вас жизнь? Что хотели бы вы ей дать и, само собой, также взять от нее?

— Я взял бы от нее все, да, как говорится,— руки коротки. Но... ведь вы знаете больше, чем я.

— А потому должен знать, чего вы хотите!!! Ну, нет, дудки, молодой человек! Подумайте и скажите.

— В таком случае я сознаюсь вам, что меня привлекают путешествия. Я хочу больших путешествий, связанных с каким-нибудь увлекательным делом. Но что я говорю! — воскликнул Давенант.— Верно: это мое заветное желание, и оно неисполнимо, но вы хотели, чтобы я говорил откровенно.

— Послушайте, милый мой,— сказал Футроз, прозревая в собеседнике пылкое сердце и горячую голову,— только то и хорошо, что вы откровенный. Вот на чем окончим мы нашу беседу: вы возвратитесь к Кишлоту, а к нам будете приходить по воскресеньям. Кроме того, вы явитесь для делового разговора послезавтра, в те же часы.

— Что вы надумали для меня? — спросил Давенант с высоты облаков, куда загнал его твердый, теплый тон Футроза.

— Законный вопрос. Так вот: у меня есть знакомый в Географическом институте. Несколько экспедиций намечено в этом году,— экспедиций небезопасных и долгих. Вам найдется там вспомогательная работа.

— Это верно! — воскликнул Давенант.— Я буду переносить инструменты или разбивать палатки. Однако,— добавил он великодушно,— я очень прошу вас: если вы встретите затруднения,— не хлопочите тогда.

— Ах так?! Хорошо.

— Но это не в таком смысле, что...— запутался опешивший Давенант,— а в другом... Мне совестно.

— Хорошо,— Футроз задумался, быстро проворчав сам себе: — «Отдам его Старкеру. Пусть пишет под диктовку дневник».

— Как вы сказали? — не расслышал Давенант, думая, что Футроз спрашивает его.

— Я сказал,— шутливо оборвал Футроз деловой разговор,— что я возьму вас пинцетом за крылышки и пущу бегать по глобусу.

Чувствуя серьезность обещания, Давенант глубоко вздохнул, а Футроз позвонил и велел горничной передать девушкам, что он хочет их видеть.

— Вы будете нас посещать,— сказал он Давенанту, хлопая его по плечу,— и вам надо их старательно разглядеть, чтобы потом знать, с какой стороны получите удар. Это — хорошие, но очень коварные дети.

Девушки вошли и чинно кивнули смутившемуся Тиррею.

— Серьезный разговор кончен,— сказал им отец,— а теперь Давенант — наш гость. Боюсь, что он деликатнее вас, а потому не сумеет вас осадить. Помните, что он беззащитен, и не пугайте его. Мы его понемногу перевернем. Роэна, я могу быть спокоен?

— О да, папа! — грустно сказала Рой, опуская глаза.— Ты можешь быть совершенно спокоен. Так спокоен, как тихая вода горных озер.

— Как энциклопедия на древнеегипетском языке,— успокоила отца Элли, печально гладя рукав.

Футроз с сомнением взглянул на них и вышел.

Язвительницы немедленно подошли к Давенанту и сели против него.

Элли томно сказала:

—.Какая чудесная погода!

— О да! — ласково улыбнулась Рой краснеющему Давенанту.— Но, кажется, барометр падает. Скажите, пожалуйста, какого типа автомобили вам нравятся?

— Вы любите музыку? — спросила Элли, кусая губы.— Какой ваш любимый композитор?

Продолжая дурачиться, они заметили, что Давенант удручен, и рассмеялись.

— Вы на нас не сердитесь,— сказала Рой.— Сегод-

ня мы почему-то никак не можем остановиться. Нравится вам у нас?

— Да,— сказал Давенант,— вы угадали.

— А мы? — нагло спросила Элли, подскакивая на стуле.

— Мы постараемся вам понравиться,— скромно пообещала Роэна.— Вы будете приходить часто. Хорошо?

— Очень хорошо,— ответил Давенант,— это лучше всего.— Подумав, он добавил: — Я, может быть, кажусь вам очень серьезным, но это обманчиво. Так я не очень серьезен.

— Я вижу, что у нас найдется общая почва,— Элли подмигнула сестре.— Я тебе говорила.

— Что говорила?

Они обменялись таинственными знаками и несколько успокоились.

— Хотите, мы вам сыграем? — предложила Элли.

— Конечно! — вскричал Давенант. Улыбка не покидала его.

Возник спор, кому первой играть. Кончился он тем, что Роэна села к роялю, а Элли встала с ней рядом — переворачивать листы нот.

— Слушайте «Вальс изгнанника»,— говорила Роэна в то время, как ее еще не сильные пальцы нажимали клавиатуру.— Я основательно не усвоила его пока. Это место путается дней пять. Но ты, Роэна, упорное существо... Слышите, как соврала? И вот, теперь изгнанник возвращается к домашнему очагу.

— Он стоит у окна темный, как негр в полночь, а там,— Элли закатила глаза,— его дочь, в цветах и бриллиантах, приехала из церкви... Сказать ли? С довольно недурным субъектом.

— И...— подхватила Рой, приказывая взглядом перевернуть лист.— Элли, зачем дергаешь ноты?.. и изгнанник, не желая мешать счастью дочери, целует оконное стекло. Все кончено. Он вернулся в свой дикий лес.

Давенант слышал не вальс, а небесный хор. Руки Роэны, вытягиваясь при сильных аккордах, как бы отталкивали рояль, или, мягко опустив локти, она склонялась над клавишами, быстро перебирая их, разгоревшаяся, охваченная светом мелодии.

С нее Давенант перевел взгляд на Элли. Девочка рассеянно улыбалась ему, тихо подпевая игре сестры. Теперь они были очень похожи.

Роэна окончила звуками, напоминающими медленный бой часов, и встала.

— Вот и все,— сказала она.— Хотите еще?

Давенант не успел ответить, так как вошел Футроз с конвертом в руке.

— Давенант, увидите ли вы Галерана? — спросил Футроз, обняв прижавшуюся к нему Элли.

— Да, я думаю,— да,— ответил Давенант, не понимая, что означает этот вопрос.— Галеран приходит в... обедать каждый день.

— В «Отвращение»,— вставила Элли.— Ох! Я обещала ему написать.

— Помолчи. Передайте это письмо Галерану, а затем, как мы условились. Надеюсь, я увижу вас послезавтра.

— Загадка! — вскричала Рой.

— Галеран влопался,— кратко сообщила Элли, повертываясь на одной ноге.

— Хорошо, письмо будет передано,— сказал Давенант, пряча пакет.

— Тампико, мы пошли,— объявила Элли.— Прощайте, Давенант! Передайте письмо!

— Передайте его из рук в руки, за углом, чтобы никто не видел,— посоветовала Рой.

Футроз повернулся к ним, скрестив руки и двинув бровью так внушительно, что девушки смутились и вышли. Давенант увидел два носика, просунутые в щель двери, затем Рой сказала: «Идем!» — и дверь плотно закрылась.

Футроз отпустил Давенанта, почти жалея, что этот большой мальчик не его сын.

Выпущенный на улицу почтительной горничной, стесняясь ее, стен, двери, самого себя, Давенант пустился идти так быстро, что задохнулся. Ломая голову над неожиданным письмом Галерану, твердя «Географический институт», «незнакомец целует стекло», слыша мотив и созерцая два носика в дверной щели, Давенант явился к Кишлоту с таким странным лицом, что тот спросил:

— Выставили?

— Нет, не выставили,— рассеянно ответил наш герой, оглядываясь.— А где Галеран?

— Он тут, если ты на него смотришь,— сказал Галеран в пяти шагах от Давенанта, именно к нему и обратившегося со своим лунатическим вопросом.

Давенант вздрогнул.

— Ах, это вы! Странно — я не заметил, где вы сидите. Вот письмо. Вам письмо.

Кишлот только что принес тарелку супа для Галерана. Тот отложил ложку и стал рассматривать конверт.

— Сам Футроз написал его,— пояснил Давенант.

В течение нескольких минут остальные посетители «Отвращения» — старая женщина и толстомордый приказчик из мясной лавки — тщетно требовали: женщина — соль, а приказчик — печеное яблоко. Кишлот разинул рот еще шире, чем Давенант. Кишлот издали рассматривал письмо, а Давенант стоял вблизи Галерана. Наконец, опомнясь, он ушел заменить синий пиджак белой рабочей курткой и, едва сделав это, выскочил смотреть, как распечатывается загадочное письмо.

Галеран с замкнутым лицом вскрыл конверт и запустил в него два пальца. Подавив улыбку, он осторожно извлек визитную карточку, мелко исписанную, и, держа ее перед собой в левой руке, приблизил к губам ложку с супом. Ложка почти касалась его губ, но он, слив суп обратно в тарелку, оставил ложку и, держа теперь письмо обеими руками, начал читать с крайне серьезным видом, заложив ногу за ногу. Что-то большое, важное засветилось в его прищуренном взгляде. Галеран спрятал письмо и рассеянно съел суп, после чего заказал мороженое.

— Разве вы не будете есть дичь? — удивился Кишлот, взглядывая из-за своей стойки на Галерана, который даже закурил почему-то перед мороженым.— «Куропатка с ревматизмом»,— как значится сегодня в меню... Хе-хе! Должно быть, важное это письмо, от старых знакомых... Давенант, принеси «мороженое с ангиной»!

Надеясь, что Галеран заговорит о письме, Тиррей окаменел в дверях, подняв ногу и повернув ухо.

— Не буду есть даже «павлина с аппендицитом»,— сказал Галеран,— не буду есть даже мороженое. Я раздумал, так как лишился аппетита из-за чрезвычайных новостей. Во-первых, овцы подорожали, а во-вторых,

прибыла партия кайенского перца, который продается с аукциона.

— Так не надо мороженого? — спросил Давенант, стащив старухе третью солонку.

Старуха так обиделась, что топнула ногой. Галеран встал, подозвав мальчика движением головы.

— Сознаешь ты, что отчасти обязан мне? В деле с Футрозом?

— Конечно. Вы первый начали.

— Тогда ты должен зайти сегодня вечером, в десять часов, на Северную улицу, номер 24, квартира 33. Это мой адрес. Я буду тебя ждать. Ты придешь и расскажешь, как тебя встретили.

— Футроз сказал, что сделает все. Понимаете? Я не шучу. Я приду к вам,— быстро говорил Давенант, извиваясь всеми нервами от любопытства к письму.— Но... что он вам написал? Уж вы простите меня.

— Я мог бы не отвечать, видя твою деликатность, но я тебя понимаю. Футроз просит меня, со всей вежливостью, конечно, чтобы я не присылал ему больше очень любопытных «Тирреев», шестнадцати лет.

— Я не мальчик,— сказал Давенант, вспыхнув.— Но я сошел с ума, вот что. Забудьте мою настойчивость...

Галеран ушел, а Давенант приступил к обычной работе. Относительно письма он думал, что Футроз переслал Галерану записку Элли о ее мыслях, как она обещала. Кишлот сумрачно посвистывал, роняя изречения вроде: «Чего не бывает в жизни!», «Не каждому так везет!», а вечером подвыпил и заявил, что в его жизни тоже был один случай, но он не воспользовался им, так как очень горд и презирает людей, живущих в особняках.

— Вот если ты сам достигнешь всего — это другое дело,— говорил Кишлот,— это не то, что хвататься за чужой хвост.

Ворчание старика Давенант оставил без внимания и, рассеянно соглашаясь с ним, дождался наконец часа закрытия кафе. Вскоре после того он направился к дому, где жил Галеран. Это был старый дом в три этажа, стоявший на углу песчаного пустыря плохо освещенной окраины. Не все окна дома были озарены изнутри, на грязных лестницах приходилось рассматривать ступени, а иногда зажигать спичку. Давенант взобрался на третий

этаж по второй лестнице и разыскал номер квартиры. Человек с миниатюрным лицом, провалившимся в огромную бороду, провел Давенанта к помещению в конце широкого коридора, где смутно белела прибитая кнопкой визитная карточка. Услышав шаги, Галеран вышел и пропустил мальчика, а дверь запер крючком.

— Я всегда запираюсь,— сказал Галеран,— потому что жильцы имеют привычку вваливаться не стуча. Тебе открыл горький пьяница, бывший студент.

Большая комната Галерана была освещена газовым рожком и скудно обставлена простой мебелью, состоявшей из двух столов — на одном провизия и посуда, другой с книгами и чернильницей,— трех стульев, кровати за ширмой и марлевых занавесок двух окон. На известковых стенах висели две старые гравюры под стеклом, копии Мейсонье. Эта бедность, подчеркнутая чистотой помещения и полной достоинства приветливостью, с какой Галеран усадил гостя, тронула Давенанта; впервые пожалел он, что не богат и не может прислать Галерану восточный ковер.

— Вы очень меня заинтересовали,— сказал мальчик,— я все ждал, когда наступит вечер. Но я все равно страшно хотел прийти к вам.

— Отлично. Тем более, что я тебя сейчас поведу.

— Да. То есть — куда?

— Мы условились, что ты не будешь ни о чем спрашивать. Я тебя поведу, и ты увидишь.

— Замечательно интересно! — вскричал Давенант, ожидая чудес и снова трепеща, как утром в доме Футроза.— Я согласен. Что же я увижу?

— А! Не стоит с тобой разговаривать! Принимай условие без вопросов и рассуждений. Нам предстоит приключение.

— В таком случае я готов,— заявил Давенант, вскакивая.— Но у меня нет оружия.

— Нам не понадобится оружие. Если хочешь, вооружись терпением.

Галеран надел шляпу и взял трость. Давенант не мог ничего прочесть в его невозмутимом лице. Завернув газовый рожок, Галеран сказал: «Идем»,— пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галеран внушительно заявил:

— Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки.

— Хорошо,— басом ответил Симпсон.— Впрочем, что я говорю! Вы незаслуженно оскорбили меня!

— Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка, так я вам дам сам.

Не слушая, что кричит вдогонку Симпсон, Галеран вышел из дома и привел Тиррея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галеран назвал адрес, неизвестный Давенанту. Забавляясь волнением и недоумением Тиррея, умолкшего от неожиданности и сидевшего, погрузясь в тщетные догадки, Галеран обстоятельно рассказал о Симпсоне — как он застал его в своей комнате за кражей вина,— похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Давенант обиженно слушал, догадываясь, что Галеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн, и выискивал среди его слов намеки на предстоящее.

— Хочешь, я тебе расскажу анекдот? — спросил Галеран.

Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот никогда не был рассказан.

— Немного поздно,— сказал Галеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками.— Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату.

Давенант дернул его за рукав, но Галеран взял мальчика за локоть и подтолкнул.

— Иди же,— сказал он.— Я говорю правду. Футроз просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить.

— Его письмо! — вскричал Давенант.— Так это он вам писал?

— Да; еще кое-что.

— Заботятся о молодом человеке, хлопочут,— осторожно произнесла старуха как бы про себя, но с явной целью завязать разговор.— Пожалуйте, пожалуйте, там вам все приготовлено, останетесь довольны.

— Значит, сегодня мне не уснуть! — объявил Давенант, входя за Галераном в комнату с зелеными обоями

и глубокой нишей, где помещалась кровать. Он увидел качалку, письменный стол, стулья с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев.

Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галеран без церемонии закрыл дверь.

— Сегодня тебе нет смысла перебираться,— сказал Галеран,— так как уже поздно, да и Кишлот, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай: эта комната оплачена вперед за три месяца с полным содержанием: завтрак, обед, ужин и два раза кофе. Хорошее приключение?

— Чем я отплачу Футрозу и вам?

— Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Давенантом. Что касается меня, то моя роль случайна — я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф!

Давенант повиновался. В шкафу висела одежда. Внизу лежала груда белья.

— Ты видишь,— продолжал Галеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка,— ты видишь здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака — это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и четыре галстука различных оттенков. Две шляпы — соломенная и фетровая. Шляпы необходимо примерить.

Галеран взял мягкую шляпу и водрузил ее на голову Давенанта.

— Очень хорошо. Я снял мерки твоего платья при помощи повара, который поклялся молчать благодаря ощущению в ладони приятного металлического холодка. Надеюсь, он молчал?

— Ничего он мне не сказал.

— То-то. Было бы неестественно, если бы ты не ущипнул все эти прелести, а, Давенант? Прикоснуться необходимо.

Давенант бессмысленно подержался за брюки, уронил галстук и закрыл шкаф.

— Лучше не смотреть пока,— сказал он.— Я должен привыкнуть. Вы не можете догадаться, почему Футроз дал мне так много всего?

— Представь — могу. Футроз такой человек, что

если делает, то делает основательно, до конца, или не делает ничего. Доброта добротой, но эта черта характера весьма показательна, так что если он невзлюбит тебя, то не менее основательно забудет о твоем существовании. Это человек серьезной игры. Твой хозяин — старый счетовод Губерман, его жена — Эмма Губерман, которая открыла дверь,— дьявольски любопытна, поэтому не говори ничего о доме Футроза. Если показать красивую вещь людям, не понимающим красоты,— ее непременно засидят мухи мыслишек и вороны злорадства. Понял меня?

— А вот что! — вскричал Давенант.— Уж как вы хотите, но я вас должен поцеловать.

Прежде чем Галеран успел защититься, Давенант охватил руками его мрачную голову и крепко поцеловал.

— Бойся несчастий,— внушительно сказал Галеран, беря мальчика за плечо,— ты очень страстен во всем, сердце твое слишком открыто, и впечатления сильно поражают тебя. Будь сдержаннее, если не хочешь сгореть. Одиночество — вот проклятая вещь, Тиррей! Вот что может погубить человека. Мы пойдем.

Эмма Губерман выпустила мужчин, вздыхая и припевая им в спину об «ангелах на земле».

— Шестьдесят лет живу,— прибавила она неожиданно брюзгливой скороговоркой, уже без пения и умиления,— а такого случая не бывало. Все понимаю, все. Очень хорошо, будьте спокойны.

На улице Давенант спросил:

— Куда вы направляетесь, позвольте узнать?

— Думаю, что немного выпью,— сказал Галеран, пересчитывая карманную мелочь.— Ах да! От денег, которые Футроз приложил к письму, осталось вот... Сколько тут? — Он передал мальчику три золотые монеты и серебро.— Ну, ступай...

Он сел в трамвай, а Давенант явился к Кишлоту, чтобы, забрав вещи, немедленно перебраться в новое помещение. Кишлот жил без прислуги. Взяв свечу, он открыл дверь сам.

— Слушайте, вы будете сейчас очень удивлены,— сказал Давенант, остановясь на пороге.— Вы знаете ли, где я живу?

— Я стар для загадок. Или входи, или говори, что случилось.

— Галеран нанял мне комнату,— объявил Давенант.— Честное слово. Я там сейчас был. На деньги Футроза. Футроз прислал деньги в письме, а я ничего не знал.

— Врешь! — сказал Кишлот, поднося свечу к подбородку Давенанта.

— Я хотел идти туда завтра, но мне не терпится,— продолжал Давенант, машинально обрывая пальцами свечной нагар.— Уж вы меня простите. Здесь мне теперь не уснуть. Сказать ли вам еще, что пропасть всякой одежды висит там в шкафу, и все для меня?!

— Я думал, что ты врешь. Значит, посыпалось на тебя. Бывает такое,— сказал пораженный Кишлот.— С этим уж ничего не поделаешь,— в раздумье прибавил он тоном странного утешения.

— За что же это, как вы думаете?

— Ни за что. Понравился, как котенок. Без мерки он купил?

— Что без мерки?

— Галеран — фраки и смокинги?

— Это просто костюмы. Я их даже не примерял.

Кишлот повел Давенанта к себе наверх, вытащил из шкафа вино и стал ходить по комнате, прижимая бутылку к спине.

— Да! — воскликнул он после молчания и вздохов.— Ты взлетишь высоко, должно быть. Но мое последнее слово тоже еще не сказано. Я нападу на золотые россыпи, говорю тебе! Рано или поздно! Будет такая верная идея, она придет. Хвати стакан вина, садись, рассказывай, черт возьми!

Наспех передав ему все существенное своей истории, Давенант выпил вина и загремел вниз по лестнице. Бросив в сундучок несложную поклажу свою, он взвалил сундучок на плечо и попрощался с Кишлотом, который, видя его состояние, не пускался более в разговоры, а порылся в карманах и отдал ему жалованье.

— Окончательно разбогател Давенант,— сказал Кишлот, всучивая бывшему слуге горсть серебра.— За четырнадцать дней! Проваливай!

Выпроводив счастливца, он запер дверь, крикнув:

— Заходи пообедать!

ГЛАВА III

Хотя Давенант страшно торопился, однако прибыл к Эмме Губерман уже в полночь, и старуха открыла жильцу дверь без неудовольствия: она получила за комнату хорошие деньги. Старуха даже принесла Давенанту наскоро состряпанную яичницу, которую поспешно съев, он занялся рассматриванием своих богатств: примерил серый костюм; нигде не жало, жилет не теснил грудь. В зеркале отразился некто изящный, чужой, без усов. Сняв серый костюм, Давенант облачился в белый. «Волшебство!» — сказал он, застегивая перламутровые пуговицы. Все сняв с себя, повесив одежду в шкаф, он погасил свет и уснул так крепко, что утром не сразу очнулся на стук в дверь: хозяйка начала беспокоиться, было уже одиннадцать часов, и ее кофейник закипал восьмой раз.

Давенант радостно засвистал: не надо подметать пол, расстилать скатерти и выбрасывать из вазы гнилые яблоки. Время принадлежит ему. Пахло чистотой и теплом тонкого белья. Нервы еще гудели, но не так порывисто, как это было вчера. Совершившееся приобрело законность длительной очевидности. Выпив кофе и закусив, Давенант оделся в белый костюм. Едва кончил он возиться с прикреплением галстука, как явилась старуха.

Одолеваемая любопытством, разведя руками, покачав головой в знак умиления при виде такой перемены внешности квартиранта, она стала допытываться, почему бедно одетый юноша с простым сундучком вызвал к себе столько заботливого внимания. Ее интересовало, кто — Галеран, кто — Давенант, как он жил до сего дня, а также что будет делать.

Старуха показалась Давенанту весьма противной, тем более, что спрашивала не прямо, а как бы отвечая на свои мысли:

— Конечно, не все сразу. Вы осмотритесь, отдохнете, а там, надо думать, будет вам служба или не знаю что. Приятно видеть, как господин Галеран вас любит, я думала — не отец ли он?! У моего мужа тоже ничего не было, но он начал трудиться, копить...

Эти намеки Давенант обошел молчанием, он свел разговор на комнату, а старуха пыталась залезть с когтями и очками в его сердце.

Не имея опыта выпроваживать докучных людей, Давенант терпел ее скрипучий речитатив, пока, устав, она не ушла, поджав губы, с жестким лицом, а Давенант отправился бродить по городу. На выходе он столкнулся с мужем хозяйки — унылым, раздражительного вида стариком, который сунул свои хилые пальцы в его горячую руку и прохрипел:

— Ну-с, так. Все в порядке, я полагаю?

Старик скрылся за углом, Давенант предпринял сложное путешествие, пересаживаясь с автобуса на трамвай, с трамвая на автобус, доезжая до конца каждой линии, и за несколько часов так исколесил город, как до того никогда. Он мчался, повинуясь одолевающему его внутреннему движению. Но скоро заметил Давенант, что старается не думать о цели этих блужданий, удерживая тайные мысли. Наконец он решился и прошел по Якорной улице; когда же поравнялся с домом Футроза, уши его горели, а сердце стучало. Если так хорошо было в том доме при нем, то как очаровательна жизнь его обитателей, когда их никто не видит! Так он думал. При чужом человеке, естественно, самое прекрасное должно прятаться. Там что-то мелькает, вспыхивает, звенит — казалось ему, там плачут от смеха и летают среди улыбок таинственные существа, озаренные голубым светом. Между тем, ничего не зная о совершеннейшем из всех зданий мира, прохожие покупают газеты, бросают окурки под окна, мимо которых он идет, страшась встретить даже гувернантку Уранию Тальберг, так как на ней тоже блестят упоительные лучи красно-желтой гостиной, полной золотых кошек и розовых лиц.

А между тем Давенант очень хотел увидеть хотя бы Уранию, хотя бы горничную, но при условии остаться незамеченным ими.

Утешившись тем, что завтра снова придет к Футрозу, Давенант остаток дня употребил на посещение зверинца и покупку нескольких старых книг; к завтраку он опоздал, обедать пришел поздно и был голоден, отчего съел суп, рыбу и сладкий пирог без остатка, съел даже весь хлеб, так что старуха долго рассуждала с соседкой об аппетите жильца. После обеда Давенант лег с книгой, читая повесть Хаггарда, но скоро, утомясь

пережитым, заснул. Как стемнело, пришел Галеран и увел его гулять на Лунный бульвар.

Они медленно ходили под листвой огромных деревьев, разговаривая о жизни, которую Галеран знал во всех ее проявлениях, стараясь внушить мальчику доверие к своим чувствам.

— Никогда не бойся ошибаться,— говорил Галеран,— ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что-то прежде полученное, может быть, несоразмерная иногда, но будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны.

Эти простые истины отвечали характеру Давенанта; особенную прелесть имели они именно теперь, представляя как бы надежное оружие для его переполненных чувств, поданное отважной рукой.

Возвращаясь ярко освещенной аллеей, они остановились у террасы ресторана, привлеченные бурной сценой: оборванный пьяный человек рвался к столикам, крича, что хочет развеселить посетителей замечательной песней. Уже слуги схватили его, намереваясь вытолкать вон, как одна богатая компания, желая потешиться, вступилась за оборванца, и, злобно оглянувшись на отошедших официантов, оборванный человек, вытерев потный лоб тылом руки, хрипло запел:

Пришла к тюрьме девчонка, Рябая Стрекоза,
Вихлявая юбчонка, подбитые глаза.
«Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять,
Вы будете, приятель, со мной в постели спать.

Вчера я ночь гуляла,
Два шиллинга достала,
Прошу их передать
На номер триста пять!»

Скривился надзиратель и так ей говорит:
«Я не работодатель, а честный Джонни Смит,
Любовник твой, убийца, повешен он вчера
За то, что кровопийца, в шестом часу утра.

А ты иди, паскуда,
Прочь от ворот, покуда
Тебя не прогнал я.
Поди, хлебни вина!»

«Ах так,— она сказала и плюнула в него.—
Тебя повесить мало, и больше ничего,
Сегодня, только смеркнет, твой брат ко мне придет
И у меня в постели зарезанный уснет...»

Бродяга пел с чувством, жеманно вертясь, когда изображал проститутку, и выпячивая грудь, строго хмуря брови, когда Рябой Стрекозе отвечает непреклонный надзиратель. Часть слушателей расхохоталась, иные вознегодовали, но артист все же собрал мзду. Больше ему петь не дали. Он ушел, пошатываясь и разглядывая монеты на дрожащей ладони. Затем бродяга быстро миновал Давенанта, крикнув отшатнувшемуся юноше: «Держись, сосунок, а то сшибу!» — и исчез в аллеях. Давенант заметил его спутанные волосы. Тяжелое, коварное лицо этого человека метнулось перед ним на одно мгновение и скрылось в тени ночи.

Такого рода песни Давенанту приходилось слышать не раз, когда он возил тележку с горячей пищей на окраинах порта, а потому он равнодушно слушал ее. Между тем Галеран остановился; вытащив блокнот, он записал в него отдельные выражения этого образца тюремной поэзии.

— Я составляю сборник уличных песен,— сказал Галеран,— и надеюсь продать мой труд какому-нибудь издательству. Ты, наверное, часто старался понять, чем я живу. Я составляю сборники самого разнообразного типа: от анекдотов до «игр и забав». Я жил бы лучше, если бы не был подвержен страстн к игре. Не могу не играть.

— Значит, вам не везет?

— Ты проницателен.

— А вы старайтесь выигрывать.

— Совет мудреца! — рассмеялся Галеран.— Покинь меня и отправляйся спать. Спать хорошо.

— Вот что,— подумав, сказал Давенант,— в первый же раз, как вы отправитесь играть, возьмите, пожалуйста, эту золотую монету и присоедините ее к судьбе ваших ставок. Будь что будет!

— Идет! — согласился Галеран.— Я никогда не отказываюсь играть на чужое счастье. Приходи завтра в «Отвращение». Я буду там от часу до трех.

— Да, я всегда хочу быть с вами,— сказал Давенант.— Я буду там, мы что-нибудь придумаем.

На том они расстались. Прошла еще одна ночь, и занялся день, сказавшийся лучом в глаза:

— Сегодня, сегодня — т у д а!

ГЛАВА IV

Роэна и Элли принимали участие в судьбе молоденькой чахоточной портнихи Мели Скорт, затеяв отправить ее лечиться на морской берег Ахуан-Скапа. Мели явилась незадолго перед тем, как вошел Давенант. Увидев ее в гостиной смиренно рассматривающей альбомы, Давенант поклонился бледной, бедно одетой девушке и сел поодаль. Его белый костюм не обманул проницательность Мели Скорт. Взглянув на Давенанта исподтишка, она угадала зависимое положение юноши и решилась сказать:

— Такой чудесный дом, не правда ли? Они очень богаты.

— Замечательный дом,— с воодушевлением отозвался Давенант.— Скажите, еще никто не выходил?

— Нет,— Мели кашлянула.— Я тоже жду. Меня отправляют на курорт лечиться. У меня чахотка. А вы?

— Я? Тут есть одно дело,— сказал Давенант, несколько смешавшись.— Впрочем, сегодня выяснится.

Его избавило от признаний появление Роэны. Она вошла без сестры, в темном платье, скромно причесанная, и глаза ее лукаво блеснули.

— Давенант! Мели! — воскликнула Рой.— Как хорошо! Познакомьтесь, Тиррей Давенант, с Мели Скорт. Мели, когда вы едете?

— Я уеду завтра, так как...

— Тампико, то есть отец, только что говорил в телефон...

Рой стала шептать ей на ухо, и Мели покраснела, а Давенант расслышал окончание шепота: «...раскройте сумочку». Понимая, что происходит, он отвернулся, смотря в окно. Роэна вскоре подбежала к нему, говоря:

— Идем, посидим на диване. Сегодня вы не увидите Элли. Бедняжка прихворнула. Доктор уже смотрел язык и посоветовал целый день лежать. Только это не опасно, он так сказал. Давенант, вам тоже от отца весть: еще не приехал его знакомый, который должен

будет посвятить вас в рыцари географии. Так что мы поболтаем. Ах, Элли беспокоит меня!

— Должно быть, перемена погоды,— сказала Мели.— Я под утро не могла заснуть от кашля.

Они уселись. Рой села между Давенантом и Скорт.

— Очень неровный климат,— продолжала Мели.

— Да, ужасные, ужасные перемены. Отвратительно!

Юная хозяйка не дурачилась, как вчера, но в ее голосе слышалнсь знакомые Давенанту боевые ноты первого дня, когда играли «Изгнанника».

Девушки помолчали. Встретясь глазами, они улыбнулись и рассмеялись.

— Отчего вы рассмеялись? — воскликнула Рой, привскакивая на сиденье.

— Не знаю. А отчего вы?

— Просто так. Так вот что: съедим конфеты.

Она убежала и вернулась с коробкой, поставив ее на диван между собой и девушкой.

— Давенант, отчего вы сидите так чинно? — сказала Рой.— Идите помогать.

Давенант подержал конфетку у губ и спросил:

— Что же с Элли? Может быть, она опасно больна?

— Нет, нет, успокойтесь. Она, так сказать, наполовину здорова. Но ей придется весь день лежать.

— Что такое?! — вскричал ревнивый голосок, и в гостиную вышло зеленое одеяло, из которого торчала кудрявая голова. На ногах Элли были огромные туфли Урании, и она бойко шаркала ими, поддерживая свисающее одеяло, как шлейф.

— Здравствуйте, дети,— сказала Элли,— я к вам. И... О, дай мне конфету, Рой! Уже я знаю: Давенант пришел к нам. Могла ли я утерпеть?

— Элли, ступай назад! — крикнула ей Роэна.— Как ты смела?

Не обращая внимания на ее тревогу, Элли подошла к Мели Скорт и присела.

— Как вы думаете,— хочу я общества или нет? Позвольте представиться: минус вселенной!!

— Мели, скажите ей, что когда вы были больны, то не вскакивали в этаком кимоно!

— Будьте послушны,— сказала Мели, давая девочке взять себя под руку, после чего Элли решительно

уселась на диван,— даже маленький сквозняк вам опасен.

Элли, вздохнув, встала и пересела к Давенанту.

— Он защитит меня и даст мне конфетку. Будьте моим рыцарем!

— Хорошо,— сказал Давенант,— но, как рыцарь, я дам вам конфетку только с разрешения градусника.

— В том-то и дело, что я его разбила сейчас. Я хотела доказать, как я здорова. Что такое ртуть? Кто знает?

— Иди-ка сюда,— Рой приложила руку к щеке Элли.— Кажется, ничего нет, но ведь Урания помешается.

— Накликала,— проговорила Элли, завидев входящую гувернантку.

— Это что такое!—закричала Урания, подняв руки.

Она сразу узнала Давенанта, но, узнав, покраснела от возмущения. Воспитательная система Футроза приводила ее в ярость.

— Элли, вы меня... убить? Хотите меня убить, да? Сию минуту в постель!

Элли закрыла лицо руками и помотала головой.

— Ах, как не хочется лежать! — просто сказала она.— Что делать? Иду. Прощайте! Пусть у вас расстроятся желудки от ваших конфет!

Одеяло удалилось, шаркая туфлями и напевая грустный мотив, а Урания объявила Роэне, что ее ждет учитель музыки, после чего вышла, закинув голову и грозно дыша.

— Желаю вам быстро поправиться,— сказала Роэна, прощаясь с Мели Скорт.— Папа был в Ахуан-Скапе и очень хвалит это место. Вам будет там хорошо.

— У меня перед отъездом разные противные дела. Благодарю вас.

— Давенант,— сказала Роэна,— в воскресенье вы наш гость, не забудьте. Мы будем стрелять. Вы любите стрелять в цель?

Она стояла совсем близко к нему, с слегка раскрытым ртом, и ее брови смеялись.

— Давенант, вы уснули?

— Нет,— ответил Давенант, выходя из блаженной рассеянности.— Я, знаете, люблю думать. Должно быть, я думал.

— Да? Значит, я вгоняю в задумчивость! Замечу это.

Роэна проводила гостей до выхода и выглянула вслед им за дверь, сказав:

— Рыцарь Элли! Оглянитесь! Ау!

Роэна помахала рукой, затем скрылась.

Бледная, белокурая, с усталым счастливым лицом, Мели Скорт сказала Тиррею:

— Вот как живут! У них есть все, решительно все!

— Ну да,— согласился Давенант, удивляясь, как могло бы быть иначе.

Он расстался с Мели на углу, не понимая, что она ему говорит, и тотчас забыв о ней.

Некоторое время Давенанту казалось, что смех Роэны, одеяло Элли и предметы гостиной разбросаны в уличной толпе. Но впечатления улеглись. Он пришел в «Отвращение», где увидел Галерана, сидящего, как всегда, у окна с газетой и кофе. Новый слуга, рыжий, матерый парень, подошел было к нему, но, услыша восклицание Кишлота: «Граф Тиррей!» — догадался, что это его предшественник, о котором повар уже сочинил роскошные басни. В увлечении творчества повар признал Давенанта незаконнорожденным сыном Футроза.

Давенант раскаялся, что зашел сюда. Кишлот не мог или не хотел взять простой тон. Ощупав костюм мальчика, он снял его шляпу и бесцеремонно примерил на себе, отпуская замечания:

— О-го-го! Наверно, тебе не снилось одеться так шикарно! — Затем пошутил: — А ну-ка, подай соус. Хе-хе! Нет, теперь ты сам будешь заказывать!

Смутясь, Давенант быстро подошел к Галерану.

— Еще ничего не известно,— сказал он как можно тише, чтобы не впутался в разговор Кишлот.— Еще не приехал Старкер.

— Слушай, Тиррей,— ответил Галеран,— иди отсюда и будь дома завтра утром. Мы проведем целый день на лодке. Я не играл вчера, не получил денег. Хочешь взять свой золотой?

— О нет, ведь я сказал.

— Хорошо.

Давенант хотел выйти, но рыжий слуга ткнул его слегка в бок, спросив:

— Сколько платил? Материя знаменитая.

— Это не я покупал.

— Как... не ты?

— Верно, не я.

— Может быть, твой камердинер?

— Не болтайте глупостей, Дик,— вступился Галеран,— лучше принесите мне табаку.

Он дал рыжему парню мелочь, а Давенант, крикнув Кишлоту: «До свидания!» — вышел. Уже он повернул за угол, как Дик окликнул его и загородил дорогу.

— Вот я тебя проучу,— сказал Дик, сбрасывая куртку и швыряя ее на тумбу.— Стань-ка как следует.

— Что? Драться? — удивился Давенант, не совсем понимая гнев Дика. Но скоро он понял причину истерики.

— Ты даже не знаешь меня,— сказал он миролюбиво.

— Не разговаривай! Зазнался, дрянь этакая.

Дик засучил рукава, но Давенант вынул из жилетного кармана серебряную монету и, улыбаясь, протянул ее взбешенному врагу.

— Возьми себе,— сказал он,— деньги тебе нужны.

— Что-о-о! — заревел парень. С презрением схватил он монету и потряс ею перед лицом Давенанта.— Э т и м ты думаешь отделаться?

— Вот еще,— сказал Давенант, протягивая вторую монету.

— Что же? Струсил, что ли?

— Думай как хочешь. Берешь?

— Давай сюда! — Дик вырвал деньги из его пальцев и сунул в карман.— У, сволочь!

Он схватил куртку и побежал покупать табак, а Давенант, задумавшись, направился домой, где его ждал обед. В тот день ничего особенного больше не произошло. Давенант читал, посетил кинематограф и спал хорошо.

В воскресенье, рано утром, пришел Галеран. Они ездили на лодке под парусом до мыса Бай, взяв с собой вина, провизии; разложили костер, варили кофе и несколько раз купались.

Как ни прекрасна была эта прогулка, впечатления волн, ветра и отдаленного берега нарушили, казалось Давенанту, внутреннюю его связь с домом Футроза, уменьшили и затушевали ее. Едва расставшись, при

возвращении, с Галераном, он был рад снова очутиться в городе. Уже было четыре часа дня, когда, еще не побывав дома, расхаживая из улицы в улицу, Давенант, втайне ожидая этого, встретился с Роэной и Элли при выходе их из магазина. Он смутился как своего старого костюма, в котором он ездил к мысу Бай, так и от горячо ожидаемой неожиданности. Девушек сопровождала Урания. Давенант хотел незаметно пройти в толпе, за спиной гувернантки, но Рой увидела его и сделала ему рукой знак. Сильно взволновавшись, Давенант подошел, отвесив гувернантке такой почтительный поклон, что она, смягчившись, перестала рассматривать его в упор, как афишу. Сияющие нарядные девушки тотчас атаковали Давенанта. Набравшись смелости, он сообщил им, что всего полчаса как вернулся с прогулки по морю.

— Со мной был Галеран,— прибавил он.— Мы прыгали в воду с отвесной скалы, не очень высоко... Там замечательные гигантские водоросли.

— Вы хорошо плаваете? — спросила Элли.— Я еще не умею.

— У меня хорошие дыхание и сердце, я могу далеко плыть,— сказал Давенант.

— Садитесь, мы вас подвезем,— предложила Рой.— Вам куда?

Давенант очень хотел сесть с ними в экипаж и потому отказался.

Усевшись и наклоняясь из экипажа, Рой сказала:

— Давенант, мы вас ждем!

— Я лучше пройдусь,— ответил он и поправился,— я сяду в трамвай.

— Где вы сейчас находитесь? — крикнула, смеясь, Элли.

Не поняв шутки, он сказал:

— Там же, все в той же комнате.

— Сомневаюсь! — заявила Рой.

— Сомневаюсь! — воскликнула Элли.

Даже на лице Урании зазмеилось подобие улыбки. Давенант сконфузился и стал махать шляпой, пока экипаж не скрылся, унося прочь эти подобия альпийских фиалок, похищенные у шумной толпы. То были не совсем те Элли и Рой, какими узнал он их в чудесной желто-красной гостиной. Те же, но не такие. Т а м они были из того мира, где все неясно и важно.

Взрослый человек всегда найдет, как сократить время и сдержать нетерпение, но, если даже он плохо владеет собой, его представление о времени реально. Не то было с Тирреем. Дожидаясь половины восьмого вечера, Давенант переживал утомительное физическое напряжение. Задолго до выхода из дома, надев серый костюм, он сел у окна, рассматривая прохожих. Просидев три минуты, схватил книгу, но читать оказался не в состоянии. Не стерпев могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метаниям из угла в угол, Давенант надел шляпу и отправился на улицу без четверти семь. Вдруг бой городских часов указал, что часы Губерман отстали на пятнадцать минут. «Вот это хорошо»,— сказал Давенант вслух, обратив на себя внимание прохожих. Ни в какую сторону, как только к Якорной улице, он идти не мог, но решил идти очень тихо, чтобы явиться в десять минут девятого. Однако расстояние было не так велико, а его нетерпение — огромно, и, как следовало ожидать, Давенант оказался вблизи дома Футроза за полчаса до восьми. Опасаясь явиться первым, он удовольствовался тем, что стал смотреть на дом издали и простоял, не сходя с места, тридцать минут, осведомляясь у каждого прохожего:

— Который час?

— Четыре минуты девятого,— сказал ему наконец словоохотливый человек с розовыми, морщинистыми щеками.— Поставьте ваши часы по моим — это часы фабрики...

Но Давенант был уже довольно далеко. Он мчался по прямой линии к подъезду и попал в кабинет Футроза, куда его провела горничная, мимо полуоткрытой гостиной, где слышались веселые голоса.

— Я велел просить вас к себе, пока вас еще не завертели мои хозяйки,— сказал Футроз, мельком осмотрев Давенанта.— Могу порадовать вас: приехал профессор Старкер. Я скоро увижусь с ним и попрошу его записать вас участником первой же экспедиции. Своевременно я вас извещу.

Затем он расспросил Давенанта о комнате, о Галеране, дружески посоветовал застегивать пиджак на все пуговицы и усадил в огромное кресло-нишу, откуда, как из провала, видны были книжные шкафы, мра-

морная фигура Ночи и проникновенно улыбающийся Футроз.

— Я еще не поблагодарил вас,— сказал Давенант.— Иногда мне кажется: я проснусь — и все это исчезнет.

— Ну-ну,— добродушно отозвался Футроз,— будьте спокойнее. Ничего страшного не произошло.

Давенант хотел прямо сказать: «Я никогда не был счастлив так, как все эти дни»,— но услышал подлетающие шаги и, не посмев обернуться к двери, забыл, что́ хотел выразить.

— Давенант здесь? — воскликнула, вбегая, нарядная, красиво причесанная Роэна.— Вот он. Запрятан в кресло.

Давенант вскочил.

— Здравствуйте! — сказала Элли, напоминающая уменьшенную Роэну,— в коротком платье.— Позволь его увести, Тампико. Он нам нужен.

— Кто у вас?

— Все: Гонзак, Тортон и Тита Альсервей.

— Единственно не хватает вас,— сказала Роэна Давенанту.— Тампико, он человек с понятием. Ему нечего у тебя делать. У нас веселее, правда? Ты тоже явишься, мы очень просим тебя.

— Вы надеетесь, что я приду к вам хихикать?

— Да, мы надеемся,— сказала Элли.— Отец и его две дочери хихикают... Это мы включим в программу.

— Я приду позднее. Давенант, повинуйтесь!

— А-рес-то-вать! — закричала Элли, беря под локоть Давенанта с одной стороны, другим локтем завладела Рой, и они увлекли его в гостиную.

Теснее и ярче, чем днем, показалась теперь Давенанту эта комната, сильно озаренная огнями люстры и пахнущая духами. Вечерние оттенки несколько изменяли ее вид; присутствие в ней незнакомых Давенанту — Гонзака, Тортона и Титании Альсервей — вызвало в нем ревнивое чувство, делая гостиную Футроза похожей на другие гостиные, которые приходилось иногда видеть ему с улицы в окно. Давенант любил ярко освещенные помещения: аптеки, парикмахерские, посудные магазины, где блеск огней в множестве стеклянных и фаянсовых предметов создавал лишь ему понятные праздничные видения.

Роэна познакомила Давенанта с другими гостями.

Гонзак — рыжеватый юноша с острым лицом, сероглазый, надменный, не понравился Давенанту, Тортон вызвал в нем оттенок расположения, несмотря на то, что бесцеремонно оглядел новичка и спросил, будто бы не расслышав:

— Да... ве...?

— ...нант,— закончил Тиррей.

Тортон был смугл, черноволос, девятнадцати лет, с начинающими пробиваться усами и вечной улыбкой. Он без околичностей перебивал каждого, если хотел говорить, и смеялся не грудью, а горлом, говоря похоже на смех: «Ха-ха... Ха-ха!»

Титания Альсервей, однолетка Роэны, тонкая, удивленная, с длинной шеей и золотистыми глазами при темных бровях, двигалась с видом такой слабости, что каждое ее движение взывало о помощи.

Давенант чувствовал себя не свободно, стараясь скрыть замешательство. У него не было естественно-развязных манер, лакированных туфель, как на Гонзаке и Тортоне; его костюм, казалось ему, имел надпись: «Подарок Футроза». Должно быть, его лицо сказало что-нибудь об этих смешных и трагических чувствах обласканного человека «с улицы», так как Элли, посмотрев на Давенанта, задумалась и села рядом с ним. Это был знак, что он равен. Роэна разлила чай. Давенант получил чашку вторым, после Титании Альсервей, и начал немного отходить.

Старательно слушая, о чем говорят, он присматривался к гостям. Разговор шел о неизвестных ему людях в тоне веселых воспоминаний. Наконец заговорили об Европе, откуда недавно вернулся со своим отцом Тортон.

При первой паузе Рой сказала:

— Давенант, почему вы так молчаливы?

— Я думал о гостиной,— иекстати ответил Давенант, нарочно говоря громче обыкновения, чтобы расшевелить себя, и замечая, что все внимательно его слушают.— Вечером она другая, чем днем.

— Вам нравится эта п е ч ь, в которой мы сидим? — снисходительно произнесла Титания.

— Да, как огонь!

— Мы ее тоже любим,— сказала Роэна,— у нас страсть к горячим и темным цветам.

— Несомненно,— подтвердил Гонзак.

— Я равнодушен к обстановке, но люблю, когда есть качалка,— сообщил Тортон.

— Нет ничего хуже прямых стульев с жесткими спинками, как, например, у Жанны Д'Аршак,— заметила Титания.

— Какая у вас будет гостиная? — спросила Элли Тиррея.— Впоследствии? Минуя времена и сроки?

— Такая же, как и ваша,— смело заявил Давенант.

— Однако вы — патриот! — заметил Гонзак.

— Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, кто ты,— изрек Тортон.

— Неужели вы это сами придума...— спросила Рой, но Тортон перебил ее одним словом:

— Аксиома.

— Малоизвестная, надеюсь,— отозвалась Альсервей.

— Вы хотите сказать, что я не оригинален? Ха-ха! Оригинальио то, что так может случиться с каждым оригиналом.

— Тортон, вам — нуль. Садитесь,— сказала Рой.

— Сижу. Молчать?

— О, нет, нет! Говорите еще!

— Как же вас понять?

— Женское непостоянство,—объяснил Гонзак и уронил ложечку.

Все расхохотались, потому что смех бродил в них, ища первого повода. Рассмеялся и Давенант.

— Давенант засмеялся! — воскликнула Элли. — О как чу́дно!

— Вы под сильной защитой,— сказал Тиррею Гонзак.— Если вы смеетесь один раз в год, то в этом году выбрали удачный момент.

— А почему?

— Именно потому, что вас поощрили.

— Фу-фу! — закричала Элли.— Это не шутка, это перешутка, Гонзак!

— Слушаюсь, пере-Элли!

— Окончилось ваше увлечение балетом? — спросила Рой Титу Альсервей.

— Нет, когда-нибудь я умру в ложе. Мой случай неизлечим.

Давенант откровенно любовался Роэной. Она была так мила, что хотелось ее поцеловать. Взглянув влево,

он увидел блестящие глаза Элли, смотревшие на него в упор, сдвинув брови.

— Я вас гипнотизировала,— заявила девочка.— Вы — нервный. Ах, вот что: можете вы меня переглядеть?

— Как так — переглядеть?

— Вот так: будем смотреться в глаза,— кто первый не выдержит. Ну!

Давенант принял вызов и воззрился взгляд во взгляд, а Элли, кусая губы и смотря все строже, пыталась победить его усилие. Скоро у Давенанта начали слоиться в глазах мерцающие круги. Прослезившись, он отвернулся и стал вытирать глаза платком. Его самолюбие было задето. Однако он увидел, что Элли тоже вытирает глаза.

— Это оттого, что я смигнула,— оправдывалась Элли.— Никто меня не может переглядеть.

Пока тянулась их комическая дуэль, Рой, Гонзак и Тортон горячо спорили о стихах Титании, которые она только что произнесла слабым голосом умирающей. Роэна возмущалась выражением: «И рыб несутся плавники вокруг угасшего лица...»

— Рыбы штопают чулки, пустив бегать плавники,— поддержал Гонзак Роэну.

Титания надменно простила его холодным нездешним взглядом, а Тортон так громко сказал: «Ха-ха!» — что Элли подбежала к спорщикам, оставив Давенанта одного, в рассеянности.

Некоторое время, казалось, все забыли о нем. Прислушиваясь к веселым голосам Роэны и Элли, Давенант думал — странное для своего возраста: «Они юны, очень юны, им надо веселье, общество. Почему они должны заниматься исключительно мной?» Подняв голову, он увидел картину, изображающую молодую женщину за чтением забавного письма. Давенант прошелся, остановясь против небольшой акварели: безлюдная дорога среди холмов в утреннем озарении. Элли, успев погорячиться около спорящих, подбежала к нему.

— Это — «Дорога Никуда»,— пояснила девочка Давенанту: — «Низачем» и «Никуда», «Ни к кому» и «Нипочему».

— Такое ее название? — спросил Давенант.

— Да. Впрочем... Рой, будь добра, вспомни: точно

ли название этой картины «Дорога Никуда» или мы сами придумали?

— Да... Тампико придумал, что «Дорога Никуда».

Прекратив разговор, все присоединились к Давенанту.

— До-ро-га ни-ку-да! — громко произнесла Рой, улыбаясь картине и Тиррею и смущая его своим расцветом, который лукаво и нежно еще дремал в Элли.

— Что же это означает? — осведомилась Титания.

— Неизвестно. Фантазия художника...— Рой рассмеялась.— Давенант!

— Что? — спросил он, добросовестно стараясь понять восклицание.

— Ничего,— она повторила:—Итак, это — «Дорога Никуда».

— Непонятно,— сказал Тортон.

— Было ли бы понятнее,— процедил Гонзак,— понятнее: «Дорога Туда»?

— Куда — туда? — удивилась Титания.

— В том-то и дело,— заметил Тортон.

— Дорога — куда? — воскликнула Элли.— О, дорога! Куда?!

— Вот мы и составили,— сказал Гонзак.— Дорога никуда. Куда? Туда. Куда — туда?

— Сюда,— закончил Давенант.

Снова молодых людей одолел смех. Все хохотали беспричинно и заразительно.

Изображение неизвестной дороги среди холмов притягивало, как колодец. Давенант еще раз внимательно посмотрел на нее. В этот момент явился Футроз.

— Вот и Тампико! — воскликнула Элли, бросаясь к нему.— Милый Тампико, нам весело! Мы ничего не разбили! Просто смешно!

— Что вас так насмешило? — спросил Футроз.

— Ничего, но мы стали произносить разные слова... Вышло ужасно глупо.— Рой вздохнула и, пересилив смех, указала на картину: — Дорога никуда.

Она объяснила отцу, как это вышло: «туда, сюда, никуда». Но уже не было смешно, так как все устали смеяться.

— Я купил ее на аукционе,— сказал Футроз.— Эта картина напомнила мне одну таинственную историю.

— Какая история? Мы ее знаем? — закричали девушки.

— По-видимому — нет.

— А почему не рассказал, Тампико? — спросила Элли.

— Почему? В самом деле — почему?

— Ну, мы этого не можем знать,— заявила Роэна.

— Я люблю истории о вещах,— сказал Гонзак.— С нетерпением ожидаю начала.

— Разве я обещал?

— Извините, мне показалось...

— Крепкие ли у всех вас нервы? — спросил Футроз, делая загадочное лицо.

— За себя я ручаюсь,— сказала Титания, усаживаясь в стороне, спиной к окнам.

— И я ручаюсь — за тебя! — Рой села рядом с отцом.— Но не за себя.

Элли полулегла на диван. Давенант, Тортон и Гонзак поместились на креслах. Тогда Футроз сказал:

— Бушевал ветер. Он потрясал стены хижин и опрокидывал вековые деревья...

— Так было на самом деле? — строптиво перебила Элли.

— Увы! Было.

— Смотри, Тампико, не подведи.

— Начало очень недурно,— заметил Гонзак,— особенно «стены хижин».

Футроз молчал.

— А дальше? — спросил Давенант, который был счастлив как никогда.

— Все ли успокоились? — хладнокровно осведомился Футроз.

Но бес дергал за языки.

— Папа,— сказала Рой,— расскажи так, чтобы я начала таять и умирать!

Футроз молчал.

— Ну, что же, скоро ли ты начнешь? — жалобно вскричала Элли.

— Все ли молчат? — невозмутимо осведомился Футроз.

— Все! — вскричали шесть голосов.

— Ветер выл, как стая гиен. В придорожную гостиницу пришел человек с мешком, с бородой, в грязной

одежде и заказал ужин. Кроме него, других посетителей не было в тот странный вечер. Хозяин гостиницы скучал, а потому сел к столу и заговорил с прохожим человеком — куда направляется, где был и кто он такой? Незнакомец сказал, что его зовут Сайлас Гент, он каменотес, идет в Зурбаган искать работу. Хозяин заметил одну особенность: глаза Сайласа Гента не отражали пламя свечи. Зрачки были черны и блестящи, как у всех нас, но не было в них той трепетной желтой точки, какая является, если против лица сияет огонь...

Рой заглянула в глаза отца.

— Даже две точки,— сказала она.— А у меня?

Элли подошла к ней и освидетельствовала зрачки сестры; та проделала это же самое с девочкой, и они успокоились.

— Нормально! — заявила Элли, возвращаясь на свое место.— Мы отражаем огонь. Дальше!

— Из сделанного хозяином наблюдения,— продолжал Футроз,— вы видите, что хозяин был человек мечтательный и пытливый. Он ничего не сказал Генту, только надел очки и с замешательством, даже со страхом, установил, что зрачки Гента лишены отражения — в них не отражались ни комната, ни хозяин, ни огонь.

— Как это хорошо! — сказал Давенант.

— Вот уж! — пренебрежительно отозвалась Титания.— Две черные пуговицы!

— Но пуговицы отражают огонь,— возразила Роэна.— Не мешайте Тампико!

— Теперь меня трудно сбить,— заявил Футроз,— но будет лучше, если все вы воздержитесь от замечаний. Сайлас Гент начал спрашивать о дороге. Хозяин объяснил, что есть две дороги: одна прямая, короткая, но глухая, вторая вдвое длиннее, но шоссейная и заселенная. «У меня нет кареты, сказал Гент, и я пойду короткой дорогой». Хозяину было все равно; он, пожелав гостю спокойной ночи, отвел его в комнату для ночлега, а сам отправился к жене, рассказать, какие бывают странные глаза у простого каменотеса.

Едва рассвело, Сайлас Гент спустился в буфет, выпил стакан водки и, направив свои редкостные зрачки на хозяина, заявил, что уходит. Между тем ураган стих, небо сияло, пели птицы, и всякая дорога в такое утро была прекрасной.

Сайлас Гент повесил свой мешок за спину, подошел к дверям, но остановился, сиова подошел к хозяину и сказал: «Послушайте, Пиггинс, у меня есть предчувствие, о котором не хочу много распространяться. Итак, если вы не получите от меня на пятый день письма, прошу вас осмотреть дорогу. Может быть, я на ней буду вас ожидать».

Хозяин так оторопел, что не мог ни понять, ни высмеять Гента, а тем временем тот вышел и скрылся. Весь день слова странного каменщика не выходили из головы трактирщика. Он думал о них, когда ложился спать, и на следующее утро, а проснувшись, признался жене, что Сайлас Гент задал ему задачу, которая торчит в его мозгу, как гребень в волосах. Особенно поразила его фраза: «Может быть, я буду вас ожидать».

Его жене некогда было углубляться в человеческие причуды, она резко заявила, что, верно, он напился с каменщиком, поэтому оба плохо понимали, что говорят. Рассердясь, в свою очередь, и желая отделаться от наваждения, трактирщик сел на лошадь и поскакал по той дороге, куда пошел Гент, чтобы не думать больше об этом чудаке, а если с ним что-нибудь приключилось, то, в крайнем случае, помочь ему.

Он въехал в лес, усеянный камнями и рытвинами, а после часа езды увидел, что Гент висит на дереве...

Тортон незаметно протянул руку к стене и погасил электричество.

Все вскочили. Девушки вскрикнули, а хладнокровная Титания, голося пуще других, требовала прекратить глупые шутки.

Сказав:

— То-то! Ха-ха! — Тортон пустил свет.

У всех были большие глаза. Рой держала руку на сердце.

— Это Тортон,— предал его Гонзак.

— Разве так можно делать! — строго вскричала Элли.— Все равно, что налить вам за воротник холодной воды!

— Я не буду,— сказал Тортон.

— Давенант, присматривайте за вашим соседом,— попросила Рой.— Впрочем, пересядьте, Тортон. Куда?! Туда, никуда, вот сюда.

Тортон повиновался.

Футроз не торопился. Ему было хорошо дома, он следил за переполохом с добродушием птицевода, наблюдающего скачки малиновок и щеглов.

— Ну,— сказал он,— можно кончать? Но мне осталось немного... Сайлас Гент висел на шелковом женском шарфе, вышитом золотым узором. Под ним на плоском камне были аккуратно разложены инструменты его ремесла, как будто перед смертью он или кто другой нашел силу для жуткой мистификации. Среди этих предметов была бумажка, исписанная самоубийцей. И вот, обратите внимание, как странно он написал: «Пусть каждый, кто вздумает ехать или идти по этой дороге, помнит о Генте. На дороге многое с л у ч а е т с я и будет с л у ч а т ь с я. Остерегитесь».

Почему погиб Гент, осталось навсегда тайной. Но с тех пор кто бы, презрев предупреждение, ни отправился по той дороге, он неизменно исчезал, пропадал без вести. Было три случая — с кем именно, я не помню, но третий случай стоит упомянуть особо: по этой дороге бросилась бежать лошадь, разорвав повод, которым была привязана, и, несмотря на все усилия, ее не нашли.

— Тампико, ты густо, густо присочинил! — сказала Элли, когда слушатели зашевелились.— Те, кто искал лошадь, должны были идти на загадочную дорогу, и если вернулись, то... сделай вывод!

— Я не оправдываюсь,— ответил Футроз.— Все запутанные дела несколько нелепы в конце. Увидев картину, я вспомнил Гента и купил ее.

— Что же все это значило? — спросил Давенант.— В особенности — глаза, не отражающие ничего... А он не был слеп! У одного охотника глаза были совсем крошечные, как горошины, между тем он мог читать газету через большую комнату и отлично стрелял.

— Ах, вот что! — сказала Рой.— Мы будем стрелять в цель. Прошлый раз Гонзак осрамился. Гонзак, мы дадим вам реванш. Элли тоже хочет учиться. Давенант, вы должны хорошо попадать,— у вас такие твердые глаза.

Стрельба издавна привлекала Давенанта как упражнение, требующее соревновательной точности. Такого рода забавы свойственны всем пылким натурам. Однако до сих пор ему пришлось стрелять только два раза, и

то в платном тире, соображаясь со своими скудными средствами.

— Я присоединяюсь,— сказал Футроз.— Нас семеро, хотя Элли не в счет, так как она все еще зажмуривается...

— Какая низость! — вскричала Элли.

— Ну конечно. Составим список и назначим приз,— не два, не три приза, а один, чтобы не было жалких утешений. Приз должен исходить от дам. Так значится во всех книгах о турнирах и других состязаниях.

— Так как приз получу я,— заявил Тортон,— не разрешат ли мне самому придумать награду? Ха-ха!

— Нет, это слишком! — возмутилась Титания.— Я стреляю не хуже вас и, вот назло, заберу приз.

Взаимно попеняв, остановились на следующем: если победит дама, она вправе требовать что хочет от самого плохого стрелка-мужчины, если произойдет наоборот, победителю вручается приз от Титании и Роэны, который они должны приготовить тайно и держать в секрете.

Футроз взял лист бумаги и написал:

Состязание хвастунишек

— Номер первый. Кто же первый?

— Разрешите мне быть последним,— обратился к нему Давенант, волнуясь и страстно желая получить приз.

— Последний хочет быть первым,— догадалась Титания.

— О Давенант, выступайте первым! — предложила Рой.

Но он не соглашался, как ни хотелось ему сделать все, что попросит Рой, Элли или Футроз. Он хотел выиграть, а потому — твердо знать, какие придется ему осилить успехи других участников.

— Становится любопытно,— заметил Гонзак.— Некоторые из нас довольно ретивы. Что касается меня — выйду под каким мне назначат номером.

Наконец список составился. Титания значилась первым, Рой — вторым, Тортон — третьим, Гонзак — четвертым и Давенант — пятым номером. Ранее прочих решили дать Элли выстрелить три раза, так как она очень просила.

Роэна с Титанией ушлн в другую комнату обсудить приз и вернулись с простосердечными лицами, положив на стол нечто завернутое в газету, маленькое и тяжелое. Затем они посмотрели друг на друга и важно приопустили взгляды.

— Какое-нибудь ехидство? — спросил Футроз, намереваясь пощупать сверток.

Но поднялся крик:

— Тампико, это нечестно!

Футроз позвонил и приказал слуге принести мишень, а также малокалиберную винтовку, пуля которой была не толще карандаша записной книжки. Мишень поместили на террасе, раскрыв стеклянную дверь гостиной. Стрелять следовало, став у внутренней двери, шагах в двадцати от мишени. Это был квадратный картон на верху треножной подставки; концентрические круги картона имели цифры от центра к окружности: 500, 250, 125 и т. д., а центр — черный кружок диаметром в один дюйм — означал тысячу.

— Ну, Элли,— сказал Футроз, заряжая винтовку,— иди сюда. Стань вот так.

— О папа, я отлично все знаю.— Элли, сжав губы, нахмурясь и приложив к плечу ружьецо, отставила широко ногу вперед, но от внезапного страха забыла все уроки, как берется прицел, и, нажимая пальцем мимо курка, стала жмуриться. Дуло ружья поднялось вверх, качнулось, и, крепко зажмурясь, стараясь не слышать визга убежавших за ее спину зрителей, Элли нашла курок и пальнула в золоченый карниз.

Настало глубокое, унизительное молчание.

— Что? Я попала? — сказала Элли, затем, вся красная, со слезами в глазах, осторожно положила винтовочку на ковер и ушла к дивану, где села, схватила отца за плечо и, спрятав лицо на его груди, расхохоталась.

— Хочешь еще попробовать? — спросил Футроз.— Но только с моими советами?

— Благодарю. Попробуйте кто-нибудь так, как я.

— Действительно! — сказала Рой.

— Ах, ах! Ты еще хуже меня!

— Номер первый! — провозгласил Гонзак.— Титания Альсервей!

Титания стала на место (каждый должен был сде-

лать семь выстрелов), снисходительно осмотрелась и с видом делающей грациозное одолжение, лениво заряжая и паля, отщелкала свою порцию, почти не целясь. Слышен был только скользящий металлический звук затвора и негромкие хлопки выстрелов. Она передала оружие Роэне, и все отправились смотреть мишень.

Две дырки были на 250, одна на 125 и четыре разного значения, но мельче цифрой; по подсчету всего — семьсот пятьдесят очков. Эти отверстия перечеркнули красным карандашом.

— Это я старалась для Тортона,— объявила Титания.— Теперь я посмотрю, так ли он уверен в себе, как говорил.

— А все же — ха-ха! — вы не отстукали тысячу! — заметил Тортон.

— Хорошо, хорошо, посмотрим!

Настала очередь Рой. Давенант понял, что она волнуется и старается. Он мысленно помогал ей, напрягаясь перед спуском курка, задерживая дыхание и шепча: «Точнее, точнее».

— Не смотрите на меня,— сказала Рой.— И не смешите.

Это относилось к Гонзаку, который послушно отвернулся. Роэна целилась долго, но в момент выстрела дуло слегка трепетало. Каждый раз, начав прицеливаться, она мягко отводила рукой волосы со лба и, выставив вперед подбородок, пристраивалась щекой к ложу особым, ей лишь свойственным, интимным движением.

Подсчет очков произвел Давенант, считая явно пристрастно, так как одно отверстие на линии 250—125 объявил за 250, чем удивил и насмешил девушку.

— Вы очень добры, Давенант,— сказала она,— только мне это не нужно. Скиньте-ка сто двадцать пять.

Оказалось, после придирчивой проверки Элли и Тортона, что Рой настреляла пятьсот пятьдесят.

— О, неплохо! — сказал Футроз.— Тем более, что в прошлый раз бедняга успокоилась на ста пятидесяти.

— То-то! — вскричала Рой, кружась и помахивая ружьецом.— Кому страдать? Тортон, вам.

— «При всеобщем глубоком молчании,— сказал Гонзак,— атласский стрелок вогнал пулями гвоздь на расстоянии пятисот метров».

— Хорошо смеется последний,— ответил Тортон.

Он взял ружьецо в левую руку и, вскинув его, как пистолет, то есть не прикладывая к плечу, выстрелил с вытянутой руки.

— На круге с цифрой 500,— заявил он, всмотревшись, затем выстрелил с правой руки.

— Только две руки,— пытался пошутить Гонзак, которому стало завидно.

— Нам хватит. Ха-ха!

Беря поочередно ружьецо правой и левой рукой, Тортон швырнул свои пульки в мишень и раскланялся на все стороны, как актер у рампы.

— Какова наглость! — сказала Титания.

— Вы, Титания, должны перечеркнуть мои попадания,— строго заявил Тортон,— так как высмеивали меня, пока я наблюдал ваши горделивые упражнения.

Закусив губу, Титания взяла карандаш и пошла к мишени.

Тортон выбил девятьсот двадцать очков, не попав в центр, и все ахнули; но обнаружился заговор.

— Это случайно,— сказала Рой, с состраданием смотря на опешившего стрелка,— это не более, как счастливая случайность.

— Понятно, случайность,— поддержал Гонзак.

— Дикий, нелепый случай! — ввернула Тита Альсервей.

Футроз смеялся.

— Папа, отчего ты смеешься? — спросила Элли, втянув щеки и рассматривая Тортона унылыми большими глазами.— Тортон ошибся. Он не хотел попасть. Правда ведь, вы не хотели этого?

— А ну вас! — яростно вскричал Тортон.— Девятьсот двадцать. Чего же еще?

— Но не полторы тысячи,— заметила Титания.

— Тортон, не огорчайтесь,— утешила его Рой,— в следующий раз вы попадете по-настоящему, добровольно.

— О мелкие, завистливые душонки! — взревел Тортон.

Его подразнили еще и оставили в покое.

— Факт тот, что я получу приз,— объявил он и уселся с торжеством на диване.

Следующим выступил Гонзак. Он стрелял, сардонически улыбаясь, скверно попадал и был так пристра-

стен к себе, что его триста очков пришлось пересчитывать несколько раз. Вдобавок он уверял, что ему подсунули патроны с наполовину отсыпанным порохом.

— Давенант, вам,— сказал Футроз.— Боюсь, что после Тортона вы в безиадежном положении, как и я.

Давенант увидел черные глаза Рой, стесненно взглянувшей на его замкнутое лицо.

— Давеиант! Пожалуйста, Давенант! — закричала Элли.

— Что вы хотите? — спросил он, улыбаясь в тумане, где блестели направленные на него глаза всех.

— О Давенант! Я хочу...— Элли зажала рукой рот, а другой рукой тронула завернутое в газету.— Будьте только спокойны!

— Будьте, будьте спокойны! — крикнули остальные.

— Я не знал, что судьи пристрастны! — сказал Тортон.

— Судьи как судьи,— заметил Гонзак.— А еще говорят, что женщины должны занимать судейские должности.

— Тише! — сказала Рой.

Став на место, Давенаит так взволновался, что у него начали трястись руки. «Неужели я хочу быть первым?» — подумал он, сам удивляясь, как страстно стремится получить таинственный приз. Он видел, что его иапряжение передалось всем. Пылким волнением своим он невольно заставлял ожидать странных вещей и должен был оправдать ожидание. Он испугался, замер и начал прицеливаться. Едва он начал брать прицел и увидел за острием мушки черные круги, напоминающие поперечный разрез луковицы, как испуг исчез, а мишень начала приближаться, пока не очутилась как бы на самом конце дула, которое упиралось в нее. Он подвел мушку к нижней черте центральной точки и увидел, что ошибется. Свойства ружья были в его душе. Он видел мушку и цель так отчетливо, как если бы они были соединены с его пальцами. Почувствовав, что ошибся, Давенант увел мушку к левой черте центральной точки и снова ошибся, так как теперь пулька должна была пробить круг с цифрой 500. Он не знал, почему знает, но это было именно так, не иначе. Тогда, заведя мушку на правый край точки, немного ниже ее центра, а не в уровень с ним, и не чувствуя более сом-

нений в руке, палец которой прижимал спуск, Давенант, сам внутренне полетев в цель, спустил курок и увидел, что попал в центр, так как на ием блеснуло отверстие. Ничего не видя, как только отверстие, охваченный холодным, как сверкающий лед, восторгом и в совершенной уверенности, делающейся мучительной, как при чуде, Давенант выпустил остальные пули одна за другой, ловя лишь то сечение момента, в котором слышалось «так», и, ничего не сознавая, пошел к мишени, дыша, как после схватки, с внезапным сердцебиением.

— Ура! — вскричала Рой, первая подбежав к мишени, и, оборотясь к Давенанту, схватила его за плечи, толкая смотреть.— Видите, что вы наделали?

— Что там? — крикнул заинтересованный Футроз.

— Он попал в тысячу! — воскликнула Элли.

— Все в центре,— сказала Титания тоном вежливого негодования.

Футроз встал и пошел смотреть. Давенант, молча улыбаясь, оглядывался, наконец подошел и остановился против мишени. Это был действительно подвиг со стороны начинающего стрелка. Два отверстия даже слились краями, образовав подобие гитары, третье было чуть ниже и четыре прочих у самого края центрального кружка с внутренней его стороны.

Это полное и неожиданное торжество Давенанта собрало всех возле него. Элли трясла его руку, Рой взяла от него ружье и поставила к стене, Гонзак, часто мигая, смотрел на победителя в упор, а Тортон, подавив зависть, спросил:

— Как это могло быть? Стало быть, вы рекордсмен?

— Ничего подобного,— ответил Давенант, которого общее волнение привело в замешательство.— Я вам расскажу. Я стрелял всего несколько раз в жизни, не лучше, чем Рой...

— Благодарю вас,— сказала девушка, насмешливо приседая.

— О, я не хотел...— встревожился Давенант, но, получив успокоительный знак, продолжал: — Стрелял скверно, а сегодня на меня что-то нашло. Я сам не понимаю, поверьте, я удивлен не менее вас.

— Я знаю это чувство, Давенант,— сказал Фут-

роз: — Голова горит и под ложечкой истерический холодок?

— Пожалуй.

— А вы о ч е н ь хотели? — серьезно спросила Роза, приказывая взглядом ответить так же серьезно.

— Да, очень,— сознался Давенант и вспыхнул.— Однако все хотели этого.

— Вы правы. Получайте ваш приз. Кто угадает, что здесь такое?

Говоря так, она взяла сверток и, видя, что Гонзак нагнулся, дала ему понюхать.

— Духи? — сказал он.

— Что-о-о?!

— Часы с надписью? — сказал Тортон.

— Рой, покажи им! — вскричала Элли.

— Разумеется, не надо мучить Давенанта,— заметил Футроз.

Тиррей получил сверток и застенчиво развернул его. Там оказался маленький серебряный олень на подставке из дымчатого хрусталя. Олень стоял, должно быть, в глухом лесу; подняв голову, вытянув шею, он прислушивался или звал — нельзя было уразуметь, но его рога почти касались спины. Оленя девушки нашли среди вещиц, оставшихся после матери.

— Серьезный приз,— сказал Футроз, о чем-то задумываясь.

— О, я не ожидал, что это так хорошо! — наивно восторгался Тиррей.

— Теперь вы владеете оленем,— сказала Элли, видя удовольствие, с каким Давенант принял хорошенькую безделушку.

Почти вслед за вручением приза Титания уехала домой, сопровождаемая Гонзаком и Тортоном. Давенанту не хотелось выходить с ними, и он задержался, однако, узнав, что уже двенадцатый час, тоже, наконец, встал. Если бы было можно, он просидел бы до утра.

— Вот что,— сказала Рой,— хотите выйти таинственно? Так будет хорошо после всего. И это к вам идет. У нас есть в саду С е з а м, а ключ от Сезама папа носит с собой.

— Да,— сказал Футроз, сдерживая зевоту,— ключ этот сделан из меча Ричарда Львиное Сердце, закален

в крови дракона и отпирает дверь только при слове: «Аргазантур».

— Ну-ка, давай нам «Аргазантур»! — Элли протянула руку: — Тампико, дай!

— Может быть, Давенант предпочитает ту дверь, которой вошел?

— Не отвечайте ему,— приказала Рой,— папа вас собьет. Ключ взяла, Элли?

Горничная принесла шляпу Тиррея. Он простился с Футрозом и вышел через террасу в сад.

Девушки шли рядом с ним, шаля и смеясь. Лиц их он не различал. Очаровательный темный путь в старом саду был полон таинственно-чистого волнения. Давенант шел совершенно счастливый; было бы ему еще лучше, если б он остался сидеть здесь, когда все уснут, под деревом, до утра.

Они свернули, прошли среди кустов к стене, где была высокая ниша, запертая железной калиткой. Из-за нее, с переулка, слышались езда и шаги.

Рой стала отпирать, но не смогла и уронила ключ в траву. По звуку падения ключа Давенант немедленно отыскал его, накрыв ключ рукой.

Едва он вскричал: «Нашел!» — как две остывшие от росы девичьи руки ткнулись об его руку и сжали ее.

— Я нашла, но вы первый схватили.— Рой попыталась отодвинуть его пальцы, вместо них ей попалась рука Элли.— О,— сказала она,— где же ваша рука?

— Она тут.

— Вот она, под моей! — Элли сильно придавила руку Тиррея.— Я уже коснулась ключа, Рой, честное слово, а он схитрил!

Три руки лежали в сырой траве, взаимно грея друг друга, наконец, ключ каким-то путем оказался у Рой, и она с торжеством вскочила.

— Позвольте, я открою! — предложил Давенант.

— Ну, открывайте. «Аргазантур»! — раз!

— «Аргазантур»! — два! — пискнула Элли.

— И «Аргазантур»! — три! — сказал Давенант, одолевая тугой замок.

Он оттянул железиую дверь и вышел, но, обернувшись, остановился.

— Идите, идите! — закричали девушки и, прикрыв калитку, договорили в щель: — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — ответил Давенант.

Замок щелкнул.

«Теперь они поспешно бегут назад»,— подумал Тиррей и по дороге из лучей и цветов пошел домой.

ГЛАВА V

Как всегда, Давенанту открыла дверь старуха Губерман, стремившаяся подсмотреть, не целует ли жилец у порога какую-нибудь девицу. На этот раз другое было в ее уме, а Тиррея ожидало событие настолько скверное, что, знай он о нем, он предпочел бы вовсе не являться домой.

В серых глазах Губерман таилось нестерпимое любопытство, жажда нюхать, грызть чужую жизнь. Глубокомысленно и лицемерно вздохнула она, открыв дверь. Схватив жесткой лапой плечо Давенанта, старуха стала шептать:

— Бедный мальчик! Мужайтесь! Бог послал вам радость! Он пришел, ждет вас уже два часа в вашей комнате. Он такой жалкий, несчастный. Соберитесь с силами.

— Кто ждет? — тревожно сказал Давенант, бессмысленно подумав о Галеране и отстраняясь, так как старуха дышала странными словами своими прямо ему в лицо.— Скажите, кто пришел? Разве пришел?

— Боже, помоги ему! Ваш отец!

— Не может быть!

— Ах, не волнуйтесь так! Провидение ведет нас. Ступайте, ступайте к отцу!

Давенант бросился вперед и открыл дверь.

У стола сидел оборванный седой человек с тяжелым, едким лицом, подвыпивший и сгорбленный. Встав, он патетически протянул руки.

Губерман медленно закрывала дверь, не в силах отойти от нее.

— Сын?! — сказал неизвестный.

Давенант отшатнулся. Он узнал исполнителя тюремных песен в ресторане на Лунном бульваре. Слово «сын» убило его. Чувствуя внимание сзади себя, Давенант повернулся к двери, где красный, слезящийся нос Губерман таился в тени.

— Прочь! — сказал он. Дверь дернулась и захлопнулась.

— Какой сын? — спросил Давенант.— Кто вы?

— Значительный момент! — ответил оборванец.— Мой сын — ты, Тиррей Давенант. Я — твой отец.

— Я думал, вы умерли,— произнес Давенант, теряясь и дрожа, как в ожидании приговора.— А впрочем, чем вы это докажете?

— Неприятно? Да? — сказал Франк.

— Я не знаю. Что я могу сделать?

Франк пожал плечами.

— Я тоже ничего не могу сделать,— заявил он.— Значит, встреча не вышла. Я должен был явиться в автомобиле. Самое неблагодарное дело — это представлять себе встречу после многих лет. Чего ты дрожишь?

— Я хочу доказательств,— с отчаянием сказал Тиррей, хотя инстинкт родства и воспоминания о портретах отца установили горькую истину, которой противился он всем существом. Перед ним стоял не мечтатель, попавший в иной мир под трель волшебного барабана, а грязный пройдоха.

— Вы пели в саду, как нищий,— сказал Тиррей.— А теперь пришли.

— Ах, вот что? Так ты меня видел, но не узнал? Будь ты проклят! — зашипел Франк, теряя охоту разыгрывать нравственное волнение.—Я привык обедать, понимаешь? Одним словом, мы познакомились. Когда-то ты был пятилетним. Те твои черты проглядывают даже теперь. Забавно! Ты куда? Мы еще только начали говорить.

— Мне нужно,— сказал Тиррей, сам не зная, зачем стремится выйти.— Я скоро вернусь.

— В таком случае принеси мне бутылку вина. Деньги есть? Мне кажется, что ты вырос бесчувственным. Так вот, смотри и смирись: я твой отец.

Тиррей тупо взглянул на него и вышел без шляпы в коридор, где, забыв направление, приблизился к раскрытым дверям гостиной. Там, за столом, сидел Губерман с женой. Раскрыв рты, были оба они —слух и внимание. Заметив жильца, Губерманы дернулись встать, но удержались, воззрясь на Тиррея так пристально, как если б он шел по канату. Отрицательно

качнув головой в знак, что ошибся, Давенант отыскал выходную дверь и очутился на улице.

Ему некуда было уйти, нечего было делать среди громкого разговора прохожих. Он тоскливо открыл дверь, желая вернуться, но вспомнил о вине и перешел улицу; затем некоторое время стоял в магазине среди суеты покупателей, тягостно отвлекавшей его от созерцания боли, ударившей так бесчеловечно. Впечатление вечера у Футроза еще билось, как нервный тик, в его душе, но те чувства уже исчезли; возвращение отца сыграло роль предательского удара, после которого столкнутый в воду стремится не к радостям береговой прогулки, но только к спасению.

Тиррей вернулся, стараясь ободриться и твердя: «Все-таки ведь он мой отец!» Но значение этих слов только еще больше угнетало его. Отчасти выручило Тиррея естественное любопытство — печальное любопытство узника, больное сознание которого после звука ключа в дверях камеры, устанавливающего погребение заживо, начинает постепенно интересоваться устройством камеры и видом из окна сквозь решетку.

Давенант вернулся, впущенный на этот раз прислугой, так как даже старуха Губерман не решилась еще раз увидеть сокрушенное лицо жильца, в комнате которого происходила такая редкая и тяжелая сцена.

— Я принес вино,— сказал Давенант, ставя на стол бутылку.— Как вы меня нашли? Вы должны знать, что я вас почти не помню. Теперь, глядя на вас, я что-то припоминаю. Вам не везло? Зачем вы бросили нас?

За время короткого молчания Франка Тиррей внимательно рассмотрел его, усевшись на стуле в углу комнаты. Бродяга, отрывисто, но пристально наблюдая за сыном, хранил среди грязных своих усов затяжную улыбку, метившую выражение его лица дикой и тонкой, совершенно не отвечающей моменту двусмысленностью. Его старое кепи из темного шевиота валялось на столе подкладкой вверх, и в этом кепи лежала круглая жестянка с табаком. На ее крышке была изображена голая женщина с роскошными волосами. Одетый в рваную матросскую фуфайку, когда-то синей, а теперь грязно-голубой фланели, ластиковые черные брюки, заплатанные на коленях квадратами, вшитыми старательно, но криво, как штопают мужчины, вынужденные

судьбой носить в кармане иголку и нитки, Франк Давенант, согнувшись, сидел у стола. За расстегнутым воротом его фуфайки торчали обрывки белья, цвета трудно вообразимого. На его ногах были старые кожаные калоши. Разговаривая, он достал трубку с обгрызанным черешком и набил ее смесью сигарных окурков, собранных на улице. Вдавив табак в трубку желтым, как луковая шелуха, ногтем большого пальца, отец еще раз взглянул на сына поверх поднесенной к трубке горящей спички, отбросил ее и, обратясь к бутылке, вытащил пробку штопором своего складного ножа. Давенант подал стакан.

— О боже! Что с вами было? — спросил Тиррей, содрогаясь от печали и злобы.

— Я пал,— Франк выпил стакан вина и обсосал усы.— Так говорят, так ты услышишь, таково ходячее мнение. Но я прежде скажу, как я тебя разыскал. Видишь, Тири...

При этом уменьшительном имени «Тири», каким звала его всегда мать, Тиррей ощутил подобие терпимости. Возвращение Франка начало принимать реальный характер. Заметив его чувства, Франк повторил:

— Да, Тири, это я выдумал тебе такое имя. Корнелия хотела назвать тебя Трери... Впрочем, все равно... Так вот, я зашел в дом, где мы жили тогда. Там еще живет Пигаль, его должен ты помнить: он однажды подарил тебе деревянную пушку. Ну-с, он больше не служит в управлении железной дороги, а так... Хотя... Да, о чем это я? Его дочь служит в банке. Ах, да! Так вот, он мне рассказал, что ты возишь тележку у Гендерсона, а Гендерсон направил меня к Кишлоту. Итак, ты сразу стал заметен на горизонте моих поисков.

— Кишлот узнал от вас, что вы... Что я ваш...

— А как же иначе? Он посвятил меня в твои дела. Фаворит?! Как это тебе удалось? Тири, смышленый тихоня, ведь ты поймал жирную кость и можешь заполучить богатую жену, разве не так? Которая же из двух? Одна созрела... Хотя как ты должен быть до конца умен, чтобы стебануть этот кусочек! Родители твоей матери ни черта не дали за Корнелией, и оттого мои дела пошатнулись... Хотя... Да, я все-таки любил эту бедную большеглазочку, твою мать, однако меня ограбили.

Слушая речь отца, в которой остаток прежней манеры, выражаемой голосом, еще не совсем разучившимся соединять мысль с интонацией, так странно аккомпанировал смыслу слов, Давенант замер. Его охватило развязным смрадом.

— Так с этим вы пришли ко мне? Вы, отец? — крикнул Давенаит, сдерживая слезы гнева.— Не смейте говорить ничего такого ни о Футрозах, ни о матери! Я только что пришел от Футроза. Там было мне хорошо и никогда, никогда,— слышите вы, отец? — никогда не было так хорошо, как там! Но вы этого не поймете. А я не могу рассказать, да и не хочу,— прибавил он, исподлобья рассматривая Франка Давенанта, который, тяжело полузакрыв глаза, слушал, ловя в этих словах сына черты характера, могущие пригодиться.

— Слышу, сын,— едко ответил Франк.— Вначале я думал, что ты не сентиментален. Это скверно. Впрочем, мы еще только начали наше сближение. Там увидим.

— Я не вещь,— сказал Давенант.— А что вы хотите сделать?

— Ха-ха! Ничего, Тири, решительно ничего.

— Зачем вы вернулись?

— Милый, я здесь проездом из Гель-Гью. Я, собственно говоря, не понравился капитану «Дельфина», так как доказал ему, что, с юридической точки зрения, отсутствие билета не есть повод считать меня выбывшим из числа пассажиров. Я хотел выдать ему письменное обязательство об уплате сроком на один год, но эта скотина только мычала. Зачем я вернулся? Я не вернулся, Тири. Того человека, который одиннадцать лет назад ушел из дома, чтобы разбогатеть в чужих краях и приехать назад богачом, больше нет. Я — твой отец, но я не тот человек.

— Чтобы разбогатеть?

— Да. Романтический порыв. Я написал Корнелии. Разве она не получила моего письма? Я не имел ответа от нее.

— Письма не было,— сказал Тиррей.— Мне все известно: как вас разыскивали, как... Не было, не получалось письма.

— Ну, тогда это письмо пропало. Правда, я поручил бросить его в ящик одному человеку... Ага! Он

мог, конечно, потерять письмо. Но, как бы там ни было, я счел себя преданным проклятию. А я знал силу характера Корнелии, я знал, что она мужественно перенесет два-три года, за что будет вознаграждена. Но... да, мне не везло. Хотя... Время шло. Я встретил другую, и... таким образом, жизнь распалась.

Франк Давенант лгал, но Тиррей скорее мог поверить такой версии, чем — по незнанию лишаев души — истинной причине странного поступка отца. Франк ушел из болезненного желания доказать самому себе, что м о ж е т уйти. Такое извращение душевной энергии свойственно слабым людям и трусам, подчас отчаянно храбрым от презрения к собственной трусости Так бросаются в пропасть, так изменяют, так совершаются дикие, роковые шаги. Это самомучительство, не лишенное горькой поэзии слов: «пропавший без вести»,— началось у Франка единственно головным путем. Немного больше любви к жене и ребенку — и он остался бы жить с ними, но его привязанность к ним благодаря нетрезвой жизни, темной судейской практике и бедности приобрела злобный оттенок; в этой привязанности таилось уже предчувствие забвения. Все же ему пришлось сделать громадное усилие, чтобы решиться уйти с маленьким саквояжем навстречу пустоте и раскаянию, при том единственном утешении, что он может теперь созерцать трагический колорит этого, по существу низкого, поступка. Но т а к у ю истину Тиррей счел бы бессмысленной ложью; ничего не поняв, он остался бы в убеждении, что его отец сходит с ума. Со своей стороны, Франк опасался делать сыну эти признания. Итак, он лгал. Тиррей не верил письму, но кое-как верил в попытку разбогатеть. Давенант ничего не сказал отцу. Решив свести его в трактир, чтобы там покормить, мальчик сделал хмурое соответственное предложение.

— Ты добр, это тоже... гм... не совсем хорошо... Хотя... Я действительно хочу есть. Так ты богат, плут? А знаешь, ведь ты красивый мальчик, Тири! Покажи, сколько у тебя денег?!

— Вам надо денег?

— Дай, дай мне денег! Я хочу денег!

— Возьмите,— Тиррей подал ему золотую монету.

— Благословенный кружок! Как давно я не видал

тебя! — вскричал отец, запрятывая с довольным видом деньги в грудной карман блузы.— Цыпленок, так ты несешь золотые яйца? А что будет, когда ты пойдешь к Футрозу со мной, когда я разжалоблю его своей судьбой! Хо! У меня планы, я могу...

— О Футрозах забудьте! — дрожа, сказал Тиррей.— Не делайте меня несчастным! Ведь все кончится, я уже буду не тот! Поймите, если вы мой отец!

— Ну, ну, хорошо, идем, это я так, от радости... Хотя... Я ночую у одного типа, он ходит в трактир «Хобот», туда ты меня и веди.

Нахлобучив кепи и сунув табачную коробку в карман брюк, Франк Давенант, тяжело опершись ладонью о край стола, поднялся и вышел за Тирреем, егозливо кланяясь старухе Губерман, вылетевшей на звук шагов с последними осведомительными надеждами. Несколько спесиво она сказала бродяге:

— Спокойной ночи, идите, идите, я вас понимаю, сама — мать, все устроится к лучшему. А вас, молодой человек, когда назначите ждать? Уже полночь.

— Я приду утром,— неожиданно ответил Тиррей.

— Разумеется, мы проговорим всю ночь! — подхватил Франк.— Простите, я утомил вас разговором, долгим ожиданием... Но вот мой мальчик, мой Тири, я нашел его. Твой старый отец всегда болел душой о тебе, Тири. Да, это так. Чудо! Все это — чудо, я говорю.

Тиррей, вспыхнув, вышел. Франк, охмелевший и ободрившийся, быстро догнал его, начав просить сына, чтобы тот ничего не говорил Губерманам о его истинной судьбе.

— Так как,— сказал Франк,— сам понимаешь, она не поила бы меня кофе. А она поила меня. Я заплатил ей жалобами на коварство людей и рассказал, что вынужден был скрыться из дома ради счастья своей жены, которая, то есть Корнелия, будто бы любила другого, так вот, я «сошел с дороги» и... так далее. Я врал... ничего. Я сам слушал себя с удовольствием. Она еще пригодится нам, эта старуха.

По дороге он останавливался у освещенных витрин запертых магазинов, разглядывая дешевые костюмы, как человек с деньгами, иногда бормоча:

— Да, да, мог бы теперь купить вот этот пестренький, если бы сын немного добавил мне. Главное — баш-

маки. Вот хорошие башмаки, видишь, Тири? Они дешевы. Из того, что ты дал, могу купить башмаки и носки. Ну, идем. Город дьявольски разбогател за одиннадцать лет!

Они шли кратчайшим путем, через падающие лестницами переулки, к порту, вблизи которого находился «Хобот». Вывеска, загнутая над входом с угла по обе стороны фасада, изображала голову слона; в поднятом хоботе торчал рог изобилия. За первой, большой, комнатой, пахнущей, как рынок в сырой день, и ярко освещенной, где металось множество жалких или бесчеловечных лиц, объединенных подобием общего крикливого возбуждения, находилась комната поменьше. Тиррей увидел человека в грязной белой рубашке, с постным лицом и толстой нижней губой; его влажные глаза, поставленные на треугольники подглазных мешков, светились пьяным смехом.

Франк Давенант направился к этому человеку, который, почесав шею, молча осмотрел Тиррея с ног до головы и сказал:

— Что, Франк, разыскали сыночка? Вот это он самый? Трагедия отцов и детей! Судя по его костюму, ты будешь спать сегодня в кровати с балдахином!

— Не дурачьтесь, Гемас,— ответил бывший адвокат, садясь на табурет у стола и оглаживая лицо рукой.— Присядь, Тири. Итак, ты угощаешь меня? Угости заодно Гемаса. Он — замечательный человек, Тири, некогда он задавал тон.

— Бывали деньки! — сказал Гемас.— Христина!

Появилась служанка, считая в руке деньги. Она рассеянно взглянула, увидев три пальца Франка, поднятые вверх, и, кивнув, принесла три фаянсовые кружки белого вина, после чего Франк потребовал две порции котлет, а Тиррей отказался есть.

— Выпьешь, Тири? — обратился отец к сыну.

Туман отчаяния так стеснил дыхание Давенанта, что, захотев вина, он кивнул и сразу выпил полкружки. Франк пристально посмотрел на него, но, убедясь, что в поступке сына не кроется ни вспышки, ни выходки, взглянул с усмешкой на Гемаса. Тот значительно опустил веки. Приятели усердно ломали котлеты кривыми вилками, запивая еду вызывающим изжогу дешевым вином.

Тиррей выпил еще. Стало спокойнее на душе, лишь в картинном безобразии ярко освещенного пьяного трактира тревожно проплывали красно-желтые оттенки гостиной Футроза, а хохот женщин вдали преступно напоминал о ясном смехе Элли и Рой.

— Как же ты жил, мальчик? — спросил Франк, кончив есть.— Понимаете, Гемас, все это — как встреча во сне. Рассказывай!

— Вы не очень помнили о нас, так что же спрашивать?

— О, смотри, пожалуйста... Ну, а все-таки?

— Жили,— сказал Тиррей.— Жили так и этак. Бедствовали. А что?

— Ваш сын прав,— заявил Гемас.— Сразу обо всем не переговорить. Я слышал — вам повезло? — обратился Гемас к юноше тоном игривого участия.— Вы пользуетесь покровительством влиятельных лиц?

Тиррей хотел резко ответить Гемасу, но его предупредил Франк, сказав:

— Не торопитесь, Гемас. Я сам. Тири, хочешь ты мне помочь?

— Говорите,— сказал Тиррей.— Я не знаю, о чем вы думаете.

— Милый, это так просто. Поговори обо мне с Футрозом. Скажи, что вот неожиданно нашелся твой отец, раздетый, разутый... Ты потрясен. Ну, короче говоря, сказать ты сумеешь. Отец, скажи, был конторщиком на чайных плантациях, заболел, полтора года пролежал в больнице и обнищал. Мы это разработаем подробнее. В таком случае...

— Напрасно надеетесь,— перебил Тиррей.— Я никогда не сделаю этого. Я не могу.

— П-сс! — удивленно отозвался Гемас.

— Как это — «не могу»? — сказал Франк.— Почему не можешь?

Тиррей, хмурясь, молчал, смотря вниз.

— Ты не хочешь,— вздохнул Франк.— не хочешь из-за дурацкого твоего упрямства. Послушай, ведь тебе не наносят вреда, наоборот, ты выиграешь, являясь заботливым сыном. Да я клянусь тебе, что Футроз сам захочет меня увидеть, когда ты сообщишь ему о таком происшествии!

— Не знаю,— с трудом ответил Тиррей.— Говорите

что хотите. Я не скажу ничего Футрозу, я лучше умру. Не заставляйте меня сказать вам что-нибудь еще, вам будет нехорошо.

— Так вот как...— медленно сказал Франк.— Неужели ты не понимаешь, что твой удачный случай послан судьбой для меня, а не для тебя?

— Вы слышали мой ответ. Ничто не поможет.

Гемас с презрением осмотрел Тиррея и помахал кружкой. Служанка наполнила опять все кружки, и Франк залпом выпил свою, держа ее трясущейся от гнева рукой.

— Ну хорошо,— заявил он, посасывая усы.— В таком случае я сам отправлюсь к Футрозу.

— Хорошо, что вы это мне сказали,— твердо произнес Тиррей, и его полные слез глаза ответили испытующему, прищуренному взгляду отца таким отчаянным вызовом, что Франк сунул руки в карманы и откачнулся на стуле с бесшабашным видом, сказав:

— Ну-ка, заплачь в самом деле, чувствительный идиот.

— Если вы пойдете к Футрозу,— продолжал Тиррей,— то я предупрежу вас. Я скажу, чтобы вас не принимали. Я расскажу о встрече на Лунном бульваре и о том, кто вы теперь.

Наступило молчание. Гемас, ухмыляясь, водил по столу пальцем в лужице пролитого вина, а Франк Давенант задумчиво набивал трубку, иногда внезапно взглядывая на сына, который в свою очередь рассматривал его так, как смотрят на упавшую и разбитую вещь.

— Кто же это — «я», да еще «теперь»? — иронически спросил Франк.

— По-видимому, вы — преступник,— не задумываясь, ответил Тиррей.— Не ошибусь, если скажу, что вы сидели в тюрьме. Я все понял.

— Договорились! — сказал Гемас.

Франк медленно поднял брови; скорбная и коварная улыбка перекосила его изменившееся лицо.

— Тирп, я виноват,— произнес он с торжественным выражением.— Я забыл разницу наших жизненных опытов. Бог с тобой. Завтра утром я к тебе загляну.

— Не приходите ко мне. Где-нибудь в другом месте.

— Ах так? Хорошо... Хотя... Тогда приходи сюда.

— В какое время?

— Приходи утром, к десяти часам.

— Сказано. Я приду.

— Отлично, сынок. Поговорим подробно; узнаешь, как я жил... как ты... Предадимся воспоминаниям. Уходишь? Ну, а мы еще посидим немного, две старые калоши... Хе-хе!

Тиррей заплатил служанке и, кивнув, направился к гавани, чтобы ходить там до полного изнурения — идти домой спать он не мог. Больше того, казалось ему, что он никогда уже не захочет спать.

Бесцельно огибая углы подозрительных переулков или сидя на каменных лестницах скверов, Давенант с тоской ожидал рассвета, чтобы пойти к Галерану и все ему рассказать. Он верил, что Галеран выручит его. Угроза Франка вымогать у Футроза, объявив себя отцом, убивала Тиррея. Отношение к нему этой семьи должно было неизбежно стать осторожным и недоверчивым. Тиррей отлично понимал разницу между горячим сочувствием к нему лично и необходимостью, навязанной — ради него — сочувствовать разнузданному пройдохе, усмотревшему в своем сыне доходную статью. Довольно было Футрозам узнать о существовании Франка Давенанта, чтобы Тиррей не решился более показаться им на глаза. Скрывать, скрывать и скрывать должен был он возвращенне своего отца, и он решил утром просить Франка, ради памяти матери, умолять и просить, если понадобится, на коленях, чтобы отец оставил свою затею. С помощью Галерана Тиррей надеялся достать немного денег на отъезд Франка в другой город и уговорить отца, чтобы тот сел в поезд или на пароход.

В таких размышлениях, перебиваемых изредка печальным боем часов, прошла страшная ночь, и, когда рассвело, Давенант поспешил к Галерану, но узнал там, что Галеран дома не ночевал. Впервые мысль об особости каждой человеческой жизни, преследующей свои интересы и не обязанной знать, как страстно ждет от нее спасения другой человек, предстала Тиррею со всей безвинной горечью ее смысла. Растерявшись,— так как только теперь ощутил, как одинок он со своей бедой,— Давенант отправился разыскивать Галерана по улицам, все надеясь, что встретит его высокую фигуру среди ей подобных фигур. Устав оглядываться во все стороны, Давенант наконец пришел домой, и, недовольная ранним

звонком, впустила его заспанная служанка. Он вошел в свою комнату с таким чувством, как будто не был в ней несколько лет. Пустая бутылка от вина и окрашенный вокруг донышка закисшим вином стакан источали тленный запах. Тут сидел отец, тут Давенант угощал его. Задернув занавеску окна, так как ослепляющие лучи солнца обманывали, сияя без утешения, и грели, не согревая, измученный Давенант лег на кровать, почти тотчас уснув. Когда пришло время, служанка внесла кофе и разбудила спящего, он сказал: «Хорошо»,— опять уснув так же крепко, без сознания своего краткого пробуждения. Все время ему снился отец, и он говорил с ним о тяжелых вещах. Наконец Давенант проснулся. Вскочив, он старался понять смысл тревоги, овладевшей им, но не сразу вспомнил о том, что случилось вчера. Кофе давно остыл. Взглянув на часы, Тиррей спохватился, так как приближался полдень.

Мучаясь страхом, что, устав ждать в «Хоботе», отец с минуты на минуту может явиться сюда, да еще, может быть, не один, а с Гемасом, Тиррей начал торопливо застегиваться. Схватив шляпу, искал он глазами сам не зная чего, твердя:

— Только бы выйти в дверь... Вот-вот раздастся звонок...

Действительно раздался звонок, и Тиррей услышал его в момент, когда открывал дверь своей комнаты. Оцепенев, он немедленно снял шляпу и отошел к столу, зная уже, что пришел Франк Давенант. Он слышал его лебезящую благодарность старухе Губерман, шаркавшей своими туфлями в передней, и ее лживые вздохи. Тогда Тиррей открыл дверь, не дожидаясь стука, и Франк уверенно вошел в комнату с небрежным пьяным жестом, которым как бы приглашал мир раскрыться перед его благодушием.

С первого взгляда Тиррей заметил, что отец пьян как стелька и, вероятно, не спал. Хотя был он выбрит, умыт, его старое, в красных жилках лицо по-прежнему не внушало никакого доверия.

— Я ждал,— сказал Франк, беря обеими руками руку сына и похлопывая ее.— Должно быть, ты проспал? Ну, конечно, вид у тебя заспанный. Что, Тири, как?! Ты очень рассердился вчера?

— Да, я проспал, но...

— Но что, мол, делать, раз явился этот негодный старик отец?! Ха-ха! Мы с Гемасом здорово выпили вчера. Знаешь, ты ему понравился. Это человек с головой. Он говорит: «Я понимаю вашего сына, но он летит и будет лететь, как бабочка на огонь, пока не спалит крылья». И — добавлю я сам — пока, корчась и издыхая, не проклянет все лукавые огни мира!

Тиррей налил себе стакан холодного кофе, затем выпил залпом, без сахара, терпкий напиток, чтобы хотя немного отогнать угнетение.

— Будете ли вы пить холодный кофе? — спросил Тиррей.— А вина у меня нет.

— Кофе? Едва ли... Хотя... потом я выпью вина. Я уже ел, Тири. Ну вот, я сяду. Слушай, Тири, ты почти взрослый человек, и я хочу коснуться, заметь — только коснуться, так неудачно поднятого вчера вопроса о Футрозе и его славных малюточках. Однако... не в том дело... Хотя... Но, видишь, *я должен высказаться.*

— Да, вы должны высказаться,— с горечью заявил Тиррей.— Поверьте, я буду вас слушать очень внимательно.

— Ах так? Чудесно,— Франк достал табак.— В таком случае закурим старую добрую трубку житейского мудреца. Я, Тири, стал мудрецом. Да, прошлое, добренькая бестолковая Корнелия, надежды выдвинуться, разбогатеть — все это теперь для меня как что-то хорошее, бренькающее, но почти нереальное. Есть два способа быть счастливым: возвышение и падение. Путь к возвышению труден и утомителен. Ты должен половину жизни отдать борьбе с конкурентами, лгать, льстить, притворяться, комбинировать и терпеть, а когда в награду за это голова твоя начнет седеть и доктора захотят получать от тебя постоянную ренту за то, что ты насквозь болен, вот тогда ты почувствуешь, как тебе досталась высота положения и деньги, конечно. Да, так ради чего же ты так искалечился? Ради собственного дома, женщин и удовольствий. Еще можешь утешаться тем, что несколько ползущих вверх дураков будут усердно твердить твое имя, пока не подползут усесться либо рядом с тобой, либо еще повыше. Тогда они плюнут тебе на голову. Понимаешь, о чем я говорю?

— Я понимаю. Вы — неудачник.

— Неудачник, Тири? Смотри, как ты повернул... Ты

ошибся. Мой вывод иной. Да, я неудачник — с вульгарной точки зрения,— но дело не в том. Какой же путь легче к наслаждениям и удовольствиям жизни? Ползти вверх или слететь вниз? Знай же, что внизу то же самое, что и вверху: такие же женщины, такое же вино, такие же карты, такие же путешествия. И для этого не нужно никаких дьявольских судорог. Надо только понять, что так называемые стыд, совесть, презрение людей есть просто грубые чучела, расставленные на огородах всяческой «высоты» для того, чтобы пугать таких, как я, понявших игру. Ты нюхал совесть? Держал в руках стыд? Ел презрение? Это только слова, Тири, изрекаемые гортанью и языком. Слова же есть только сотрясение воздуха. Есть сладость в падении, друг мой, эту сладость надо испытать, чтобы ее понять. Самый глубокий низ и самый высокий верх — концы одной цепи. Бродяга, отвергнутый — я сам отверг всех, я путешествую, обладаю женщинами, играю в карты и рулетку, курю, пью вино, ем и сплю в четырех стенах. Пусть мои женщины грязны и пьяны, вино — дешевое, игра — на мелочь, путешествия и переезды совершаются под ветром, на палубе или на крыше вагона — это все то самое, чем владеет миллионер, такая же, черт побери, жизнь, и, если даже взглянуть на нее с эстетической стороны,— она, право, не лишена оригинального колорита, что и доказывается пристрастием многих художников, писателей к изображению притонов, нищих, проституток. Какие там чувства, страсти, вожделения! Выдохшееся общество приличных морд даже не представляет, как живы эти чувства, как они полны неведомых «высоте» струн! Слушай, Тири, шагни к нам! Плюнь на своих благотворителей! Ты играешь унизительную роль деревянной палочки, которую стругают от скуки и, когда она надоест, швыряют ее через плечо.

Хмельной голос Франка звучал, как назойливый бред, но сам он, давно не произносивший таких длинных речей, считал взятый им тон достаточно убедительным для действия на Тиррея, который, по его мнению, не мог бы сам никогда прийти к столь яркому откровению. Притупленный алкоголем мозг Франка находился во власти примитивных расчетов.

— Стоит ли продолжать? — пытливо спросил он, видя, что Тиррей молчит.— Осталось мне сделать тебе

практическое предложение, дать совет... Хотя... Одним словом, я желаю тебе добра.

— Говорите. Мне все равно.

— Ну, слушай, и пусть эта мысль несколько дней зреет в тебе. Можешь сейчас ничего не решать. У Футроза две дочери, обе хорошенькие. Одна совсем девчонка, но другая почти взрослая. Ты — прямо скажу — красивый, интересный мальчик. Если бы ты подъехал к этой... к старшей... Понимаешь? Понимаешь, какие перспективы? Если бы ты с ней тайно вступил в связь, она выманила бы у отца столько денег, сколько тебе даже не снилось... Ты знаешь, как это делается? Хочешь, я тебя научу?

На всякий случай Франк приготовился к тому, что могло последовать за его вопросом. Тиррей встал, протянул отцу его шапку и тихо сказал:

— Ступайте вон и никогда не приходите ко мне! Если бы вы не были мой отец, я задушил бы вас без всякого раскаяния. Уходи, старая сволочь!

Франк мутно взглянул на сына и бессильно свесил голову. Его ноги расползлись, рука упала со стола, тело, пытаясь держаться прямо, вздрагивало и поникало.

— Совсем раз-вез-ло,— бормотал он, притворяясь, что силится встать.— Четыре б-бу-тылки... на-то-щак... ф-фу!

— Что с вами?

— С-с-с-пать,— сказал Франк.— Пр-рости... пь-пьяного.

Поверив, что отец впал в беспомощное состояние, Тиррей задумался и тоскливо вздохнул. Гнать жалкое существо, которое свалилось бы за порогом, он не мог. Кое-как он подвел отца к кушетке и уложил его, причем Франк грузно повалился, как мертвый, и Тиррею пришлось поднимать ему ноги. Думая, что отец будет спать, по крайней мере, до вечера, Давенант еще раз отправился искать Галерана и вновь не застал его. Возвратясь, он был встречен старухой Губерман, которая сообщила ему, что Франк ушел. Она прибавила:

— Не переменит ли вы комнату? Вам будет у меня неудобно жить вдвоем, а я вам скажу один очень хороший адрес.

— Как вы хотите,— равнодушно сказал Тиррей.— Я не виноват.

Он вошел к себе и увидел раскрытый шкаф; белый костюм и белье исчезли. Внутри шкафа валялся старый пиджак Тиррея, оставленный Франком сыну только потому, что он не смог его захватить. Все остальное было обернуто им вокруг тела, под блузу. Таким образом, прислуга ничего не заметила.

ГЛАВА VI

С этой минуты Тиррей стал внешне спокоен, но его как будто ударили по глазам. Некоторое время он видел плохо, неясно вокруг себя. Он хмурился и моргал, стараясь вызвать в себе хоть какое-нибудь резкое чувство, и не мог, и сам он был, как пустой шкаф. Присев, Тиррей взял со стола какую-то нитку, должно быть, оставленную Франком. Он стал обматывать ее вокруг пальца и рвать. Так он сидел несколько времени, представляя ряд кабаков, замеченных вчера, где мог теперь настигнуть отца. Давенант решился на это с глубоким отвращением и почти без всякой надежды. Заперев комнату, чтобы никто не знал истину его положения, Давенант вышел на поиски вора и, тщательно осмотрев «Хобот», где не было ни Гемаса, ни Франка, отправился к одному углу около порта, где находилось семь питейных заведений. Потолкавшись из дверей в двери, увидел он наконец своего отца в компании Гемаса и трех скуластых бродяг в рваных шляпах. За их столом сидели две женщины. Нарумяненные ярко, до самых висков, эти пьяные фурии заволновались первыми, увидев Тиррея; догадавшись, что мальчик с потрясенным лицом — сын щедрого мецената, они сказали что-то Франку, весело разливавшему в этот момент вино. Франк взглянул, мрачно опустил веки, насупился и положил локти на стол.

— А-ха-ха! Вот потеха,— сказал Гемас, с любопытством ожидая скандала.

Все молчали, и Тиррей подошел, осматриваемый с ног до головы, как потешный враг, который скоро уйдет.

— Отец,— произнес Тиррей,— я пришел... Я должен вам сказать несколько слов.

— Уже продано! — заявил Франк.— Напрасно будешь кричать!

— Не буду кричать. Отойдите поговорить со мной.

— Гм... так лучше для тебя. Потолкуем.

Франк встал и, растолкав соседей, опрокинув табурет, вышел из-за стола к сыну. Хотя он держался с вызывающим видом, гордо подтягивая пояс и играя бровями, он не мог скрыть тревоги. Говорил он преувеличенно твердо, с выкриком, как человек, страдающий манией величия.

Отец с сыном вышли на улицу.

— Как вы могли? — тихо спросил Тиррей.

— А так, дитя мое. Почему эти вещи должны быть твои, а не мои? В самом деле! Ты заработал их? Купил? Нет! Путь, на который я тебя зову дружески, не знает жалости ни к своим вещам, ни к чужим. Так было надо, в высшем смысле, в смысле... падения и страдания!

— Пусть так,— сказал Тиррей,— мне уже мучительно говорить об этом. Но не ходите к Футрозу! Даже не пишите ему! Ради бога!

— Непременно пойду, Тири, клянусь тебе в этом мозгами и печенкой Футроза. Задумано без промаха! Я буду бить на то, чтобы Футроз почувствовал ко мне так называемое «омерзение», чтобы он ради тебя, этакого романтика, дал мне сто фунтов отступного. И он даст! Тогда я уеду в Сан-Фуэго. Покет гнусен.

— Действительно вы тогда уедете?

— Да... А что?

— У меня, вы знаете, нет денег... Я... так спросил.

— Ну-с-, вместо твоего «так» я буду говорить с Футрозом завтра утром. Это будет великолепный мрачный эскиз к картине: «Дьявольские огни падения Франка Давенанта».

Он замолчал, потом достал платок, высморкался и снисходительно посмотрел на Тиррея.

— Отец...— сказал юноша.— К т о вы?

— Сказать?

— Говорите.

— «Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять. Вы будете, приятель, со мной в постели спать»,— медленно проговорил Франк, пристально смотря сыну в глаза.— Понял?

Но Тиррей понял не сразу. Поняв, он отступил и кивнул.

— Понял, слезоточивая образина? — закричал Франк.— Уходи!

Тиррей нервно смеялся, пытаясь удержать слезы, которых стыдился, как последнего унижения.

Франк сделал рукой перед своим лицом значительный жест и ушел в трактир. Развивая нелепую внезапную мысль, Давенант направился искать лавку старого платья. Он был под влиянием замысла продать свой серый костюм и выиграть сто фунтов, чтобы его отец, получив деньги, оставил город.

Тиррей разыскал лавку, сторговался продать костюм за два фунта и, вернувшись домой, переоделся в старое платье, а серый костюм завернул в газету и отнес в лавку. Таким образом, исчезли все новые красивые вещи, он был опять одет так, как в выходной день на службе в кафе. Оставались на нем от так пламенно сверкнувшей сказки лишь белье и шляпа. Давенант съел в таверне кусок баранины и отправился на К а й е н н у — так назывался квартал, где кабаре и игорные дома взаимно поддерживали друг друга. Он бывал в этом квартале, но никогда не заходил ни в один яркий подъезд с белыми фонарями, никогда не играл. В Органном переулке таких подъездов было два, с ажурными вывесками из золотых букв, ночью превращавшихся в перелетающий узор зеленых лампочек. Притон, куда вошел Давенант, назывался «Лесной царь». Среди ковров и цветов, озаренных так ярко, что, казалось, были даже видны надежды и отчаяние в душах бледных людей, сновавших вдоль ограненных зеркал, Давенант отдал свою шляпу швейцару, пройдя затем в высокую дверь, где несколько групп толпилось у игорных столов.

Давенант подошел к относительно свободному краю одного стола и, не понимая игры, не зная, какая это игра, стал смотреть, как золото и банковые билеты перемещаются на зеленом столе под наблюдением спокойно работающего крупье. Крупье изредка говорил мягко и непонятно, тоном легкой забавы, которой будто бы радуются все, сошедшиеся к столу. Однако от этих небрежных его замечаний лица играющих вспыхивали или тускнели, а некоторые, беспомощно оглянувшись, резко выбирались из круга прочь и, вздохнув, вытирали платком потный лоб.

— Пора,— сказал себе Давенант, видя, как много рук потянулось бросать деньги на стол. Он вынул из кармана все, что оставалось у него, и положил свою

ставку, ничего не придержав про запас. Рука крупье, считая ставки по очереди, коснулась денег Тиррея. Он пристально посмотрел на мальчика, взметнул бровью и отобрал мелкое серебро, отодвинув его Давенанту и говоря:

— Возьмите, это не идет.

Сконфузившись, Давенант убрал мелочь. Карты легли, выразили свое, непонятное ему отношение к его и чужим надеждам, но ничто не изменилось: никто не убирал денег, никто не ставил еще. Опять банкомет треснул колодой и разбросал карты.

Тиррей спросил смуглого человека, стоявшего рядом с ним:

— Что это? Почему снова играют?

— Сыграли вничью,— сказал тот и посмотрел на Тиррея.— Вот теперь... Ага! Вы выиграли.

— Да неужели? — сказал Давенант.

Действительно, его ставка удвоилась, и он забрал ее так неловко, торопясь, что ребра монет торчали между его пальцами. «Что же делать дальше?» — думал он, не замечая, что говорит вслух, хоть тихо, но ясно. Смуглый молодой человек заинтересованно присмотрелся к нему.

— Как играть, чтобы скорее выграть? Я не знаю...

— Отойдите,— сказал вдруг смуглый незнакомец Тиррею,— я хочу вас выручить.

Тиррей удивился, но повиновался. В этом роковом месте он ждал всяких чудес. Отойдя на середину зала, неизвестный сказал:

— Слушайте: играя так, как сейчас, вы через пять минут останетесь без гроша. Хотите быть участником банка? Я намерен заложить банк в десять тысяч, а ваши деньги могу взять для игры, и вы получите свою долю. При удаче — несколько сот фунтов.

Он говорил спокойно, серьезно, был прекрасно одет, но Давенант колебался. В это время подошел грузный человек с сигарой в зубах и, узнав от смуглого человека, о чем разговор, небрежно процедил:

— Оле, Гордон! Хотите взять юношу под свое покровительство? Что же, ваше дело... Опять обогатите новичка... Советую отдаться на волю Гордона,— сказал толстяк Тиррею.— Гордон так богат, что играет, как лев, и ему адски везет. Не упускайте случая. У Гордона страсть к новичкам. Добр, как старая няня.

Смеясь от возбуждения и надежды, юноша вручил свои деньги Гордону. Тот, хлопнув Давенанта по плечу, посоветовал ему ожидать результат игры в одной из гостиных, которую весьма предупредительно указал. Тирей прошел туда, сел в кресло и стал ждать. В этой комнате с опущенными шторами ие сидел, кроме него, никто, но сюда изредка входили два-три человека, обсуждая свои дела, горячась или упрашивая о чем-то один другого. Редко присаживались входящие — страдание игры вскоре гнало их в залы, на свет высоких дверей, за которыми, в дыму и лучах, торопливо пробегали от стола к столу люди с вдохновенными или озирающимися лицами. Давенант увидел двух женщин. Они присели в гостиной и стали плакать, утешая друг друга. Эти немолодые толстые женщины, пошептавшись, решительно вытерли глаза, напудрились и, поснимав с рук кольца, ушли, громко вздыхая. Прибежал молодой человек с розовым лицом и растрепанным галстуком. Он стал посредине гостиной, обшарил жилетные карманы, свистнул, повернулся на каблуках и исчез. Вошли трое рослых людей с массивными лицами. Держа руки в карманах брюк, они долго ходили по гостиной, говоря громко, с хохотом и увлечением; эти люди вспоминали игру. Они выиграли и условились ехать в ресторан.

На Давенанта никто не обращал внимания. Он сидел, положив ногу на ногу и устремив взгляд на дверь в зал, чтобы заметить появление Гордона и угадать по его лицу результат. Наконец он устал сидеть, устал менять ногу и думать. Часы на камине били уже дважды; когда пробило восемь часов, Давенант решил идти искать важного игрока. Несколько тревожась, но не настолько, чтоб быть уверенным в похищении своей незначительной суммы человеком, играющим на десятки тысяч, Давенант обошел все группы зала, присмотрелся ко всем лицам, но Гордона там не было. Юноша проник во второй зал и там увидел толстого человека, который ранее говорил с Гордоном. Толстяк стоял поодаль от играющих, просматривая свой бумажник. Заметив Давенанта, он сделал движение, пытаясь удалиться, но Давенант уже улыбался ему.

— Ах да! — сказал толстяк.— Так как? Гордон обогатил вас?

— Я его ищу,— сказал Давенант,— я был везде, у всех столов. Вы его видели?

— Обождите одну минуту,— заявил толстяк,— должно быть, он мечет банк. Я его сейчас приведу.

Он быстро ушел, а Давенант остался стоять и стоял, пока ему на ухо не крикнула догадка: «Это мошенники». Увидев служащего, Давенант рассказал ему о Гордоне и попросил указать, где сидит смуглый молодой человек.

К ним подошел другой служащий.

— Так это, верно, Гутман-Стригун,— сказал он, разузнав от Тиррея внешность вора.— Опять та же история! Кто его пропустил? Был приказ не впускать ни Гутмана, ни Пол-Свиста.

Первый служащий развел руками.

— Черт его знает,— сказал он.— Я только что сменил Вентура. Хотите пройти в дирекцию?

— А что? — спросил Давенант, понимая теперь происшествие, но обманывая себя.— Разве Гордон там?

— Вас обобрали,— сказал второй служащий,— но вы можете подать жалобу.

— Нет, не стоит.

— Пожалуй, что не стоит. Все равно деньги ваши пропали.

— Да, я вижу теперь.

Давенант повернулся и вышел из клуба. Не торопясь, он пришел домой, равнодушный уже к мнению о себе хозяйки, видевшей, открывая дверь, его старый костюм, изнуренное лицо и, конечно, уже заметившей опустошенный шкаф.

— Завтра я перееду,— сказал Тиррей старухе, когда вошел.

— Пожалуйста,— насмешливо ответила Губерман,— вам будет лучше, уверяю вас, эта комната для вас велика, да и дорога, пожалуй.

— Хорошо. А вы вернете мне деньги. Я прожил всего неделю.

— Кто мне платил, тому и верну. Но только еще вопрос, как быть с моим мужем. Карл болен от ваших родственников. Он боится, что нас ограбят. Так вот, суд еще может признать, что вы обязаны потратиться на леченье, на докторов.

Давенант не ответил. Он прошел в комнату и лег, не зажигая огня, на кровать. Его мысли были подобны бо-

лезненным опухолям. Некоторые представления заставляли его страдать так сильно, что он приподнимался, спрашивая тьму: «Что же это такое? Почему?»

Его холодный обед стоял на столе. Незадолго перед рассветом Давенант съел остывшее кушанье и лег снова. Теперь начал набегать сон, но малейшее движение мысли отгоняло его. Давенант часто поднимался и пил воду; наконец он уснул и очнулся в одиннадцать утра.

Не зная, что́ с ним произойдет, он на всякий случай достал из ящика письменного стола серебряного оленя и спрятал его во внутренний карман пиджака, затем оставил квартиру и разыскал аптеку, где был телефон-автомат.

Отсюда, намереваясь предупредить Футроза, Давенант вызвал его номер по книге абонентов. За то время, что станция соединяла его с обитателями красно-желтой гостиной, Давенант немного отдохнул душой — опять он касался вырванного из его жизни прекрасного дома. Услышав голос, отвечающий ему, Давенант весь потянулся к аппарату и начал улыбаться, но с ним говорила Урания Тальберг.

Она не дала ему ничего сказать. Узнав от него, кто с ней говорит, гувернантка сказала:

— Как дико с вашей стороны! Ради чего вы прислали этого человека? Он сказал, что он ваш отец и что вы прислали его. Кто он такой?

— Я никого не посылал,— ответил Давенант, побледнев от стыда.— Ради бога... Я хочу объяснить... Хочу сказать всем... Господин Футроз...

— Господин Футроз и девочки уехали в Лисс сегодня с восьмичасовым поездом. Они вернутся через три дня.

— Уехали?

— Да. На спектакли Клаверинга и Меран. До свидания.

Телефон молчал. Давенант вышел из аптеки. На ее двери висела афиша, теперь он видел ее. Она была ему нужна, и он прочел ее с начала до конца, а затем отправился к Галерану. Это была его последняя попытка найти защиту.

ГЛАВА VII

Афиши о гастролях в Лиссе знаменитых актеров Леона Клаверинга и Леонкаллы Меран были расклеены по городу. Тем более обеспечен был им успех у состоятель-

ного населения, что театр Покета еще только заканчивался постройкой. Объявленные три выступления гастролеров: «Кин», «Гугеноты» и «Сон в летнюю ночь» — следовали одно за другим 3-го, 4-го и 5-го августа. Давенант должен был попасть в Лисс сегодня же к вечеру или к вечеру следующего дня. В первом случае он мог мчаться на автомобиле, которым не обладал, во втором — сесть в утренний поезд. Лишь утром отходил поезд на Лисс, а на билет у него не было денег. Не видя другого выхода, он бросился к Галерану и узнал от жильцов, что Галерана все еще нет дома. «С ним иногда это бывает,— объяснил Давенанту Симпсон.— Бывало, что он и по семь дней отсутствовал, так что, если вам очень необходимо его разыскать, ступайте в ресторанчик Кишлота, на Пыльную улицу, туда Галеран заходит, там его знают». Не дослушав, Давенант оставил Симпсона так поспешно, что тот не успел выпросить у него взаймы мелочи. С горечью подумал Давенант о Кишлоте, идти к которому обобранным и отверженным не мог бы даже под угрозой смерти. Между тем не увидеть в последний раз людей, сделавших для него так много, он тоже не мог. Мысль встретить их у театра, представляя их изумление, которое скажет им все об его преданности и привязанности к ним,— взволнует, быть может, и заставит крепко, в знак вечной, пламенной дружбы, сжать его руку— приняла болезненные размеры; вне этого не существовало для него ничего, и, если бы его теперь заперли или связали, он неизбежно и опасно заболел бы. Это был крик погибающего, последняя надежда спастись, за которой, если она не сбылась, наступает худшее смерти успокоение.

«Вот они вернутся,— соображал Давенант.— Когда гнусный отец мой явится к ним, все станет понятно. Но будет поздно уже. Они поймут, ради чего я скрываюсь и ухожу навсегда, чтобы даже тени сомнения не было у них на мой счет. Каким был, таким и ушел».

С самого утра Давенант не был дома и ничего не ел; совсем не желая есть, он все-таки купил хлеб, чтобы не ослабеть, но есть не мог; завернув хлеб в газету, он вышел на шоссе, по которому должен был пройти сто семьдесят миль. Его не удивляло ни расстояние, ни очевидная невозможность одолеть к сроку такой огромный конец. Он знал, что должен быть у театра в Лиссе не поз-

же восьми часов вечера 5 августа. Как ухитряются ездить в вагоне без билета, он не имел о том ни малейшего представления. Во всяком случае для него было это непосильной задачей. Он прошел милю-другую, все еще держа хлеб под мышкой нетронутым. Иногда, завидя нагоняющий его автомобиль, Давенант останавливался и поднимал руку. Вглядевшись, шофер сплевывал или презрительно кривил лицо, проезжие оглядывались на бледного путника с недоумением, иногда насмешливо махая рукой, думали, что он пьян, и действительно, никак нельзя было уразуметь по его виду, что хочет сказать этот странный юноша с широко раскрытыми глазами. В течение часа мелькнуло в его сознании восемь автомобилей. Потерпев неудачу с одним, он молча поднимал руку навстречу другому, третьему и так далее, иногда говоря: «Стойте. Прошу вас, посадите меня». На слове «прошу» машина пылила уже так далеко впереди, что она как бы и не проезжала мимо него.

Солнце закатывалось, и некоторое время дорога была пуста. Услышав очередной шум позади себя, говорящий о спасительной быстроте, мало сознавая, что делает, и рискуя быть изуродованным или даже убитым, Давенант встал на середине дороги, лицом к машине, и поднял руку. Он не дрогнул, не сдвинулся на дюйм, когда автомобиль остановился против его груди. Он не слышал низменной брани оторопевшего шофера и подошел к дверце экипажа, смотря прямо в лицо трех подвыпивших мужчин, которые разинули рты. Их вопросы и крики Давенант слышал, но не понимал.

— Одного прошу,— сказал он толстому человеку в парусиновом пальто и кожаной фуражке.— Ради вашей матери, невесты, жены или детей ваших, возьмите меня с собой в Лисс. Если вы этого не сделаете, я умру. Я должен быть завтра к восьми часам там, куда вы едете, в Лиссе. Без этого я не могу жить.

Он говорил тихо, задыхаясь, и так ясно выразил свое состояние, что пассажиры автомобиля в нерешительности переглянулись.

— С парнем что-то случилось,— сказал худой человек с помятым лицом.— Его всего дергает. Эй, юноша, зачем тебе в Лисс?

— Почему ты знаешь, куда мы едем? — спросил третий, черноусый и краснощекий хозяин автомобиля.

— Разве вы едете не в Лисс?

— Да, мы едем в Лисс,— закричал толстяк,— но ведь по топоту наших копыт этого не узнать. Эванс, посадим его?! Что это у тебя под мышкой? Не бомба?

— Это хлеб.

— А почему ты не сел в поезд? — спросил черноусый человек.

Давенант молчал.

— Я не мог достать денег,— объяснил он, поняв наконец смысл вопроса.

— Пусть сядет с Вальтером,— решил хозяин экипажа, вспомнив, на счастье Давенанта, собственные свои скитания раннего возраста.— Садись к шоферу, парень.

Давенант так обрадовался, что схватил черноусого человека за локоть и сжал его, смеясь от восхищения. Сев с Вальтером, он продолжал смеяться. Шофер резким движением пустил замершую машину скользить среди вечерних холмов и сказал Давенанту:

— Тебе смешно?! Весело, что ли? У, козел! Встал, как козел. Жалею, что не сшиб тебя за такую наглость. На, выпей, козлище!

Он протянул ему бутылку, подсунутую сзади хозяином. Давенант, все еще дрожа от усталости в порыве отчаяния, сменившегося благодетельным ощущением быстроты хода дорогой новой машины, выпил несколько глотков. Ему передали кусок курицы, сыра и апельсин. Он все это съел, потом, услышав, что сзади что-то кричат, обернулся. Худощавый человек крикнул: «Зачем так торопишься в Лисс?» — и, не расслышав его бессвязного ответа: «Я не могу, я не сумею вам объяснить... поверьте...»,— снисходительно махнул рукой, занявшись бутылкой, которая переходила из рук в руки.

Шофер больше не разговаривал с Давенантом, чему Давенант был рад, так как хотел без помехи отдаться горькому удовольствию пробега к последнему моменту своего недолгого хорошего прошлого.

Солнце скрылось, но в сумерках были еще видны камни шоссе и склоны холмов с раскачиваемой ветром травой. По этому шоссе он теперь шел мысленно и блаженно созерцал этапы воображаемых им своих шагов, струящиеся назад со скоростью водопада. Сидя на колеблющемся автомобиле, он много раз опередил самого се-

бя, идущего где-то там, стороной, так тихо по сравнению с быстротой езды, что мог бы считаться неподвижным. Но скоро устал он и думать и сравнивать, лишь вспоминая, что завтра будет в Лиссе, упоенно сосредоточивался на этой уверенности.

Люди, взявшие его с собой, были мукомолы Покета, ехавшие на торги по доставке муки для войск. Сжалившись над Давенантом, они накормили его и вскоре успокоились относительно его присутствия, вернувшись к составлению коммерческого заговора против других подрядчиков.

Отличное цементированное шоссе между Покетом и Лиссом давало возможность ехать со скоростью сорока миль в час. В исходе одиннадцатого, промчавшись через Вильтон, Крене, Блек, Лавераз, Рульпост и Даккар, автомобиль остановился в Зеарне, рудничном городке из трех улиц и десяти кабаков.

— Это Лисс? — сказал Давенант, завидев огни и обращаясь к Вальтеру.

— Лисс? Сам ты Лисс,— отвечал Вальтер, утомленно подкатывая машину к ярко освещенной одноэтажной гостинице.— Отсюда еще пятьдесят миль.

Почти четыре часа сидел Давенант с поднятым воротником пиджака, удерживая шляпу на голове озябшей рукой. Он продрог, занемел телом, но остановка не обрадовала, а встревожила его. Он стал бояться, что автомобиль задержится. Мукомолов звали: хозяина автомобиля — Эванс, толстого — Лэйк и худого — Берганц. Они потащили Давенанта с собой в гостиницу, где было много народа и так дымно в ярком свете, что слои дыма изображали литеры S. Отчасти радуясь теплу, Давенант прошел в помещение, держась позади Берганца, у которого спросил:

— Может быть, вы не поедете дальше?

— Что? — крикнул Берганц и, остановив Эванса, указал ему длинный стол около кухонной двери.— Куда же еще? — сказал он.— Там все и сядем.

Давенант не решился переспросить, но Берганц, вспомнив его вопрос, сказал:

— Надо же отдохнуть, чудак. Мы хотим ужинать. Тебе очень не терпится? О! — вскрикнул он, уставившись на подошедшего к группе приезжих огромного человека с багровым лицом. Его голова была вставлена

в воротник из жира и полотна.— Я как будто чувствовал. Сам Тромп.

Кровавые глаза Тромпа блестели от удовольствия.

— А я выехал вас встретить,— сказал он, пожимая руки.— Вам, Эванс, по носу и Лэйку тоже: торги не состоятся.

— Что за чушь?!

— Идемте, все узнаете. Теперь... Как зовут этого зимородка? Он с вами? Кто такой?

— Так... попросился,— неохотно сообщил Лэйк, торопясь обсуждать торги.— Что-то трагическое. Ну, скорей сядем. Да, за тот стол.

— Если хочешь,— сказал Берганц Давенанту, который все беспокойнее смотрел на неприятного огромного Тромпа,— то поди закажи себе пива и сядь, где хочешь, нам надо поговорить.

Четверо дельцов загромыхали вокруг стола, и, как мухи, начали летать перед их обветренными лицами руки слуг, тащивших бутылки и тарелки, а Давенант с стесненным сердцем подошел к стойке. Он хотел выпить пива, чтобы успокоиться. Сам заплатив за пиво, Давенант прислушивался к разговору торговцев, но стоял такой шум, что он не разбирал ничего.

Тромп что-то говорил, возбуждению перебрасывая с места на место вилку; скосив на него глаза, Лэйк жевал бутерброд; Эванс, потупясь, хмурился; Берганц, оглядываясь, гладил усы. Пока Давенант оканчивал свою кружку, за столом, как видно, было решено что-то успокоительное и потешное, так как Тромп поцеловал кончики своих пальцев и приятели расхохотались.

Лэйк обернулся, отыскал взглядом Давенанта и что-то сказал Эвансу. Тот задумался, но, пожав плечами, сделал Давенанту знак подойти.

— Слушай,— сказал он ему, замершему в тревожном предчувствии,—мы не поедем в Лисс. У нас тут дело.

— Так! Так! — повторял Давенант, не находя слов.

— Он дойдет пешком! — вскричал Тромп.— Здоровый, молодой парень... Я хаживал в его годы не такие концы. Если припустишься...— эй, ты! слышишь, что говорю?! — то и не заметишь, как долетишь!

— Конечно,— машинально сказал Давенант.

— Да, уж извини,— пробормотал Берганц.— Хотели бы выручить тебя, но такое дело. Сам понимаешь.

— Я понимаю.

— Ну вот, ну и ступай с богом,— сказал Лэйк, начиная сердиться.— Осталось тебе пятьдесят миль. Как-нибудь доберешься.

— Да, я пойду,— Давенант вздохнул всей силой легких, чтобы рассеять тяжесть этой мрачной неожиданности.— Благодарю вас.

— Не за что,— сказал Эванс.— Идешь? Иди. Ну, так вот,— обратился он к Тромпу,— значит, так. Что же взять с собой? Вина, что ли?

Давенант оставил гостиницу и расспросил прохожих, как выйти на шоссе в Лисс. Ему указали направление, следуя которому он двинулся в путь, держа сверток под мышкой и обвязав поднятый воротник пиджака носовым платком в защиту от резкого ночного ветра.

Давенант не обиделся на мукомолов, бросивших его, он был доволен уже тем, что осталось идти всего пятьдесят миль — жестокое по времени и все же доступное расстояние.

Характер пережитого Давенантом за последние сутки был таков, что от воскресного вечера у Футроза, казалось, прошло много времени. Теперь он совершал переход из одной жизни в другую, от надежд — к неизвестности, от встречи — к прощанию. Галеран будет его искать, но никогда не найдет. Может быть, печально задумается Футроз. Элли и Роэна со слезами начнут вспоминать о нем, когда выяснится, почему он скрылся, ничего не объясняя, не жалуясь, и все поймут, что он не виноват в грязных затеях отца. Тот, конечно, явится к ним, будет просить денег. Тогда все откроется.

Разгоряченный этими мыслями — все об одном и том же с разных сторон,— Давенант не чувствовал холодного ветра. Шагая среди равнин и холмов, мимо спящих зданий, слушая лай собак и звук своих шагов, ставших неотъемлемой частью этой ночи, Давенант достиг состояния, в котором душевная деятельность уже не подчинена воле. Чувства и мысли его возникали самостоятельно, ни удержать, ни погасить их он не мог. Его представления достигли яркости цветного рисунка на черной бумаге. Он входил в гостиную Футроза, точно видя все узоры и тени, все предметы и расположение мебели так отчетливо, что мог бы записать цифрами, без ошибки, рас-

стояние между ними, мог мысленно коснуться лака и бархата. Эта гостиная вызывала в нем тоску силой тех взволнованных чувств, которыми он сам наполнил ее. Неизвестно, какой связью зрительного с бессознательным горячая красно-желтая комната стала отражением его неискушенных желаний. Он вспомнил, как шесть рук искали в траве ключ, и, остановясь, не смог молча перенести живого воспоминания.

Давенант сказал:

— Прощайте, руки и ключи. Прощай и ты — я сам, который там был,— ты тоже прощай. Было слишком хорошо, чтобы могло быть так долго, всегда.

Помня, что ему приходилось слышать о пешей ходьбе, Давенант шел не присаживаясь, чтобы избежать утомления, неизбежно наступающего после краткого отдыха, потому что нарушается инерция мускульных сокращений, согласованная с дыханием и сердечным ритмом. Он шел упруго и ровно, подгоняемый цифрой расстояния. К рассвету Давенант прошел двадцать четыре мили, одержимый бредом невозможности поступить иначе. Его сознанием стало пространство; ни думать, ни чувствовать он более ничего не мог. Иногда в деревнях его окликали с порога женщины, желая узнать, не гонится ли кто-нибудь за этим мальчиком с воспалениым лицом, оглядывающимся как бы иамеренно странно. Люди, проезжающие в повозках, нахмурясь, подстегивали лошадей, если Давенант просил подвезти его, плохо владея голосом, осипшим от ветра и пыли. Он спросил фермера, копающего канаву, много ли осталось до Лисса, и узнал, что осталось еще двадцать пять миль. Далеко впереди виднелась ясная синяя гора, возвышающаяся под облаками,— самое высокое место горизонта,— и фермер сказал: «Видишь ту гору? Когда вот эта гора окажется позади тебя, тогда считай еще десять миль, там будет и Лисс».

Эти слова приковали все внимание Давенанта к горе, которая виднелась обнадеживающе близко,— по свойству всех гор, если воздух прозрачен. Об угрожающей отдаленности ее говорил лишь лес иа ее склонах, напоминающий сизый плюш, ио Давенант сообразил это лишь после часа ходьбы, когда плюш стал чуть рыхлее на взгляд. По направлению пути гора была слева, и она сделалась для Давенанта главиой мыслью этого дня. Все

время он видел ее перед собой то в ярком блеске неба, то в тени облака, соскальзывающего по склонам, подобно пару дыхания на гладком стекле.

Солнце пригрело Давенанта. После сопротивления ночному холоду его ослабевшее от бессонницы и ходьбы сердце гнало из него испарину, как воду из губки, но он, задыхаясь, шел, смотря на медленно меняющиеся очертания горы. Тяжело уступала эта гора его изнемогающему неровному шагу. Уже начал он замечать в мнимом однообразии ее поверхности выпуклости и провалы, долины, сникающие в леса, каменные уступы и обрывы; гора явилась ему теперь не запредельно-картинным миром, как облачный горизонт, а громадой из многих форм, доступных сравнению.

Вскоре Давенант должен был проходить вдоль ее левого склона, где внизу прятались среди рощ отдельно стоящие белые дома. Шоссе стало поворачивать, огибая лежащий вправо большой холм, так что между горой и дорогой открылась долина с блестящей тонкой чертой реки; от реки вился пар, и зеленое дно долины предстало страннику, как летящей птице. У скалы лепился грубый небольшой дом с крышей из плоских камней. Перед входом умывалась женщина, и Давенант захотел пить. Женщина, вытирая лицо, смотрела на него, пока он просил воды, и ушла, наказав подождать.

Давенант сел на ступеньку у двери. Когда перед его лицом появилась кружка с водой, он припал к ней с такой жадностью, что облился.

— Еще? — сказала женщина, задумавшись над его больным видом.

Давенант кивнул.

Осушив вторую кружку, он развернул свой хлеб, пропитанный пылью, и с сомнением посмотрел на него.

— Надо есть,— сказал он.

— Куда вы идете? — спросила женщина, снова появляясь с бутылкой водки.

— В Лисс. Далеко ли еще? — спросил Давенант, кладя в рот немного хлеба и тотчас вынимая его обратно, так как не мог жевать.

— Далеко, тринадцать миль. Выпейте водки.

— Водки? Не знаю. Который час?

— Скоро двенадцать. Выпейте водки и лягте под навесом. Если вы проспите час, то скорей дойдете. Я разбужу вас.

— Видите ли, добрая женщина,— сказал Давенант, пытаясь подняться,— если я усну, то не проснусь долго. Я шел из Эеарна всю ночь, но я опять должен идти.

— Так выпейте водки. Разве вы не сознаете, что с вами? Вы сгорели!

— Сгорел?

— Ну да, это бывает у лошадей и людей. Легкие загорелись.

— Я понимаю. Но не только легкие. Что же, дайте водки, я заплачу вам.

— Он с ума сошел! Мне платить?! Сам-то нищий!

Давенант отпил из горлышка несколько глотков и, передохнув, стал пить еще, пока не застучало в висках. Отдав бутылку, он приподнялся, мертвея от боли в крестце, засмеялся и сел.

— Ну, марш под навес! — сказала женщина.

У нее было рябое быстроглазое лицо и приветливая улыбка.

— Ничего,— ответил Тиррей, валяясь по земле в тщетных усилиях подняться.— Мне только встать. Я должен идти.

Он ухватился за дверь и выпрямился, трясясь от разломившего все тело изнеможения, но, встав, стиснул зубы и медленно пошел.

Женщина охала, сокрушенно качая головой и крича:

— Иди же, несчастный, пусть будет тебе лучше там, чем здесь! Что я могу? Сердце разрывается, смотря на него!

Насильно заставляя себя идти, Давенант шаг за шагом чувствовал восстановление способности двигаться. Не прошло десяти минут, как он вышел из мучительного состояния, но его шаг стал неровен.

Наступили самые знойные часы дня, в запыленном и потном течении которых Давенант много раз оборачивался взглянуть на гору; она отставала от него едва заметно, принимая прежний вид синего далекого мира,— формы тучи на горизонте.

Уже не было подъемов и огибающих высоту закруглений; шоссе вело под уклон, и к закату солнца Давенант увидел далекую равнину на берегу моря, застроенную зданиями. Это был Лисс, блестевший и дымивший, как слой раскаленных углей.

Думая, что идет скорее, возбужденный близостью це-

ли, Давенант на самом деле двигался из последних сил, не в полном сознании происходящего, и так тнхо, что последние две мили шел три часа.

Город скрывался за холмами несколько раз и, когда уже начало темнеть, открылся со склона окружающей его возвышенности линиями огней, занимающих весь видимый горизонт. Стал слышен гул толпы, звон баковых колоколов на пароходах, отбивающих половину восьмого, задумчивые гудки. Давенант принудил себя идти так быстро, как позволяла боль в ногах и плечах. Автомобили обгоняли его, как птицы, несущиеся по одной линии, но он уже видел неподалеку дома и скоро проник в тесные улицы окраин, пахнущие сыростью и горелым маслом.

Много раз прохожие указывали ему дорогу к театру, но он все сбивался, попадая то на темную площадь товарных складов, то на лестницы переулков, уводящих от центра города. Хлеб в истрепанной газете мешал ему представлять себя среди роскошной залы театра. Давенант положил хлеб на тумбу. Наконец два последних поворота вывели его на громадную улицу, где жаркий вечер сверкал тысячами огней, а движение экипажей представляло армию черных лиц с огненными глазами, ринувшихся в бой против толпы. Вскинутые головы лошадей и задки автомобилей мелькали на одном уровне с веселыми женскими лицами; витрины пылали, было светло, страшно и упоительно. Но этот ярко гремящий мир помог Давенанту в его последней борьбе с подступающим беспамятством.

— Где театр? — спросил он молодого человека, который пытливо взглянул на него, сказав:

— Вы стоите против театра.

Давенант всмотрелся; действительно, на другой стороне улицы был четырехэтажный дом с пожаром внутри, вырывающимся из окон блеском электрических люстр. Внизу оклеенные афишами белые арки и колонны галерей были полны народа; люди входили и выходили из стеклянных дверей. Тогда Давенант спросил у надменной старухи:

— Разве уже восемь часов?

— Без пяти восемь,— сказала она, выведенная из презрительного колебания — ответить или нет — лишь тем, что Давенант не сходил с места, глядя на нее в упор.

Старая дама тронула свою сумку и, убедясь, что ни-

чего не похищено, рванулась плечом вперед, а Давенант бросился к входу в театр. Он увидел кассу, но касса была закрыта. Темное окно возвещало большими буквами аншлага, что билеты распроданы.

Давенант стал на середине вестибюля, мешая публике проходить, оглядываясь и ища глазами тех, ради кого принял эти мучения. Огромная дверь в зал театра была полураскрыта, там блестели золото, свет, ярко озаренные лица из прекрасного и недоступного мира смеялись на фоне занавеса, изображающего голубую лагуну с парусами и птицами. Тихо играла музыка. Большое зеркало отразило понурую фигуру с бледным лицом и черным от пыли ртом. Это был Давенант, но он не узнал себя.

— Могу ли я войти? — спросил Давенант старого капельдинера, стоявшего у дверей.— Я прибыл издалека. Прошу вас, пропустите меня.

— Как так?! — ответил капельдинер.— Что вы бормочете? Где ваш билет?

— Касса закрыта, но я все равно отдам деньги.

— Однако ты шутник,— сказал служащий, рассмотрев просителя и отстраняя его, чтобы дать пройти группе зрителей.— Уходи, или тебя выведут.

— Что такое? — подошел второй капельдинер.

— Пьян или поврежден в уме,— сказал первый,— хочет идти в зал без билета.

— Ради бога! — сказал Давенант.— Меня ждут. Я должен войти.

— Вильтон, выведите его.

— Пойдем! — приказал Вильтон, беря Тиррея за локоть.

— Я не могу уйти.

— Ничего, мы поможем. Ну-ка ползи!

Вильтон вывел Тиррея за дверь, слегка подтолкнув в спину, и сказал швейцару:

— Снук, не пропускать.

Давенант вышел на тротуар, сошел с него, огляиулся нахмурился и стал всматриваться в круговое движение экипажей перед театром. В отчаянии был он почти уверен, что Футроз и дети его уже заняли свои места. Вдруг на скрещении вечерних лучей за темной гривой мелькнули оживленные лица Роэны и Элли. Футроз сидел спиной к Давенанту.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — закричал Тиррей, бросаясь с разрывающимся сердцем сквозь толпу, между колес и людей, к миновавшему его экипажу, затем не устоял и упал.

Как только его глаза закрылись, перед ним встали телеграфные провода с сидящими на них птицами и потянулись холмы.

— Кто-то вскрикнул! — сказала Элли, оглядываясь на крик.— Тампико, смейся, если хочешь, но мне почудился голос Давенанта. Это он зовет нас, в Покете. Право, не совестно ли, что мы не взяли его?

Футроз не нашел, что́ ответить. Все трое оставили экипаж и скрылись в свете подъезда. Роэна посмеялась над мнительностью сестры, и Элли тоже признала, что «сбрендила, надо полагать». Затем наступило удовольствие осматривать чужие туалеты и сравнивать их со своими нежными платьями.

Давенант оставался в замкнутом мире бреда, из которого вышел не скоро. Он был в доме Футроза, и его беспрерывно звали то старшая, то младшая сестра: починить водопроводный кран, повесить картину, прочитать вслух книгу, закрыть окно или подать кресло. Он делал все это охотно, увлеченно, лежа на койке больницы Красного Креста с воспалением мозга.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I

Дорога из Тахенбака в Гертон, опускаясь с гор в двенадцати километрах от Гертона, заворачивает у моря крутой петлей и выходит на равнину. Открытие серебряной руды неподалеку от Тахенбака превратило эту скверную дорогу в очень недурное шоссе.

Над сгибом петли дороги, примыкая к тылу береговой скалы, стояла гостиница — одноэтажное здание из дикого камня с односкатной аспидной крышей и четырехугольным двориком, где не могло поместиться сразу более трех экипажей. Из окон гостиницы был виден океан. Пройти к нему отнимало всего две минуты времени.

Эта гостиница называлась «Суша и море», о чем возвещала деревянная вывеска с надписью желтой краской по голубому полю, хотя все звали ее «гостиницей Стомадора» — по имени прежнего владельца, исчезнувшего девять лет назад, не сказав, куда и зачем, и обеспечившего новому хозяину, Джемсу Гравелоту, владение брошенным хозяйством законно составленной бумагой. В то время Гравелоту было всего семнадцать лет, а гостиница представляла собою дом из бревен с двумя помещениями. Через два года Гравелот совершенно перестроил ее.

История передачи гостиницы Стомадором не составляла секрета; именно о том и разговорился Гравелот с возвращающимся в Гертон живописцем вывесок Баркетом. Баркет и его дочь Марта остановили утром свою лошадь у гостиницы, зайдя поесть.

У хозяина были слуги — одна служанка и один работник. Служанка Петрония ведала стряпню, провизию, уборку и стирку. Все остальное делал работник Фирс. Гравелот слыл потешным холостяком; подозревали, что он носит не настоящее свое имя, и размышляли о его манере обращения и разговора, не отвечающих сущности трактирного промысла. Окрестные жители еще помнили общее удивление, когда стало известно, что гостиницей завладел почти мальчик, работавший вначале один и все делавший сам. У него был шкаф с книгами и виолончель, на которой он выучился играть сам. Он не любезничал со служанкой и никого не посвящал в смысл своих городских поездок. Кроме того, Гравелот исключительно великолепно стрелял и каждый день упражнялся в стрельбе за гостиницей, где между зданием и скалой была клинообразная пустота. Иногда, если шел дождь, эта стрельба происходила в комнате. Такой хозяин гостиницы вызывал любопытство, временами выгодное для его кошелька. Гравелот нравился женщинам и охотно шутил с ними, но их раздражал тот оттенок задумчивого покровительства, с каким он относился к их почти всегда детскому бытию. Поэтому он нравился, но не имел такого успеха, который выражается прямой атакой кокетства.

Разговор о Стомадоре начался с вопроса Баркета: съездит ли Гравелот в Гертон посмотреть дела и развлечения свадебного сезона.

Гости и Гравелот сидели за одним столом. Гравелот велел подать свой завтрак на общий стол.

— Там будут различные состязания. Между прочим, конкурс стрельбы, а вы, как говорят, дивный стрелок,— сказал Баркет, знавший Гравелота, так как несколько раз останавливался у него, возвращаясь из Тахенбака.

— Едва ли поеду. Я стреляю хорошо,— без ложной скромности согласился Гравелот.— Однако в Гертоне идет теперь другого рода стрельба — по дичи, не согласной иметь даже царапину на своей нежной коже. Девять лет назад попал я в эти места — тоже к разгару свадебного сезона.

— Говорят, что вы купили у Тома Стомадора гостиницу. Действительно так?

— О нет! Все произошло очень странно. Я шел из Лисса и остановился здесь ночевать. Утром Стомадор сделал предложение отдать гостиницу мне,— он решил ее бросить и переселиться в Гель-Гью. Гостиница не давала ему дохода: место глухое, дорога почти пустынная, хотя он и сказал, что «тут дело не в этом».

— Странный человек! — заметил Баркет.— Он взял с вас деньги?

— Денег у меня не хватило бы купить даже Стомадорова поросенка. Он ничего не взял и ничего не просил. «Ты человек молодой,— сказал мне Стомадор,— бродишь без дела, и раз ты мне подвернулся, то бери, если хочешь, эту лачугу и промышляй». Я согласился. Мне было все равно. В шкафу и кладовой остались кое-какие запасы, к тому же — готовое помещение, две свиньи, семь кур. Я мог жить здесь и работать у фермеров. На доходы я не надеялся.

— Как же он ушел? — спросила Марта.

— С мешком за плечами. Лошадь и повозку он уже продал. Ну, мы составили у нотариуса в Тахенбаке бумагу о передаче гостиницы мне. Стомадор даже сам оплатил расходы и, прощаясь, сказал: «Ничего у меня не вышло с «Сушей и морем». Может быть, выйдет у тебя».

— По-моему, этот Стомадор какой-то ненормальный тип! — заметила круглолицая розовая Марта, поклонница вещей ясных и точных.

— Едва ли,— ответил Гравелот.— У него была, может быть, особая мысль. Он был одинок. Как знать.

о чем думает человек? Встретил он меня дико, это так; я спросил поесть. Стомадор стоял у окна, заложив руки за спину. «Очень мне надо заботиться о тебе»,— сказал он. «Но ведь вы хозяин?» — «Да, а что же из этого?» — «То, что я должен был обратиться к вам, вот я обратился и спросил поесть. Я заплачу».— «Но почему я должен тебя кормить? — закричал Стомадор.— Какая связь между тем, что я хозяин, и тем, что ты голоден?» Я так удивился, что замолчал. Стомадор успокоился и заявил: «Ищи, где хочешь, что найдешь, то и ешь». Я решил прямо толковать его слова и вытащил из шкафа за стойкой три бутылки вина, масло, окорок, холодный рис с перцем, пирог с репой, все снес на стол и молча принялся за еду, а Стомадор ехидно смотрел. Наконец он рассмеялся и сказал: «Экий ты дурак! Кто ты такой?» Вдруг он стал очень заботлив ко мне, ничего не расспрашивая о том, как я жил раньше. Забавный, грузный человек тронул меня до слез. Он постлал мне постель, заставил вымыться горячей водой, а утром показал убогое хозяйство свое — почти что пустые стены — и передал гостиницу довольно торжественно. Мы даже выпили по этому случаю. Сказав: «Будь счастлив!» — он ушел, и я больше о нем ничего не знаю...

— Конечно, простая случайность, — подтвердил Баркет.

— Случайность... Случайность! — отозвался Гравелот после короткого раздумья о словах живописца вывесок.— Случайностей очень много. Человек случайно знакомится, случайно принимает решения, случайно находит или теряет. Каждый день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека — будь то инстинкт или сознательное начало,— как начинают происходить важные изменения жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе знать впоследствии.

Марта и Баркет плохо поняли Гравелота, думая: «Да, странный человек этот молодой трактирщик, должно быть, он образованный человек, скрывающий свое прошлое».

— Рассуждение основательное,— сказал Баркет,— но дайте, как говорится, пример из практики.

— Вот вам примеры: человек видит проходящую женщину, о такой он мечтал всю жизнь, он знакомится с ней, женится или погибает. Голодный находит кошелек в момент, когда предчувствует, что его ждет выигрыш, заходит в клуб и выигрывает много денег. В село приезжает моряк. Оживают мечты о путешествиях у какого-нибудь мечтателя. Ему дан толчок, и он уходит бродить по свету. Или человек, когда-то думавший покончить с собой, видит горизонтальный сук, изогнутый с выражением таинственного призыва... Возможно, что несчастный повесится, так как откроются его внутренние глаза, обращенные к красноречиво-притягательной силе страшного дерева. Однако все это минует с л е д у ю щ и х людей: богатого — с находкой кошелька, черствого — с женщиной, домоседа — с моряком и торопящегося к поезду — с горизонтальной ветвью, удобной для петли. Если бы я девять лет назад имел важную, интересную цель,— предложение Стомадора никак не могло быть моей случайностью, я отказался бы. Его предложение попало на мою безвыходность.

— В самом деле! — захохотал Баркет.— Как это вы того... здóрово обрисовали.

— Постой, постой! — воскликнула Марта.— Пусть он скажет, как считать, если человек выиграл в лотерею? Не ожидал выиграть, а получил много, поправил дела, разбогател. Это как?

— А так, Марта: покупающий билет всегда хочет и надеется выиграть. Это — сознательное усилие, не случайность.

— Так какой же ваш вывод? — осведомился Баркет.— То есть — итог?

— Вот какой: все, что неожиданно изменяет нашу жизнь,— не случайность. Оно — в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием.

— Вот,— сказала Марта,— я оступилась, сломала ногу, это — как?

— Не знаю,— уклонился Гравелот от ответа, чтобы избежать сложного объяснения, непонятного девушке.— Впрочем, тут — другой порядок явлений.

— Как сбился, так уж и другой порядок.

Все рассмеялись. Затем разговор перешел на обсуждение свадебного сезона. Марте в будущем году тоже предстояло сделаться женой — пароходного машини-

ста,— а потому она с удовольствием слушала речи отца и Гравелота.

— Нынешний сезон проходит очень оживленно,— говорил Баркет,— и я мог бы перечислить десятки семейств, где венчаются. На днях венчается Ван-Конет, сын губернатора Гертона, Пейвы и Сан-Фуэго; говорят, он сам, этот Ван-Конет, года через два получит назначение в Мейклу и Саардан.

— Желаю, чтобы юная губернаторша наделала хлопот только в кондитерских,— сказал Гравелот.— Кто же она?

— Она могла бы наделать хлопот даже у амстердамских бриллиантщиков,— заявил Баркет с гордостью человека, имеющего счастье быть соотечественником знаменитой невесты.— Консуэло Хуарец уже восемнадцать лет, но действительно, как говорят, она еще ребенок. Сам брак ее указывает на это. Ведь Ван-Конет ведет грязную, развратную жизнь. Она не красавица, бедняжка, но более милого существа не сыщете вы от Покета до Зурбагана.

— Почтенный Баркет, не испортите же вы мне день, сказав, что Консуэло крива, горбата и говорит в нос? Я любитель красивых пар.

— Я ее видела,— заявила Марта,— она действительно некрасива и много смеется.

— Вот так всегда с женщинами: не любят они друг друга,— заметил Баркет и принялся объяснять.— Разговор не о безобразии. Я хочу сказать, что девушка с двумястами тысяч фунтов приданого, если она не ослепительно красива, всегда даст повод к злословию. Наверное, скажут, что у жениха больше ума, чем любви. Консуэло Хуарец очень привлекательна, отрадна, и все такое, но, понятно, не совершенство безупречной, а н т и ч е с к о й красоты. Однажды я видел, как она шла с собакой по улице. Прелестная девушка, настоящий апельсиновый цветок!

Улыбнувшись такому смешению восторга и педантизма, Гравелот выразил надежду, что сын губернатора оценит достоинства своей жены после того, как она будет гулять с ним и собакой вместе.

— Остроумный вывод,— сказал Баркет.— Только навряд Георг Ван-Конет оценит то утешение, а может быть, даже искупление, которое посылает ему судьба.

Большего негодяя не сыщете вы от Клондайка до Огненной Земли.

— Если так,— что заставляет девушку бросаться в его объятия?

— Она любит его. Что вы хотите? Это всему решение.

Собеседники не подозревали, что им придется через несколько минут увидеть жениха Консуэло Хуарец. В это утро Ван-Конет со своей компанией возвращался из поездки на рудники. Близость бракосочетания заставила Ван-Конета, во избежание роковых слухов, устроить очередную оргию в доме знакомого рудничного инспектора. За окном пропела сирена, и у дверей остановился темно-зеленый автомобиль. Баркет посмотрел в окно. Его лицо вытянулось.

— Накликали! — вскричал Баркет.— Приехал Ван-Конет, отвались моя голова! Это он!

— Ты шутишь! — сказала Марта, волнуясь от неожиданности и почтения.

Гравелот не побежал навстречу приехавшим. Он спокойно сидел. Отец с дочерью удивленно смотрели на него.

— Еще нет девяти часов. Он едет из Тахенбака. Что это значит? — пробормотал Баркет.

— Кутил всю ночь, я думаю,— шепнула Марта, рассматривая выходящих из экипажа людей.— Там — Ван-Конет, его любовница Лаура Мульдвей и двое неизвестных. Уже знойно, а они все в цилиндрах. О! Подвыпивши.

— Ты права, разумная дочь,— сказал Баркет.

Гравелот поднялся встретить гостей. Он подошел к раскрытой двери, наблюдая гульливого жениха. Это был высокий брюнет с безупречно правильными чертами лица, тридцати пяти лет. Его прекрасное лицо выглядело надменно-скорбным, как будто он давно примирился с необходимостью жить среди недостойных его существ. Держась с затрудненной твердостью, Ван-Конет всходил по деревянной лестнице «Суши и моря», неся на сгибе локтя тонкие холодные пальчики Лауры Мульдвей, своей приятельницы из веселого мира холостых женщин. Высокая белокурая Лаура Мульдвей, с детским лицом и чистосердечными синими глазами, гибкостью тонкой фигуры напоминала колеблющуюся от ветерка ленту.

Зеленый жакет, серая шляпа с белым пером и серые туфельки Лауры стеснили Марте дыхание. Сзади шли Сногден и Вейс. Сногден, приятель Ван-Конета, сутуловатый и нервный, с темными баками на смуглом умном лице, пошатывался рядом с Вейсом, хозяином недавно прибывшей в Гертон яхты, веснушчатым сонным человеком, белые ресницы которого прикрывали нетвердый и бестолковый взгляд.

— Эй, любезный! — сказал Ван-Конет Гравелоту, которого можно теперь называть его настоящим именем — Давенант.— Поездка утомительна, жара ужасна, и жажда велика. Сногден, я должен восстановить твердость руки, я послезавтра подписываю брачный контракт. Я не хочу, как уверяет Сногден, посадить кляксу.

Говоря так, он вместе с другими уселся за стол, напротив того стола, где сидели Баркет с дочерью. Сногден пошел к буфету, сам выбрал вино, и Петрония, служанка Давенанта, притащила четыре бутылки. Есть никто не хотел, а потому были поданы только чищеные орехи и сушеные фрукты.

— Да, я посажу кляксу,— повторил Ван-Конет, проливая вино.— Но я застрелю эту муху, Лаура, если она не перестанет мучить ваше мраморное чело.

Действительно, одна из немногочисленных мух усердно надоедала женщине, садясь на лицо. Лаура с трудом прогнала ее.

— После такой ночи,— сказал Сногден,— я взялся бы подписать разве лишь патент на звание мандарина

Несколько обеспокоенный, Давенант внимательно следил за Ван-Конетом, который, заботливо согнав со щеки Лауры возвратившуюся досаждать муху и приметив, куда на простенок она села, начал целиться в нее из револьвера. Марта закрыла уши. Ван-Конет выстрелил.

Зрители, умолкши, взглянули на место прицела и увидели, что дыра в штукатурке появилась не очень близко к мухе. Та даже не улетела.

— Мимо! — заявил Сногден, в то время как охотник прятал свой револьвер в карман.— Бросьте, Георг. Очень громко. Вы слышали,— обратился Сногден к Вейсу,— историю двойного самоубийства? Это произошло вчера ночью. Двое попали друг другу в лоб.

— В двух шагах?

— В пяти дюймах. Мне сказал за игрой Бекль.

В гостинице «Генуя»» застрелились влюбленные. Хозяин горюет, так как возник слух, что из-за этих смертей все браки нынешнего года будут несчастны. Ясно, что гостиница опустела.

— Тьфу! — плюнул Ван-Конет.— Не каркайте. Пусть предсказывают, кто и как хочет. Я женюсь на своей обезьянке и залезу в ее защечные мешочки, где спрятаны сокровища.

— Осмелюсь спросить,— почтительно обратился Баркет к знатному посетителю.— Как произошло такое несчастье? Филипп Баркет, к вашим услугам, мастерская вывесок, Безлюдная улица, 6, а также транспаранты, бенгальские огни, если позволите... Печальное происшествие!

Ван-Конет хотел пропустить вопрос мимо ушей, но заметил розовое лицо Марты и не сдержал бессмысленного позыва — коснуться, хотя бы словами, свежести девушки, задевшей его фантазию.

— Как? Милейший, я не знаток. Должно быть, утолив свою страсть, оба поняли, что игра не стоит свеч.

Марта покраснела под прищуренным на нее взглядом Ван-Конета и без нужды переместила тарелку.

— Странное объяснение! — заметил Давенант, тихо смеясь.

Все с удивлением посмотрели на хозяина гостиницы, осмелившегося перебить Ван-Конета.

Ван-Конет, выпрямившись, думал о том же. Наконец, двинув бровью, он снизошел до ответа:

— Чем оно странно? Я нахожу, между прочим, что эта гостиница... странная. А можете вы попасть в муху? Мне кажется, меткости ваших замечаний должно отвечать еще какое-нибудь точное качество.

Не поняв скрытой пьяной угрозы и желая смягчить неловкость, Баркет набрался духом, заявив:

— Гравелот — первоклассный стрелок, не имеющий, я думаю, равных себе.

— А! В самом деле? Я обижен,— сказал Ван-Конет, начиная скучать.

— Но я тоже стрелок! — заявил Вейс.

Захотев от скуки стравить всех, Лаура обратилась к Давенанту:

— Ах, покажите ваше искусство! Ведь это все хвастуны.

— Как, и я?! — воскликнул Ван-Конет.

— Ну, вы, пожалуй, еще не очень плохой стрелок.

— Мы все — стрелки,— сказал Сногден.

Опять муха села на подбородок Лауры, и она махнула рукой перед лицом, сгоняя докучное насекомое.

— Хозяин! Застрелите муху с того места, где стоите! — приказал Ван-Конет.— В случае удачи — плачу гинею. Вот она где сидит! На том столе.

Действительно, муха сидела на соседнем пустом столе, у стены, ясно озаряемая лучом.

— Хорошо,— покорно сказал Давенант.— Следите тогда.

— Наверняка промажете! — крикнул Сногден.

От буфета до стола с мухой было не менее пятнадцати шагов.

— Ставлю еще гинею!

Давенант задумчиво взглянул на него, вытащил свой револьвер с длинным стволом из кассового ящика и мгновенно прицелился. Пуля стригнула на поверхности стола высоко взлетевшую щепку, и муха исчезла.

— Улетела? — осведомился Вейс.

— Ну нет,— вступилась Мульдвей.— Я смотрела внимательно. Моя муха растворилась в эфире.

— Гинея ваша,— отозвался Ван-Конет.

Став угрюм, он бросил деньги на стол. Сногден призвал служанку и отдал ей гинею для Давенанта. Все были несколько смущены.

Давенант взял монету, которую принесла служанка, и внятно сказал:

— Эти деньги, а также и те, что лежат на столе, вы, Петрония, можете взять себе.

— Случайное попадание! — закричал Ван-Конет, разозленный выходкой Гравелота.— Попробуйте-ка еще, а? На приданое Петронии, а?

— Отчего бы и не так,— сказал Давенант.— Шесть пуль осталось, и, так как муху мы уже наказали, я вобью пулю в пулю. Хотите?

— А черт! — крикнул Сногден.— Вы говорите серьезно?

— Серьезно.

— Получайте шесть гиней,— заявил Ван-Конет.

— Игра неравная,— вмешался Вейс.— Он должен тоже что-нибудь платить со своей стороны.

— Двенадцать гиней, хотите? — предложил Давенант.

— Ну вот. И все это — Петронии,— сказал Ван-Конет, оглядываясь на пылающую от счастья и смущения женщину.

Противоположная буфету стена была на расстоянии двадцати трех шагов. Давенант выстрелил и продолжал колотить пулями стену, пока револьвер не опустел. В штукатурке новых дырок не появлялось, лишь один раз осыпался край глубоко продолбленного отверстия.

— А! — сказал с досадой Ван-Конет после удрученного молчания гуляк и крика «Браво!» Лауры, аплодировавшей стрелку.— Я, конечно, не знал, что имею дело с профессионалом. Так. И все это — ради Петронии. Плачу тоже двенадцать гиней. Я не нищий. Для Петронии. Получите деньги.

На знак хозяина трепещущая служанка взяла деньги, сказав:

— Благодарю вас. Прямо чудо.

Она засуетилась, потом стала у двери, блаженно сжась, вся потная, с полным кулаком денег, засунутым в карман передника.

Марта тихо смеялась. Ван-Конету показалось, что она смеется над ним, и он захотел ее оскорбить.

— Что, пышнощекая дева...— начал Ван-Конет; услышав торопливые слова Баркета: «Моя дочь, если позволите»,— он продолжал: — Достойное и невинное дитя, вы еще не вошли в игру с колокольным звоном и апельсиновым цветом? Гертон полон дураков, которые надеются остаться ими «до гробовой доски». А вы как? а?

— Марта выйдет замуж в будущем году,— почтительно проговорил Баркет, желая выручить смутившуюся девушку.— Гуг Бурк вернется из плавания, и тогда мы нарядим Марту в белое платье... Хе-хе!..

— Отец! — воскликнула, краснея от смущения, Марта, но тут же прибавила: — Я рада, что это произойдет в будущем году. Может быть, смерть тех двух, застрелившихся, окажется для нас нынче несчастной приметой.

— Ну, конечно. Мы будем справлять поминки,— ответил Ван-Конет.— Сногден, как зовут тех ослов, которые продырявили друг друга? Как же вы не знаете? На-

до узнать. Забавно. Не выходите замуж, Марта. Вы забеременеете, муж будет вас бить...

— Георг,— прервала хлесткую речь Лаура Мульдвей, огорошенная цинизмом любовника,— пора ехать. К трем часам вы должны быть у вашей невесты.

— Да. Проклятие! Клянусь, Лаура, когда я захвачу обезьянку, вы будете играть золотом, как песком!

— Э... э...— смущенно произнес Вейс.—Насколько я знаю, ваша невеста очень любит вас.

— Любит? А вы знаете, что такое любовь? Поплевывание в дверную щель.

Никто ему не ответил. Лаура, побледнев, отвернулась. Даже Сногден нахмурился, потирая висок. Баркет испугался. Встав из-за стола, он хотел увести дочь, но она вырвала из его руки свою руку и заплакала.

— Как это зло! — крикнула она, топнув ногой.— О, это очень нехорошо!

Взбешенный резким поведением хозяина, собственной наглостью и мрачно вещающим ссору лицом Лауры, так ясно аттестованной золотыми обещаниями разошедшегося джентльмена, Ван-Конет совершенно забылся.

— Ваше счастье, что вы не мужчина! — крикнул он плачущей девушке.— Когда муж наставит вам синяки, как это полагается в его ремесле, вы запоете на другой лад.

Выйдя из-за стойки, Давенант подошел к Ван-Конету.

— Цель достигнута,— сказал он тоном решительного доклада.— Вы смертельно оскорбили девушку и меня.

Проливной дождь, хлынувший с потолка, не так изумил бы свидетелей этой сцены и самого Ван-Конета, как слова Давенанта. Баркет дернул его за рукав.

— Пропадете! — шепнул он.— Молчите, молчите!

Сногден опомнился первым.

— Вас о с к о р б и л и? — закричал он, бросаясь к Тиррею.— Вы... как, бишь, вас?.. Так вы тоже жених?

— Все для Петронии,— пробормотал, тешась, Вейс.

— Я не знаю, почему молчал Баркет,— ответил Давенант, не обращая внимания на ярость Сногдена и говоря с Ван-Конетом,— но раз отец молчал, за него сказал я. Оскорбление любви есть оскорбление мне.

— А! Вот проповедник романтических взглядов! Напоминает казуара перед молитвенником!

— Оставьте, Сногден,— холодно приказал Ван-Конет, вставая и подходя к Давенанту.— Любезнейший цирковой Немврод! Если, сию же минуту, вы не попросите у меня прощения так основательно, как собака просит кусок хлеба, я извещу вас о моем настроении звуком пощечины.

— Вы подлец! — громко сказал Давенант.

Ван-Конет ударил его, но Давенант успел закрыться, тотчас ответив противнику такой пощечиной, что тот закрыл глаза и едва не упал. Вейс бросился между ними.

В комнате стало тихо, как это бывает от сознания непоправимой беды.

— Вот что,— сказала Вейсу Мульдвей,— я сяду в автомобиль. Проводите меня.

Они вышли.

Сногден подошел к Ван-Конету. У покинутого стола находились трое: Давенант, Сногден и Ван-Конет. Баркет, наспех собрав поклажу, отвел Марту на двор и кинулся запрягать лошадь.

Давенант слышал разговор, отлично понимая его оскорбительный смысл.

— С трактирщиком? — сказал Ван-Конет.

— Да,— ответил тот.— Таково положение.

— Слишком большая честь. Но не в том дело. Вы знаете, в чем.

— Как хотите. В таком случае моя роль впереди.

— Благодарю, вы — друг. Эй, скотина,— обратился Ван-Конет к Давенанту,— мы смотрим на тебя, как на бешеное животное. Дуэли не будет.

— Если вы откажетесь от дуэли,— неторопливо объяснил Давенант,— я позабочусь, чтобы ваша невеста знала, на какой щеке у вас будут лучше расти волосы.

Эти взаимные оскорбления не могли уже вызвать нового нападения ни с той, ни с другой стороны.

— Вы знаете, кому говорите такие замечательные вещи? — спросил Сногден.

— Георгу Ван-Конету я говорю их.

— Да. А также мне. Я — Рауль Сногден.

— Двое всегда слышат лучше, чем один.

— Что делать? — сказал Ван-Конет.— Вы видите,—

этот человек одержим. Вот что: вас известят, так и быть, вам окажут честь драться с вами.

— Место найдется,— ответил Давенант.— Я жду немедленного решения.

— Это невозможно,— заявил Сногден.— Будьте довольны тем, что вам обещано.

— Хорошо. Я буду ждать и, если ваш гнев остынет, приму меры, чтобы он начал пылать.

Наступило молчание.

— Негодяй!.. Идем,— обратился Ван-Конет к Сногдену, медленно сходя по ступеням, в то время как Сногден вынимал деньги, чтобы расплатиться. Швырнув два золотых на покинутый стол, он побежал к автомобилю. Усевшись, компания исчезла в пыли знойного утра.

Задумавшись, Давенант стоял у стола, опустив голову и проверяя свой поступок, но не видел в нем ничего лишнего. Он был вынужденным, этот поступок.

Расстроенная Марта вскоре после того передала хозяину свою благодарность через отца, который уже собрался уехать. Он был потрясен, беспокоился и упрашивал Давенанта найти способ загладить страшное дело.

Давенант молча выслушал его и, проводив гостей, обратился к работе дня.

ГЛАВА II

Бо́льшую часть пути Ван-Конет молчал, ненавидя своих спутников за то, что они были свидетелями его позора, но рассудок заставил его уступить требованиям положения.

— Я хочу избежать огласки,— сказал Ван-Конет Лауре Мульдвей.— Обещайте никому ничего не говорить.

Лаура знала, что Ван-Конет вознаградит ее за молчание. Если же не вознаградит,—ее карты были сильны и она могла сделать безопасный ход на крупную сумму. Эта неожиданная удача так оживила Мульдвей, что она стала мысленно благословлять судьбу.

— На меня положитесь, Георг,— сердечно-иронически шепнула ему Лаура.— Я только боюсь, что тот человек вас убьет. Не разумнее ли кончить все дело миром? Если он извинится?

— Поздно и невозможно,— Ван-Конет задумался.— Да, поздно. Сногден заявил от моего имени согласие драться.

— Как же быть?

— Не знаю. Я извещу вас.

— Ради бога, Георг!

— Хорошо. Но риск неизбежен.

Ван-Конет приказал шоферу остановиться у пригородной таверны и, кивнув Снегдену, чтобы тот шел за ним, расстался с Вейсом, которого тоже попросил молчать о тяжелом случае.

— Дорогой Георг,— ответил Вейс,— мне, каюсь, странно ваше волнение из-за таких пустяков, которое следовало там же, на месте, исправить сногсшибательной дракой. Но я буду молчать, потому что вы так хотите.

— Дело значительно сложнее, чем вам кажется,— возразил Ван-Конет.— Характер и взгляды моей невесты решают, к сожалению, все. Я должен жениться на ней.

Вейс уехал с Лаурой, а Ван-Конет и Снегден вошли в таверну и заняли отдельную комнату.

Снегден, не имея состояния, обладал таинственной способностью хорошо одеваться, жить в дорогой квартире и поддерживать приятельские отношения с холостой знатью. Ходил слух, что он — шулер и шантажист, но, никогда не подкрепляемый фактами или даже косвенными доказательствами, слух этот был ему скорее на пользу, чем во вред, по свойству человеческого сознания восхищаться порядочностью, если ее атакуют, и неуловимостью, если она талантлива.

Догадываясь, что хочет от него Ван-Конет, которому вскоре надо было ехать к Консуэло Хуарец, Снегден предупредительно положил на стол часы, а затем распорядился подать ликеры и кофе.

— Снегден, я пропал! — воскликнул Ван-Конет, когда слуга удалился.— Пощечина приклеена крепко, и не сегодня, так завтра об этом узнают в городе. Тогда Консуэло Хуарец, со свойственной ее нации театральной отвагой, будет ждать моей смерти от пули этого Гравелота, потом нарыдается досыта и уйдет в монастырь или отравится.

— Вы хорошо ее знаете?

— Я ее достаточно хорошо знаю. Это смесь патоки и гремучего студня.

— Несомненно, дядя Гравелот — идеальный стрелок,— заговорил Снегден, после продолжительного раз-

мышления и вполне обдумав детали своего плана.— Даже тяжело раненный, если вы успеете выстрелить раньше, Гравелот отлично поразит вас в лоб или нос, куда ему вздумается.

— Не хватает еще, чтобы вы так же игриво нарисовали картину моих похорон.

— Примите это как размышление вслух, Ван-Конет,— я не хочу вас ни дразнить, ни мучить, а потому скорее разберем наши возможности. Примирение отпадает.

— Почему? — быстро спросил Ван-Конет, втайне надеявшийся замять дело хотя бы ценой нового унижения.

— Потому что он вам дал пощечину, а также потому, что мы не можем быть уверены в скромности Гравелота: идя мириться, рискуем наскочить на отказ. Ведь вы первый его ударили.

Ван-Конет сжал виски, мрачно смотря в рюмку. Вздохнув, он улыбнулся и выпил.

— Ничего не понимаю. Сногден, помогите! Выручите меня! После кошмарной ночи с этой Мульдвей у меня в голове сплошной вопль. Я теряюсь.

— Георг,— громко сказал Сногден, тряся за плечо приятеля, который, уронив лицо в ладони, сидел полумертвый от страха и ненависти,— я вас спасу.

— Ради чертей, Рауль! Что вы можете сделать?

— Прежде чем сказать что́, я требую слепого доверия.

— Я на все согласен.

— Слепое доверие есть главное условие. Второе: я должен действовать немедленно. Для моих действий мне нужны наличные деньги.

Ван-Конет не был скуп, в чем Сногден убеждался довольно часто. Но, когда Сногден назвал сумму — три тысячи,— Ван-Конет нахмурился и несколько охладел к спасительному авторитету приятеля.

— Так много? Для чего вам столько денег?

— Мною записаны имена свидетелей. Баркет, его дочь, служанка и сам Гравелот,— объяснил Сногден так серьезно, что Ван-Конет покорился.— Со всеми этими людьми я добьюсь их молчания. Гравелот будет стоить дороже других, но с остальными я берусь устроить дешевле. Вейс уезжает сегодня. Лаура будет молчать, надеясь на благодарность впоследствии. Люди не сложны.

Иначе я давно бы уже чистил прохожим сапоги или писал романы для воскресного приложения.

— Вы правы. Действуйте,— сказал Ван-Конет, вытаскивая книжку чеков. Написав сумму, он подписал чек и передал его Сногдену.

— Теперь,— сказал Сногден, спрятав чек,— я буду говорить откровенно.

— Самое лучшее.

— Прекрасно. Мы — люди без предрассудков. Я устрою ваше дело, но только в том случае, если вы выдадите мне теперь же вексель на два месяца, на сумму в десять тысяч фунтов.

Ван-Конет не был так глуп, чтобы счесть эти напряженные, жестко сказанные слова шуткой. Внешне оставшись спокоен, Ван-Конет молчал и вдруг, страшно побледнев, хватил кулаком о стол с такой силой, что чашки слетели с блюдцев.

— Что за несчастный день! — крикнул Ван-Конет.— Неужели все пошло к черту? И вы — вы, Сногден, грабите меня?! Как это понять? Я знаю, что вы не брезгуете подачками, я знаю о вас больше, чем кто-нибудь. Но я не знал, что вы так злобно воспользуетесь моим несчастьем.

Сногден взял трость и бросил чек на стол.

— Вот чек,— сказал он, испытывая громадное удовольствие игры, со всей видимостью риска, но при успокоительном сознании безопасности.— Я корыстен, вернее, я — человек дела. Ваш чек не вдохновляет меня. Прощайте. Я не считаю эту ссору окончательной, и завтра, если будет еще не поздно, вы сможете возобновить наши переговоры, когда десять тысяч покажутся вам не так значительны, чтобы из-за них стоило лишиться остального.

— Сногден, вы меня оглушили,— сказал Ван-Конет, видя, что его друг направляется к двери, и проклиная свою вспыльчивость.— Не уходите, а выслушайте. Я согласен.

— Боже мой! — заговорил Сногден, так же решительно возвращаясь к своему стулу, как покинул его, и опускаясь с видом изнеможения.— Боже мой! За те пять лет, что я вас знаю, Георг,— начиная вашим проигрышем Кольберу, когда понадобилось перетряхнуть мошну всех ростовщиков и я, как собака, носился из Гертона в

Сан-Фуэго, из Сан-Фуэго в Покет и опять в Гертон,— с тех дней до сегодняшнего утра я был уверен, что в вас есть признательность заговорщика, обязанного своему собрату по обстоятельствам той жизни, которую вы вели главным образом благодаря мне. Я уже не говорю о случае с несовершеннолетней Матильдой из дамского оркестра, когда вам угрожал суд. Я не говорю о моих хлопотах перед вашим отцом, о деньгах для мнимого отступного Смиту, якобы грозившему протестовать подельный вексель, которого не было. Не говорю я и о спекуляциях, принесших, опять-таки благодаря мне, вашей милости двенадцать тысяч за контрабанду. Не говорю я также о множестве случаев моей помощи вам, попадавшему в грязные истории с женщинами и газетчиками. Я не говорю о Лауре, которую буквально выцарапал для вас из алькова Вагрена. Но я говорю о чести... Нет, дайте мне сказать все. Да, Ван-Конет, у людей нашего закала есть честь, и честь эта носит имя: «взаимность». Лишь чувство чести заставляет меня напоминать вам о ней. Теперь, когда я мог бы воспитать своего мальчика порядочным человеком, не знающим тех чадных огней греха, в каких сжег свою жизнь его приемный отец, вы ударом кулака по столу заявляете, что я грабитель и негодяй. Я был бы смешон и жалок, если бы я был бескорыстен, так как это означало бы мою беспомощность спасти вас. Для такого дела нужен человек, подобный мне, не стесняющийся в средствах. Кроме того, я ваш друг, и согласитесь, что корыстный друг лучше бескорыстного врага. Однако вам пора отрезвиться и ехать. Пишите вексель.

Говоря о мальчике, Сногден не сочинял. Восемь лет назад, выиграв крупную сумму, он из прихоти купил у какой-то уличной нищенки грудного младенца и нанял ему кормилицу. Впоследствии он привязался к мальчику и очень заботился о нем.

— Так вот цена мухи! Вексель я дам,— сказал Ван-Конет, которому, в сущности, ие оставалось ничего иного, как подчиниться уверенности и опыту Сногдена.— Есть ли у вас бланк?

— У меня есть про запас решительно все.

Сногден передал Ван-Конету бланк и, когда слуга принес чернила, стал искоса наблюдать, что пишет Ван-Конет.

По окончании этого дела Сногден сложил вексель и откровенно вздохнул.

— Так будет лучше, Георг,— сказал он рассудительным тоном взрослого, успокаивающего ребенка,— уж вы поверьте мне. Крупная сумма воспламеняет способности и усиливает изобретательность.

— Но, черт побери, посвятите же меня в ваши затеи!

— К чему? Я, должен вам сказать, не люблю критики. Она расхолаживает. Что же касается моих действий, они так неоригинальны, что вы впадете в сомнения, тогда как я отлично знаю себя и абсолютно убежден в успехе.

— О, как я буду рад, Сногден. Могу ли я спокойно ехать к Консуэло?

— Да. Можете и должны.

— Но, Сногден, допустим невероятное для вашего самолюбия — что вы спасуете.

— Я отдам вексель вам, и вы при мне разорвете его,— твердо заявил Сногден.—Отправляйтесь и ждите у Хуарец. Я извещу вас.

Ван-Конет несколько успокоился. Они расплатились, вышли и направились в противоположные стороны. Сногден так и не сказал, что хочет предпринять, а Ван-Конет поехал брать ванну и собираться к своей невесте.

ГЛАВА III

Молоденькая невеста Ван-Конета, Консуэло Хуарец, была единственное дитя Педро Хуареца, разбогатевшего продажей земельных участков. Владелец табачных плантаций и сигарных фабрик, депутат административного совета, человек, вышедший из низов, Хуарец стал очень богат лишь к старости. Его жена была дочерью скотопромышленника. Десятилетнюю Консуэло родители отправили в Испанию, к родственникам матери. Там она окончила пансион и вернулась семнадцатилетней девушкой. Таким образом, легкомысленные нравы гертонцев не влияли на Консуэло. Она приехала незадолго до годового праздника моряков, который устраивался в Гертоне 9 июня в память корабля «Минерва», явившегося на Гертонский рейд 9 июня 1803 года. Танцуя, Консуэло познакомилась с Ван-Конетом и вскоре стала его любить, несмотря на репутацию этого человека, которой,

как ни странно, она верила, спокойно доказывая себе и не желавшему этого брака расстроенному отцу, что ее муж станет другим, так как любит ее. На взгляд Консуэло, ничего не знавшей о жизни, сильная любовь могла преобразить даже отъявленного бандита. Немного она ошибалась в этом, и разве лишь потому, что такая любовь действует только на сильных и отважных людей.

Как следствие прямого и доверчивого характера Консуэло, важно рассказать, что она первая призналась Ван-Конету в своей любви к нему и так трогательно, как это способно выразить только неопытное существо. Всякий избранник Консуэло на месте Ван-Конета, чувствуя себя наполовину прощенным, крепко задумался бы, прежде чем взять важное обязательство охранять жизнь и судьбу девушки, дарящей сердце так легко, как протягивают цветок. Ван-Конет притворился влюбленным ради богатого приданого, несколько недоумевая, при всех успехах своих среди женщин, как это жертва сама выбежала под его выстрел, когда он только еще изучал след. Его отец жаждал приданого больше, чем сын. Август Ван-Конет так погряз в долгах и растратах, что его служебное, а также материальное банкротство было лишь вопросом времени.

Два месяца сын губернатора прощался с холостой жизнью, более или менее успешно скрывая свои похождения. Приближался день брака, а сегодня Ван-Конет должен был приехать к невесте для разговора, который девушка считала весьма важным. Она хотела искренне, сердечно сказать ему о своей любви, чтобы затем взять с него обещание быть ей верным и настоящим другом. Это было естественное волнение девушки, смутно чувствующей всю важность своего шага и стремящейся к немедленному порыву всех лучших чувств как в себе, так и в избраннике, чтобы забежать сердцем в тайну близости многих лет, которые еще впереди.

Семья Хуарец обыкновенно не уезжала из пригородного имения, но за неделю до бракосочетания Консуэло с матерью переехали в городской дом, стоявший на возвышении за узкой Карантинной улицей, неподалеку от сквера и церкви св. Маврикия. Одноэтажный дом Хуареца представлял группу из трех белых кубов различной высоты, с плоскими крышами и каменной площадкой лицевого фасада, на которую поднимались по

ступеням. Площадка эта была обнесена чугунной решеткой. Отсюда виднелась часть крыш Карантинной и других улиц, прилегающих к ней, до отдаленных семиэтажных громад новейшей постройки. Восточная часть дома имела две террасы, расположенные рядом, одна выше другой. Внутренний двор, с балконами, фонтаном и пальмами среди клумб, был любимым местопребыванием Консуэло. Там она читала и размышляла, и туда горничная-мулатка провела Ван-Конета, приехавшего с опозданием на четверть часа, так как, расставшись со Сногденом, он занялся приведением в равновесие своих нервов, ради чего долго сидел в ванне и выпил мятный коктейль.

Баркет удачно определил Гравелоту впечатление, производимое Консуэло, а потому следует лишь взглянуть на нее так близко, как часто имел эту возможность Ван-Конет. При всем богатстве своем девушка любила простоту, чем сильно раздражала жениха, желавшего, чтобы финансовое могущество семьи, лестное для него, отражалось каждой складкой платьев его невесты. Для этого свидания Консуэло выбрала белую блузку с отложным воротником и яркую, как пион, юбку; на ее маленьких ногах были черные туфли и белые чулки. Тонкая золотая цепочка, украшенная крупной жемчужиной, обнимала смуглую шею девушки двойным рядом, в черных волосах стоял черепаховый гребень. Ни колец, ни серег Консуэло не носила. Кисти ее рук по сравнению с маленькими ногами казались рукой мальчика, но как в пожатии, так и на взгляд производили впечатление доброты и женственности. В общем, это была хорошенькая девушка с приветливым лицом, ясными черными глазами, иногда очень серьезными, и с очаровательными ресницами — легкая фигурой, небольшого роста, хотя подвижность, стройность и девически тонкие от плеча руки делали Консуэло выше, чем в действительности она была, достигая волосами лишь подбородка Ван-Конета. Ее голос, звуча одновременно с дыханием, имел легкий грудной тембр и был так приятен, что даже незначительные слова звучали в произношении Консуэло скрытым чувством, направленным, может быть, к другим, более важным предметам сознания, но свойственным ее тону, как дыхание — ее речи.

С такой девушкой был помолвлен Ван-Конет. Встреченный матерью Консуэло, худощавой женщиной, отчасти напоминающей дочь, в темном шелковом платье, отделанном стеклярусом, Ван-Конет уделил несколько минут будущей теще, притворяясь, что ничто не интересует его, кроме невесты. Хотя у Винсенты Хуарец были живые, проницательные глаза, некогда снившиеся многим мужчинам, но, поддакивая мужу и вздыхая вместе с ним, тайно она была на стороне Ван-Конета. Олицетворение элегантного порока, склонившегося перед сильным и свежим чувством, умиляло ее романтическую натуру. Кроме того, дочери скотовода грехи знатных лиц казались не следствием дурных склонностей, а лишь подобием причудливого, рискованного спорта, который нетрудно подменить идиллией.

Поговорив с ней, Ван-Конет ушел к невесте. Заметив его, Консуэло расцвела, зарделась. Ее взгляды выражали нежность и нетерпение говорить о чем-то безотлагательном.

Со скукой, угнетенный страхом дуэли, Ван-Конет, лицемеря осторожно и кротко, начал играть роль любящего — одну из труднейших ролей, если сердце играющего не тронуто хотя бы симпатией. Если оно смеется, а любовь девушки безоглядна, успех игры обеспечен — нет стеснения ни в словах, ни в позах: будь спокоен, подозрительно ровен, даже мрачен и вял — сердце женское найдет объяснеиие всему, все оправдает и примет вину на себя.

Ван-Конет поцеловал руку Консуэло, но она обняла его, поцеловала в висок, отстранилась, взяла за руку и подвела к стулу.

— Идите сюда, сядьте... Садитесь,— повторила девушка, видя, что Ван-Конет задумался на мгновение.— Оставьте все ваши дела. Вы теперь со мной, а я с вами.

Они сели и повернулись друг к другу. Консуэло взяла веер. Обмахнувшись, девушка вздохнула. Глаза ее, смеясь и тревожась, были устремлены на молчаливого жениха.

— Я в страшной тоске,— сказала Консуэло.— Вы знаете, что произошло? Сегодня весь Гертон говорит о самоубийстве двух человек. Он ужасно любил ее, а она его. Как горестно, не правда ли? Им не давали жениться, а они не снесли этого. Только посмертная записка

рассказывает причину несчастья. Там так и написано: «Лучше смерть, чем разлука». Так написала о н а. А о н приписал: «Мы не расстанемся. Если не можем вместе жить, то пусть вместе умрем». Теперь все говорят, что это — дурное предзнаменование и что те, кто обвенчается в нынешнем году, несчастливо кончат, да и жизнь их будет противной. Как вы думаете, не отложить ли нам брак до будущей весны? Мне что-то страшно, я так боюсь всего такого, и из головы не выходит. Вы уже слышали?

— Я слышал эту историю,— сказал Ван-Конет, беря из рук Консуэло веер и рассматривая живопись на слоновой кости.— Замечательная вещь. Но я так люблю вас, милая Консуэло, что суеверия не тревожат меня.

— О, вы меня любите! — тихо вскричала девушка, схватывая веер, причем Ван-Конет удержал его, так что их руки сблизились.— Но это правда?

Консуэло рассмеялась, затем стала серьезной, и опять неудержимый счастливый смех, подобно утренней игре листьев среди лучей, осветил ее всю.

— Это правда? А если это неправда? Но я пошутила! — крикнула она, заметив, что левая бровь Ван-Конета медленно и патетически поднялась.— Ведь это так чудесно, что вот мы, двое, я и вы, так сильно, сильно, навсегда любим. Лучше не может быть ничего, по-моему. А как думаете вы?

— Я так же думаю. Мне кажется, что вы высказываете мои мысли.

— В самом деле? Я очень рада,— медленно произнесла Консуэло, отвертываясь и опуская голову с желанием вызвать торжественное настроение, но улыбка бродила на ее полураскрытых губах.— Нет! Мне весело,— сказала она, выпрямляясь и вздохнув всей грудью.— Я могу сидеть так долго и смотреть на вас. Всего не скажешь! Целое море слов, как волн в море. Так как же нам быть? Пожалуйста, успокойте меня.

Ван-Конет хотел оживиться, непринужденно болтать, но не мог. Ожидание известий от Сногдена черной рукой лежало на его стесненной душе. Консуэло заметила состояние Ван-Конета, и он заговорил в тот момент, когда она уже решила спросить, что с ним случилось.

— Какой смысл беспокоиться? — сказал Ван-Конет.— Все дело в том, что глупость, высказанная каким-

нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня других глупцов. Погибших, разумеется, жаль, но такие истории происходят каждый день, если не в Гертоне, то в Мадриде, если не в Мадриде, то в Венс. Вот и все, я думаю.

— Вы так уверенно говорите... Ах, если бы так! Но если человек обратит это на себя... если он не расстается с печальными мыслями...

Консуэло запуталась и сама прервала себя:

— Сейчас я придумаю, как выразить. Вас как будто грызет забота. Разве я ошибаюсь?

— Я полон вами,— сказал, проникновенно улыбаясь, Ван-Конет.

— Ах да... Я поняла, как сказать свою мысль. Если человек полон счастья и боится за него, не может ли чужая трагедия оставить в душе след, и след этот повлияет на будущее?

— Клянусь, я с удовольствием воскресил бы гертонских Ромео и Джульетту, чтобы вас не одолевали предчувствия.

— Да. А воскресить нельзя! Странно, что моя мать вам ничего не сказала.

— Ваша матушка не хотела, должно быть, меня тревожить.

— Моя матушка... Ваша матушка... Ах-ах-ах! — укоризненно воскликнула Консуэло, передразнивая сдержанный тон жениха.— Ну, хорошо. Вы помните, что у нас должен быть серьезный разговор?

— Да.

— Георг,— серьезно начала Консуэло,— я хочу говорить о будущем. Послезавтра состоится наша свадьба. Нам предстоит долгая совместная жизнь. Прежде всего мы должны быть друзьями и всегда доверять друг другу, а также чтобы не было между нами глупой ревности.

Она умолкла. Одно дело — произносить наедине с собой пылкие и обширные речи, другое — говорить о своих желаниях внимательному, замкнутому Ван-Конету. Поняв, что красноречие ее иссякло, девушка покраснела и закрыла руками лицо.

— Ну вот, я запуталась,— сказала она, но, подумав и открыв лицо, ласково продолжала: — Мы никогда не будем расставаться, все вместе, всегда: гулять, читать вслух, путешествовать, и горевать, и смеяться... О чем

горевать? Это неизвестно, однако может случиться, хотя я не хочу, не хочу горевать!

— Прекрасно! — сказал Ван-Конет.— Слушая вас, не хочешь больше слушать никого и ничто.

— Не очень красивый образ жизни, который вы вели,— говорила девушка,— заставил меня долго размышлять над тем — почему так было. Я знаю: вы были одиноки. Теперь вы не одиноки.

— Клевета! Черная клевета! — вскричал Ван-Конет.— Карты и бутылка вина... О, какой грех! Но мне завидуют, у меня много врагов.

— Георг, я люблю вас таким, какой вы есть. Пусть это д в е игры в карты и д в е бутылки вина. Дело в ваших друзьях. Но вы уже, наверно, распростились со всеми ними. Если хотите, мы будем играть с вами в карты. Я могу также составить компанию на половину бутылки вина, а остальное ваше.

Она рассмеялась и серьезно закончила:

— Друг мой, не сердитесь на меня, но я хочу, чтобы вы сжали мне локоть.

— Локоть? — удивился Ван-Конет.

— Да, вы так крепко, горячо сжали мне локоть один раз, когда помогали перепрыгнуть ручей.

Консуэло согнула руку, протянув локоть, а Ван-Конет вынужден был сжать его. Он сжал крепко, и Консуэло зажмурилась от удовольствия.

— Вот хороша такая крепкая любовь,— объяснила она.— Знаете ли вы, как я начала вас любить?

— Нет.

Прошло уже три часа, как Ван-Конет предоставил Снегдену улаживать мрачное дело. Его беспокойство росло. С трудом сидел он, угнетенно выслушивая речи девушки.

— Вы стояли под балконом и смотрели на меня вверх, бросая в рот конфетки. В вашем лице тогда мелькнуло что-то трогательное. Это я запомнила, никак не могла забыть, стала думать и узнала, что люблю вас с той самой минуты. А вы?

Вопрос прозвучал врасплох, но Ван-Конет удачно вышел из затруднения, заявив, что он всегда любил ее, потому что всегда мечтал именно о такой девушке, как его невеста.

Дальше пошло хуже. Настроение Ван-Конета совершенно упало. Он усиливался наладить разговор, овладеть чувствами, вниманием Консуэло и не мог. Ни слов ни мыслей у него не было. Ван-Конет ждал вестей от Сногдена, проклиная плеск фонтана и слушая, не раздадутся ли торопливые шаги, извещающие о вызове к телефону.

После нескольких робких попыток оживить мрачного возлюбленного Консуэло умолкла. Делая из деликатности вид, что задумалась сама, она смотрела в сторону; губки ее надулись и горько вздрагивали. Если бы теперь она еще раз спросила Ван-Конета: «Что с ним?» — то окончательно расстроилась бы от собственных слов. Несколько рассеяло тоску появление Винсенты, объявившей, что приехал отец. Действительно, не успел Ван-Конет пробормотать нескладную фразу, как увидел Педро Хуареца, тучного человека с угрюмым лицом. Взглянув на дочь, он понял ее состояние и спросил:

— Вы поссорились?

Консуэло насильственно улыбнулась.

— Нет, ничего такого не произошло.

— Я ругался с моей женой довольно часто,— сообщил старик, усаживаясь и вытирая лицо платком.— Ничего хорошего в этом нет.

Эти умышленно сказанные, резко прозвучавшие слова еще более расстроили Консуэло. Опустив голову, она исподлобья взглянула на жениха. Ван-Конет молчал и тускло улыбался, бессильный сосредоточиться. Бледный, мысленно ругая девушку грязными словами и проклиная невесело настроенного Хуареца, который тоже был в замешательстве и медлил заговорить, Ван-Конет обратился к матери Консуэло:

— Очень душно. Вероятно, будет гроза.

— О! Я не хочу,— сказала та, присматриваясь к дочери,— я боюсь грозы.

Снова все умолкли, думая о Ван-Конете и не понимая, что с ним произошло.

— Вам нехорошо? — спросила Консуэло, быстро обмахиваясь веером и готовая уже расплакаться от обиды.

— О, я прекрасно чувствую себя,— ответил Ван-Конет, взглянув так неприветливо, что лицо Консуэло изменилось.— Напротив, здесь очень прохладно.

Выдав таким образом, что не помнит, о чем говорил минуту назад, Ван-Конет не мог больше переносить смущения матери, расстройства Консуэло и пытливого взгляда старика Хуареца. Ван-Конет хотел встать и раскланяться, как появилась служанка, сообщившая о вызове гостя к телефону Сногденом. Не только оповещенный, но и все были рады разрешению напряженного состояния. Что касается Ван-Конета, то кровь кинулась ему в голову, сердце забилось, глаза живо блеснули, и, торопливо извиняясь, взбежал он вслед за служанкой по внутренней лестнице дома к телефону проходной комнаты.

— Сногден! — крикнул Ван-Конет, как только поднес трубку к губам.— Давайте, что есть, сразу — да или нет?

— Да,— ответил торжествующе-снисходительный голос,— категорическое да, хотя пришлось иметь дело с вашим отцом.

Ван-Конет сжался: среди радости упоминание об отце намекнуло о чем-то и обещало неприятную сцену. Однако «да» все перевешивало в этот момент.

— Черти целуют вас! — закричал он.— Но, как бы там ни было, дыхание вернулось ко мне. Ждите меня через час.

— Хорошо. Признаете ли вы, что я знаю цену своих обещаний?

— Отлично. Не хвастайтесь.

Ван-Конет засмеялся и, глубоко, спокойно дыша, вернулся к фонтану.

Семья молча сидела, дожидаясь его возвращения. Консуэло печально взглянула на жениха, но, заметив, что он весь ожил, смеется и еще издали что-то говорит ей, сама рассмеялась, порозовела. Догадавшись о перемене к лучшему, Винсента Хуарец посмотрела на Ван-Конета с благодарностью; даже отец Консуэло обрадовался концу этого унизительного как для него, так и для его дочери и жены омертвения жениха.

— Что-нибудь о ч е н ь приятное? — воскликнула Консуэло, прощая Ван-Конета и гордясь его прекрасным любезным лицом.— Вы задали мне загадку! Я так беспокоилась!

— Признаюсь,— сказал Ван-Конет,— да, меня беспокоило одно дело, но все уладилось. Мою кандидатуру на должность председателя компании сельскохозяйствен-

ных предприятий в Покете поддерживают два влиятельных лица. Вот этого я и ждал, от этого приуныл.

— О, надо было сказать мне! Ведь я ваша жена! Я — с а м о е влиятельное лицо!

— Конечно, но...— Ван-Конет поцеловал руку девушки и сел, довольно оглядываясь.— По всей вероятности, мы с Консуэло будем жить в Покете,— сказал он старику Хуарецу,— как уже и говорилось об этом.

— Мне дорого мое дитя,— неожиданно трогательно и твердо сказал Хуарец,— она у меня одна. Я хочу на вас надеяться, да, я надеюсь на вас.

— Все будет хорошо! — воскликнул Ван-Конет, заглядывая во влажные глаза девушки с сиянием радости, полученной от разговора с Сногденом, и придумывая тему для разговора, которая могла бы заинтересовать всех не более как на десять минут, чтобы поспешить затем на свидание и узнать от Сногдена подробности благополучной развязки.

ГЛАВА IV

Дела и заботы Сногдена обнаружатся на линии этого рассказа по мере его развития, а потому внимание должно быть направлено к Давенанту и косиуться его жизни глубже, чем он сам рассказал Баркету.

Подобранный санитарной каретой перед театром в Лиссе, Давенант был отвезен в госпиталь Красного Креста, где пролежал с воспалением мозга три недели. Как ни тяжело он заболел, ему было суждено остаться в живых, чтобы долго помнить пламенно-солнечную гостиную и детские голоса девушек. Как игра, как ясная и ласковая забота жизни о невинной отраде человека, представлялась ему та судьба, какую он бессознательно призывал.

По миновании опасности Давенант несколько дней еще оставался в больнице, был слаб, двигался мало, большую часть дня лежал, ожидая, не разыщет ли его Галеран или Футрос. Его тоска начиналась с рассветом и оканчивалась дремотой при наступлении ночи; сны его были воспоминаниями о незабываемом вечере со стрельбой в цель. Серебряный олень лежал под его подушкой. Иногда Тиррей брал эту вещицу, рассматривал ее и прятал опять. Наконец он уразумел, что его пребывание в

чужом городе лишено телепатических свойств, могущих указать местонахождение беглеца кому бы то ни было. Теперь был он всецело предоставлен себе. Он вспоминал своего отца с такой ненавистью, что мысли его о нем были полны стона и скрежета. Выйдя из больницы, Давенант отправился пешком на юг, чтобы уйти от Покета как можно далее. Дорогой он работал на фермах и, скопив немного денег, шел дальше, выветривая тоску. А затем Стомадор отдал ему «Сушу и море».

В тот день Давенанту никак не удавалось побыть одному до самого вечера, так как была суббота — день разъездов с рудников в город. Торговцы ехали закупать товары, служащие — повеселиться с знакомыми, рабочие, получившие расчет,— хватить дозу городских удовольствий. Многие из них требовали вина, не оставляя седла или не выходя из повозок, отчего Петрония часто выбегала из дверей с бутылкой и штопором, а Давенант сам служил посетителям.

За хлопотами и расчетами всякого рода его гнев улегся, но тяжкое оскорбление, нанесенное Ван-Конетом, осветило ему себя таким опасным огнем, при каком уже немыслимы ни примирение, ни забвение. Угадывая свадебные затруднения высокопоставленного лица, а также имея в виду свое искусство попадать в цель, Давенант отлично сознавал, насколько Ван-Конету рискованно принимать поединок; однако другого выхода не было, разве лишь Ван-Конет стерпит пощечину под тем предлогом, что удар трактирщика, так же как и уличное нападение, не могут его унизить. На такой случай Давенант решил ждать двадцать четыре часа и, если Ван-Конет откажется, напечатать о происшествии в местной газете. Такую услугу мог ему оказать Найт, брат редактора газеты «Гертонские утренние часы», человек, часто охотившийся с Гравелотом в горах и искренне уважавший его. Однако Давенант так еще мало знал людей, что подобные диверсионные соображения казались ему фантазией, на самом же деле он не хотел сомневаться в храбрости Ван-Конета. Единственное, что Давенант допускал серьезно,— это вынужденное признание противником своей вины перед началом поединка; тогда он простил бы его. Если же гордость Ван-Конета окажется сильнее справедливости и рассудка, то на такой случай Давенант намеревался ранить противника не-

опасно, ради его молоденькой невесты, не виноватой ни в чем. Эту девушку Давенант не хотел наказывать.

Самые тщательные размышления, если они имеют предметом еще не наступившее происшествие, обусловленное какими-нибудь случайностями его разрешения, есть размышления, по существу, отвлеченные, и они скоро делаются однообразны; поэтому, все передумав, что мог, Давенант стал с часу на час ожидать прибытия секундантов Ван-Конета, но много раз убирались и накрывались столы для посетителей, которым Давенант ничего не говорил о событиях утра, запретив также болтать Петронии, а день проходил спокойно, как будто никогда за большим столом против окна не сидели Лаура Мульдвей, отгонявшая муху, и Георг Ван-Конет, смеявшийся со злым блеском глаз. Радостным и чудесным был этот день только для служанки Петронии, неожиданно осчастливленной восемнадцатью золотыми. Но не так поразили ее деньги, скотская грубость Ван-Конета и драка с ее хозяином, как поведение Гравелота, который ударил богатого человека, отказался от выигрыша и, пустяков ради, грудью встал против своей же доходной статьи из-за надутых губ всхлипывающей толстощекой девчонки, которой, по мнению Петронии, была оказана великая честь: «такой красавец, кавалер важных дам, изволил с ней пошутить».

Петрония служила недавно. Работник Давенанта, пожилой Фирс, терпеливо сближался с ней, и она начала привыкать к мысли, что будет его женой. Восемнадцать гиней делали ее независимой от накоплений Фирса. Улучив минуту, когда тот привез бочку воды, Петрония вышла к нему на двор и сказала:

— Знаете, Фирс, когда вас не было, приезжал сын губернатора с какой-то красавицей... Хотя она очень худая... Он, а также его двое друзей, все богачи, дали мне д в а д ц а т ь п я т ь фунтов.

— Это было во сне,— сказал Фирс, подходя к ней и беря ее твердую блестящую руку с засученным до локтя рукавом.

Петрония освободила руку и вытащила из кармана юбки горсть золотых.

— Врете. Это хозяин посылает вас за покупками,— сказал Фирс.— А вы сочиняете по примеру Гравелота. Вы заразились от него сочинениями... Признайтесь! Он

мне сказал на днях: «Фирс, как вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет! Я только обернулся, а затем отвернулся. Не люблю я таких шуток. Выходит, что я — глупее его? Итак, едете в город покупать?

— Да,— ответила Петрония, сознавая, что положение изумительно и что у Фирса нет причины верить истине происшествия, а рассказать о стрельбе она боялась: Фирс умел вытягивать из болтунов подробности, и тогда, если узнает о ее нескромности Гравелот, ему, пожалуй, вздумается забрать деньги себе.

— Петрония! — закричал Давенант из залы, видя, что появилось несколько фермеров.

Она не слышала, и он, выйдя ее искать, заглянул в кухонную дверь. Петрония стояла у притолоки, откинув голову, пряча за спиной руки, мечтая и блаженствуя. Весь день она тревожно присматривалась к хозяину, стараясь угадать,— не сошел ли Гравелот с ума. Такой ее взгляд поймал Давенант и теперь, но, думая, что она беспокоится о нем из-за утренней сцены, улыбнулся. Ему понравилось, как она стояла, цветущая, рослая, олицетворение хозяйственности и здоровья, и он подумал, что Петрония будет помнить этот день всю жизнь, как своенравно залетевшую искру чудесной сказки. «Вся ее жизнь,— думал Давенант,— примет оттенок благодарного воспоминания и надежды на будущее».

Она встрепенулась, а хозяин отослал ее и сказал Фирсу:

— Кажется, вам нравится моя служанка, Фирс? Женитесь на ней.

— Мало ли нравится мне служанок,— замкнуто ответил Фирс, распрягая лошадь,— на всех не женишься.

— Тогда на той, которая перестанет быть для вас служанкой.

Фирс не понял и подумал: «С чего он взял, что я держу служанок?»

— Ехать ли за капустой? — спросил Фирс.

— Вы поедете за ней завтра.

Давенант возвратился к буфету, замечая с недоумением, что солнце садится, а из города нет никаких вестей от Ван-Копета. По-видимому, его осмеяли и бросили, как бросают обжегшее пальцы горячее, казавшееся безо-

бидным на взгляд железо. Рассеянно наблюдая за посетителями, которых оставалось все меньше, Давенант увидел человека в грязном парусиновом пальто и соломенной шляпе; пытливый, себе на уме взгляд, грубое лицо и толстые золотые кольца выдавали торговца. Так это и оказалось. Человек сошел с повозки, запряженной парой белых лошадей, и прямо направился к Давенанту, которого начал просить разрешить ему оставить на два дня ящики с книгами.

— У меня книжная лавка в Тахенбаке,— сказал он,— я встретил приятеля и узнал, что должен торопиться обратно на аукцион в Гертоне,— выгодное дело, прозевать не хочу. Куда же мне таскать ящики? Позвольте оставить эти книги у вас на два дня, послезавтра я заеду за ними. Два ящика старых книг. Пусть они валяются под навесом.

— Зачем же? — сказал Давенант.— Ночью бывает обильная роса, и ваши книги отсыреют. Я положу их под лестницу.

— Если так, то еще лучше,— обрадовался торговец.— Благодарю вас, вы очень меня выручили. Недаром говорят, значит, что Джемс Гравелот — самый любезный трактирщик по всей этой дороге. Мое имя — Готлиб Вагнер, к вашим услугам.

Затем Вагнер вытащил два плохо сколоченных ящика, в щелях которых виднелись старые переплеты, а Давенант сунул их под лестницу, ведущую из залы в мезонин, где он жил. Вагнер стал предлагать за хранение немного денег, но хозяин наотрез отказался — ящики нисколько не утруждали его. Вагнер осушил у стойки бутылку бина, побежал садиться в повозку и тотчас уехал.

Это произошло за несколько минут до заката солнца. Петрония прибирала помещение, так как с наступлением тьмы гостиница редко посещалась, двери ее запирались. Если же приезжал кто-нибудь ночью, то гостя впускали через ворота и кухню. Сосчитав кассу, Давенант приказал служанке закрыть внутренние оконные ставни и отправился наверх, раздумывая о мрачном дне, проведенном в тщетном ожидании известий от Ван-Конета. Лишь теперь, сидя перед своей кроватью, за столом, на который Петрония поставила медный кофейник, чашку и сахарницу, молодой хозяин гостиницы мог сосредоточиться на своих чувствах, рассеянных суетой дня. Оскор-

бления наглых утренних гостей не давали ему покоя. Умело, искусно, несмотря на запальчивость, были нанесены эти оскорбления; он еще никогда не получал таких оскорблений и, оживляя подробности гнусной сцены, сознавал, что ее грязный след останется на всю жизнь, если поединок не состоится. Более всего играла здесь роль разница мировоззрений, выраженная не препирательством, а ударом. Действительно, так больно ранить и так загрязнить рану мог только человек с низкой душой. Догадываясь о роли Сногдена, Давенант придавал мало значения его явно служебной агрессии: Сногден действовал по обязанности.

Вдруг, как это часто бывает при взволнованном состоянии, развертывающем представление действия в связи не только с прямыми, но и с косвенными обстоятельствами, у Давенанта возникло сомнение. Богатый человек, сын губернатора, жених дочери миллионера, обладающий могущественными связями и великолепным будущим,— захочет ли такой человек рисковать всем, даже претерпев удар по лицу? Насколько характер его открылся в «Суше и море», следовало признать отсутствие благородных чувств. А в таком положении люди редко изменяют себе, разве лишь выгода толкнет их к неискреннему театральному жесту. Это соображение так встревожило Давенанта, что он немедленно подкрепил его сопоставлением джентльмена с трактирщиком и риском, которым грозила для Ван-Конета огласка курьезно-мрачного дела. Надежды его исчезли, мысли спутались, и, чтобы отвлечься,— так как ничего другого не оставалось, как ждать, что принесет завтрашний день,— Давенант снял со стены маленькую винтовку, подобную той, из которой несколько лет назад стрелял на вечере у Футроза. Пристрастившись к стрельбе в цель, чем-то отвечавшей его жажде тождества усилия и результата, Давенант, уже став несравненным стрелком, не оставлял этого упражнения, но ему помешали.

Он услышал быстрый стук в ворота, шаги и голос Петронии; затем мужской голос назвал его имя: «Гравелот», но дальше Давенант не расслышал. Кто-то взбежал по лестнице, дверь быстро открылась, и он увидел контрабандиста Петвека, который даже не постучал.

— Скандал! Готовьтесь! — закричал Петвек.— Я к вам прямо из Латра. Сюда мчится таможенный отряд.

— Что такое, Петвек? Садитесь прежде всего. О чем вы кричите?

— У вас были обыски?

— До сих пор не было.

— Так будет сейчас. Я был в Латре. Двенадцать пограничников направились к вам. Я видел этих солдат. Один из них — не то, чтобы проболтался, но он с нами имеет дела. У вас что-нибудь есть, Гравелот?

— Если вы до сих пор не соблазнили меня, ясно, что сам я не стану прятать карты или духи. Однако вы не врете? — сказал Давенант, встревоженный шумным дыханием Петвека, который смотрел на него с испугом и недоумением.

— Вот как я вру,— ответил Петвек,— я сразу помчался к вам, оставив солдат докаичивать свое пиво у старухи Декай. Ведь вы знаете, что в Латре у нас постоянный наблюдательный пункт — пограничники вечно толкутся там. Я мчался по короткой тропе и опередил их, но через четверть часа вы сами будете говорить с ними, тогда узнаете, лжет Петвек или не лжет.

— Вот что,— сказал Давенаит, прислушиваясь к одной мысли, начавшей его терзать.— Идем-ка вниз. Под лестницей есть два ящика, и я хочу узнать, чем они набиты.

Он взял молоток, лампу и поспешно сошел вниз, с Петвеком за спиной, все время торопившим его. Вытащив из-под лестницы один ящик, оставленный Вагнером, Давенант сбил верхние доски. Действительно, там лежали старые книги, но они прикрывали десятка два небольших ящиков. Распаковав один из них, хотя и без того уже слышался весьма доказательный запах дорогих сигар, Давенант больше не сомневался.

— По крайней мере закурим,— сказал Петвек, беря сигару и с остервенением отгрызая ее конец.— Так! Хорошие сигары, Гравелот. Но с нами вы не хотели иметь дела.

— Молчите,— сказал Давенант.— Товар мне подкинули. Петвек, тащите тот ящик, а я возьму этот. Мы выбросим их в кусты.

Но в это время застучали копыта лошадей. Прятать роковой груз было уже поздно.

— К черту! — сказал Давенант, крепче задвигая дверной засов и пробуя крюк.— Придется бежать, Пет-

век. Дело хуже, чем пять месяцев тюрьмы. На этом не остановятся. Я один знаю, в чем дело. Где стоит ваша «Медведица»?

— Гравелот,— ответил Петвек, чувствуя какое-то более серьезное дело, чем два ящика сигар,— я не покину вас в беде.

Услышав это, Давенант кинулся в комнату Фирса и одним толчком разбудил его.

— Бросьте протирать глаза,— сказал Давенант,— дело плохо. Оставляю вам гостиницу. Ведите торговлю, вот вам сто фунтов. Потом отчитаетесь. Я должен временно скрыться. Сейчас будут ломиться в ворота и двери,— не открывайте. Пусть ломают вход или лезут через стену, но задержите, как можно дольше. Некогда рассуждать.

Раздался удар в дверь гостиницы. Одновременно загремели ворота и послышались приказания открыть. Фирс сел, спустил ноги, вскочил и, торопливо кивнув, спрятал деньги под наволочку, затем выхватил их и начал бегать по комнате, ища более надежного места. Давенант покинул его и увлек Петвека наверх. Из комнаты косое окно вело на крышу, по той ее стороне, которая была обращена к скале. Достав и захватив с собой серебряного оленя, а также все деньги из стола и карманов одежды, Давенант с револьвером в руке вылез через окно, указывая Петвеку место, где прыжок на скалу с крыши короче. Они прыгнули одновременно, прямо над головой пограничника, стоявшего с этой стороны дома, чтобы помешать бегству. Солдат, увидев две тени, перемахнувшие вверху, с крыши на скалу, яростно закричал и выстрелил, но беглецы были уже в кустах, а в это время через стену двора перепрыгивали солдаты, начиная разгром. Лодка Давенанта стояла неподалеку от дома; он скатил ее в воду и сел, а Петвек распустил парус. Умеренный ветер погнал лодку прочь от опасной земли.

— Передохнем,— сказал Петвек, сев к рулю и доставая из кармана горсть сигар. Он благоразумно захватил столько сигар, сколько успел набить в карманы, пока Давенант пугал и обогащал Фирса.

— Что ж, я везу вас на «Медведицу». Если так, то она этой же ночью пойдет в Покет. Закурите, Гравелот. Видали вы, как быстро изменяется жизнь?

— Знаю,— сказал Давенант, уже немного освоив-

шийся с мыслью, что вновь ступил на тропу темной судьбы.— Мне это известно, увы! Но у меня крепкое сердце, Петвек.

— Хорошо, если крепкое. Объясните, в чем дело? Зачем надо бежать?

Пока они плыли, Давенант рассказал утреннюю историю, и, всесторонне обсудив ее, Петвек должен был признать, что другого выхода, как бегство, нет.

— Раз так тонко задумано с контрабандой, будьте уверены,— сказал Петвек,— что этим Ван-Конеты не ограничатся. Сын боится вас, а его отец, высокородный Август Ван-Конет, сумел бы устроить вам долгое житье за решеткой. Это — сила. Поедете с нами в Покет, а там будет видно, что делать.

— В Покет? — сказал Давенант.— Ну что же! Мне почему-то это приятно. Я там давно не был. Очень давно. Да, это хорошо — Покет,— повторил он, на мгновение чувствуя себя слоняющимся у дома Футроза, а тут воспоминания, одно за другим, прошли в темноте ночи. Галеран, Элли, Роэна, старуха Губерман, Кишлот, бродяга отец... И в ветре возбуждения опасного дня они предстали теперь мирно, лишь оттенок тоски сопровождал их. «Меня, пожалуй, трудно узнать,— думал он.— Странно и хорошо: я буду в Покете. Хорошо, что так выходит само собой, без намерения».

— Богатое было у вас дело,— сказал Петвек.—Кто бы мог думать?.. Вы хотя сказали кому-нибудь?

— Да. Останется Фирс. Ему я могу верить.

— Жулик ваш Фирс,— ответил Петвек.— Не то чтобы он мне не нравился, но, когда он является в Латр, первым делом прохаживается на счет вас. Завистливая скотина.

— Я оставил ему сто фунтов,— сказал Давенант.— Особенно я не сомневаюсь, но все же, когда вы будете там, присмотрите немного. Фирс и Петрония должны управиться, пока я не улажу историю с Ван-Конетом. А я улажу ее. Еще не знаю как, но это дело я доведу до конца.

— Правильно,— согласился Петвек,— я зайду в гостиницу, а с вами спишусь.

Лодка шла близко к береговым скалам. Не прошло часа, как Давенант увидел «Медведицу», стоявшую на якоре без огней. Петвек издал условный свист.

— Что привез? — крикнул человек с низкого борта потрепанного двухмачтового судна.

— Я привез одного твоего знакомого! — крикнул Петвек и, пока Давенант убирал парус, продолжал объяснять: — Со мной Гравелот. Надо будет перемахнуть его в Покет. Вот и все.

Все береговые контрабандисты хорошо знали Давенанта, так как редкий месяц не заходили в «Сушу и море» и неоднократно пытались приспособить гостиницу для своих целей, но, как ни выгодны были их предложения, Давенант всегда отказывался. На таком ремесле его увлекающийся характер скоро положил бы конец свободе и жизни этого человека, сознательно ставшего изгнанником, так как жизнь ловила его с оружием в руках. Он не был любим ею. Хотя Давенант уклонился от предложений широко разветвленной, могущественной организации, контрабандисты уважали его и были даже привязаны к нему, так как он часто позволял им совещаться в своей гостинице. Итак, Давенант не встретил новых лиц и, пройдя в маленькую каюту шкипера Тергенса, скоро увидел себя окруженным слушателями. Петвек вкратце рассказал дело, но они желали узнать подробности. Их отношение к Давенанту было того рода благожелательно-снисходительным отношением, какое выказывают люди к стоящему выше их, если тот действует с ними в равных условиях и одинаковом положении. При отсутствии симпатии здесь недалеко до усмешки; в данном же случае контрабандисты признавали бегство Гравелота более удивительным, чем серьезным делом. Не скрывая сочувствия к нему, они всячески ободряли его и шутили; их забавляло, что Гравелот обошелся с Ван-Конетом, как с пьяным извозчиком.

— Однако,— сказал Тергенс,— Гравелот не улетел по воздуху, пограничники это знают, они обшарят весь берег, и, я думаю, нам пора тащить якорь на борт.

— Как же быть с Никльсом? — спросил боцман Гетрах.

Речь шла о контрабандисте, ушедшем в село к возлюбленной на срок до шести часов утра. В семь «Медведица» должна была начать плавание, но теперь возник другой план. Тергенс боялся оставаться, так как пограничники, выехав на паровом боте вдоль скал, легко мо-

«ДОРОГА НИКУДА»

«ДОРОГА НИКУДА»

гли арестовать «Медведицу» с ее грузом, состоявшим из красок, хорьковых кистей, духов и пуговиц.

— Не думал нынче плыть на «Медведице»,— сказал Петвек боцману.— Раз я здесь, я поеду. Мне надоело торчать в Латре. На этой неделе больших дел не предвидится. Там есть Блэк и Зуав, их двух хватит, в случае чего. Гетрах, пишите Никльсу записку, а я возьму шлюпку, свезу записку в дупло. Никльс прочтет, успокоится.

Взяв записку, Петвек ушел, после чего остальные контрабандисты мало-помалу очистили каюту, служившую одновременно столовой. Гетрах спал на столе, Тергенс — на скамье. Пока Петвек ездил к берегу, Тергенс открыл внутренний трюмовый люк и со свечой прошел туда, чтобы указать Давенанту место его ночлега. Перевернув около основания мачты ряд кип и ящиков, Тергенс устроил постель из тюков, на нее шкипер бросил подушку и одеяло.

— Не курите здесь,— предупредил Тергенс беглеца,— пожар в море — дело печальное. Впрочем, я вам принесу тарелку для окурков.

Он притащил оловянную тарелку, глухой фонарик, бутылку водки. Давенант опустился на ложе и принял полусидячее положение. Уходя, Петвек дал ему шесть сигар, так что он был обеспечен для комфортабельного ночлега в плавании. Хлебнув водки, Давенант закурил сигару, стряхивая пепел в тарелку, которую держал на коленях сверху одеяла. Мальчик еще крепко сидел в опытном, видавшем виды хозяине гостиницы; ему нравился запах трюма — сыроватый, смолистый; полусвет фонаря среди товаров и бег возбужденной мысли в раме из бортов и снастей, где-то между мысом «Монаха» и отмелями Гринленда. Между тем слышался голос возвратившегося Петвека и стук кабестана, тащившего якорь наверх. Заскрипели блоки устанавливаемых парусов; верхние реи поднялись, парусина отяготилась ветром, и все разбрелись спать, кроме Гетраха, ставшего к рулю, да Тергенса и Петвека, влезших из каюты в трюм, чтобы потолковать перед сном. Гости уселись на ящиках и приложились к бутылке, после чего Петвек сказал:

— Никак нельзя было спрятать вашу лодку на берегу. Пограничники могли ее найти и узнать нашу стоянку. А тут хорошее сообщение с нашей базой. Я отвел лодку за камни и пустил ее по ветру. Что делать!

Давенант спокойно махнул рукой.

— Если я буду жив,— лодка будет,— сказал он фаталистически.— А если меня убьют, то не будет ни лодки, ни меня. Так мы уж плывем, Тергенс?

— О да. Если ветер будет устойчив — зюйд-зюйд-ост,— то послезавтра к рассвету придем в Покет.

— Не в гавань, надеюсь?

— Ха-ха! Нет, не в гавань. Там в миле от города есть так называемая Толковая бухта. В ней выгрузимся.

— Знаю. Я бывал там... когда бегал еще босиком,— сказал Давенант.

— Вы родились в Покете? — вскричал Петвек.

— Нет,— ответил из осторожности Давенант,— я был проездом, с родителями.

— Странный вы человек,— сказал Тергенс.— Идете вы, как и мы, без огней, сигналов... Никто не знает, кто вы такой.

— Вы были бы разочарованы, если бы узнали, что я — сын мелкого адвоката,— ответил Давенант, смеясь над испытующим и заинтересованным выражением лиц бывших своих клиентов,— а потому я вам сообщаю, что я незаконный сын Эдисона и принцессы Аустерлиц-Ганноверской.

— Нет, в самом деле?! — сказал Петвек.

— Ну, оставь,— заметил Тергенс,— дело не наше. Так вы думали, что Ван-Конет будет с вами драться?

— Он должен был драться,— серьезно сказал Давенант.— Я не знал, к а к о й это подлец. Ведь есть же смелые подлецы!

— Интересно узнать, кто этот тип, который оставил вам ящики,— сказал Петвек.— Каков он собой?

Давенант тщательно описал внешность мошенника, но контрабандисты никого не могли подобрать к его описанию из тех, кого знали.

— Что же... Подавать в суд? Да вас немедленно арестуют,— сказал Тергенс.

— Это верно,— подтвердил Давенант.

— Ну, так как вы поступите?

— Знаете, шкипер,— с волнением ответил Давенант,— когда я доберусь до Покета, я, может быть, найду и заступников и способы предать дело широкой огласке.

— Если так... Конечно.

Тергенс и Петвек сидели с Давенантом, пока не до кончили всю бутылку. Затем Тергенс отправился сменять Гетраха, а Петвек — к матросам, играть в карты Давенант скоро после того уснул, иногда поворачиваясь, если ребра тюков очень жали бока.

Почти весь следующий день он провел в лежачем положении. Он лежал в каюте на скамье, тут же обедал и завтракал. «Медведица» шла по ровной волне, с попутным ветром, держась, на всякий худой случай, близко к берегу, чтобы экипаж мог бежать после того, как дозорное судно или миноносец сигнализируют остановиться. Однако, кроме одного пакетбота и двух грузовых шхун, «Медведица» не встретила судов за тот день. Уже стало темнеть, когда на траверсе заблестели огни Покета, и «Медведица» удалилась от берега в открытый океан, во избежание сложных встреч.

Когда наступила ночь, судно, обогнув зону порта, двинулось опять к берегу, и незначительная качка позволила экипажу играть в «ласточку». Давенант принял участие в этой забаве. Играли все, не исключая Тергенса. На шканце установили пустой ящик с круглым отверстием, проделанным в его доске; каждый игрок получил три гвоздя с отпиленными шляпками; выигрывал тот, кто мог из трех раз один бросить гвоздь сквозь узенькое отверстие в ящике на расстоянии четырех шагов. Это трудное упражнение имело своих рекордсменов. Так, Петвек попадал чаще других и с довольным видом клал ставки в карман.

Чем ближе «Медведица» подходила к берегу, тем озабоченнее становились лица контрабандистов. Никогда они не могли уверенно сказать, какая встреча ждет их на месте выгрузки. Как бы хорошо и обдуманно ни был избран береговой пункт, какие бы надежные люди ни прятались среди скал, ожидая прибытия судна, чтобы выгрузить контрабанду и увезти ее на подводах к отлично оборудованным тайным складам, риск был всегда. Причины опасности коренились в отношениях с береговой стражей и изменениях в ее составе. Поэтому, как только исчез за мысом Покетский маяк, игра прекратилась и все одиннадцать человек, бывшие на борту «Медведицы», осмотрели свои револьверы. Тергенс положил на трюмовый люк восемь винтовок и роздал патроны.

— Не беспокойтесь,— сказал он Давенанту, вопросительно взглянувшему на него,— такая история у нас привычное дело. Надо быть всегда готовым. Но редко приходится стрелять, разве лишь в крайнем случае. За стрельбу могут повесить. Однако у вас есть револьвер? Лучше не ввязывайтесь, а то при вашей меткости не миновать вам каторжной ссылки, если не хуже чего. Вы просто наш пассажир.

— Это так,— сказал Давенант.— Однако у меня нет бесчестного намерения отсиживаться за вашей спиной.

— Как знаете,— заметил Тергенс с виду равнодушно, хотя тут же пошел и сказал боцману о словах Гравелота. Гетрах спросил:

— Да?

Они одобрительно усмехнулись, больше не говоря ничего, но остались с приятным чувством. В воображении им приходилось сражаться чаще, чем на деле.

Между тем несколько бутылок с водкой переходило из рук в руки: готовясь к высадке, контрабандисты накачивались для храбрости, вернее — для спокойствия, так как все они были далеко не трусы. Только теперь стало всем отчетливо ощутительно, что груз стоимостью в двадцать тысяч фунтов обещает всем солидный заработок. «Медведица» повернула к берегу, невидимому, но слышному по шороху прибоя; ветер упал. Матросы убрали паруса; судно на одном кливере подтянулось к смутным холмам с едва различимой перед ними пенистой линией песка. Всплеснул тихо отданный якорь; кливер упал, и на воду осела с талей шлюпка. В нее сели четверо: Давенант, Гетрах, Петвек и шестидесятилетний седой контрабандист Утлендер. Как только подгребли к берегу, стало ясно, что на берегу никого нет, хотя должны были встретить свои.

— Ну, что же вам делать теперь? — сказал Петвек Давенанту, выскакивая на песок вместе с ним.— Мы тут останемся. Я пойду искать наших ребят, которые, верно, заснули неподалеку в одном доме, а вам дорога известная: через холмы и направо, никак не собьетесь, прямо выйдете на шоссе.

Контрабандист был уже озабочен своими делами. Гетрах нетерпеливо поджидал его, чтобы идти. Давенант, чрезвычайно довольный благополучным исходом плавания, тоже хотел уходить, даже пошел,— как он и

все другие остановились, услышав плеск весел между берегом и «Медведицей». Подумав, что оставшийся в лодке Утлендер зачем-то направился к судну, так укрытому тьмой, что можно было различить лишь, да и то с трудом, верхушку его мачт, Петвек крикнул:

— Эй, старый Ут! Ты куда?

Одновременно закричал Утлендер, хотя его испуганные слова не относились к Петвеку.

— Тергенс, удирай! — вопил он и, поднеся к губам свисток, свистнул коротко три раза, чего было довольно, чтобы на палубе загремел переполох.

Таможенная шлюпка, набитая пограничниками, стала между берегом и «Медведицей», другая напала с открытой стороны моря, из-за холмов раздались выстрелы — и стало некуда ни плыть, ни идти. Пока обе таможенные шлюпки абордировали «Медведицу», темные фигуры таможенных, показавшись из береговой засады, кричали:

— Сдавайтесь, купцы!

Давенант быстро осмотрелся. Заметив большой камень с глубокими трещинами, он сунул в одну из трещин бумажник с деньгами и письмами, а также своего оленя, и успел засыпать все это галькой. Затем он подбежал к Утлендеру, готовый на все.

— Отбивайтесь! — кричал Тергенс с палубы в то время, как момент растерянности уже прошел и все, словно хлестнуло их горячим по ногам, начали, без особого толку, сопротивляться. Трудно было знать, сколько здесь солдат. Ничего лучшего не находя, Петвек, Гетрах и Давенант бросились в шлюпку Утлендера, где, по крайней мере, суматоха могла выручить их, дав как-нибудь ускользнуть к недалеким скалам, а за их прикрытием — в море. Так случилось, таково было согласное настроение всех, что началась усердная пальба ради спасения ценного груза и еще более от внезапности всего дела, хотя, может быть, уже некоторые раскаивались, зная, как дорого поплатятся за стрельбу оставшиеся в живых. Отойдя от берега, шлюпка качалась на волнах, и в нее уже стреляли с берега. Пули свистели, пронзая воду или колотя в борт зловещим щелчком. Тьма мешала прицелу. Утлендер, дрожа от возбуждения, встал и стоя стрелял на берег, Петвек и Гетрах старались повалить таможенников, сидевших в шлюпке, приставшей к борту

«Медведицы». Давенант схватил револьвер, более опасный в его руках, чем винтовка в руках солдата, и прикончил одного неприятеля.

— Вы-то... чего? — крикнул Гетрах, но уже забыл о Давенанте, сам паля в кусты, где менялись очертания тьмы.

Между тем на палубе судна зазвучали сабли, тем указывая рукопашную. Там же был начальник отряда; задыхаясь, он твердил:

— Берите их! Берите!

Протяжно вскрикнув, командир изменившимся голосом сказал:

— Теперь все равно. Бейте их беспощадно!

— Ага! дрянь! — крикнул Тергенс.

«Если я брошусь на берег,— думал Давенант со странной осторожностью и вниманием ко всему, что звучало и виднелось вокруг,— если я скажу, кто я, почему я с контрабандистами и ради чего преследуем я Ван-Конетом, разве это поможет? Так же будут издеваться таможенники, как и Ван-Конет. Все это маленькие Ван-Конеты. Да. Это они!» — сказал он еще раз и на слове «они» пустил пулю в одну из темных фигур, бегавших по песку. Солдат закружился и упал в воду лицом.

Между тем на «Медведице» перестали стрелять; там опустошенно и тайно лежала тьма, как если бы задохнулась от драки.

— Связаны! Связаны! — крикнул Тергенс.— Бросайте, Гетрах, к черту винтовки и удирайте, если можете!

Но уже трудно было остановить Петвека и Утлендера. Таможенные шлюпки, освободясь после «Медведицы», напали на контрабандистов с правого и левого борта.

— Гибель наша! — сказал Утлендер, стреляя в близко подошедшую шлюпку.

Он уронил ружье и оперся рукой о борт. Пуля пробила ему грудь.

— Меня просверлили,— сказал Утлендер и упал к ногам Гетраха, тоже раненного, но легко, в шею.

Однако Гетрах стрелял, а Давенант безостановочно отдавал пули телам таможенников, лежа за прикрытием борта. Шлюпки качались друг против друга, ныряя и по-

вертываясь без всякого управления, так как солдаты были чрезвычайно озлоблены и тоже увлеклись дракой. Давенант стрелял на берег и в лодки. Выпустив все патроны револьвера, он поднял ружье Утлендера, а Петвек сунул ему горсть патронов, сжав вместе с ними руку Давенанта так сильно, что выразил вполне свои чувства и повредил тому ноготь. Довольно было Давенанту колебания во тьме ночной тени, чтобы он разил самую середину ее. Хотя убил он уже многих и сам получил рану возле колена, он оставался спокоен, лишь над бровями и в висках давил пульс.

— Петвек! — сказал Давенант зачем-то, но Петвек уже лежал рядом с Утлендером; он только разевал рот и двигал рукой.

— Захватите этого! — кричали таможенники.

Однако Давенант не отнес крик к себе,— пока что он не понимал слов. Наконец у него не осталось патронов, когда Тергенс громко сказал:

— Бросьте, Гравелот, вас убьют!

Стрелять ему было нечем, и он, поняв, сказал:

— Уже бросил.

С тем действительно Давенант бросил ружье в воду и дал схватить себя налетевшему с двух сторон неприятелю, чувствуя, что чем-то оправдал воспоминание красно-желтой гостиной и отстоял с честью свет солнечного луча на ярком ковре со скачущими золотыми кошками, хотя бы не знал об этом никто, кроме него.

— Кончилось? — спросил связанный Тергенс, сидевший на люке трюма, когда под дулом ружей Давенант взобрался на палубу, чтобы, в свою очередь, испытать хватку наручников.

— Кончилось,— ответил Давенант среди общего шума, полного солдатской брани.

— Если буду жив,— сказал Тергенс,— я ваш... телом и душой, знайте это.

— Я ранен,— сказал Давенант, протягивая руку сержанту, который скрепил вокруг его кистей тонкую сталь.

— Да, что это было? — вздохнул Тергенс.— Мы все прямо как будто с ума сошли. Не бойтесь,— процедил он сквозь зубы.— Постараемся. Будет видно.

Давенант сел. Солдаты начали поднимать на борт и складывать трупы. Утлендер еще стонал, но был без сознания. Остальные плыли к могиле.

Таможенники, забрав шлюпки на буксир, подняли паруса, чтобы вести свой трофей в Покет. Было их пятьдесят человек, осталось двадцать шесть.

Полная трупов и драгоценного товара, «Медведица» с рассветом пришла в Покет, и репортеры получили сенсационный материал, тотчас рассовав его по наборным машинам.

Пока плыли, Давенант тайно уговорился с Тергенсом, что контрабандисты скроют причины его появления на борту «Медведицы».

ГЛАВА V

Сногден встретил Ван-Конета в своей квартире и говорил с ним как человек, взявший на себя обязанность провидения. Окружив словесным гарниром свои нехитрые, хотя вполне преступные действия, результат которых уже известен читателю, придумав много препятствий к осуществлению их, Сногден представил дело трудным распутыванием свалявшегося клубка и особенно напирал на то, каких трудов будто бы стоило ему уговорить мастера вывесок Баркета. О Баркете мы будем иметь возможность узнать впоследствии, но основное было не только измышлением Сногдена: Баркет, практический человек, дал Сногдену обещание молчать о скандале, а его дочь, за которую так горячо вступился Тиррей, сначала расплакалась, затем по достоинству оценила красноречивый узор банковых билетов, переданных Сногденом ее отцу. Сногден дал Баркету триста фунтов с веселой прямотой дележа неожиданной находки, и когда тот, сказав: «Я беру деньги потому, чтобы вы были спокойны»,— принял дар Ван-Конета, пришедшийся, между прочим, кстати, по обстоятельствам неважных дел его мастерской, Сногден попросил дать расписку на пятьсот фунтов. «Это для того,— сказал Сногден, смотря прямо в глаза ремесленнику,— чтобы фиктивные двести фунтов приблизительно через месяц стали д е й с т в и т е л ь н о вашими, когда все обойдется благополучно».

Не возражая на этот ход, чувствуя даже себя легче, так как сравнялся с Сногденом в подлости, Баркет кивнул и выдал расписку.

Когда он ушел, Марта долго молчала, задумчиво перебирая лежащие на столе деньги, и грустно произнесла:

— Скверно мы поступили. Как говорится, подторговали душой.

— Деньги нужны, черт возьми! — воскликнул Баркет.— Ну, а если бы я не взял их,— что изменится?

— Так-то так...

— Слушай, разумная дочь,— нам не тягаться в вопросах чести с аристократией. А этот гордец Гравелот, по-моему, тянется быть каким-то особенным человеком Трактирщик вызвал на дуэль Георга Ван-Конета! Хохотать можно над такой историей, если подумать.

— Гравелот вступился за меня,— заявила Марта, утирая слезы стыда,— и я никогда не была так оскорблена, как сегодня.

— Хорошо. Он поступил благородно — я не спорю. Но дуэли не будет. Тут что-то задумано против Гравелота, если, едва мы приехали, Сногден пришел просить нас молчать и, собственно говоря, насильно заставил взять эти триста фунтов.

— Я не хотела...— сказала Марта, крепко сжав губы,— хотя что сделано, то сделано. Я никогда не прощу себе.

— Отсчитай-ка сейчас же, Марта, восемьдесят семь фунтов, я оплачу вексель Томсону. Остальные надо перевести Платтеру на заказ эмалевых досок. Но это завтра.

— Оставь мне двадцать пять фунтов.

— Это зачем?

— Затем...— сказала Марта, улыбаясь и застенчиво взглядывая на отца.— Догадайся. Впрочем, я скажу: мне надо шить, готовиться: ведь скоро приедет мой жених.

— Да,— подтвердил Баркет и прибавил уже о другом: — Самый ход дела отомстил за тебя: Ван-Конет трусит, замазывает скандал, боится газет, всего, тратится. Видишь, как он наказан!

Если Сногден не мог рассказать эту сцену Ван-Конету, зато он представил и разработал в естественном диалоге несговорчивость, возмущение Баркета и его дочери; в конце Сногден показал счет, вычислявший расход денег: самые большие деньги, по его объяснению, пришлось заплатить мнимому Готлибу Вагнеру, темному лицу, согласному на многое ради многого. Затем, как бы припомнив несущественное, но интересное, Сногден ска-

зал, что обстоятельства заставили его иметь объяснение с отцом Ван-Конета, чье вмешательство единственно могло погубить Гравелота, согласно тем незначительным уликам, какие подсылались в «Сушу и море» под видом ящиков старых книг.

Не ожидавший такого признания, Ван-Конет с трудом удерживался от резкой брани, так как ему предстояло терпкое объяснение с отцом, человеком двужильной нравственности и тем не менее выше всего ставящим показное достоинство своего имени.

— Однако, если на то пошло,— в бешенстве закричал Ван-Конет,— таким-то путем и я мог бы уладить все не хуже вас!

— Нет! — Сногден резко схватил приятеля за руку, которую тот хотя вырвал немедленно, однако стал слушать.— Нет, Георг, нет и нет,— я вам говорю. Лишь я мог представить отцу вашему дело в том его значении, о котором мы говорили, в котором уверены, которое нужно рассудить холодно и тонко. Со мной ваш отец вынужден был говорить сдержанно, так как и он многим обязан мне. Дело касается не только ареста Гравелота, а главное,— как поступить с ним п о с л е ареста. Судебное разбирательство немыслимо, и я нашел выход, я дал совет, как прекратить все дело, но уже когда пройдет не меньше месяца и вы с женой будете в Покете. До сих пор я еще нажимаю все пружины, чтобы скорее состоялось ваше назначение директором акционерного общества сельскохозяйственных предприятий в Покете. Я работаю головой и языком, и вы, так страстно стремящийся получить это место, не можете отрицать...

— Я не могу отрицать,— перебил Ван-Конет,— что вы зарвались. Повторяю — я сам мог уладить дело через отца...

Он умолк, потому что отлично сознавал, как много сделал Сногден, как неизбежно его отец должен был обратиться к тому же Сногдену, чтобы осуществить эту интригу, при всей ее несложности требующую особых знакомств. Ван-Конету предстоял отвратительный разговор с отцом.

— Уверены вы, по крайней мере, что эта глупая история окончена?

— Да, уверен,— ответил Сногден совершенно спокойно.— А, Вилли, дорогой мой! Что хочешь сказать?

Вбежал мальчик лет семи, в бархатной курточке и темных локонах, милый и нежный, как девочка. Увидев Ван-Конета, он смутился и, нагнувшись, стал поправлять чулок; затем бросил на Сногдена выразительный взгляд и принялся водить пальцем по губам, не решаясь заговорить.

Сын губернатора с досадой и размышлением смотрел на мальчика; настроение Ван-Конета было нарушено этой сценой, и он с усмешкой взглянул на лицо Сногдена, выразившее непривычно мягкое для него движение сердца.

— Вилли, надо говорить, что́ случилось, или уйти,— сказал Сногден.

— Хорошо! — вдруг заявил мальчик, подбегая к нему.— Скажите, что такое «интри... гланы» — «интриганы»? — поправился Вилли.

Бровь Сногдена слегка дрогнула, и он хотел отослать мальчика с обещанием впоследствии объяснить это слово, но ироническое мычание Ван-Конета вызвало в его душе желание остаться самим собой, и у него хватило мужества побороть ложный стыд.

— Как ты узнал это слово? — спросил Сногден, бесясь, что его руки дрожат от смущения.

— Я прочитал в книге,— сказал мальчик, осторожно осматривая Ван-Конета и, видимо, стесняясь его.— Там написано: «Интри... ганы окружили короля Карла, и рыцарь Альфред... и рыцарь Альфред...— быстро заговорил Вилли в надежде, что с разбега перескочит сопротивление памяти.— И ры... Альфред...» Я не помню,— сокрушенно вздохнул он и начал толкать изнутри щеку языком.— А «интри... ганы» — я не понимаю.

— Сногдену задача,— не удержался Ван-Конет, зло присматриваясь к внутренне потерявшемуся приятелю.

Прямой взгляд мальчика помог Сногдену открыть заветный угол своей души. Нисколько не задумываясь, он ответил воспитаннику:

— Интриган, Вилли,— это человек, который ради своей выгоды губит других людей. А подробнее я тебе объясню потом. Ты понял?

— О да! — сказал Вилли.— Теперь я пойду снова читать.

Он хмуро взглянул на сапоги Ван-Конета, медленно направился к двери и вдруг убежал.

— Однако...— заметил Ван-Конет, потешаясь смущением Сногдена, лицо которого, утратив острую собранность, прыгало каждым мускулом.— Однако у вас есть мужество... или нахальство. Вы так всегда объясняете мальчику?

— Всегда,— нервно рассмеявшись, неохотно сказал Сногден.

— А зачем?

— Так. Это мое дело,— ответил тот, уже овладевая собой и сжимая двумя пальцами нижнюю губу.

— Магдалина...— тихо процедил Ван-Конет.

— Поэтому,— начал Сногден, овладевая прежним тоном, уже начавшим звучать в быстрых, внушительных словах его,— ваш отец подготовлен. Этим все будет кончено.

Ван-Конет встал и, презрительно напевая, удалился из квартиры.

Он не любил толчков чувств, издавна отброшенных им, как цветы носком сапога, между тем Гравелот, Консуэло и Сногден толкнули его хорошими чувствами, каждый по-своему. Он мог отдохнуть на объяснении со своим отцом. В этом он был уверен.

Месть губернатора выразилась замкнутой улыбкой и любопытным выражением бескровного лица; его старые черные глаза смотрели так, как смотрит женщина с большим опытом на девицу, утратившую без особой нужды первую букву своего алфавита.

— Адский день! — сказал молодой Ван-Конет, уныло наблюдая отца.— Вы уже все знаете?

— Меньше всего я знаю вас,— ответил старик Ван-Конет.— Но бесполезно говорить с вами, так как вы способны наделать еще худших дел накануне свадьбы.

— Нет гарантии от нападения сумасшедшего.

— Не то, милый. Вы вели себя, как пройдоха.

— Счастье ваше, что вы мой отец...— начал Ван-Конет, бледнея и делая движение, чтобы встать.

— Счастье? — иронически перебил губернатор.— Думайте о своих словах.

— Отлично. Ругайтесь. Я буду сидеть и слушать.

— Я признаю трудность положения,— сказал отец с плохо скрываемым раздражением,— и, черт возьми, приходится иногда стерпеть даже пощечину, если она стóит того. Однако не надо было подсылать ко мне этого

Сногдена. Вы должны были немедленно придти ко мне,— я в некотором роде значу не меньше Сногдена.

— Кто подсылал Сногдена! — вскричал Георг.— Он явился к вам, ничего мне не говоря. Я только недавно узнал это!

— Так или не так, я провел несколько приятных минут, слушая повесть о кабаке и ударе.

— Дело произошло...

— Представьте, Сногден был до умиления искренен, так что вам нет надобности ни в какой иной версии.

Ван-Конет покраснел.

— Думайте что хотите,— сказал он, нагло зевнув.— А также скорее выразите свое презрение мне, и кончим, ради бога, сцену нравоучения.

— Вы должны знать, как наши враги страстно желают расстроить ваш брак,— заговорил старый Ван-Конет.— Если Консуэло Хуарец ничего не говорит вам, то я отлично знаю зато, какие средства пускались в ход, чтобы ее смутить. Сплетни и анонимные письма — вещь обычная. Пытались подкупить вашу Лауру, чтобы она явилась к часу подписания брачного контракта и афишировала, во французском вкусе, ваше знакомство с ней. Но эта умная женщина была у меня и добилась более положительных обещаний.

— Хорошо, что так,— усмехнулся жених.

— Хорошо и дорого, дорого и утомительно,— продолжал губернатор.— Вам нет смысла напоминать ей об этом. Получив деньги, она уедет. Такое было условие. Теперь выслушайте о другом. Умерьте, сократите вашу неистовую жажду разгула! Какой-нибудь месяц приличной жизни — смотрите на эту необходимость, как на жертву, если хотите,— и у вас будут в руках неограниченные возможности. Дайте мне разделаться с правительственным контролем, разбросать взятки, основать собственную газету, и вы тогда свободны делать, что вам заблагорассудится. Но если ваша свадьба сорвется,— не миновать ни мне, ни вам горьких минут! Берегите свадьбу, Георг! Вы своим нетерпением жить напоминаете кошку в мясной лавке. Amen.

— Все ли улажено? — вставая, хмуро спросил Георг.

— Все. Я надеюсь, что до послезавтра вы не успеете получить еще одну пощечину, как по малому времени, так и ради своего будущего.

— Так вы не сердитесь больше?

— Нет. Но чувства мне не подвластны. Несколько дней вы будете мне противны, затем это пройдет.

Ван-Конет вышел от отца с окончательно дурным настроением и провел остальной день в обществе Лауры Мульдвей, на ее квартире, куда вскоре явился Сногден, а через день в одиннадцать утра подвел к двери торжественно убранной залы губернаторского дома молодую девушку, которой обещал всю жизнь быть другом и мужем. С глубокой верой в силу любви шла с ним Консуэло, улыбаясь всем взглядам и поздравлениям. Она была так спокойна, как отражение зеленой травы в тихой воде. И, искусно притворясь, что охвачен высоким чувством, серьезно, мягко смотрел на нее Ван-Конет, выглядевший еще красивее и благороднее от близости к нему великодушной девушки с белыми цветами на темной прическе.

Улыбка не покидала ее. Отвечая нотариусу, Консуэло произнесла «да» так важно и нежно, что, поддавшись очарованию ее существа, приглашенные гости и свидетели на несколько минут поверили в Георга Ван-Конета, хотя очень хорошо знали его.

Гражданский и церковный обряды прошли благополучно, без осложнений. Новобрачные провели три дня в имении Хуареца, отца Консуэло, а затем уехали в Покет, где Ван-Конету предстояли дела по назначению его директором сельскохозяйственной акционерной компании; он мог теперь приобрести необходимое количество акций.

Через неделю, по тайному уговору со своим любовником, туда же приехала Лаура Мульдвей, а затем явился и Сногден, без которого Ван-Конету было бы трудно продолжать жить согласно своим привычкам.

ГЛАВА VI

Захватом «Медведицы» таможня обязана была не Никльсу, как одно время думал Тергенс, имея на то свои соображения, а контрабандисту, чьи подкуп и имя стали скоро известны, так что он не успел выехать и был убит в одну из темных ночей под видимостью пьяной драки.

На первом допросе Давенант назвался «Гантрей», не желая интересовать кого-нибудь из старых знакомых ни

именем «Тиррей Давенант», которое могло стать известно по газетной статье, ни именем «Гравелот», опасным благодаря Ван-Конету. Однако на «Медведице» Тергенс несколько раз случайно назвал его Гравелот, а потому в официальных бумагах он именовался двояко — Гантрей-Гравелот; так что по связи улик — бегства хозяина «Суши и моря», убийственной меткости человека, оказавшегося почему-то среди контрабандистов «Медведицы», его наружности и ясно начертанного, хотя и условного, имени Гравелот — Ван-Конет, зная от отца своего все, тотчас позаботился принять меры. Ему помогал губернатор, а потому дальнейший рассказ коснется этих предварительных замечаний подробнее — всем развитием действия.

Тюрьма Покета стояла на окраине города, где за последние годы возникло начало улицы, переходящее после нескольких зданий в холмистый пустырь с прилегающими к этому началу улицы началами двух переулков, заканчивающихся: один — оврагом, второй — шоссейной насыпью, так что на плане города все, взятое вместе, напоминало отдельно торчащую ветку с боковыми прутиками. Ворота и передний фасад тюрьмы были обращены к лежащему напротив нее длинному одноэтажному зданию, заселенному тюремными служащими и конвойными; через дом от казармы ряд зданий замыкала бакалейная лавка с двумя окнами и дверью меж ними, имевшая клиентурой почти единственно узников и тюремщиков. Утром сторожа по особым спискам закупали в лавке на деньги арестованных, хранящиеся в конторе тюрьмы, различные продукты, дозволяемые тюремной инструкцией. Случалось, что в булке оказывался пакетик кокаина, опия, в хлебе — колода карт, в дыне — флакон спирта, но сторожа, обдумывавшие доставку этих запрещенных вещей, действовали согласно, а потому никто не тянул в суд ни хозяина лавки, ни надзирателей. Две камеры, отведенные для контрабандистов, были всегда полны. Эта публика, располагавшая приличными средствами, не отказывала себе в удовольствиях. Кроме того, контрабандные главари, составляющие нечто вроде несменяемого министерства, всегда имели среди надзирателей преданного человека, педанта тюремного режима в отношении всех заключенных, кроме своих. Если человек этот попадался при выносе писем или устройстве побега,—

его немедленно заменяли другим, действуя как подкупом, так и шантажом или протекцией различных знакомств. Такая тайная жизнь тюрьмы ничем на взгляд не отражалась на официальной стороне дела; смена дежурств, караулов, часы прогулок, канцелярская отчетность и связь следственных властей с тюремной администрацией текли с отчетливостью военной службы, и арестант, лишенный полезных связей в тюрьме или вне ее, даже не подозревал, какие дела может вести человек, сидящий с ним рядом, в соседней камере.

Вид на тюрьму сверху представлял квадрат стен, посредине которого стоял меньший квадрат. Он был вдвое выше стены. Этот четырехэтажный корпус охватывал внутренний двор, куда были обращены окна всех камер. Снаружи корпуса, кроме окон канцелярии в нижнем этаже, не было по стенам здания ни окон и никаких отверстий. Тюрьма напоминала более форт, чем дом. К наружной стене, справа от ворот, примыкало изнутри ограды одноэтажное здание лазарета; налево от ворот находился дом начальника тюрьмы, окруженный газоном, клумбами и тенистыми деревьями; кроме того, живая изгородь вьющихся роз украшала дом, делая его особым миром тихой семейной жизни на территории ада.

За то время, что «Медведица» шла в Покет, нога Давенанта распухла, и его после несложных формальностей заперли в лазарет. Остальных увели в корпус. Расставаясь с Гравелотом, контрабандисты так выразительно кивнули ему, что он понял их мнение о своей участи и желание его ободрить,— в их руках были возможности устроить ему если не побег, то связь с внешним миром. Было уже утро — десять часов. В амбулатории тюремный врач перевязал Давенанту ногу, простреленную насквозь, с контузией сухожилий, и он был помещен в одиночную камеру, где грубая больничная обстановка, бледно озаряемая закрашенным белой краской окном, пахла лекарствами. Решетка, толщиной годная для тигра, закрывала окно. Давенант, сбросив свою одежду, оделся в тюремный бушлат и лег; его мысли упали. Он был в самом сердце остановки движения жизни, в мертвой точке оси бешено вращающегося колеса бытия. Сторож принес молоко и хлеб. Курить было запрещено, однако на вопрос Давенанта о курении надзиратель сказал:

— Обождите немного, потом переговорим.

От этих пустых слов, значащих, быть может, не больше, как разрешение курить, пуская дым в какую-нибудь отдушину, Давенант немного развеселился и при появлении военного следователя, ведающего делами контрабанды, уселся на койке, готовый бороться ответами против вопросов.

Войдя в камеру, следователь с любопытством взглянул на Давенанта, ожидая, согласно предварительным сведениям, увидеть свирепого, каторжного типа бойца, и был озадачен наружностью заключенного. Этот светло, задумчиво смотрящий на него человек менее всего подходил к стенам печального места. Однако за его располагающей внешностью стояло ночное дело, еще небывалое по количеству жертв. И так как оставшиеся в живых солдаты были изумлены его меткостью, забыв, что стрелял не он один, то главным образом обвиняли его. Следователь положил портфель на больничный стол и, придвинув табурет, сел, приготовляя механическое перо. Это был плотный, коренастый человек с ускользающим взглядом серых глаз, иногда полуприкрытых, иногда раскрытых широко, ярко и устремленных с вызывающей силой, рассчитанной на смущение. Таким приемом следователь как бы хотел сказать: «Запирательство бесполезно. Смотреть так, прямо и строго, могу только я, прозревающий всякое движение мысли». Среди утех, доставляемых себе специалистами разного рода, немалую роль играет прием позы — забава, нужная им как в целях самоуважения, так и из эстетических побуждений; все это большей частью невинно, однако в обстановке допроса для умного заключенного путем токов, излучаемых мелочами, дает часто указание, как надо себя вести.

Напряженный разговор звучит естественнее всего, если испытуемое лицо занято чем-либо посторонним допросу. Давенант взял кружку с молоком, стал есть хлеб и пить молоко, в то же время отвечая чиновнику.

— Приступим к допросу,— начал следователь, заносяся перо над бумагой и смотря на руку с кружкой.— Отвечайте, ничего не скрывая, не старайтесь замять какое-нибудь обстоятельство. Если виновны, немедленно сознайтесь во всем, этим вы облегчите вашу участь. Как вас зовут?

— Джемс Гантрей.

— Возраст?

— Двадцать шесть лет.

— Ваша профессия? Контрабандист?

— Вы ошибаетесь. Я не контрабандист.

Следователь значительно посмотрел на Тиррея, схватил пальцами подбородок, напрягся и, неожиданно встав, приблизился к двери на носках. Затем он кивнул сам себе, успокоенно двинул рукой и вернулся с улыбкой.

— Никто не подслушивает,— сказал следователь, усаживаясь и приветливо взглядывая на удивленного Давенанта.— Не бойтесь меня. Я — член вашей организации. Изложите самым подробным образом историю стычки, чтобы я имел возможность взвесить улики, выдвигаемые таможней, и, вместе с вами, обсудить характер защиты.

— Откровенность за откровенность,— сказал Давенант.— Вы — не следователь, а я — не контрабандист; кроме того, у меня в руках даже не было оружия, когда пограничники захватили «Медведицу».

— Вы не стреляли?

— Конечно. Я не умею стрелять.

— Странно, что вы не верите моим словам,— сказал следователь.— Время идет, и Тергенс прямо поручил мне помочь вам.

— Ладно,— печально рассмеялся Давенант,— забудем о плохой игре. Прошу вас, продолжайте допрос.

Следователь прищурился, усмехнувшись надменно и самолюбиво, как плохой артист, ставящий свое мнение о себе выше толпы, и переменил тон.

— Заключенный, именующий себя «Джемс Гантрей», вы обвиняетесь в вооруженном сопротивлении таможенному надзору, следствием чего было нанесение смертельных огнестрельных ранений следующим должностным лицам...

Он перечислил убитых, приводя имя каждого, затем продолжал:

— Кроме того, вы обвиняетесь в провозе контрабанды и в попытке реализовать груз на территории порта, состоящей под охраной и действием законов военного времени, что подлежит компетенции и разбирательству военного суда в городе Покете. Признаете ли вы себя виновным?

При упоминании о военном суде Давенант понял, что ему угрожает смертная казнь. Опасаясь Ван-Конета, он

решил утаить истину и раскрыть ее только на суде, что, по его мнению, привело бы к пересмотру дела относительно него; теперь было преждевременно говорить о происшествиях в «Суше и море». Несколько подумав, Давенант ответил следователю так, чтобы заручиться расположением суда в свою пользу:

— Потребуется немного арифметики. Я не отрицаю, что стрелял, не отрицаю, что был на судне «Медведица», хотя по причинам, не относящимся к контрабанде. Я стрелял... У меня было семь патронов в револьвере и девять винтовочных патронов; я знаю это потому, что, взяв винтовку Утлендера, немедленно зарядил магазин, вмещающий, как вам известно, девять патронов,— их мне дал сосед по лодке. Итак, я помню, что бросил один оставшийся патрон в воду,— он мне мешал. Таким образом, девять и семь — ровно шестнадцать. Я могу взять на свою ответственность шестнадцать таможенников, но никак не двадцать четыре.

— По-видимому, вы хороший стрелок,— заметил следователь, оканчивая записывать показания.— Что было причиной вашего участия в вооруженном столкновении?

Давенант ничего не ответил.

— Теперь объясните,— сказал следователь, весьма довольный точностью ответа о стрельбе,— объясните, какие причины заставили вас присоединиться к контрабандистам?

— Об этом я скажу на суде.

Следователь попытался выведать причины отказа говорить, но Давенант решительно воспротивился и только прибавил:

— На суде станет известно, почему я не могу сказать ничего об этом теперь.

Чиновник окончил допрос. Давенант подписал свои признания, и следователь удалился, чрезвычайно заинтересованный личностью арестанта, так не похожего ни на контрабандиста, ни на преступника.

Надзиратель, выпустивший следователя, запер камеру, но через несколько минут опять вставил в замок ключ и, сунув Тиррею небольшой сверток, сказал:

— Курите в форточку.

Он поспешно вышел, отрицательно качая головой в знак, что некогда говорить. Тиррей увидел пять фунтов

денег, трубку и горсть табаку. Спрятав под подушку табак, он отвинтил мундштук. В канале ствола была всунута записка от Тергенса: «Держитесь, начал осматриваться, сделаем, что будет возможно. Терг.»

ГЛАВА VII

С наступлением ночи лавочник закрыл дверь изнутри на болт, после чего вышел черным ходом через маленький двор, загроможденный пустыми ящиками и бочонками, и повесил на дверь снаружи замок, но не повернул ключа. К лавочнику подошел высокий человек в соломенной шляпе и накинутом на плечи коломянковом пиджаке. Из-за кожаного пояса этого человека торчала медная рукоятка ножа. Человек был худой, рябой, с суровым взглядом и в отличном расположении духа, так как выпил уже две бутылки местного желтого вина у инфернальной женщины по имени Катрин Рыжая, жившей неподалеку; теперь он хотел угостить Катрин на свой счет.

— Дядюшка Стомадор,— сказал контрабандист, нежно почесывая лавочника за ухом, а затем бесцеремонно кладя локоть ему на плечо и подбоченясь, как делал это в сценах с Катрин,— повремените считать кассу.

— От вас невыносимо пахнет луком, Ботредж. Отойдите без поцелуев.

— Что? А как мне быть, если я роковым образом люблю лук! — возразил Ботредж, однако освободил плечо Стомадора.— У вас найдется для меня лук и две бутылки перцовки? Луком я ее закусываю.

— А не пора ли спать? — в раздумье спросил лавочник.— Еще я думал переварить варенье, которое засахарилось.

— Нет, старый отравитель, спать вредно. Войдем, я выпью с вами. Клянусь этим зданием, что напротив вашей лавки, и душой бедняги Тергенса,— мне нравится ваше таинственное, широкое лицо.

Стомадор взглянул на Ботреджа, трогательно улыбнулся, как улыбаются люди, любящие выпить в компании, если подвернется случай, и решительно щелкнул ключом.

— Зайдем со двора,— сказал Стомадор.— Вас, верно, ждет Катрин?

— Подождет,— ответил Ботредж, следуя за Стомадором через проход среди ящиков к светящейся дверной щели.— У меня с Катрин прочные отношения. Приятно выпить с мужчиной, особенно с таким умным человеком, как вы.

Они вошли под низкий потолок задней комнаты лавки, где Стомадор жил. В ногах кровати стоял стол, накрытый клеенкой; несколько тяжелых стульев, ружье на стене, мешки в углах, ящики с конфетами и макаронами у стены и старинная картина, изображающая охоту на тигра, составляли обстановку этого полусарая, неровно мощенного плитами желтого кирпича.

— Но только,— предупредил Стомадор,— луком закусывать я запрещаю: очень воняет. Найдем что-нибудь получше.

Лавочник пошел в темную лавку и вернулся оттуда, ударившись головой о притолоку, с двумя бутылками красной перцовки, коробкой сушеной рыбы и тминным хлебцем; затем, сложив принесенное на стол, вынул из стенного шкафчика нож, два узких стакана с толстым дном и сел против Ботреджа, дымя первосортной сигарой, каких много покупал за небольшие деньги у своих приятелей контрабандистов.

Красный с голубыми кружочками платок, которым Стомадор имел привычку обвязывать дома голову, одним углом свешивался на ухо, придавая широкому, бледному от духоты лицу старика розовый оттенок. Серые глаза, толстые, с лукавым выражением губы, круглый, двойной подбородок и тупой нос составляли, в общем, внешность дородного монаха, как на картинах, где монах сидит около бочки с кружкой в руке. Передник, завязанный под мышками, засученные рукава серой блузы, короткие темные штаны и кожаные туфли — все было уместно на Стомадоре, все — кстати его лицу. Единственно огромные кулаки этого человека казались отдельными голыми существами, по причине своей величины. Стомадор говорил громко, чуть хрипловато, договаривая фразу до конца, как заклятие, и не путал слов.

Когда первые два стаканчика пролились в разинутые белозубые рты, Стомадор пожевал рыбку и заявил:

— Если бы вы знали, Ботредж, как я жалею, что не сделался контрабандистом! Такой промысел мне по душе, клянусь ростбифом и подливкой из шампиньонов!

— Да, у нас бывают удачные дни,— ответил, старательно очищая рыбку, Ботредж,— зато как пойдут несчастья, тогда дело дрянь. Вот хотя бы с «Медведицей». Семь человек убито, остальные сидят против вашей лавки и рассуждают сами с собой: родит в день суда жена военного прокурора или это дело затянется. Говорят, всякий такой счастливый отец ходит на цыпочках— добрый и всем шепчет: «Агу!» Я не знаю, я отцом не был.

— Действительно, с «Медведицей» у вас крах. Я слышал, что какой-то человек, который ехал на «Медведице» из Гертона, перестрелял чуть ли не всю таможню.

— Да, также и сам он ранен, но не опасно. Это — знаете кто? Чужой. Содержатель гостиницы на Тахенбакской дороге. Джемс Гравелот.

Стомадор от удивления повалился грудью на край стола. Стол двинулся и толкнул Ботреджа, который удивленно отставил свой стул.

— Как это вы красиво скакнули! — произнес Ботредж, придерживая закачавшуюся бутылку.

— Джемс Гравелот?! — вскричал Стомадор.— Бледный, лет семнадцати, похожий на серьезную девочку? Клянусь громом и ромом, ваш ответ нужен мне раньше, чем вы прожуете рыбку!

— Если бы я не знал Гравелота,— возразил опешивший Ботредж,— то я подумал бы, что у Гравелота есть сын. С какой стороны он похож на девочку? Можете вы мне сказать? Или не можете? Позвольте спросить: могут быть у девочки усы в четыре дюйма длины, цвета сырой пеньки?

— Вы правы! — закричал Стомадор.— Я забыл, что прошло девять лет. «Суша и море»?

— Да, ведь я в ней бывал.

— Ботредж,— сказал после напряженного раздумья взволнованный Стомадор,— хотя мы недавно знакомы, но если у вас есть память на кой-какие одолжения с моей стороны, вашей Катрин сегодня придется ждать вас дольше, чем всегда.

Он налил, в помощь соображению, по стакану перцовки себе и контрабандисту, который, отхлебнув, спросил:

— Вы тревожитесь?

— Я отдам лавку, отдам доход, какой получил с тюрьмы, сам, наконец, готов сесть в тюрьму,— сказал

Стомадор,— если за эти мои жертвы Гравелот будет спасен. Как впутался он в ваши дела?

— Это мне неизвестно, а впрочем, можно узнать. Что вас подхлестнуло, отец?

— Я всегда ожидаю всяких т а к и х вещей,— таинственно сказал Стомадор.— Я жду их. Я ждал их на Тахенбакской дороге и ждал здесь. Не думаете ли вы, что я купил эту лавчонку ради одной наживы?

— Как я могу думать что-нибудь,— дипломатично возразил заинтересованный Ботредж,— если всем давно известно, что вы, Стомадор,— человек бывалый и, так сказать, высшего ума человек?!

— Вот это я и говорю. Есть высшие цели,— серьезно ответил Стомадор.— Я передал девять лет назад дрянную хижину юному бродяге. И он справился с этим делом. Вы думаете, я не знал, что в скором времени откроются рудники? Но я бросил гостиницу, так как имел другие планы.

Говоря так, Стомадор лгал: не только он, но и никто в окрестности не мог знать тогда, какое открытие будет сделано в горах случайной разведкой. Но, одолеваемый жаждой интриги, творящей чудаков и героев, лавочник часто обращался с фактами по-дружески.

— Этот мальчик,— продолжал Стомадор,— ужасно тронул меня. Итак, начнем действовать. Что вы предлагаете?

— В каком роде?

— В смысле установления связи.

— Это не трудно,— сказал, подумав, Ботредж.—Однако вы должны крепко молчать о том, что узнаете от меня.

— Наверное, я побегу в тюремную канцелярию с подробным докладом.

— Бросьте,— нахмурился Ботредж,— дело серьезное. В таком случае я должен немедленно отправиться к Катрин и...

На этом месте речь Ботреджа перебил тихий стук в дверь, закончившийся громким хлопком ладони о доску.

— Ясно, это — она,— сказал Ботредж без особого восторга.

Стомадор отодвинул засов и увидел рыжую молодую женщину, в распахнутой белой кофте, с яркими пятнами на щеках.

— Так что же это? Я все одна,— сказала Катрин, шагнув к Ботреджу длинной ногой в стоптанном башмаке,— а ты тут расселся?!

— Кэт, дорогая,— примирительно заявил Ботредж,— я только что хотел идти к тебе по важному делу. Надо передать записку в гостиницу. Факрегед... Он как?

Катрин взглянула на Стомадора тем диким взглядом, который считался неотразимым среди сторожей тюрьмы и контрабандистов, но не с целью завлечь, а лишь чтобы уразуметь: не вышучивают ли ее Стомадор и Ботредж.

Значительно посмотрев на нее в упор большими глазами, Стомадор прямо опустил ей в руку два золотых, и красные пятна щек Катрин всползли до висков.

— Ага!— сказала она тотчас, деловито нахмурясь и закурив папироску, которая до того торчала у нее за ухом.— Так вот что! Ну, что ж Факрегед! Он сегодня свободен. Это не пойдет.

— Так думай! — вскричал Ботредж.

— Который час? — спросила Стомадора Катрин, сильно затягиваясь и пуская дым через ноздри.

— Без десяти полночь,— ответил тот, вытащив из кармана большие золотые часы.

— В полночь у наружных ворот станет Кравар,— вслух размышляла Катрин, беря невыпитый стакан Ботреджа.— У внутренних ворот станет Хуртэй.— Она выпила стакан и села на стул к стене, кривя губы и кусая их, со всеми признаками напряженных соображений.— Пишите записку.

Тотчас отстегнув фартук, Стомадор сбросил его, вытащил из кармана блузы записную книжку, карандаш и, низко склонясь над столом, принялся строчить записку. Время от времени Ботредж замечал:

— Пишите печатными буквами. Подпись не ставьте. Кому пишете,— то имя также не ставьте. Чтобы было все понятно ему и никому другому.

— Да, остерегитесь,— подтвердила Катрин.— Адрес передадим на словах.

Совместное обсуждение записки, которую Стомадор читал вслух, удовлетворило всех. Скатав записку в трубку, Катрин затолкала ее в волосы и направилась к двери.

— В лазарет,— медленно повторила она урок,— Джемс Гравелот. Не перепутали?

— Достоверно,— успокоил ее Ботредж,— что знаю, то знаю.

— Ждите,— кинула она, стреляя белой кофтой в темную ночь.

— Извилистая женщина,— сказал Ботредж.— Если она не сделает, то никто сегодня не сделает. Прошло девять дней, как они арестованы, через шесть дней дежурить по лазарету будет тот самый Факрегед... так ему накануне мы... Поияли?

Катрин вышла на улицу и, все время осматриваясь, ходом заячьей петли приблизилась к железной двери в сквозных железных воротах, ярко озаренных электрическим фонарем. За ними стоял плотный, коренастый Кравар. Его багровое лицо с седыми бровями показалось между железных прутьев. Узнав Катрин, сторож легонько свистнул от удивления.

— Как вы поздно гуляете! — сказал Кравар нащупывающим тоном, а также в смутной надежде, что Катрин обратится к нему с какой-нибудь просьбой: никогда он не видел ее ночью перед тюрьмой.

Катрин остановилась в тени каменного столба тюремных ворот и приложила палец к губам.

— Что вы всё вьетесь, что вьетесь? — нежно и глухо забормотал надзиратель, протягивая сквозь прутья руку,— схватить Катрин выше локтя.— Со мной не поговорили еще ни разу. Стар, да?

Кравар оглянулся на Хуртэя, стоявшего к нему спиной за внутренними воротами, и, дернув фуражку за козырек, поправил блестящий, лакированный ремень, туго охватывавший тучный живот.

— Не болтайте глупостей,— сказала Катрин, опираясь плечом о прут и улыбаясь разгоревшимся лицом так натурально, что Кравар начал сопеть.— Для меня, я вам скажу откровенно, все мужчины одинаковы.

— Будто бы? Так ли? — сказал Кравар, задумчиво прикладывая к губам бородку ключа.— Так вы идете со свидания с «одинаковым»? Или на свидание?

— Попробуйте угадать.

— Катрин, я пришел бы к тебе завтра? Честное слово. Вы знаете, что я положительный человек.

— А! Вы давно мне это говорите. Однако Римма

уже получила от вас юбку и туфли, а для меня вам жалко пустого ореха.

— Кэт! — сказал надзиратель, схватив ее за обе руки выше локтей.— Так это потому, что вы меня презираете. Я дорого бы дал... да, но вы увлекаетесь именно преступным миром. Зачем пришли? Говорите!

Катрин высвободила руки и, отступив, достала из волос бумажную трубочку.

— Слушайте, Кравар,— шепнула искусительница, сжав горячей рукой потную кисть разволновавшегося сторожа,— если передадите записку, можете тогда мне тоже купить туфли.

— Так! Два удовольствия сразу: записку любовнику и еще туфли за это! Вы... хитрая гусыня, Кэт, ей-богу.

— Вот и видно, какой вы положительный человек. У меня нет любовника в тюрьме, клянусь чем хотите! Просто один старый приятель хочет известить своего знакомого.

— Ведь вы надуете, Кэт?

— В таких случаях не надувают.

Кравар знал, что Катрин не врет. В подобных случаях правила игры соблюдаются очень строго.

— Боюсь я...— начал Кравар и умолк, всматриваясь в насторожившееся лицо женщины с ласковой подозрительностью. Он молчал, думал, наконец сказал: — Можно ли посмотреть, что написано?

— Конечно! Нате. Читайте, пожалуйста, ничего особенного там нет.

Кравар взял бумажку, оглянулся на внимательно смотрящего на него Хуртэя, кивнул ему и прочел следующее:

«Будь здоров, старина Джемс, помнишь нашу встречу девять лет тому назад на Тахенбакской дороге? Как здорово уничтожал ты пирог с репой и вино. Я слышал, что твои дела пошли хорошо. Сидел ты тогда с Том Адором. Да, было дело. Он кланяется тебе. Сообщи, не нужно ли тебе чего. Поправляйся. Твой Билль».

— Ну да, простая записка,— сказала Катрин, следя за выражением лица Кравара, который, понюхав, не пахнет ли бумага луковым соком, заменяющим симпатические чернила, еще, для верности, воспламенив спичку, погрел бумажку на огне,— там ничего нет. Я знаю.

Кравар выпятил нижнюю губу, решительно повернулся и подошел к Хуртэю. Они вдвоем долго рассматривали записку. Оставив ее у Хуртэя, Кравар повернулся к Катрин.

— Кому передать? — спросил Кравар.

— Джемсу Гравелоту, в лазарет. Пусть он сейчас пришлет мне ответ.

— Катрин, я тебя люблю, это верно, только сама понимаешь: если мы с Хуртэем... это одно, а в лазарете не то. Деньги необходимы.

— Так возьмите,— она подала Кравару один золотой.— Деньги не мои, ясно.

— Мы тут все мудрецы,— ответил Кравар.— Я за шесть лет видел и знаю немало. Жди. Лучше пройдись, только далеко не уходи. Я звякну ключом.

В это время Давенант спал и видел во сне темную воду, заливающую ночные поля. Его ноге было ни лучше, ни хуже, колено не сгибалось, а потому болезненно было подходить к форточке для курения, и он, сколько мог, воздерживался курить.

Надзиратель, дежурящий внутри лазарета при одиннадцати одиночных камерах, беззвучно открыл дверь и, войдя, резко тряхнул арестованного за плечо. Давенант перестал дышать и открыл глаза.

К его подбородку упала записка.

— Пишите ответ,— шепнул надзиратель, немедленно уходя и закрывая дверь с наружной стороны.

Замок тихо щелкнул.

Давенант оперся на локоть и прочел записку, мгновенно поняв странный текст по ассоциациям «девяти лет», «Том Адора» и «Тахенбакской дороги». Не зная, где Стомадор, Давенант видел, что ему пишет именно этот человек, все хорошо зная о нем.

Он испытал покорное чувство заботы, как будто грубая рука хмуро подоткнула вокруг него тюремное одеяло.

Ему стало жарко и весело. Утишив глубоким вздохом стук сердца, заливаемого надеждой, Давенант вытащил из тюфяка маленький карандаш, присланный на днях Тергенсом, и ответил Стомадору на обороте записки то существенное, о чем упорно размышлял эти дни:

«Мне нужен Орт Галеран. Если он жив, о нем может сказать содержатель кафе Адам Кишлот; я забыл

номер дома, где жил Галеран. Кафе было тогда на углу Пыльной и Проточной улиц. Надобно сказать Галерану, что его извещает о себе мальчик, с которым он ездил на мыс Бай лет девять назад и который дал ему золотой для игры».

Давенант не подписался из осторожности, но и без того эти строки едва вместились на обороте записки. Не жалея, от возбуждения, больной ноги, он захромал к двери, прислушался и легонько стукнул. Надзиратель был тут. Открыв дверь, он быстро схватил записку и снова запер Давенанта, севшего на кровать думать. Через несколько минут Кравар звякнул ключом о ворота, и Катрин вышла из тени.

— Берите скорей и уходите, Кэт,— сказал Кравар.— Начальник тюрьмы отправился проверять посты. Ну и женщина...— прибавил он ей вслед.— Смотрите же, я завтра приду!

Не обернувшись, Катрин молча кивнула и была в лавке, когда Стомадор и Ботредж уже изныли от ожидания, начав тупо молчать.

— Читайте! — сказала, запыхавшись, Катрин.— Вся почта в Покете не стоит одной моей головы.

Она бросила записку на стол и, хвастливо подбоченясь, налила себе стакан перцовки, которую выпила с жадностью.

— Как достигла? — спросил восхищенный Ботредж, хватая ее за талию и подвигая к себе, пока Стомадор трудился над прочтением неразборчивого почерка Давенанта.— Как ты достигла, я спрашиваю?

— Женские дела хитрее твоих, молодчик,— ответила Катрин.— Я дала золотой. Это за вами долг, Стомадор.

Продолжая читать, Стомадор рассеянно взглянул на нее и так же рассеянно подал ей три золотых.

— Что делать? Такая наша жизнь,— вздохнул Ботредж, ухмыляясь своим мыслям об этом случае у ворот.— Так все удачно, дядюшка Стомадор?

— Ах, милая Кэт,— сказал Стомадор,— ты так услужила мне, что я открываю тебе кредит на целый месяц и ты можешь брать, что захочешь. Поручено мне, понимаете, найти одного человека, а так как вы теперь должны забрать еще две бутылки перцовки и идти спать, я тут один буду составлять планы.

ГЛАВА VIII

На другой день, упросив Ботреджа торговать вместо себя, Стомадор отправился искать Галерана по указаниям записки Тиррея и, надев городской костюм, явился прежде всего по адресу Кишлота, который давно уже закрыл свое «Отвращение». На людном месте Кишлот держал магазин готовой обуви. Дела его шли так успешно, что он собирался открыть еще два таких магазина. Не употребляя более ни противоестественной, ни сколько-нибудь оригинальной рекламы, Кишлот попал на «жилу», как обещал это в припадке зависти Давенанту; секрет обогащения Кишлота заключался в покупке больших партий бракованного товара за полцены и продаже его по стоимости нормальной обуви. Незначительный брак, очевидный специалисту, сходил у простого покупателя, если он замечал его, за случайность; при жалобах Кишлот охотно обменивал бракованное изделие на безупречное, но жалоб было мало, а товару много.

Кишлот располнел, выучился играть на механическом пианино и сватался к одной веселой вдове, имеющей собственный дом.

— Орт Галеран? — спросил Кишлот Стомадора, когда узнал о цели визита.— Его адрес известен в кафе «Понч». Там я встретился с ним, но ко мне он уж давненько не заходил.

— Главное было мне — найти вас,— сказал Стомадор.— Я провел на Пыльной улице часа два, расспрашивая в домах и на углах, я устал, сел в пивной и взял газету. Тут я увидел, как я глуп. Среди объявлений на видном месте означен ваш магазин: «Лучший магазин готовой обуви «Крылья Меркурия» — Адам Кишлот». Итак, я пойду в «Понч».

— Мы помещаем объявления два раза в неделю,— добродушно сказал Кишлот. Он помолчал.— Вы знаете Галерана?

— Нет. Но один человек, мой друг, знает его и хочет разыскать.

Поблагодарив, Стомадор оставил Кишлота и приказал шоферу таксомотора ехать в кафе «Понч».

Вскоре вошел он в прохладное помещение со столиками из малахита, отделанное красным деревом. Среди

газет и дамских шляп Стомадор пробрался к буфету, где первый же служащий на его вопрос о Галеране, лишь чуть поискав глазами, указал высокого человека с белой головой, который сидел около зеркала. Брови Галерана были еще черны, но шея сделалась жилистой, волосы на голове поседели, а в глазах и складках рта светилось терпеливое доживание жизни, свойственное одиноким под старость людям. Галеран пил черный кофе и читал книгу. Возле его столика был свободный стул.

Стомадор отвесил медленный поклон и попросил разрешения занять стул. Галеран молча кивнул ему. Стомадор сел и начал пристально смотреть на соседа по столику, который, пожав плечами, возобновил чтение. Чувствуя взгляд, он поднял голову и, заметив, что грузный незнакомец смотрит на него, таинственно и выжидательно улыбаясь, спросил:

— Вы что-нибудь мне сказали?

— Еще нет, но скажу,— тихо заговорил Стомадор.— Вы ли — Орт Галеран?

— Без сомнения.

— Так слушайте: в здешней тюрьме сидит Джемс Гравелот, которому, когда он был еще мальчиком, девять лет назад, я подарил гиблую, за худостью дел, гостиницу на Тахенбакской дороге, милях в сорока от Гертона. Правильнее говоря, я бросил ее. Гравелот удержался. Ему помогло открытие рудников. Не знаю, как и почему, только он недавно плыл в Покет на шхуне контрабандистов и был захвачен после драки со всеми, кто остался в живых. Сегодня ночью удалось достать от него записку, которую извольте прочесть.

Галеран с сомнением поднес бумажку к глазам, но лишь прочел о золотой монете, взятой на игру у Давеланта, как страшно оживился, даже покраснел от волнения.

— Боже мой! Да ведь это Тиррей! — сказал он самому себе.— Кто вы, дорогой друг?

— Том Стомадор, к вашим услугам. У меня лавка против тюрьмы.

— Черт возьми! Рассказывайте подробно! Когда-то я очень хорошо знал Дав... Гравелота.

Стомадор немного мог прибавить к первоначальному объяснению; он рассказал встречу с юношей, описал

его отрепанный вид, наружность, но было видно, что он навсегда запомнил то соединение простоты, решительности и беззащитности, каким являлся Тиррей, также памятный Галерану, в особенности после его исчезновения, причины которого скоро выяснились, как только Франк Давенант явился к Кишлоту и стал ораторствовать там в циническом духе, жалуясь, что сын бросил его. Пока Давенант мучился, пытаясь утолить жадность отца, Галеран в эти дни выиграл в Лиссе, при никогда не бывалом, исключительном везении, пятнадцать тысяч фунтов, и четвертая часть этой суммы приходилась на долю мальчика, ушедшего пешком от нечистоты, так неожиданно замаравшей светлую дверь, уже приоткрывшуюся его жадной душе.

Разъяснив Галерану, что подробные сведения о своих обстоятельствах Гравелот может дать лишь через несколько дней, когда надзиратель Факрегед примет суточное дежурство по лазарету, Стомадор отправился домой, записав адрес Галерана, который уже семь лет владел белым одноэтажным домом в десяти милях от Покета. Дом начинал собой ряд береговых дач, разбросанных по уступам скал среди пропастей и садов. Эти гнезда солнечно-морской тишины имели сообщение с городом посредством дорог — шоссейной и одноколейной железной. В доме Галерана жили, кроме него, шофер Груббе и девушка Тирса, сестра шофера, исполняющая обязанности прислуги и экономки.

Галеран жил в четырех комнатах, обставленных так просто, как это умеют делать любители отчетливой линии в рисунке и мелодии в музыке. Тонкое белье, электрические лампы с зелеными колпаками, фаянс с синим узором, гнутая мебель, прекрасное собрание цветных гравюр, а также обилие многолетних цветущих растений и, общий для всех комнат, тонкий французский ковер, голубой узор которого отражался в стеклах книжных шкафов,— вот все, что, озаренное солнцем через большие окна, тихо блестело в доме. Галерана никто не посещал. К пятидесяти годам его натура выработала своеобразный антитоксин, мешающий приближаться к нему иначе, как только в нейтральных местах, каковы — улица, кафе, клуб. Он не презирал, не ненавидел людей, но любил любить их как людей в книгах. Тиррей был исключением: Тревожно и горячо вспомнил о

нем Галеран. В нем он узнавал свою молодость; но его спасал холодок, подобный холодку мятной лепешки, нагоняющий размышление.

Галеран неделями сидел дома, разводя пчел, читая или занимаясь рыбной ловлей с парусной лодки, и неделями жил в покетской гостинице «Роза и слива», играя поочередно то на бильярде, то в карты.

Выигрыш Тиррея — три с половиной тысячи фунтов, положенные на текущий счет, образовали сумму в шесть тысяч, и ни разу Галеран не коснулся этих денег.

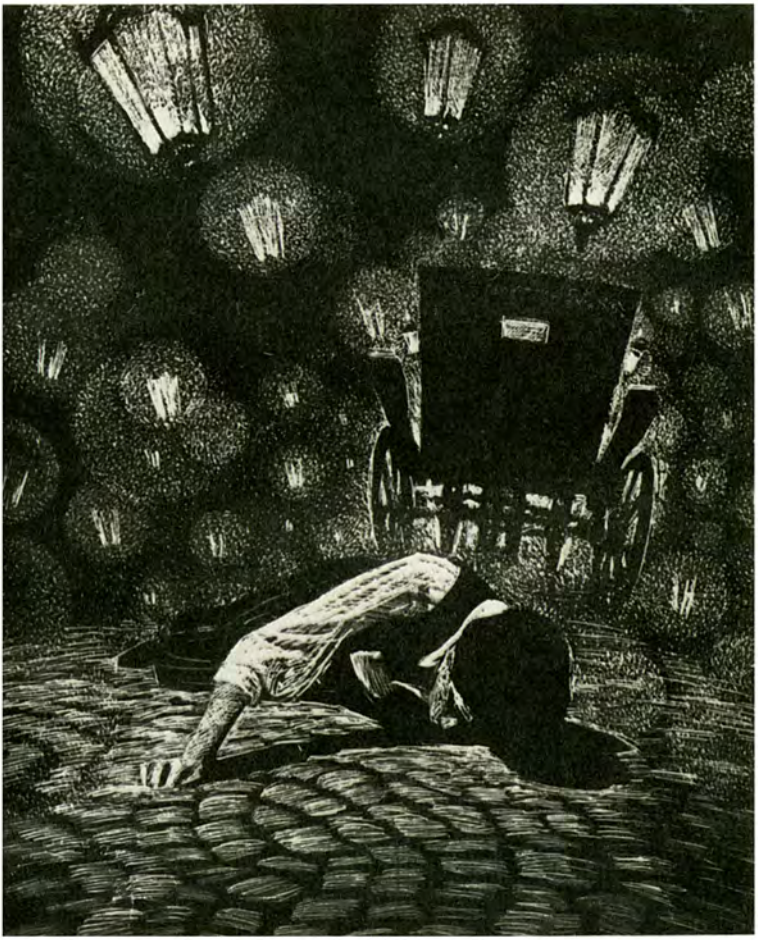
Он ждал, что мальчик придет и поблагодарит его.

Тиррей пришел. Теперь следовало ему помочь.

ГЛАВА IX

Меж тем ноге Давенанта стало хуже; после временного облегчения коленный сустав распух, нога отяжелела, и больной мог только садиться, хотя ему это было запрещено. Если же он изредка вставал, чтобы курить, то сильно рискуя и, во всяком случае, против запрещений врача. Врач Добль, которому безотчетно нравился Давенант, никак не был склонен торопить суд и, устроив подходящий консилиум, дал условное заключение о возможности предстать раненому перед лицом суда лишь через две недели, то есть, считая день свидания Стомадора и Галерана отправным пунктом,— на одиннадцатый после того день.

За это время губернатору Гертона было уже все известно о Гравелоте. Сын и отец, чрезвычайно довольные оборотом дела, приняли путем старых связей нужные меры против оглашения позорной истории, почему заранее было решено в отношении Давенанта — вынести ему заочный приговор, в силу его прямого признания. Отсрочка судебного разбирательства из-за болезни главного преступника была, таким образом, лишь проявлением необходимой корректности. Если бы его ноге стало действительно лучше, председатель военного суда, майор Стегельсон, после совещания с прокурором решил в таком случае назначить суд, не ожидая выздоровления Гравелота. Эти внутренние отношения чиновников и военных, среди худшей их части, представляли закрытый ящик, хорошо знакомый каждому специали-



«ДОРОГА НИКУДА»

«ДОРОГА НИКУДА»

сту. При защите общего тайного интереса все это возмутительно только со стороны, внутри же — просто и почти мирно.

С своей стороны, Давенант был совершенно уверен, что Георг Ван-Конет прекрасно осведомлен о последствиях его бегства и не упустит случая заранее исказить факты или замять их, если арестованный приступит к разоблачению. Не зная, что ожидать от столь решительного поведения властных лиц в том случае, если он отправит следователю письменное показание, в котором вдобавок было бы невозможно доказать связь поступка Готлиба Вагнера с участием в этом преступлении Ван-Конета,— Давенант ждал суда. Сомнения были и здесь, так как битва «Медведицы» с таможенной стражей никак не относилась к безобразиям Ван-Конета за столом «Суши и моря», но ничего другого Давенант придумать не мог, разве лишь Галеран, если он жив, способен был ему помочь. Положение молодого хозяина гостиницы ухудшалось еще страстным тоном местных газет, находивших случай с «Медведицей» исключительным по дерзости и свирепости сопротивления контрабандистов. Два репортера пытались выхлопотать интервью с Тергенсом и Гравелотом, но им было отказано.

Визит следователя повторился. На этот раз чиновник пришел за подтверждением добытых им сведений о настоящем, втором имени Давенанта и о бегстве его из своей гостиницы, когда таможенный отряд обнаружил два ящика дорогих сигар. Давенант не стал лгать: признавши, что все это так, он рассказал следователю о проделках Готлиба Вагнера, вперед зная, что следователь ему не поверит. Но ни слова о Ван-Конете, опасаясь неизвестных ходов злой силы, уже показавшей свое могущество, он не проронил и, стерпев насмешливую критику следователя в отношении таинственного Вагнера, подписал показание в том виде, в каком это показание дал. Хотя теперь у суда были основания считать его контрабандистом и притонодержателем, он, как сказано, для всего главного решил ожидать суда.

Существование пленника омрачали жестокие боли, какие приходилось ему терпеть в часы перевязок. Хотя после перевязки Давенант чувствовал некоторое облегчение, но промывание раны и возня с ней были всегда очень мучительны. Врач появлялся в сопровождении

надзирателя, следившего за соблюдением правил одиночного заключения. Морщась от болезненных ощущений, но и улыбаясь в то же время, Давенант обыкновенно принимался шутить или рассказывал те смешные истории, каких наслушался довольно за девять лет среди разных людей. Тюремные служащие отлично видели, что Гравелот не контрабандист. Через Тергенса уже шли по тюрьме слухи о ссоре Гравелота с каким-то очень важным лицом высшей администрации, причем, разумеется, играла роль светская дама, но слухи эти, не принимая ни окончательной, ни достоверной формы, породили к Гравелоту симпатию, и, лишь боясь потерять место, врач не делал узнику тех существенных одолжений, одно из которых пало на долю Катрин Рыжей.

Несколько раз в камеру Давенанта являлся начальник тюрьмы, мрачный седой человек с острым лицом. Тщательно осмотрев камеру, окно, нехотя пробормотав: «Имеет ли заключенный претензии?» — начальник продолжительно взглядывал последний раз на замкнуто следящие за его движениями серые глаза Давенанта и уходил. Однажды, с целью испытать этого человека, Давенант сказал ему, что желает вызвать следователя для весьма существенных показаний. Беглое соображение, мелькнувшее в глазах начальника тюрьмы, выразилось вопросом:

— Какого рода эти сведения?

— Одно лицо,— сказал Давенант,— лицо очень известное, получило от меня удар в гостинице...

— Относительно всего, что прямо не относится к делу,— перебил, поворачиваясь, чтобы уйти, начальник,— вы должны подать письменное объяснение.

С этим он ушел, но Давенант догадался, что хитрый администратор действует заодно с судом и всякое письменное изложение причин мрачной истории отправит непосредственно губернатору или же уничтожит.

Жар и томление раны вынуждали Давенанта с нетерпением ожидать ночи, когда сон уводил его из тюрьмы в страну грез. Он старался спать днем, чтобы меньше хотелось курить, так как за стояние у форточки приходилось ему платить возобновлением острой боли в колене. Без других собеседников, кроме книг тюремной библиотеки, в отвратительно светлой пустоте камеры, где отсутствовало хотя бы что-нибудь л и ш н е е, так необхо-

димое зрению человека, Давенант отдавался воображению. Иногда он видел Кишлота и красные зонтики девочек, смеющихся так, что все смеялось вокруг. Он бродил с пьяным отцом, искал в темном саду ключ и шел по неизвестной дороге, стремясь обогнуть гору, закрывающую ярко озаренный театр. Но меньше всего он хотел, чтобы те девушки, от которых у него осталось странное впечатление — нежности и любви к жизни,— узнали, где он находится. Тогда они должны были вспомнить его отца. И в простоте сердечной Давенант надеялся, что они давно уже забыли о нем.

Через несколько дней после того, как записка Стомадора была получена Давенантом, начавшим с той ночи напряженно ожидать дальнейших событий, на исходе двенадцатого часа полудня произошла обычная смена дежурств. Новый надзиратель обошел по порядку все одиночные камеры лазарета и последней открыл дверь Тиррея. Это был Факрегед, молодой человек лет тридцати, с нездоровым цветом лица и черными усиками. Его черные небольшие глаза слегка улыбнулись и, тихо прикрыв дверь, чтобы надзиратель общего отделения лазарета случайно не подслушал беседу, он присел на кровать в ногах Давенанта, кивая ему в знак соблюдения спокойствия и доверия. Чувствуя начало событий, но из осторожности только молча и выжидательно улыбаясь, Давенант взял от Факрегеда записку Тергенса, почерк которого ему был уже известен.

Тергенс писал:

«Доверьтесь подателю безусловно. Он не сможет достать только птичьего молока. Т.»

— Давайте ее обратно,— шепнул Факрегед и спрятал записку за подкладку фуражки,— я ее потом уничтожу. Теперь слушайте: все, что нужно передать кому бы то ни было, можете мне сказать на словах, так безопаснее, но, если необходимо писать, тогда приготовьте письмо к вечеру и засуньте его в остаток хлеба, какой получаете на ужин, хлеб можно бросить в миску. Хотя мне и доверяют, но осторожность никогда не мешает. У вас карандаш есть? Так. Возьмите бумаги.

Факрегед вынул из своей записной книжки заранее приготовленные листки, а Давенант спрятал их в прореху матраца.

— Я уже писал,— сказал он, так же торопясь все уз-

нать, как Факрегед, видимо, торопился выйти.— Дошло ли письмо? Где Том Стомадор?

— Уже разыскали Галерана,— поспешно ответил Факрегед, вставая, отходя к двери и стоя к ней спиной. Его рука тянулась взяться за ручку двери.— Действовать будут вовсю. Стомадор торгует напротив тюрьмы. У него лавка.

Вне себя от такого количества важных и поразительных сообщений, Давенант счастливо расхохотался. Крайнее возбуждение выразилось тем, что на его левой щеке проступило яркое красное пятно, захватившее угол глаза и висок; как бы мурашки бегали в щеке, и он бессознательно потер ее.

— Вся щека у вас стала красная,— сказал Факрегед.— Что это такое?

— Я не знаю... нервен я стал в последние дни,— ответил удивленный Давенант.— Что же еще? Как Тергенс?

Факрегед прислушался к неопределенному звуку в коридоре, махнул рукой и выскочил, тотчас щелкнув ключом.

Эти известия отозвались на Давенанте почти как чувство внезапного освобождения,— как если бы уже подан был к тюрьме экипаж увезти его прочь от мрачной игры стен и ключей. «Стомадор против тюрьмы,— повторял Давенант.— Галеран знает обо мне!» Диковинность человеческих встреч веселила его. Он лежал, тихо смеялся и прислушивался к изредка раздающимся звукам тюрьмы, напоминающим металлические взрывы, голос железа, шаги каменных статуй. Немедленно захотелось ему писать Галерану обо всем, подробно и точно. Воспоминания оживили образ этого человека, к которому он чувствовал уважение и благодарность. Дыша всей силой легких, теснящих оглушенное надеждами сердце, Давенант, презирая боль в ноге, даже находя ее приятной, как незначительное обстоятельство, бессильное повредить другим, более важным обстоятельствам, встал и долго курил у форточки. Наконец нервы его утихли, он сел писать Галерану, стараясь поместить как можно более слов на тех трех листиках, которые дал ему Факрегед. Кое о чем он не писал. Так, он хотел на словах рассказать надзирателю о деньгах и серебряном олене, за-

прятанных в трещине камня, также на словах передать все имена — от Ван-Конета до Фирса.

Пока он писал, Факрегед методически ходил по коридору, иногда открывая железные форточки дверей и осматривая камеры пытливым взглядом. Открыв форточку Давенанта, Факрегед встретился с ним глазами и, не удержавшись, по-детски усмехнулся той игре в сторожа и заключенного, которую они вели между собой.

Зная, что такой случай представится вновь не очень скоро, Давенант передал сжатыми выражениями, сокращая слова и избегая прилагательных, все существенное своей истории за девять лет, умолчав лишь о том, с какой целью ушел из Покета в Лисс. Не назвав по имени ни одно действующее лицо истории, завязавшейся в «Суше и море», он вечером осторожно постучал в дверь и передал Факрегеду нужные имена, тщательно объяснив, какое отношение к нему имеет тот или другой человек, а также как найти оленя и деньги. Когда Факрегед затвердил урок, что было не трудно для его изощренной в этих делах памяти, они расстались и больше не говорили друг с другом. Вечером Давенант затолкал свое письмо в недоеденный хлеб, и дежурный по лазарету арестант, под наблюдением отдельно приставленного для этой цели надзирателя, а также и Факрегеда, обошел камеры и забрал посуду. Эти посещения происходили всегда быстро, в молчании, без лишних движений, но Факрегед легким наклонением головы дал знать узнику, чтобы он о дальнейшем не беспокоился. Действительно, на другой день письмо было у Стомадора, и он, прежде чем отнести его Галерану, ожидавшему соумышленника в назначенной для того пивной, недалеко от тюрьмы, старательно прочитал его, а затем на особой бумажке, чтобы не перепутать, записал все, что сказал ему Факрегед отдельно от письма Давенанта. Эти имена были: Георг Ван-Конет, Сногден, Вейс, Лаура Мульдвей, дочь и отец Баркеты, Петрония и Фирс.

Особенно интересовал Стомадора камень, в трещину которого Гравелот опустил деньги и серебряного оленя. Розыск этих вещей он брал на себя, зная, как много и без того предстоит Галерану различных хлопот. Кроме того, Стомадор не мог упустить редкий случай прямого участия, связанного воспоминанием о месте битвы с интимной стороной характера лавочника. Никогда и нико-

му не говорил он о ней, мало думал о ней и сам, но эта сторона его характера единственно определяла поступки странного толстяка.

Есть род любителей живописного действия, интриги и волнующего секрета. Точно такой человек был Стомадор, неожиданный подарок которого Давенанту— в виде «Суши и моря»—вытекал лишь из того, что трактирщику надоело ждать в малопосещаемой местности появления кареты с персонажами пятого акта драмы: будь то похищение женщины или таинственное наследство — это было для него безразлично, но он тосковал о невозможности сражаться вместе с осаждаемым гостем против шпаг и револьверов, громящих дверь, заваленную изнутри мебелью. Стомадор дельно догадывался об особой роли в жизни людей таких осиных гнезд всяческих положений и встреч, каковы гостиницы малолюдных мест, но желал он всего такого поспешно и ярко, как драгоценных игрушек, забывая, что действительность большей частью завязывает и развязывает узлы в длительном темпе, более работая карандашом и пером, чем яркими красками. И, как это всегда бывает с осуществлением представлений, мрачное насчастье Давенанта, вытекшее из естественной его склонности сопротивляться нечистоте, казалось Стомадору происшествием заурядным, а трещина в камне — осколком достодолжной интриги... Значит ли это, что представление сильнее события? Сказать трудно: видимо, как и с кем.

После многих блужданий и неудач Том Стомадор удовлетворял теперь свою жажду зрителя и участника живописного действия торговлей против тюрьмы, он вошел во вкус этого дела, так как постоянно был в курсе тюремных драм и тайных сношений с контрабандистами. Его увлекло ожидание редких или трагических случаев, а информаторов было достаточно, начиная родственниками заключенных и кончая теми же надзирателями, болтавшими иногда лишнее в задней комнате лавки, где, случалось, они играли и пили.

Накануне этого дня, еще с вечера получив тюремную ведомость относительно продуктов, какие надо было сегодня утром отпустить тюремным рассыльным, Стомадор приготовил товар заранее, работая часть ночи,— все развесил, завернул и уложил в корзины. Ботредж заменил его на остальную часть дня, а Катрин явилась помо-

гать. На вопросы жен надзирателей, куда девался старик, контрабандисты отвечали, что Стомадор уехал проведать больную родственницу.

Накануне этого дня Галеран был у военного прокурора, полковника Херна, желая выяснить дело и добиться разрешения на свидание с заключенным. Рассматривая военное судопроизводство как лабораторную тайну, Херн весьма вежливо и выразительно дал понять Галерану, что он осуждает ходатайства посторонних лиц, хотя бы и симпатизирующих обвиняемому. Однако Херн не мог отказать себе в удовольствии привести статьи закона, по которым четыре человека — Гравелот, Тергенс и еще двое — должны были умереть на виселице. Поэтому разговор продолжался.

— Я не вижу причин,— сказал Херн,— почему обвинение должно быть сдержаннее в отношении Гравелота. Он защищал груз «Медведицы» с яростью собственника, его собственное признание говорит о шестнадцати жертвах, семьям которых Таможенное управление должно теперь исхлопотать пенсию. Следствие установило, что мнимый Гантрей есть Джемс Гравелот, владелец гостиницы при одном из береговых пунктов, отчаянно зараженных контрабандой. Гравелот скрылся от обыска, давшего существенные доказательства его участия в контрабандных делах. Нет фактов более убедительных, как хотите.

— Вы правы,— согласился Галеран, не желая раздражать Херна сомнениями.— Мне остается узнать, не возник ли у следствия вопрос о душевной нормальности Гравелота? Характер его ожесточенного сопротивления позволяет задуматься. Хранение контрабанды, если даже это доказано, не есть повод к отчаянию. Или Гравелот болезненно возбудим, или был вынужден почему-то сопротивляться до последней возможности.

Сказав это, Галеран не подозревал, что он коснулся тайной стороны дела, и Херн внимательно посмотрел на него. Губернатор мог сильно повредить прокурору, если бы Херн отказался потворствовать просьбе отца оказать сыну дружескую услугу: выгородить из принявшего неожиданный оборот дела имя Георга Ван-Конета. Эти слова Галерана были причиной того, что Херн категорически отказал ему в свидании с Давенантом. После окончания следствия навещать заключенных могли только ближайшие родственники.

Человек, не имеющий положения в обществе, ничем и никому не известный, основательно утомил Херна. Он встал.

— Свидание невозможно,— повторил Херн.— Относительно предполагаемой сложности характера вашего протеже я должен заметить, что военный суд лишен права углубляться в миросозерцание контрабандистов, как ни любопытен этот вопрос сам по себе.

На том Галеран ушел. Письмо Тиррея просветило его. Но ясность, которой он ожидал, была так сложна по смыслу предстоящего ему действия, что он только махнул рукой, откидывая серьезное размышление на дорожные часы. Ехать прежде всего следовало в Гертон.

— Прочитав письмо,— важно заявил Стомадор,— я понял, что эта история охватывает три момента: семейный момент, личный момент и уголовный момент. Что касается спрятанных в камне денег и других вещей, то, я думаю, лучше будет этим заняться мне, я знаю окрестности. Остальное в ваших руках.

— Да, ступайте и разыщите деньги,— сказал Галеран,— мне же предстоит видеться со всеми людьми, имена которых вы записали. Гравелот нажил безобидных и ничтожных врагов: губернаторскую семью. Острота дела — в трудности доказать связь между таинственным поступком Вагнера и действиями Ван-Конета. Даже доказав это, мы создадим новое, отдельное дело, едва ли помогающее Гравелоту.

— Чрезвычайные затруднения! — озабоченно и торжественно провозгласил Стомадор.— Только ваша голова может одолеть возникающие препятствия, но не моя.

— Гравелот ударил Ван-Конета за оскорбление женщины,— продолжал Галеран,— и если я допускаю, что сигары были подброшены с намерением избегнуть компрометации, возможной после того, как побитый уклонился от дуэли, то любой юрист вправе толковать это как совпадение. Короче говоря, улик нет против Ван-Конета, и, повторяю, если бы они нашлись,— новое дело против Ван-Конета не оправдает Гравелота по делу «Медведицы». Однако ничего другого не остается, как пригрозить сыну губернатора оглаской скандала, чтобы тот пустил в ход все свое влияние ради смягчения участи Гравелота. А для этого я должен заручиться показа-

нями Баркета, его дочери и Петронии; быть может, нелишне потолковать со Сногденом и Лаурой Мульдвей. В отношении этих лиц нельзя заранее ничего сказать.

— Правильно! — вскричал Стомадор.— Вы рассуждаете, как министр.

— Увы! Как шантажист. Я предпринимаю шантаж, это вам скажет простой судейский рассыльный.

— Рискованная вещь бить сына губернатора по лицу, да еще при свидетелях! — заметил Стомадор, все еще озадаченный поступком Гравелота.— Никак не решусь сказать, мог ли бы я сделать то же на его месте. Вопрос, как хотите, щекотливый!

— Он хорошо поступил,— сказал Галеран.— Это был скромный и добрый юноша. Видимо, создалось положение, когда молчание равно пощечине самому себе.

До этой минуты Стомадор сомневался в разумности действий Гравелота, но искренний тон Галерана отогнал тень условности, мешавшей лавочнику оценить столкновение по существу.

— Действительно,— сказал Стомадор,— я с вами согласен. Это так, хотя и плохо, но так. Признаюсь, когда я читал письмо, то подумал, что малый рехнулся. Он вскипел, а мы вот сидим и ломаем головы, как его теперь выручить. Что заставляет о нем думать? — разрешите задачу. Ведь Гравелот мне даже не родственник. Я вижу его во сне каждую ночь.

— Значит, он нам нужен — мне и вам.

Подумав, Галеран решился добавить:

— Я был бы очень огорчен смертью Кунсгерри, хотя я никогда не видал его.

— Ого! Что же, вы хотите самостоятельно расправиться с ним?

— Пустое! — расхохотался Галеран.— Кунсгерри живет в Шотландии, где нам, верно, не придется бывать. Я прочел в газете, что артист одного театра, Кунсгерри, отказался играть главную роль в новой пьесе. Она ему не понравилась. Он ушел со сцены в конце первого акта. Другой актер, по ходу действия, обернулся к двери, воскликнув: «А! Вот, наконец, этот негодяй Гард! Он торопится! Я слышу его шаги!» Но дверь стояла пустая, и Гард, то есть Кунсгерри, не приходил. Актер повторил, что «Гард торопится». Никто не торопился. Представление оборвалось, и Кунсгерри уплатил крупную неустой-

ку. Так вот,— сказал Галеран, вставая и тщательно пряча письмо Давенанта,— не знаю, понятно ли это вам, но Давенант — как Кунсгерри; он не может уступить в главном, и поэтому я должен его спасти.

— Рассчитывайте на меня, как хотите,— объявил Стомадор, восхищенный необычайным для него оттенком, какой придал всему делу его образованный соучастник,— я в вашем распоряжении. Возвратясь, зайдите ночью ко мне, буду я спать или нет,— тихий тройной стук известит меня о вашем прибытии.

На том они расстались. Лавочник уехал в трамвае к Старому форту, откуда пешком должен был идти разыскивать камень, а Галеран на автомобиле, управляемом его шофером Груббе, отправился в Тахенбак, прежде всего стремясь расспросить слуг гостиницы, брошенной Давенантом. Кроме того, любопытно было ему увидеть, как жил Тиррей, наружность которого через девять лет он представлял смутно. Галеран все еще помнил его безусым. Эта внушительно и мрачно развивающаяся судьба щемила сердце Галерана, как вид заброшенного красивого дома.

Был пятый час дня. Дорога — та самая, по которой мчался Давенант в Лисс,— даже минуты не оставалась пустой; легкие и грузовые автомобили обгоняли путешественника, виднеясь потом из-за холмов, на отдаленных участках шоссе, подобно пылящим, черным шарам; лязгали, дребезжа, повозки, управляемые хмельными фермерами; фрукты, мешки с орехами и маисом, тюки табаку, мебель и утварь переезжающих из одного поселка в другой двигались все время навстречу Галерану. Знойное безветрие при чистом небе сообщало пейзажу законченную чистоту линий. Бурая трава, сожженная солнцем, переходила с холма на холм оттенками золы, усеянной пятнами камней, глины и колючих кустов. Иным людям движение помогает рассуждать; для Галерана движение было всегда рассеянным состоянием, подобием насыщенного раствора, прикосновение к которому внешней силы образует кристаллы самой разнообразной формы. Он увидел красивую птицу в голубых пятнах по белому оперению, медленно перелетевшую холм, заинтересовался ею и спросил Груббе — не знает ли он, как называется эта птица?

Груббе пожал плечами. Он никогда не думал о птицах.

Галеран видел оранжевые цветы на колючих стеблях, недоступных разящей силе лучей солнца. В мире было много птиц и растений, им никогда не виденных. «Как монотонно и как не любопытно я жил»,— размышлял Галеран, испытывая беспокойство, зависть к неузнанному, что бы оно ни было, сожаление о пороге старости и несколько смешное желание жить вторую, ко всему жадную жизнь. Это был для его возраста краткий психоз, но ему вдруг безумно захотелось увидеть все вещи во всех домах мира и проплыть по всем рекам.

К закату солнца путешественники низверглись с плоскогорья, миновав тихие городки южного берега. Было восемь часов вечера, когда экипаж остановился у ресторана «Марк Татанер» в Лиссе. Наскоро пообедав здесь, Галеран продолжал путь.

С рассветом обозначился Тахенбак. Не останавливаясь более, Галеран проехал рудничный городок, прибыв к «Суше и морю» без десяти минут десять часов утра. Усталый, охрипший Груббе остановил машину у деревянной лестницы.

Отсидевший все члены тела за эти восемнадцать часов ускоренного движения, Галеран вышел и осмотрелся, думая, что кто-нибудь появится из гостиницы. Но только теперь заметил он, что на входной двери повешен замок, ставни закрыты изнутри, у правого крыла дома разбита палатка и там стоит человек, вглядываясь в приезжих с самонадеянностью торговца, лишенного конкуренции. Это был обросший черными волосами человек с желтым лицом — итальянец смешанной крови. В своей палатке он устроил прилавок, наставил табуреты, и дым от его жаровни, подрумянивающей ломти свинины, разносил запах еды. Прилавок был уставлен бутылками и сифонами.

— Есть ли кто-нибудь в гостинице? — спросил Галеран, поднимаясь на откос к палатке.— Я хочу видеть служащих Гравелота — Петронию и Фирса. Почему дверь на замке?

Торговец прищурился и вытер о передник сальные руки.

— Все местные жители знают эту историю,— сказал он,— но вы, должно быть, издалека?

— Хотя я издалека,— ответил Галеран, с удовольствием усаживаясь на табурет и знаком приглашая подо-

шедшего Груббе сесть рядом с ним, чтобы восстановить силы вином и жареным мясом,— хотя я издалека,— я знаю, почему исчез хозяин. Тут должны оставаться два человека.

— Так вот... подождите,— начал объяснять торговец, не любивший торопиться.— Хотите выпить виски? А! Хорошо, я вам все расскажу. Гравелот скрылся от обыска, оставив хозяйство Фирсу. Фирс держал гостиницу открытой четыре дня, после того он с женщиной тайно исчезли, да еще захватили белье, лошадь, повозку и много других вещей, а потому полиция заперла гостиницу. Я согласился ее сторожить. Место глухое. Конечно, торговать я имею право. Ко мне заходят, потому что дело Гравелота погибло или замерло на время; неизвестно, что будет с гостиницей, но пища и напитки всегда найдутся в моей палатке. Меня зовут Арум Пакко — к вашим услугам. Котлеты, если хотите, придется подождать, есть горячая свинина, колбаса, консервы.

Действительно, так это и было, как рассказал Пакко: деньги, оставленные Давенантом Фирсу, и случайные деньги Петронии расположили этих людей друг к другу скорее, чем затяжное ухаживание. Тяготясь тем, что на руках у них осталось исправное заведение, по делам которого им, может быть, пришлось бы дать отчет Гравелоту, Петрония с Фирсом, забрав вещи поценнее, скрылись и уехали на пароходе в Лисс, намереваясь открыть там табачную лавку.

Груббе ничего не знал о планах Галерана, и это заурядное мошенничество рассмешило его, но, взглянув на озадаченного хозяина, он понял, что тот отнесся к делу серьезнее. Перестав смеяться, Груббе заметил:

— Экие прохвосты!

— Да, Груббе, это — прохвосты, но они были мне очень нужны,— сказал Галеран,— искать их, разумеется, бесполезно.

Пакко, слыша этот разговор, начал стараться выведать цели путешественников, но Галеран уклонился от объяснений. Пока он с Груббе ел и пил, умолкший Пакко стоял к ним спиной у входа палатки и, засунув руки в карманы, насвистывал, разглядывая машину, как отвергнутый посторонний, имеющий право судить все, а о выводах умолчать. Эти его выводы свелись, впрочем, к импровизированной надбавке платы за водку и кушанье.

Отдохнув, Галеран уехал, и Груббе через пятнадцать минут доставил его в Гертон, по адресу Баркета. Хозяина мастерской не было дома. Тогда Галеран попросил приказчика сообщить дочери Баркета, Марте, что приехавший из Покета Орт Галеран желает говорить с ней по делу ее отца.

— Если у вас неотложное дело,— сказала Марта, появляясь в мастерской и расположенная внешностью Галерана к обходительности, всегда руководящей промышленниками, когда, по их мнению, посещение обещает выгоду,— я проведу вас в нашу контору. Отец должен вернуться через двадцать минут, он отправился принимать заказы на электрическую рекламу.

Конторой Марта называла в известных случаях часть прохода из мастерской в квартиру, где находились телефон и письменный стол Баркета. Несколько медных, фаянсовых и эмалевых досок были прибиты к стене, привлекая внимание выразительной бессмыслицей случайного подбора этих образцов ремесла Баркета. Единственно удачно висели рядом: «Родовспомогательная лечебница Грандиссона» и «Бюро похоронных процессий Байера».

Оглушенный долгой ездой, не спав ночь, Галеран сел на предложенный ему стул и удержал Марту, хотевшую выйти.

— Пока ваш отец не вернулся,— сказал он, заключая по внешности девушки, что теперь будет положено начало борьбы за Давенанта,— мне хочется сказать о цели моего визита вам.

— Хорошо,— ответила Марта, поспешно садясь и что-то предчувствуя, отчего ей стало неловко дышать.

Галеран назвал себя.

— Ваша помощь необходима,— заговорил он.— Я сразу объясню дело. Джемс Гравелот заключен в тюрьму по обвинению в хранении контрабанды и сопротивлении береговой охране. Нет сомнения, что ему был подкинут запрещенный товар — сообразите сами — как раз вечером того дня, когда вы и отец ваш были свидетелями скандала в гостинице Гравелота.

Марта вспыхнула, затем опустила голову. Ее руки дрожали. Подняв лицо, она глядела на Галерана так беспомощно, что он отнес эти знаки волнения на счет ее сочувствия пострадавшему.

— Я...— сказала Марта.

Галеран, помедлив и видя, что она умолкла, продолжал:

— Да, ваши чувства я понимаю. Размышляя так и этак, я вывел заключение, что спасти Гравелота можно лишь через Ван-Конетов, дав им выбирать или огласку пощечины, а также всех безобразных выходок Георга Ван-Конета, или же деятельное участие этих влиятельных лиц в спасении невинно запутавшегося Гравелота. Но, чтобы иметь успех, нужны свидетели. Я уверен, что вы не откажетесь свидетельствовать против негодяя. Гравелот, в сущности, заступился за в а с. Я прошу о том вас и намерен просить вашего отца.

Марта успела подавить замешательство. Взяв со стола линейку, она притронулась ее концом к нижней губе и, не отнимая линейку, смотрела на Галерана круглыми, очень светлыми глазами.

— Вот что...— сказала она.— Вы меня страшно удивили. Ни о каком скандале мы ничего не знаем. Я, право, не знаю, что́ подумать. К тому же вы говорите, что Гравелот арестован. Вот ужас! Мы знаем Гравелота. Уверяю вас, все это — сплошное недоразумение.

Опустив взгляд, она прикусила конец линейки и с силой выдернула ее из зубов, затем, робко взглянув на Галерана, медленно положила линейку и выпрямилась.

— Вы испугали меня,— сказала Марта.— Как понять?

Галеран откинулся, болезненно переведя замкнувшееся дыхание. Сердце его начало стучать громко и тяжело.

— Вы должны это сделать.

— Но я ничего не могу, я ничего, ничего не знаю! Вы, может быть, спутали! Идет отец! — облегченно воскликнула девушка, стремясь удалиться.

Толкнув стеклянную дверь, вошел раскрасневшийся от жары Баркет с готовой любезной улыбкой, обращенной к посетителю.

Вид дочери осадил его.

— Ты что? — быстро спросил он.

— Отец, вот...— Марта взглянула на Галерана,— вот это к тебе, о Гравелоте,— добавила она, запоздало пожав плечом и тотчас уходя в комнаты.

Баркет медленно, думающим движением снял шляпу

и посмотрел на Галерана светло раскрытым, напряженным взглядом лжеца.

— Да, да,— забормотал он,— как же! Я Гравелота знаю очень хорошо. Должно быть, месяц назад я заезжал к нему с Мартой последний раз.

Галеран вторично назвал себя и объяснил:

— Я — друг Гравелота. Баркет, вы были у него в тот день, когда он ударил Ван-Конета за издевательство над вашей дочерью.

Баркет увел голову в плечи и вытаращил глаза.

— Да что вы! — вскричал он.— О чем вы говорите? Объясните, ради бога, я страшно встревожился!

— Гравелот не будет лгать,— сказал Галеран.— Неужели это так трудно: сказать правду ради хотя бы спасения человека, которому вы прямо обязаны?

— Если вы объясните, в чем дело... Поймите, что я поражен! Не однажды я останавливался в «Суше и море», но я не могу понять, о чем речь!

В течение по крайней мере минуты оба они молчали. Баркет выдерживал красноречивый взгляд Галерана с трудом и наконец опустил глаза.

— Если вы засвидетельствуете столкновение, Гравелот будет спасен. Он арестован. Подробности я уже рассказал вашей дочери. Она вам передаст их. Мне тяжко их повторять.

— Уверяю вас, что вы поддались какой-то сплетне...— заговорил Баркет, но Галеран его перебил:

— Так вы настойчиво отрицаете?

— Отрицаю. Это мое последнее слово. Но я бы хотел все-таки....

Галеран не дослушал его. Покачав головой, он взял шляпу и вышел, бросив на ходу:

— Стыдно, Баркет.

Он уселся в автомобиль, нисколько не упрекая себя за так кратко и решительно оборванный разговор. Бесполезно было далее убеждать этих что-то обдумавших и решивших людей в низости их молчания. Галеран еще не отчаивался. У него возникла мысль говорить с Лаурой Мульдвей и Сногденом. По характеру событий, как они были кратко выражены Тирреем в его письме, Галеран отчасти представлял этих людей, их роль около Ван-Конета; он знал, что даже человек резко порочный, если к нему обращаются в надежде на проявление его лучших

чувств, скорее может проговориться или изменить себе, чем Баркеты. Однако точного плана не было. Только случайность или минутное настроение — род благородной слабости — могли помочь Галерану в его неблагодарном труде — вырвать из естественно развившегося заговора клок шерсти таинственного животного, именуемого уликой. Отбросив размышления относительно еще не создавшихся сцен, веря в наитие и надеясь лишь на не оставлявшую его силу надежды, Галеран поехал в гостиницу, где занял большой номер. Не зная, что́ будет дальше, он хотел иметь помещение для приема и сна.

— Будьте наготове,— сказал Галеран Груббе,— я должен говорить в телефон и, может быть, тотчас опять поеду. Если же этого не случится, вы займете номер 304-й, как я условился с управляющим гостиницей, а машину отведете в гараж. Я вас извещу.

Терпеливый, безмерно усталый, но преданный Галерану человек, видя, что его хозяин расстроен, молча кивнул и вытащил из ящика для инструментов бутылку виски. Выпив столько, чтобы согнать болезненное отупение бессонной ночи, Груббе облокотился на дверцу и стал рассматривать прохожих. Было жарко. Он ослабел, склонился и задремал.

Как сказано ранее, Лаура Мульдвей и Сногден отправились в Покет, продолжая давние отношения с Ван-Конетом, и скоро Галеран узнал, что его хлопоты безрезультатно оканчивались. По-видимому, ничего другого ему не оставалось, как возвратиться. Он был отчасти рад, что эти лица в Покете, на месте действия; не поздно было попытаться, так или этак, говорить с ними по возвращении. Внутренне остановясь, Галеран сел в кресло и принялся курить, задерживая трубку в зубах, если размышление бессодержательно повторялось, или вынимая ее, когда мелькали черты возможного действия. Хотя самые важные свидетели отошли, он пересматривал заново группу людей, чья память хранила драгоценные для него сведения, и ждал деятельного намека, могущего образовать трещину в сопротивляющемся материале несчастия. Решение задачи не приходило. Единственный человек, к которому мог еще обратиться Галеран, не покидая Гертона, был Август Ван-Конет. Ничего не зная ни о нем, ни об отношении его к сыну, Галеран думал о его существовании как о факте, и только. Однако эта

мысль возвращалась. При умении представить дело так, как если бы свидетели налицо и готовы развязать языки, попытка могла кое-что дать. Галеран выколотил из трубки пепел и вызвал телефонную станцию — соединить его с канцелярией Ван-Конета.

Должно быть, телефонные служащие работали усерднее, если им называли номера небольших цифр, но только утомленный глухой голос очень скоро произнес в ухо Галерана:

— Да. Кто?

Август Ван-Конет был один, измучен ночным припадком подагры, в одном из тех рассеянных и пустых состояний, когда старики чувствуют хрип тела, напоминающий о холоде склепа. Ван-Конет осматривал минувшие десятилетия, спрашивая себя: «Ради чего?» В таком состоянии упадка задумавшийся губернатор, не вызывая из соседней комнаты секретаря, сам взял трубку телефона. Эта краткая прихоть выражала смирение.

Разговор начался его словами: «Да. Кто?»

— За недостатком времени,— сказал Галеран,— имея на руках очень важное и грустное дело, прошу сообщить, может ли губернатор сегодня меня принять? Я — Элиас Фергюсон из Покета.

— Губернатор у телефона,— мягко сообщил Ван-Конет, все еще охваченный желанием простоты и доступности.— Не можете ли вы коротко передать суть вашего обращения?

— Милорд,— сказал Галеран, поддавшись смутному чувству, вызванному терпеливым рокотом печально звучащего голоса,— одному человеку в Покетской тюрьме угрожает военный суд и смертная казнь. Ваше милостивое вмешательство могло бы облегчить его участь.

— Кто он?

— Джемс Гравелот, хозяин гостиницы на Тахенбакской дороге.

Ван-Конет понял, что слух кинулся стороной, вызвав неожиданное вмешательство человека, говорящего теперь с губернатором тем бесстрастно почтительным голосом, какой подчеркивает боязнь случайных интонаций, могущих оскорбить слушающего. Но состояние прострации еще не покинуло Ван-Конета, и ехидный смешок при мысли о незавидной истории сына, вырвавшийся из жел-

тых зубов старика, был в этот день последней данью его подагрической философии.

— Дело «Медведицы»,— сказал Ван-Конет.— Я хорошо знаю это дело, и может быть...

«Не все ли равно?» — подумал он, одновременно решая, как закончить обнадеживающую фразу, и дополняя мысль о «все равно» равнодушием к судьбе всех людей. «Не все ли равно — умрет этот Гравелот теперь или лет через двадцать?» Легкая ненормальность минуты тянула губернатора сделать что-нибудь для Фергюсона. «Жизнь состоит из жилища, одежды, еды, женщин, лошадей и сигар. Это глупо».

Он повторил:

— Может быть, я... Но я хочу говорить с вами подробно. Итак...

Внезапно появившийся секретарь сказал:

— Извините мое проворство: акции Сахарной компании проданы по семьсот шесть и реализованная сумма — двадцать семь тысяч фунтов — переведена банкам Рамона Барроха.

Это означало, что Август Ван-Конет мог сделать теперь выбор среди трех молодых женщин, давно пленявших его, и дать годовой банкет без участия ростовщиков. Вискам Ван-Конета стало тепло, упадок прошел, осмеянная жизнь приблизилась с пением и тамбуринами, дело Гравелота сверкнуло угрозой, и губернатор отдал секретарю трубку телефона, сказав обычным резким тоном:

— Сообщите просителю Фергюсону, что мотивы и существо его обращения он может заявить в канцелярии по установленной форме.

Секретарь сказал Галерану:

— За отъездом господина губернатора в Сан-Фуэго я, личный его секретарь, имею передать вам, что ходатайства всякого рода, начиная с первого числа текущего месяца, должны быть изложены письменно и переданы в личную канцелярию.

— Хорошо,— сказал Галеран, все поняв и не решаясь даже малейшим проявлением настойчивости колебать шаткие обстоятельства Давенанта.

Но разговор этот внушил ему сознание необходимости торопиться.

Галеран сошел вниз, заплатил конторщику суточную цену номера и разыскал глазами автомобиль.

Груббе спал, потный и закостеневший в забвении. Его голова упиралась лбом о сгиб локтя. Галеран, сев рядом, толкнул Груббе, но шофер помраченно спал. Тогда Галеран сам вывел автомобиль из города на шоссе и покатил с быстротой ветра. Вдруг Груббе проснулся.

— Держи вора! — закричал он, хватая Галерана, без всякого соображения о том, где и почему неизвестный человек похищает автомобиль.

— Груббе, очнитесь,— сказал Галеран,— и быстро следуйте по этой дороге: она ведет обратно, в Покет.

ГЛАВА X

Поздно вечером следующего дня Стомадор ждал Галерана, играя сам с собой в «палочки» — тюремную игру, род бирюлек.

Весь день Галеран спал. Очнувшись в тяжелом состоянии, он выпил несколько чашек крепкого кофе и отправился на окраину города. Около тюрьмы он задержался, всматриваясь в ее массив с сомнением и решимостью. Денег у него было довольно. Оставалось придумать, как дать им наиболее разумное употребление.

Спотыкаясь о ящики в маленьком дворе лавки, Галеран разыскал заднюю дверь, постучав именно три раза. Мелочам тайных дел он придавал значение дисциплины, отлично зная, что пустяковая неосторожность начала может увести далеко от благополучного конца, как расхождение линий угла.

Стомадор бросил игру и открыл дверь.

— Вернувшись на рассвете,— сказал Галеран,— я так устал, что сразу лег спать. Ничего дельного не дала эта поездка. Нет даже скважины, которую можно было бы расширить, все наглухо закрыто со всех сторон. Гостиница на замке, люди Гравелота обокрали его и исчезли. Баркет с дочерью отказались — они твердят, что не были в «Суше и море». Имеете ли вы сведения?

— Никаких, кроме того, что ноге Гравелота легче. Гравелот, Тергенс и другие ждут со дня на день обвинительного акта. Я вынул из камня деньги. Бедный Джемс! Даже слуги общипали его. Что касается меня, я обыскал все камни. Их было одиннадцать, таких, кото-

рые подходили к описанию. Уже смеркалось, зловеще шумел прибой... И вдруг моя рука нащупала в глубине боковой трещины самого большого камня нечто острое! Я вытащил серебряного оленя. Буря и выстрел! Остальное было там же. Вот оно, все тут, считайте.

Внимательно посмотрев на Стомадора, Галеран сдержал улыбку и рассмотрел находку лавочника. Пересчитав деньги, он отдал половину их Стомадору, говоря:

— В дальнейшем у вас будут расходы. Они могут быть значительными, а потому спрячьте деньги эти у себя.

Серебряный олень стоял возле руки Галерана. Взяв вещицу, Стомадор повертел ее:

— Да, это что такое, по вашему мнению? Я, признаюсь, долго ломал голову над вопросом — зачем Джемс таскал эту штуку с собой? Стоит она немного.

— Вероятно, память о чем-то или подарок,— ответил Галеран, рассматривая оленя.— Олень, видимо, дорог ему. Тогда сохраним его и мы. Спрячьте оленя, он, может быть, стоит дороже денег.

Лавочник убрал деньги и фигурку в стенной шкаф, откуда, кстати, вытащил бутылку портвейна.

— О нет! — сказал Галеран, видя его гостеприимные движения с стаканчиками и темной бутылкой.

Забрав счета Давенанта, квитанции и записную книжку в свой карман, Галеран продолжал:

— Я выпью с вами, но только по окончании важного разговора. Голова должна быть свежа.

— А! Хорошо... Но бутылка может стоять на столе, я думаю,— осведомился Стомадор.— Так как-то живописнее. Мы все-таки сидим «за бутылкой».

— Безусловно. Итак, сядьте, Стомадор. Может ли кто-нибудь нам помешать?

— Нет, я никого не жду и никому не назначил придти в этот вечер. Я знаю, о чем хотите вы говорить.

— Если так, ваша проницательность окажется вообще полезной.

— Бегство?

— Да.

Достаточно помолчав, чтобы ожидаемое мнение прозвучало авторитетно, Стомадор пожал плечами и начал катать ладонью на столе круглые палочки.

— Это невозможно,— сказал он медленно и уныло,

как человек вполне убежденный.— Два года назад бежали через стену, обращенную к пустырю, шесть воров. Они проломали стену нижнего этажа и вылезли из двора по веревочной лестнице, которую закинули им снаружи их доброхоты. После этого — а это был пятый случай в году, хотя все случаи разного рода,— гребень стены обведен тройным рядом проволоки электрической сигнализации; вокруг тюрьмы, с трех ее сторон, значит — по пустырю и двум переулкам, дежурит надзиратель, расхаживающий от конца до конца своего маршрута. Что касается четвертой стены — там наблюдает дежурный у ворот; ему хорошо видно влево и вправо. А так как стены освещены электричеством, как это вы видели, пробираясь ко мне, то побег возможен двумя способами: отбить арестанта у конвоиров автомобиля, когда увозят в суд, или научить арестанта перелетать стену наподобие петуха. Но и петуху не взлететь, потому что стена будет ему не по зубам: она шести метров высоты, как хотите, так и думайте. А от вооруженного нападения нам, я думаю, лучше воздержаться.

— Да, я тоже так думаю. Однако ваши слова меня не обескуражили.

Стомадор, наморщив лоб и выпятив губы, размышлял. Ничего дельного он придумать не мог.

— Так близко от нас Гравелот,— сказал Галеран, указывая рукой к тюрьме,— что, если идти к нему по прямой линии, надо будет сделать не более тридцати шагов.

— Да. А между тем все равно, что от Земли до Луны.

— Так и не так,— ответил Галеран.— Скорее — не так, чем так. Вам очень дорога ваша лавка?

— Что вы задумали? Моя лавка...— Стомадор прикинул в уме.— За передачу ее мне я уплатил четыре месяца назад прежнему хозяину сто фунтов. Годовая прибыль составила бы триста фунтов, а наличный товар оцениваю в сто пятьдесят фунтов. Однако тюремная администрация хлопочет устроить собственную лавку, и, если это случится, я брошу дело. Прибыль дает одна тюрьма. Сторонних покупателей мало.

— Полторы тысячи фунтов,— сказал Галеран.— Они ваши, лавка моя. Хотите?

— Или я поглупел, или вы сказали неясно, понять не могу.

— Было бы несправедливо,— объяснил Галеран,— требовать от вас такой жертвы, как отдать лавку бесплатно для устройства подкопа. Подкоп — единственный путь спасения. Я покупаю лавку и устраиваю подкоп. Ту же ночь, как все будет сделано, вы уедете, чтобы не занять место Гравелота. Хотите ли вы поступить так? Мои соображения...

— Остановитесь, дайте подумать! — закричал Стомадор, ухватив Галерана за пальцы лежащей на столе руки и крепко зажмуриваясь.— Не говорите ничего. Дайте сосредоточиться. Один момент. Я, должно быть, сам хочу чего-нибудь в этом роде. Лавка в вашем распоряжении. Берите ее. Также хороши полторы тысячи. Я говорю это не из корысти. О них сказано к месту... увы! — Я — необразованный человек,— заключил он, открывая глаза и колыхаясь на стуле от разгоревшейся в нем страсти к подкопу.— Я не могу выразить... но то, как мы сидим... и о чем говорим... свет лампы, тени... и бутылка вина! Да, вы — министр! Министр заговора!

Уже рука лавочника тянулась к бутылке, чему Галеран теперь не препятствовал. Возбужденные замыслом, они должны были утишить его пленительный гул, обаяние первых его минут действием и вином. За первой бутылкой скоро последовала другая, но вино не опьянило ни Галерана, ни Стомадора, лишь увереннее стал их азарт, требующий н а ч а т ь.

— Вполне возможное дело,— сказал Галеран, кончая курить.— Теперь выйдем, осмотрим поле битвы; хотя вам давно известна топография этого участка города, я должен согласовать свои впечатления с вашими и кое о чем столковаться.

Они вышли, но не в калитку лавочного двора, а в узкий проход между лавкой и дальней от ворот тюрьмы стеной двора. Этот закоулок был почти доверху завален пустыми бочонками. Встав на них так, что видна была мостовая, Стомадор указал Галерану часть тюремной стены против себя.

— Там лазарет,— сказал Стомадор.— Однако его точное расположение мне неизвестно. Пока это и не требуется, я думаю. Но он тут, за стеной, я знаю, потому

что однажды помогал надзирателю тащить корзину с провизией и видел внутри двора, направо от ворот, узкий одноэтажный корпус. Ботредж сидел в тюрьме, он знает, что это здание — лазарет. Теперь надо его расспросить подробно.

— Мы расспросим Ботреджа.

Галеран переводил взгляд от ограды лавки к противоположной стене тюрьмы, определяя на глаз длину подземного хода. Для этого он употребил прием некоторых охотников, когда им сомнительно, достигнет ли заряд дроби отдаленную цель. Он представил ширину улицы ощутительно большей действительности — двадцать метров, а затем также ощутительно меньшей — десять метров; двадцать плюс десять, деленные пополам, указали приблизительную длину подкопа от лавки до тюремной стены. Следовало установить толщину этой стены, прикинув треть метра для выходного отверстия, и толщину ограды лавки, за которой думал он начать рыть внутренний ход к Давенанту.

— Не лучше ли,— возразил на его объяснения Стомадор,— снять часть кирпичного пола в моей комнате и выйти к лазарету под лавкой?

— При такой нелегкой задаче четыре-пять лишних метров — страшное дело.

— Жаль, что вы правы: моя комната — самое скрытое место для работы.

— Чем вы закроете вертикальную шахту? Не кирпичами, конечно, а деревянный щит может быть замечен нежелательным посетителем. Тогда будут ходить справляться из тюремной канцелярии, как двигается наша затея. Нет лучше этого закоулка. Ночью безлюдно. Когда мы пройдем метра полтора-два горизонтального направления на достаточной глубине,— сверху не будет ничего слышно. К утру над вертикальной шахтой невинно лежат ящики и солома. Землю будем убирать в сарай. Он пуст?

— Там есть товар, но его можно перетащить под брезент в угол двора.— Стомадор прыгнул с бочонка и поддержал Галерана, оставившего наблюдательный пункт.— Ну, я вам скажу, что если эта штука пройдет, начальник тюрьмы сядет в яму и, как Иов древний какой-нибудь, высыплет себе на голову тонну золы или песку, не знаю точно, что употребляется в таких случаях.

Вы допустили ошибку на треть метра. Нет нужды проходить за тюремную стену даже на дюйм — рыть прямо под фундамент. Как упремся — чуть в сторону, и ход сделан.

— Это верно,— согласился, подумав, Галеран.— И вот почему хорошо такие вещи обсуждать вместе. Верно; однако при условии, что не ошибемся расстоянием, когда начнем копать выход вверх.

— Место, где будем находиться, мы определим очень точно: просверлим свод катакомбы длинным сверлом. Вышедший наружу конец укажет, надо ли двигаться еще дальше или все уже сделано.

Так они совещались вполголоса перед дверью лавки и увидели длинную фигуру Ботреджа, спотыкающегося в темноте об ящики.

— Кстати, кстати, Ботредж. За перцовой? Вы не уйдете, так как обсудите с нами одно важное дело.

— Стоит сюда зайти, как задержишься,— сказал Ботредж простуженным голосом, стараясь рассмотреть Галерана.

— Надо вам познакомиться,— обратился Стомадор к Галерану, который, со своей стороны, наблюдал,— каков Ботредж и можно ли ему верить.

Из осторожности Галеран сказал вымышленное имя — Орт Сидней,— а Ботредж так и остался Ботреджем.

Заговорщики вошли в комнату. Недоумевая, о каком важном деле предстоит разговор, и жалуясь, что всю прошлую ночь дрожал от холода на шлюпке, далеко от берега, в ожидании судна с кокаином, не явившегося по неизвестной причине, а п о т о м у простудился, Ботредж сел против Галерана. Стомадор вытащил из шкафа литровую бутыль перцовки и банку с консервами. После того лавочник сел на свое место за середину стола.

— Не бойтесь, Ботредж,— сказал Стомадор.— Господин Сидней не наш, но свой... вот видите — вышел каламбур.

— Я не боюсь,— быстро ответил контрабандист, взглядывая на Галерана с вежливой улыбкой, при этом в его лице сверкнула бессознательная смелая черта, и Галеран поверил в него.

— Что же, будем пить? — осведомился Стомадор у Галерана, который утвердительно кивнул, пояснив:

— Теперь можно пить, главное решено.

— Ботредж,— начал Стомадор,— если я появлюсь за тюремной стеной как раз против моей лавки, что очутится передо мной? Какого рода картина?

— Так надо знать, куда вы гнете и к чему. Ясно, что можно попасть в несколько разных мест.

— Вы правы,— сказал Галеран.— Дело в том, что предстоит рыть подкоп из двора этой лавки к лазарету и освободить Гравелота. Иным образом ему спастись невозможно. Надо знать, в каком месте за стеной тюрьмы выгоднее рыть выходное отверстие.

Ботредж ничем не выдал своего изумления, но хитро поглядел на Стомадора.

— Вы уже пили перцовку? — спросил он, не зная — шутить или отвечать серьезно.

— Когда шутили в моем доме такими вещами?

— Ну, дядя Стомадор, это я так. Судите сами, а я расскажу устройство двора за той стеной, которая против нас, с воротами. Налево от прохода между воротами примыкают к нему квартиры начальника и его помощника, а направо, то есть в нашу сторону, к проходу примыкает цейхгауз. Его продолжение вдоль стены есть тот самый лазарет. На правом его крыле садик из кустов, куда днем водят больных, если разрешает доктор. Только в этот садик вы и можете попасть. Я выпью,—сказал Ботредж, помолчав,—и потом буду вместе с вами соображать. Дело дерзкое, что говорить, однако возможное.

— Почему же это ты выпьешь? Мы тоже выпьем.— Стомадор наполнил стаканчики и подвинул каждому вилку — брать из жестянки мясо. Сам он выпил последним и, голодный, начал основательно есть.

— Кто стряпает вам? — захотел узнать Галеран.

— Никто, представьте. Я питаюсь своими товарами, так привык, от горячего я сонлив.

— Вот только как выйти из лазарета? — сказал Ботредж.— Дверь хотя и с правого крыла на конце здания, но она расположена по фасаду, ее видит часовой внутренних ворот. Он сидит там на скамье, у своей будки, или ходит взад-вперед.

Все призадумались.

— Вот видите,— сказал Стомадор Галерану,— обстоятельство это не пустяковое.

— Эта дверь куда открывается? — Галеран пояснил свою мысль движением руки от себя и к себе.— Иначе говоря, если человек выходит из лазарета, то дверь распахивается налево, к воротам, или направо?

— На... лево,— сказал, подумав, с уверенностью Ботредж.— Да, налево, так как я работал в садике и видел ее. А мой глаз, как — положительно — фотография.

— Это очень важно, чтобы дверь, открываясь, закрывала собой идущего человека со стороны часового.— Галеран снова принялся думать.— Ну, теперь скажите, можете вы помочь рыть?

— Пожалуйста, я могу.

— Он силен,— сказал Стомадор,— только на вид костляв.

Тогда Ботредж поинтересовался общим составом плана, и Галеран рассказал ему все предположения, какие были обсуждены уже с лавочником. Все это было только начало. Более важные вопросы — о распределении дежурств в решительную ночь побега, о том, кто будет работать, куда складывать выбранную из подкопа землю,— возникли сами собой. Без Факрегеда ночью в лазарете не обойтись — таково было общее мнение, переданное для разведки и разработки Ботреджу, при помощи Катрин Рыжей и Кравара, начавшего под ее влиянием оказывать контрабандистам все более важные услуги. Галеран хотел еще измерить емкость сарая, пустых ящиков и бочек, загромождавших маленький двор лавки. Сделав бумажный метр из старой газеты, Галеран удалился, сказав:

— Чем больше мы разузнаем за эту ночь, тем легче будет потом.

Когда Галеран вышел, Стомадор и Ботредж опорожнили по стакану перцовки. Увидев навощенные палочки, Ботредж собрал их в кулак, поставил снопом и сразу разжал руку. Палочки упали друг на друга, как горсть макарон.

— О т е ц? — спросил он, давая знак начинать игру.

— Такой же, как я.

Стомадор низко пагнулся над столом, высматривая свободно лежащую палочку или упавшую так, чтобы снять ее можно было, не шевельнув ни одной другой. Если палочка, прикасающаяся к снимаемой, хотя чуть

трогалась, игрок уступал очередь, а выигравшим считался тот, кто больше снял палочек. Это была больная, воровская игра, требующая совершенного расчета движений.

Вначале Стомадор убрал из кучки, где откатывая, где нажимая один конец, чтобы вскинулся вверх другой, пять штук, затем ему предстала задача разделить две палочки, прильнувшие параллельно одна к другой. Он потянул ближайшую к себе за середину концом пальца, но не сумел резко отдернуть ее, и вторая палочка шевельнулась.

— Играй ты. Слушай, нам нужен третий, двое не могут рыть и поднимать грунт вверх. Переговори с Даном Тергенсом.

— Лучшего работника не сыскать,— ответил, таща палочку, Ботредж.— Но только Дану будет обидно, что его брата повесят.

— Вы, Ботредж, должны знать,— возразил Стомадор, для которого смена «ты» на «вы» заменяла интонацию,— что, если Гравелот убежит, будет поднято скандальное дело против Ван-Конета, и тогда всех пощадят. Сидней богат, адвокаты и газетчики начнут ему помогать. Теперь же ничего сделать нельзя, ходы заперты.

— Я поговорю,— Ботредж снял восьмую палочку, а на девятой ошибся.— Но главное все-таки не в том,— вздохнул он.— Стоп, вы тронули!

— Ничего не двинулось, что ты врешь!

— Я не слепой.

— Играйте, если вы так упрямы,— сказал с досадой лавочник.— Это у вас глаза качаются. На что мы играем?

— На пачку папирос, дядя Том. Главное, я говорю, заключается в Факрегеде. Единственно, если он будет дежурным по лазарету.

— Придется подумать.

— Думать должен он, а вы хлопочите теперь, чтобы как-нибудь поспать днем. Днем рыть не придется.

Галеран вернулся очень довольный исчислениями. Хотя это был расчет грубый, он все-таки убедился, что сарай легко вместит двадцать кубических метров разрыхленного грунта. Считая горизонтальные и вертикальные ходы подкопа общей длиной девятнадцать, да-

же двадцать метров, при высоте один с четвертью метр на один метр ширины, получалось около двадцати пяти кубических метров плотной массы; разрыхлениая, она увеличивалась в объеме. Эти тридцать пять — сорок кубических метров отработанной почвы можно было уложить в сарай, а излишек разместить по бочкам и ящикам.

Таким образом, план подкопа начал принимать реальные очертания, и его основные линии проступили довольно явственно. Рассказав о своих вычислениях, Галеран поднял вопрос о приобретении инструментов. Как только заговорили об инструментах, Галерану и Ботреджу одновременно пришла весьма существенная мысль — обстоятельство, о котором, странным образом, не подумали вначале, хотя, не решив его, трудно было надеяться на успех: что представляет собою почва между тюрьмой и лавкой?

— Дядя Стомадор,— воскликнул Ботредж,— мы собираемся долбить камень. Неужели вы и я забыли об этом? Под нами известняк.

— Быть не может! — сказал Галеран, вопрос которого о свойствах почвы так неожиданно предупредил Ботредж.

Стомадор, значительно поведя глазами, поднялся и вышел, захватив нож. Галеран, сцепив пальцы, тревожно молчал. Ботредж, широко раскрыв глаза, смотрел на него и, сильно затягиваясь, курил.

Подрыв ножом небольшое углубление, Стомадор возвратился и бросил на стол беловато-желтый кусок.

— Рыхлый травертин,— облегченно заявил он, вытирая вспотевший лоб.— Можно резать ножом.

Галеран внимательно осмотрел камень. Действительно, это был пористый раковичный известняк мягкой формации, неправильно именуемый каменщиками «травертин», плотностью чуть крепче штукатурки.

Щели ставен начали бледнеть; приближался рассвет первого дня упорной борьбы за жизнь Тиррея. Ботредж ушел, а Галеран сел писать заключенному о надеждах и затруднениях. Это была его первая записка узнику. Из осторожности он подписался «Г», а все тайное просил Стомадора передать на словах через Факрегеда, когда тому представится случай.

ГЛАВА XI

Никогда Давенант не думал, что его судьба обогатится одним из самых тяжких мучений — лишением свободы. Он старался, как мог, твердо переносить тройное свое несчастье: заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже его мысль не могла быть свободна, так как, о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства; тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Давенанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая: «Это сон...» — и просыпался в тюрьме.

Однажды снилось ему, что голос его обладает чудесными свойствами,— звук голоса заставляет повиноваться. Давенант постучал в дверь. «Отоприте»,— сказал он надзирателю, и тот послушно открыл дверь. Давенант вышел из лазарета и подошел к воротам, зная, что никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказаниям. Ворота открылись, и он вышел на солнечную улицу. Это была та улица, где жил Футроз. Вскоре Давенант увидел знакомый дом, и сердце его забилось. Его отец, посмеиваясь, открыл ему дверь, говоря: «Что, Тири, пришел все-таки?» Давенант побежал к гостиной. Она была дивно освещена. Роэна и Элли сидели там нисколько не старше, чем девять лет назад, о чем-то советуясь между собой; они рассеянно кивнули ему. Что-то тяжелое, серое привязано было к спине каждой девочки. «Это я,— сказал им Давенант,— будем стрелять в цель».— «Теперь нельзя»,— сказала Рой, и Элли тоже сказала: «Нельзя, мы должны носить камни, и, пока правильно не уложим их, не будет у нас никакой игры».— «Бросьте камни,— сказал Тиррей,— я — голос, и вы должны слушаться. Бросьте!» — крикнул он

так громко, что проснулся, и, ломая, калеча видение, проникла в него тюрьма.

С первого же дня этой погребенной в стенах жизни Давенант начал думать о побеге. Он был в городе, где родился и вырос. Воспоминание знакомых мест, домов, улиц, которые находились вблизи него, но оказывались недоступными, деятельно толкало его ум к размышлению о возможности бежать.

Едва ли чья фантазия так изощряется в комбинациях и абсурдно-логических построениях, как фантазия узника одиночной камеры. Одиночество еще более воспламеняет фантазию. Заключенные общих камер имеют хотя бы возможность делиться своими соображениями: один знает то, другой — это, взаимное обсуждение шансов делает даже невыполнимый замысел предметом, доступным логическому исправлению, дополнению; критика и оптимизм создают иллюзию действия; но одиночный арестант всегда только сам с собой, его заблуждения и ошибки в расчетах исправлять некому. Линия наименьшего сопротивления иногда представляется ему труднейшим способом, а трудное — легким. Его материал — лишь то, что он видит перед собой, и смутные представления обо всем остальном.

В мечтах о бегстве первым и далеко не всегда оправдывающим себя магнитом служит окно камеры — естественный, казалось бы, выход, хотя и загражденный решеткой. Квадратное окно камеры Давенанта, обращенное на двор, нижним краем приходилось ему по плечи, так что, пользуясь разрешением тайно курить, за что платил, он должен был приставлять к окну табурет и пускать дым в колпак форточки. Стекла, вымазанные белой краской, скрывали двор; окно никогда не открывалось, а двойная решетка требовала для побега стальной пилы; но, если бы Давенант даже имел пилу, отверстие в двери, через которое днем и ночью посматривал в камеру надзиратель, решительно отстраняло такой способ освобождения. Допуская, что окно раскрылось само, узник мог выйти на двор, в лапы надзирателя, караулящего внутренние ворота. По всему тому версии побега, измышляемые Тирреем, сводились к устранению надзора и изготовлению веревки с якорем на конце, зацепив который за гребень стены он мог бы подтянуться на руках и спрыгнуть на другую сторону. Забывая о больной ноге, он устра-

нял надзирателя разными способами — от соглашения с ним до нападения на него, когда тот входил в камеру, осматривая помещение после проверки числа арестантов в девять часов вечера. Он размышлял о проломе той стены лазарета, которая была также частью наружной стены двора, о бегстве через окно и крышу, но в какие хитроумно-сказочные формы ни облекались эти витания среди материальных преград, неизменно его обессиленное воображение слышало при конце усилий своих окрик больной ноги. Иногда ему было хуже, иногда лучше; рана не закрывалась, и опухоль колена отзывалась болезненно при каждом серьезном усилии. Давенант старался лежать на спине. Когда же мечты об освобождении или живые чувства, непозволительные для арестанта, сильно волновали его,— потребность курить становилась нервной жаждой. Пренебрегая ногой, Давенант ковылял к окну и там курил трубку за трубкой. После таких движений его нога делалась тяжелой, как железо, она горела и ныла; утром при перевязке врач качал головой, твердя, что нужно не шевелиться, так как рана сустава требует неподвижности.

В шесть часов утра дверь камеры открывалась, дежурный арестант под наблюдением надзирателя ставил на стол у койки молоко, хлеб, яйцо всмятку или молочную рисовую кашу, затем, быстро подметя бетонный пол щеткой, сгребал сор в ящик и удалялся к другой камере, а дверь запиралась. Через день после того, как Галеран ночью совстовался с Ботреджем и лавочником, дежурный арестант с проворством и точностью движений обезьяны бросил в кожаную туфлю Тиррея туго свернутую бумажку; надзиратель не заметил его проделки. Когда оба они ушли, Давенант раскрыл книгу, выданную из тюремной библиотеки, и под ее прикрытием стал читать записку Галерана, утешившую и обрадовавшую его, как свидание. Впервые писал ему Галеран, писал сжато и твердо. Самый тон записки должен был ободрить заключенного.

«Дорогой Тиррей,— писал Галеран, оставивший слово «ты» как напоминание прошлого,— я принял меры к облегчению твоей участи. Гостиница закрыта и заперта местной полицией, твои работники исчезли, захватив деньги, данные тобой Фирсу. Моя поездка в Гертон оказалась безрезультатной. Баркеты изменили тебе. Их

не было у тебя в тот день. Существенные меры, какие я имею в виду, могут все изменить к лучшему. Будь спокоен и жди. Мне трудно представить тебя взрослым, а потому я как бы видел тебя только вчера. Г.».

Слезы потрясли Давенанта, когда он кончил чтение,— столь чудесной казалась ему эта верность отношения к нему чужого человека, различного с ним возрастом и опытом, который, может быть, ставил мысленно себя на место Тиррея по какому-то тайному сближению их судеб, по сочувствию к душевной линии, приведшей Тиррея в мир и стены страдания. Давенант не понимал, что означает выражение «существенные меры», но не стал размышлять о том до более спокойной минуты, хотя непроизвольно ему мерещились уже светлые, свободные улицы города.

В тот день он испытал еще одно потрясение, повод к которому был как бы глухим смехом в лицо смутных надежд: около десяти часов состоялось вручение обвинительного акта, переданного Давенанту под расписку в получении начальником тюрьмы. Это был лист отпечатанного на всех четырех страницах машинкой текста, сухо, но подробно излагающего существо дела с преданием обвиняемого военному суду, и означающий смерть.

Весь этот день Давенант курил, почти не отходя от окна, и разглядывал под уклоном железного колпака вентилятора слои облаков, перерезанные чертой телеграфного провода.

ГЛАВА XII

Не теряя времени, четыре заговорщика — Галеран, Ботредж, Стомадор и Дан Тергенс, черноволосый, с круглым лицом, спокойный, как сыр, человек,— взялись за трудную работу соединения двора лавки с двором тюрьмы узкой траншеей. Галеран оставил свое намерение — попытаться узнать что-нибудь от Снотдена и Лауры Мульдвей; наведя справки, он убедился, что люди этого сорта не могут ничем помочь спасти Давенанта.

Вечером следующего дня, когда погасли огни в домах окраины, Дан Тергенс с Ботреджем принесли на двор Стомадора кирку, лом, мотыгу, бурав, пилу,

стальные клинья, два фонаря, четыре пары войлочных туфель, ленту-рулетку, четыре смены парусиновой рабочей одежды коричневого цвета и сверток веревок. Тергенс и Ботредж пришли теперь со стороны пустыря, где между сараем и стеной существовал заложенный досками проход, чтобы надзиратель у ворот тюрьмы не задумался над их грузом. Впоследствии работающие проникали на двор Стомадора тем же путем, так что надзиратель не видел их; так же они и уходили.

Вскоре пришел Галеран. Он увидел, что закоулок между лавкой и оградой уже очищен от бочек и другого хлама. Все собрались тут, разговаривая шепотом. Опаснейшей частью дела было пробитие начальной отвесной шахты,— шум движения и удары инструментов могли привлечь внимание случайного прохожего, и, вздумай тот поглядеть через забор, увидел бы он, что почему-то ночью роют колодец. Различные мнения относительно глубины этого колодца затянули начало действия, однако Галерану удалось доказать необходимость двух с четвертью метров глубины, считая метр на высоту горизонтального прохода, а остальное — на толщину свода во избежание обвала при движении на мостовой тяжелых грузовиков, а также чтобы заглушить опасные в тишине ночи звуки работы.

— Переднюю стенку колодца, обращенную к тюрьме,— сказал Дан Тергенс, уже не выпускающий из рук кирки,— надо ровнять по отвесу, левую — тоже, от них придется взять направление.

— В колодце должно быть просторно для начала рытья горизонтального хода,— прибавил Ботредж,— нельзя, чтобы локти и спина мешали размаху.

— Может ли залить водой? — спросил Галеран.

— Едва ли,— сказал Стомадор,— место возвышенное. Сырость, может быть, будет.

— Уйдите все,— решил Тергенс,— тут тесно. Я вас позову. Начинаю!

Он сгреб лопатой тонкий слой верхней земли и щебня, оставшегося от постройки, расчистив квадрат метр на метр. Край лопаты стал белым от травертина, лопата скребла его легко, как засохшую грязь, отскакивали даже небольшие куски. Но все взволнованно ждали решительного проникновения кирки, чтобы убедиться в исполнимости замысла. Ударив киркой раза три,

Тергенс засунул в дыру лом и легко выворотил пласт мягкого известняка величиной фута в два.

— Пойдет,— сказал он, тотчас закуривая трубку и смотря в углубление.— Терпеть и долбить, более ничего. А теперь все уйдите. Стойте,— шепнул он, когда другие собрались уходить,— вот для начала. Говорят, это хорошая примета.

Он показал обломок подковы и спрятал его в карман.

— Смотрите, не ускачите,— сказал Стомадор,— вы теперь так подкованы...

Оставив Тергенса за его делом, немного ему знакомым, так как этот человек работал несколько лет назад в угольной шахте, заговорщики уселись вокруг стола у Стомадора. Ботредж начал играть с лавочником в «палочки», а Галеран налил себе вина и погрузился в раздумье. Сегодня ему сказал Ботредж, что Факрегед будет дежурным по лазарету завтра, но не знает, на какой день попадет его следующее дежурство на том же посту. Кроме того, подкоп ничего не стоил, если второй надзиратель — дежурный общего отделения лазарета — окажется неподатливым к соблазну крупной суммы, которую решил дать, если она понадобится, Галеран. Кто будет этот второй? В тюрьме служило тридцать надзирателей, а расписание дежурств составляла канцелярия. Каждый из надзирателей мог заболеть, получить отпуск; их посты менялись периодически, но неравномерно. Почти не поддавалась расчету комбинация надзирателей, тем более важная, что оба они должны были бежать вместе с Гравелотом. Однако Факрегед сообщил, что он примет все меры быть дежурным по лазарету, если серьезные причины вынудят устроителей побега самим назначить ночь освобождения узника. От Ботреджа Галеран узнал, как ловко ведет свои дела Факрегед: он считался одним из самых примерных служащих. Это обстоятельство давало Галерану надежду.

Прошел час, прошло еще полчаса, но не видно и не слышно было Тергенса; казалось, он ушел глубоко в землю и бродит там, рассматривая окаменелости. Вдруг дверь тихо открылась. Довольный собой, задыхающийся Тергенс явился перед сидящими за столом; его ноги были по колено в белой пыли, известью захватаны рукава рубашки, а шея почернела от пота; он взял лежащую в углу парусину и начал переодеваться.

— Идите смотреть,— сказал Тергеис, обхлопывая штаны.— Травертин — милый друг и более ничего.

Ободренные его тоном, заговорщики поспешили к закоулку. У стены зияла квадратная яма глубиной по грудь человеку. Высокая куча известняка громоздилась перед ней; грунт был сух на ощупь и ломался в руках, как сухой хлеб.

— Иди, я тебя буду учить,— сказал Ботреджу Тергенс.— Тут надо приноровиться. Если трудно брать киркой, действуй буравом, потом бурав выдерни, засунь лом и раскачивай, толкай в одну сторону. Тогда кусок отойдет.

Сказав так, он умолк, потому что не любил лишних слов. Наступило время работы для всех. Приспособив два ящика, заговорщики ссыпали в них лопатой куски известняка и уносили в сарай. Между тем Ботредж, оказавшийся значительно сильнее Тергенса, могуче хрустел в колодце вырываемой почвой. Заменив свою одежду купленной парусиновой, не отдыхая, лишь уходя изредка курить в комнату, четыре человека к пяти часам ночи убрали весь мусор, закончили вертикальный колодец и, завалив его бочками, разошлись, усталые до головокружения. Галерану не дали рыть. Зная сам, что не справится с этим, он не протестовал, но уносил грунт так же энергично и бодро, как все. Хуже других пришлось Стомадору, страдавшему короткорукостью и одышкой, но он не посрамил себя и только пыхтел.

Итак, они расстались, сойдясь снова вместе к полуночи. Работа была так тяжела, что Галеран, Ботредж и Тергенс спали весь день; лишенный отдыха Стомадор бродил по лавке, дремля на ходу, и его покупатели были довольны, так как он обвешивал и обмеривал себя чуть ли не при каждой покупке. В полдень явилась Рыжая Катрин и отчасти выручила его, взявшись торговать, а Стомадор проспал четыре часа. После тяжелого пробуждения ему пришлось лечиться перцовкой; тем же способом раскачались и остальные, каждый у себя дома. Галеран никуда не выходил; опустив занавеси окон, сидел он у себя в номере, а вечером принял теплую ванну.

Как наступила полночь, ночная прохлада восстановила энергию заговорщиков, и они приступили к про-

биванию горизонтального хода, свод которого шел под углом, как односкатная крыша, во избежание обвала. Чтобы определить направление — поперек шахты, сверху, Галеран уложил деревянную рейку, направленную к тому месту тюремной стены, где оканчивалось здание лазарета. У стены была пометка в виде камня, оставленного там Ботреджем, причем он пользовался точными указаниями Факрегеда. Направление глубины Тергенс установил другой, короткой рейкой, забитой в дальнюю от тюрьмы стенку шахты на самом ее дне, и уровнял ватерпасом параллельно верхней рейке. Этот несовершенный по методу, но достаточный при небольшом расстоянии способ удовлетворил всех. Итак, убрав верхнюю направляющую рейку, оставили до конца работы нижнюю, чтобы, натягивая от нее привязанный шнур, уверенно копать дальше.

Таким образом, дело наладилось, причем главная работа досталась Тергенсу и Ботреджу. Сменяясь каждый час, они шаг за шагом углублялись к тюрьме. Работать им приходилось главным образом острым ломом, сидя на земле, по причине малой высоты этой траншеи, или стоя на коленях. Привязав веревку к небольшому ящику, Галеран и Стомадор вытаскивали его время от времени полный извести и относили в сарай. Натоптано и насорено по дворику было ужасно. Кончив работу, они прибирали двор, тщательно мыли руки, очищая пальцы от набивавшейся под ногти извести, чтобы не вызвать вопросов у покупателей о причине странного вида пальцев. Ботредж и Тергенс, вылезая наверх выпить стакан вина, вытряхивали из-за воротника известковый мусор. Волосы и лица их стали белыми от пыли; мелкие осколки часто попадали в глаза, и они мучительно возились с удалением из-под века раздражающих микроскопических кусочков, опустив лицо в таз с водой и мигая там со стиснутыми от рези глазного яблока зубами, пока не удаляли причину страдания. Даже плотная парусина пропускала едкую пыль, зудившую тело. Однако увлечение работой и видимый уже ее успех держали работающих в состоянии чувства головокружительно опасной игры. Фонарь теперь горел внутри шахты, за спиной шахтера, освещая вертикальное поле борьбы, торчащее перед глазами неровным изломом. Тесно и глухо было внутри; духота, пот, уси-

ленное дыхание заставляли часто пить воду; ведерко с водой было поставлено там, чтобы не выходить без нужды; Тергенсу пришла удачная мысль поливать грунт водой. Как только это начали делать, пыль исчезла и дышать стало легче. Галеран спустился заглянуть, как идет дело, и ощутил своеобразный уют дико озаренной низкой и узкой пещеры, где тень бутылки, стоявшей на земле, придавала всему видению характер плаката. К наступлению утра Тергенс и Ботредж работали полуголые, сбросив блузы, в одних штанах; их спины, скользкие от пота, блестели, распространяя запах горячего тела и винных паров. Оба обвязали платками головы.

Ничего не зная о почвах, Стомадор тем временем ожидал открытия клада; заблудившийся между романом и лавкой ум его созерцал железные сундуки, полные золотых монет старинной чеканки. На худой конец он был бы рад черепу или заржавленному кинжалу как доказательствам тайн, скрываемых недрами земли. Однако выносимая им известковая порода мало развлекала его, лишь окаменевшие сучки, раковины и небольшие булыжники попадались среди бело-желтой массы кусков. Все время чувствовал он себя на границе чрезвычайных событий, забывая, что они уже наступили. Такое скрытое возбуждение помогало ему бороться с одышкой и изнурением, но он заметно похудел к рассвету второго дня работы, и Ботрежд ощупал его с сомнением, спрашивая,— хватит ли при такой быстрой утечке жира его жизни на шесть-семь дней.

— Теряя в весе,— ответил лавочник,— я молодею и легче бегаю по двору. А тебе что терять? Ты высох еще в чреве матери твоей, оттого что она мало пила.

На трех метрах работа была оставлена, двор прибран, и, съев окорок ветчины, залитый хорошим вином, заговорщики разошлись, едва не падая от усталости. Галеран высчитал, что через пять дней подкоп будет окончен, если не помешает какой-либо непредвиденный случай. В эту ночь Тергенс и Ботредж получили от него по десять фунтов. Умывшись, переодевшись, они несколько посвежели; тотчас отправясь играть в один из притонов, оба, разумеется, спустили все деньги и там же улеглись спать. Стомадор проспал три часа и проснулся от звона заведенного им будильника. Катрин

больше не помогала ему, так как он, что называется, «обломался», вошел в темп. Следующей ночью заговорщики продвинулись вперед еще на три метра. Желая узнать, слышны ли наверху удары лома, Стомадор вышел на мостовую над тем местом, где внизу рыл Тергенс, но, как ни вслушивался, кроме слабых звуков, не имеющих направления и напоминающих падение меховой шапки, ничего не расслышал. Это очень важное обстоятельство позволило бы работать под землей даже днем, если бы не необходимость тотчас же относить прочь вырытый известняк, который, в противном случае, забивал ход вертикальной шахты, таскать же землю можно было только ночью.

Работа шла как обычно и окончилась к пяти утра. Видя свои успехи, четыре человека так воодушевились, что смотрели на окончание затеи почти уверенно.

Два важных известия отметили наступающий день: во двор пришел переодетый Факрегед, передав Галерану обвинительный акт, исписанный на полях карандашом и посланный Давенантом через арестанта-уборщика, сносящегося со шкипером Тергенсом.

Было воскресенье. Прочтя сообщение Тиррея и документ, составленный сухо и беспощадно, Галеран по малому сроку, остающемуся до суда, который назначался на понедельник, увидел, что медлить нельзя. Тщательно измеренное пространство между тюрьмой и лавкой указывало солидный остаток толщины грунта: десять с четвертью метров, не считая работы над выходом. Состоялся род военного совещания, на котором решили назначить день бегства, повинуясь только необходимости. Чтобы Тергенс и Ботредж могли работать круглые сутки, Стомадор придумал дать им мешки, куда они должны были складывать известняк и приставлять их к выходу наверх, чтобы после закрытия лавки Галеран и лавочник снесли их в сарай.

— Если выдержим,— сказал Тергенс,— то утром в понедельник или же вечером в понедельник дело окончится. Придется пить. Трезвому ничего не сделать. Но раз нужно, мы сделаем.

Второе важное сообщение касалось дежурства по лазарету: расписание дежурств на следующую неделю ставило Факрегеда с двенадцати дня понедельника до двенадцати вторника на внутренний пост в здании тюрь-

мы; если бы Мутас, назначаемый одним из дежурных по лазарету, не вышел, заменить невышедшего, согласно очереди, должен был Факрегед. Он брался устроить так, чтобы Мутас не вышел. Что касается второго дежурного по общему отделению лазарета, Факрегед прямо сказал, что ему нужно триста пятьдесят фунтов, но не билетами, а золотом.

— Придется рисковать,— сказал Факрегед.— Или он возьмет золото тут же на месте, когда наступит момент, или я его оглушу.

После долгого разговора с Факрегедом Галеран убедился, что имеет дело с умным и решительным человеком, на которого можно положиться. У Галерана не было золота, и он дал надзирателю ассигнации, чтобы тот сам разменял их. Галеран отлично понимал, какой эффект придумал Факрегед. Кроме того, они условились, как действовать в решительную ночь с понедельника на вторник. Если все сложится успешно, Факрегед должен был уведомить об этом, бросив через стену палку с одной зарубкой, а при неудаче — с двумя зарубками. Сигнал одной зарубкой означал: «Входите и уведите». Как условились — в четверть первого ночи Факрегед откроет камеру Давенанта; уйдут также оба надзирателя; Груббе с автомобилем должен был стоять за двором Стомадора на пустыре.

Такой вид приняли все вопросы освобождения.

ГЛАВА XIII

На полях обвинительного акта Давенант писал Галерану о суде, болезни и адвокате.

«Суд состоится в понедельник, в десять часов утра. Волнения вчерашнего дня ухудшили мое положение. Я не могу спокойно лежать, неизвестность и предчувствие ужасного конца вызвали столько печальных мыслей и тяжелых чувств, что овладеть ими мне не дано. С трудом волочу ногу к окну и, поднявшись на табурет, выкуриваю трубку за трубкой. Иногда меня лихорадит, чему я бываю рад; в эти часы все мрачные обстоятельства моего положения приобретают некую переливающуюся, стеклянную прозрачность, фантазии и надежды светятся, как яркие комнаты, где слышен ве-

селый смех, или я становлюсь равнодушен, получая возможность отдаться воспоминаниям. У меня их немного, и они очень отчетливы.

Военный адвокат, назначенный судом, был у меня в камере и после тщательного обсуждения происшествий заключил, что мой единственный шанс спастись от виселицы состоит в молчании о столкновении с Ван-Конетом. По некоторым его репликам я имею основание думать, что он мне не верит или же сам настолько хорошо знает об этом случае, что почему-то вынужден притворяться недоверчивым. Внутренним чувством я не ощутил с его стороны ко мне очень большой симпатии. Странно, что он рекомендовал мне взвалить на себя вину хранения контрабанды, мое же участие в вооруженной стычке — объяснить ранением ноги, вызвавшим гневное ослепление. На мой вопрос, буду ли я доставлен в суд, он вначале ответил уклончиво, а затем сказал, что это зависит от заключения тюремного врача. «Вы только выиграете,— прибавил он,— если ваше дело разберут заочно,— суд настроен сурово к вам, и потому лучше, если судьи не видят лица, не слышат голоса подсудимого, заранее раздражившего их. Кроме того, при вашем характере вы можете начать говорить о Ван-Конете и вызовете сомнение в вашей прямоте, так ясно обнаруженной при допросах». Пообещав сделать все от него зависящее, он ушел, а я остался в еще большей тревоге. Я не понимаю защитника.

Дорогой Галеран, не знаю, чем вызвал я столько милости и заботы, но, раз они есть, исполните просьбу, которую, наверно, не удастся повторить. Если меня повесят или засадят на много лет, отдайте серебряного оленя детям Футроза, вероятно, о ч е н ь взрослым теперь, и скажите им, что я помнил их очень хорошо и всегда. Чего я хотел? Вероятно, всего лучшего, что может пожелать человек. Я хотел т а к с и л ь н о, как, видимо, опасно желать. Так ли это? Девять лет я чувствовал оторопь и притворялся трактирщиком. Но я был спокоен. Однако чего-нибудь стою же я, если шестнадцати лет я начал и создал живое дело. О Галеран, я много мог бы сделать, но в такой стране и среди таких людей, каких, может быть, нет!

Я и лихорадка исписали эти поля обвинительного акта. Все, что здесь лишнее, отнесите на лихорадку.

Допиеывая, я понял, что скоро увижу вас, но не могу объяснить, как это произойдет. Больше всего меня удивляет то, что вы не забыли обо мне.

Джемс — Тиррей».

Галеран очень устал, но усталость его прошла, когда он прочел этот призыв из-за тюремной стены. Он читал про себя, а затем вслух, но не все. Все поняли, что медлить нельзя.

— Гравелот поддержал наших,— сказал Ботредж,— а потому я буду рыть день и ночь.

— Работайте,— сказал Галеран контрабандистам,— я дам вам сотни фунтов.

— Заплатите, что следует,— ответил Тергенс,— тут дело не в одних деньгах. Смелому человеку всегда рады помочь.

— Когда я покину лавку,— заявил Стомадор,— берите весь мой товар и делите между собой. Двадцать лет я брожу по свету, принимаясь за одно, бросая другое, но никогда не находил такой дружной компании в необыкновенных обстоятельствах. Чем больше делаешь для человека, тем ближе он делается тебе. Итак, выпьем перцовки и съедим ветчину. Сегодня, как всегда по воскресеньям, лавка закрыта, спать можно здесь, а завтра вы все будете отдыхать под землей, туда же я подам вам завтрак, обед, ужин и то, что захотите съесть ночью, то есть «но́чник».

Восстановив силы водкой, обильной едой, сигарами и трубками, заговорщики спустились в подкоп. Они достигли такой степени азартного утомления, когда мысль о цели господствует над всем остальным, создавая подвиг. Спирт действовал теперь только на мозг; сознание было освещено ярко, как светом магния. Засыпая, они видели во сне подкоп, просыпаясь — стремились немедленно продолжать работу. Пока не взошло солнце, дышать было легко, но после девяти утра духота стала так сильна, что Тергенс обливался по́том, и чем дальше углублялся он к тюремной стене, тем труднее было дышать. Чтобы не путаться во время коротких передышек, заговорщики начали работать попарно: Галеран с Тергенсом, а Ботредж со Стомадором. Не имея возможности выпрямиться, все время согнувшись, сидя на коленях или в неудобном положении,

они вынуждены были иногда ложиться на спину, чтобы, насильственно распрямляясь, утишить ломящую боль суставов. Трудно сказать, кому приходилось хуже — тому ли, кто оттаскивал тяжелые мешки к одной стороне прохода, лучше и сильнее зато дыша, так как был ближе к выходному отверстию, или тому, кто рыл,— то сидя боком, то полулежа или стоя согнувшись.

Работать приходилось всем, что было под рукой. Иногда Тергенс или Ботредж ввинчивали бурав, делая ряд скважин, и, расшатывая известняк ломом, вырывали его затем ударами кирки. Случалось, что их ободряли легко обламывающиеся пустоты, куда лом проваливался, как сквозь скорлупу, но попадались и упорные места, которые надо было долбить. Когда углубились уже за середину улицы, известняк начал отсыревать, что указывало близость источника, и до позднего вечера работа протекала под страхом воды, могущей залить ход. Но этого не случилось. До тюремной стены известняк оставался влажным — слева сильнее, чем справа, однако не в такой степени, чтобы образовалась жидкая грязь. Подкоп выдержал до конца. Когда набитые руками мешки вытянулись у стены хода, Стомадор и Ботредж подняли их наверх и высыпали в сарай, где уже возвышалась гора известняка. Товар был удален: в сарае едва хватало пространства, чтобы поместить остальной грунт. Утреннее движение началось, а потому стало опасно носить мешки через двор, так как возникло бы подозрение. Тогда решили рассыпать известняк вдоль всего хода, пробитого к одиннадцати часам еще на два метра, а ночью заняться уборкой грунта в сарай. К этому времени Стомадор едва держался на ногах. Тергенс сел у выхода и заснул, держа кирку в руках; Ботредж жадно пил воду. Никто не мог и не хотел есть. Прибегли к перцовке, единственно возвращающей осмысленный вид дергающимся небритым лицам с красными от пыли глазами. Разбудив Тергенса, Ботредж увел его в лавку, где все разделись, обмылись холодной водой и легли голые, лицом вверх, на разостланные по полу одеяла. Повесив у задней двери замок, Стомадор залез в лавку через дворовое окно и закрыл ставни. Он лег рядом с Ботреджем.

Распростертые тела четырех человек лежали, как трупы. Лишь пристально вглядываясь, можно было за-

метить, что они слабо дышат, а на шеях их вздуваются и опадают вены. Этот болезненный сон длился до пяти часов вечера. Воздушная ванна сделала свое дело — дыхание стало ровнее. Тергенс стонал во сне, Стомадор мудро и мирно храпел. Первым проснулся Галеран, все вспомнил и разбудил остальных, лишь мгновение лежавших с дико раскрытыми глазами. Они встали; одевшись — поели, чувствуя себя, как после долгого гула над головой. Теперь условились так: чтобы не показалось странным долгое отсутствие Стомадора, лавочник остается дома на случай появления клиентов или Факрегеда с известиями; остальные уходят под землю и пробудут там до наступления полуночи, после чего предполагалось вновь отдохнуть. Когда они спустились, лавочник закрыл выход ящиками, но так, чтобы не затруднить доступ воздуха.

За этот вечер были к нему три посещения обычного рода: жена надзирателя, купившая пачку табаку и колоду карт, пьяный разносчик газет, никак не рассчитывавший, что Стомадор охотно даст ему в долг вина, а потому хотевший излить свои чувства, но прогнанный очень решительно, и сосед-огородник, з а б ы в ш и й, за чем пришел. Однако на этот раз Стомадор не угостил его, сказав, что «болит голова». Как стемнело, явилась Рыжая Катрин, закурила и села.

— Дядя Стомадор, Факрегед передает вам новости: его смена наладилась. Без бабы вам, видно, никак не обойтись.

— Говори скорей. Вот выпей, выкладывай и уходи; лучше, чтобы никто не видел тебя здесь. Мы теперь всего боимся.

— Значит, работа у вас налажена? Я думала, что стучат. Ничего не слыхать.

— Стучит у меня в голове. Будешь ты говорить наконец?

— Факрегед дал мне обработать Мутаса, чтобы тот валялся больной завтра, к двенадцати дня, когда сменяются. Я это дело наладила. Мутаса подпоил Бархатный Ус и передал его мне. Он у меня. Вы видите, я подвыпивши. Мы нашли одного человека, который будто бы хлопочет поступить в надзиратели. Мутас расхвастался, а тот его поит, даже денег ему дал. И будет поить целые сутки. Утром я Мутасу дам порошок,

чтобы проспал лишнее. Все в порядке, дядя Стомадор, а потому угостите меня.

— Ты не рыжая, ты — золотая,— объявил Стомадор, наливая ей коньяку.— Выпей и уходи. Ну, как твой Кравар?

— Так что же Кравар? Он ничего. Стал ходить и даже не совсем скуп. Нельзя сказать, что он скуп. Я удивилась. Теперь хочет жениться. Только он страшно ревнив.

— Возьми его,— сказал лавочник,— потом будешь жалеть.

— Видите ли... дядя Том, я — честная девушка. Какая я жена?

Катрин ушла, а Стомадор вышел к подкопу и, отвалив бочки, увидел Галерана, стоявшего в колодце, уронив голову на руки, прижатые к отвесной стене. Он глубоко вздыхал. Ботредж валялся у его ног с мокрой тряпкой на голове. Тихо раздавались удары Тергенса, крошившего известняк.

— Очнитесь,— сказал лавочник Галерану,— выйдите все, надо пить кофе. Иначе вы умрете.

— Никогда! — Галеран бессмысленно посмотрел на него.— Что нового?

— Факрегед будет дежурить.

— Да? — отозвался Ботредж, приподнимаясь.— Сердце начинает работать.

Согнувшись, выглянул снизу Тергенс.

— Все выйдем,— заявил он.— Силы кончаются. Завалили весь ход. Отдохнув, начнем убирать.

Он сел рядом с Ботреджем, свесив голову и машинально отирая лоб тылом руки.

Стомадор расставил ноги пошире, нагнулся и начал помогать обессилевшим труженикам выходить на двор.

ГЛАВА XIV

В понедельник весь день дул холодный ветер, и это обстоятельство значительно облегчило работу, превратившуюся в страдание. Ночь, вся потраченная на уборку лома из подкопа, так вымотала работающих, что их мысли временами мешались. Чем длиннее становился проход, тем мучительнее было сновать взад и вперед, сгибаясь и волоча мешки с кусками известняка. Обо-

драные колени, руки, черные от грязи и засыхающей крови, распухшие шеи и боль в крестце заставляли иногда то одного, то другого падать в полусознательном состоянии. Оставалось им пробить два с небольшим метра, но, выкопав целый коридор для карликов, они чувствовали эти два метра, как пытку. В противовес оглушенному сознанию и сплошь больному телу, их дух не уступал никаким препятствиям, напоминая таран. Иногда, оглядываясь при свете фонаря вперед и назад, Галеран испытывал восхищение: эти четырнадцать метров тоннеля, совершенно прямого, вызывали в нем гордость оправдывавшей себя настойчивости. Тергенс заметно сдавал. Он почти не говорил; глаза его обессиленно закрывались, и он, словно умирая, на мгновение делался неподвижен; Ботредж поддерживал силы яростной бранью против тюрьмы, суда и известняка, а также вином. Вино и табак были теперь единственной пищей всех четверых.

В понедельник от часа дня и до шести вечера Тергенс, Галеран и Ботредж забылись тяжелым сном, сидя у выходного отверстия, и, как стемнело, проснулись, тотчас приложившись к бутылкам. Их разбудил Стомадор, который вынужден был весь день торговать, засыпая на ходу и отвечая покупателям не всегда вразумительно. Катрин посетила его, купив для вида жестянку кофе.

— Присуждены все к повешению,— сказала женщина,— Факрегед в лазарете. Ночью в пять часов приговоренных увезут в крепостную тюрьму, где есть такие же трое по другим делам, там будут казнить.

Ужас, понятный всякому, кто полюбил человека за то, что делает для него, отозвался в ногах лавочника дрожью отчаяния. Он пошел и разбудил Галерана, сказав о приговоре. Хотя надо было ожидать только такого приговора, известие это превзошло все искусственные способы подкрепления нервной системы. В молчании началась работа.

В десять часов вечера палка с одной зарубкой ударилась о мостовую и легла неподалеку от лавки. Стомадор поднял ее.

Было бы бесцельной жестокостью описывать эти последние часы, представляющие ни бред, ни жизнь, полуобморочные усилия и страх умереть, если не хватит пульса. Единственно спирт спасал всех. К половине

двенадцатого было вырвано у земли все определенное расчетами расстояние — и снизу вверх образовалась шахта, закупоренная над головой слоем в полтора фута. Груббе, получивший через Катрин известие, приехал окольной дорогой и стал на некотором отдалении на пустыре за сараем Стомадора. Наспех переодевшись в темные, простые костюмы, заменив туфли башмаками, взяв деньги, револьверы, заперев лавку и очистив проход от инструментов, так что отчетливость во всем была до конца, заговорщики приступили к освобождению Давенанта.

Оставив Тергенса у фонаря, среди прохода, Ботредж, Стомадор и Галеран подошли к последнему препятствию, висевшему над головой потолком из земли и корней. Стомадор держал лесенку наготове. Неимоверные усилия последних часов ошеломили всех. Дышать было почти нечем. Тергенс, рухнув у фонаря, сидел, опираясь спиной о стенку, и, протянув ноги, хрипло дышал, свесив голову. Ботредж тронул его за плечо, но тот только махнул рукой, сказав: «Водки!» Вынув из кармана бутылку, контрабандист сунул ее в колени приятеля и присоединился к Галерану.

Галеран и Стомадор, сжимаясь в тесноте, пропустили Ботреджа, самого высокого из них, нанести своду последние удары. Ботредж не мог действовать киркой вверх, он взял лом и ровно в пятнадцать минут первого, по часам Галерана, вонзил лом. Обрушился град земляных комьев. Шепнув: «Берегитесь», хотя стоявшим нагнувшись в горизонтальном проходе Галерану и лавочнику не угрожало ничто, Ботредж пошатал лом, еще глубже просунул его наверх и, действуя как рычагом, едва успел сам закрыться рукой: земля провалилась и засыпала его до колен. В дыру хлынул сквозняк; лунное небо, разделенное веткой куста, открылось высоко над запорошенным лицом контрабандиста. Торопливо подставив лесенку, Ботредж руками обвалил неровность краев, расширил отверстие и хлопнул себя по бокам.

— Ворвались! — шепнул Ботредж.— Ждите теперь!

Отверстие пришлось на расстоянии двух шагов от стены. Торжество людей, хрипло дышавших воздухом тюремного двора, было высшей наградой за изнурение последнего ужасного дня. Даже обессилевший Тергенс

тихо отозвался издали: «Пью. Слышу... Превосходное дело!» Все трое толкались и теснились у отверстия, как рыбы у проруби, ожидая, что вот-вот затемнит свет луны тень Давенанта, выпущенного Факрегедом из камеры.

Ничто не прошумело, не стукнуло; ни шагов, ни шороха наверху, и вдруг Галеран увидел Факрегеда, опустившегося над ямой на четвереньки. Их взгляды сцепились. Растерянное лицо Факрегеда поразило Галерана.

— Где он? — шепнул Галеран.— Давайте его. Прыгайте сами. Экипаж готов.

— Сорвалось,— сказал Факрегед, ломая ветку куста, царапающую лицо.

— Что случилось?

— Ему не выйти. Не сделать ни одного шага. Он в жару и в бреду, иногда только лепечет разумное. Сил у него нет. Я его хотел посадить, он обессилел и свалился. Весь день курил и ходил. К вечеру — как огонь, но доктора решили не звать, на что надеемся — сами не знаем. Бросив вам палку, я видел, что он плох, но думал — дойдет, а там его унесут. За последние два часа как громом поразило его.

Устранив Мутаса, Факрегед все же сильно боялся, что его дежурство окажется внутри тюрьмы, как назначалось по расписанию, а в лазарет отправится кто-нибудь другой. Факрегеда выручила его репутация неумолимого и зоркого стража, которую он поддерживал сознательно. Обстоятельства предстоящей трагедии склонили помощника начальника тюрьмы на сторону Факрегеда. Друг контрабандистов подкупил второго надзирателя по лазарету, Лекана, прямо и грубо раскрыв перед ним руки, полные золота. Прием оказался верен: никогда не видавший столько денег и узнав, что бегство обеспечено, Лекан поддался очарованию и согласился участвовать в освобождении приговоренного.

Пятьдесят фунтов Факрегед взял себе.

Так нестерпимо, так ужасно прозвучало мрачное известие, что Галеран немедленно взобрался вверх и, задыхаясь от скорби, очутился в саду лазарета. Он оглянулся. За ним стоял Ботредж; Факрегед поддерживал вылезающего Стомадора.

— А вы куда? — спросил Галеран.

— Все вместе,— сказал Ботредж.— Ночь лунная, будем гулять.

В его глазах блестел редко появляющийся у людей свет полного отречения.

— Для чего же я жил? — сказал Стомадор.— Теперь ничто не страшно.

Факрегед скользнул к углу здания, где открытая дверь заслоняла собой вид на ворота. Оттуда доносился негромкий разговор надзирателей.

— На волоске так на волоске,— прошептал он.— Идите тихо за мной.

Один за другим они проникли в ярко освещенный коридор общего отделения. Галеран увидел бледного, трясущегося Лекана, который, беспомощно взглянув на Факрегеда, получил в ответ:

— Готовьтесь ко всему, отступление обеспечено.

Слыша тревожное движение в коридоре, некоторые арестанты общей палаты проснулись и лежали прислушиваясь, с возбуждением зрителей, толпящихся у дверей театра. «Что там?» — сказал один. «Увозят казнить»,— ответил второй. «Кто-нибудь умер»,— догадывался третий. Из одиннадцати бывших там больных только один почувствовал, в чем дело, и так как он был осужден на двадцать лет, то закрыл уши подушкой, чтобы не слышать растравляющих звуков безумно-смелого действия.

Лекан остался, чтобы лгать арестантам, если бы они вздумали вызывать его, из любопытства, звонком, а остальные углубились в коридор одиночных камер и подошли к двери Тиррея. Услышав шаги, он отрешился от неясных фигур бреда, стиснул сознание и направил его к звукам ночи. «Идут за мной; как поздно и ненужно теперь,— думал он,— но как хорошо, что они пришли. Или мне все это кажется? Ведь все время казалось что-то, оно отлетает и забывается. Недолго мне осталось жить. Когда смерть близко, все не совсем верно. Но я не знаю... Я хочу,— вслух продолжал он, радостно и дико смотря на появившегося перед ним Галерана,— чтобы вы подошли ближе. Вы — Галеран. Орт Галеран, мой друг...»

Увидев воспаленное лицо Давенанта, Галеран стремительно подошел к нему.

— Неужели прокопали улицу поперек?

— Да, Тиррей, сделано, и мы пришли,— сказал Галеран, еще надеясь, что очевидность наступившего освобождения поднимет это исхудавшее тело. Он с трудом узнал того юношу, каким был Давенант. Странно и тягостно было такое свидание, когда сказать хочется много, но нельзя терять ни минуты.

Галеран сел в ногах Тиррея. Стомадор и Ботредж встали у столика.

— Джемс, я тут,— шепнул лавочник,— мы не оставим тебя.

— А это кто? Это Стомадор,— продолжал Давенант, которому в его состоянии ничуть не казалась удивительной сцена, представляющая сплошной риск.— Репный пирог, Стомадор, навеки соединил нас. Орт Галеран, мой друг. Вы совсем белый, да и я такой же — внутри.

— Мужайся, тебя спасут. Все готово. Встань, мы поедем ко мне, в загородный мой дом. Автомобиль ждет. Ты уедешь на пароходе в Сан-Риоль или Гель-Гью.

— Немыслимо, Галеран. Должно быть, вы самый милый человек из всех, кого я знал, а я, кажется, знал кого-то...

— Да встань же, глупый!

— Прикован. Окончился как ходок.

— Три раза я помещал в газетах объявление о тебе.

— Я не читал газет... Я долго не читал их,— сказал Давенант.

— Я вернулся через два дня после твоего исчезновения. У меня было много денег. Твоя доля — несколько тысяч. Она цела.

— Мне тогда нужно было только сто фунтов. Ах, как я искал вас!

Давенант любовно смотрел на него, желая одним взглядом передать все, о чем трудно было говорить. Наморщась, он приподнял руку и, вздохнув, уронил ее.

— Вот так и я,— сказал он,— еще меньше силы во мне.

Галеран откинул одеяло и тихо опустил его. Нога, надувшись, красновато блестела; ступня, слившись с икрой, потеряла форму.

— Не берегся? — сказал ужаснувшийся Галеран.— Что же теперь?

— Как мог я беречься? — ясно, но с трудом говорил больной.— Беречься, тихо лежать с могильным песком на зубах! Да... я не мог. Со мной поступили гнусно, мне обещали, что меня привезут в суд, однако все было решено без меня.

Факрегед заглянул в камеру. Бледный, весь сдвинутый на одну мысль, с искусанными от волнения губами, он осмотрел всех и подошел к койке, скребя лоб.

— Как пласт! — сказал Факрегед.— Что решаете? Не мучьте его.

— Все труды, все пропало,— сказал Стомадор.— Усилься, Гравелот. Только выйти и спуститься! Там мы тебя унесем!

— Много ли осталось безопасного времени? — спросил Галеран.

— Что — время? — ответил Факрегед.— В нашем распоряжении верных два часа, пока там зашевелятся, но, будь хоть десять, его все равно не вынести.

Действительно, унести Тиррея было нельзя. На узком повороте, прикрытом от глаз дворового надзирателя распахнутой створкой двери лазаретного входа, человек мог проскользнуть незаметным, только прижимаясь к стене и заглушая свои шаги. Галеран пошел к выходу, мысленно подтащил сюда Тиррея и увидел, что, если больной даже не вскрикнет,— все они будут мгновенно пойманы. Тащить тело втроем оказывалось таким действием, которое требовало еще одного метра скрытого от глаз надзирателя пространства, и то при условии, что гравий не хрустнет, а усиленное дыхание четырех человек не нарушит тишину тюремного двора. Возвратясь, Галеран с отчаянием посмотрел на Тиррея.

— Ну как-нибудь, Давенант!

Видя горе своих друзей, бесполезно рискующих жизнью, Давенант сосредоточил взгляд на одной точке стены, поднял голову и напрягся соскользнуть с койки. Две-три секунды, поддерживаемый Галераном, он дрожал на локтях и рухнул, закрыв глаза и сдержав стон боли таким неимоверным усилием, что жилы вздулись на лбу.

— Неужели не пощадят? — сказал Галеран.— Ведь он не может даже стоять.

— Повесят в лучшем виде,— отозвался Ботредж.— Бенни Смита вздернули после отравления мышьяком, без сознания, так он и не узнал, что случилось.

Глотая слезы, Стомадор схватил Галерана за плечо, твердя:

— Довольно... хватит. Я больше не могу. Я буду стрелять. Мне теперь все равно.

— Уходите,— тихо произнес Давенант,— не мучайтесь. Мне хорошо, я спокоен. Я сейчас живу сильно и горячо. Мешает темная вода, она набегает на мои мысли, но я все понимаю.

— Напасть на ворота? — сказал Ботредж.

Ему не ответили, и он тотчас забыл о своем предложении, хотя приготовился ко всему, как Стомадор и Галеран. Их состояние напоминало перекрученные ключом замки.

Взяв руку приговоренного, Галеран стал ее гладить и улыбаться.

— Думай, что я слегка опоздал,— шепнул он.— Мне тоже осталось немного жить. Делать нечего, мы уйдем. Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?

— Нет. Немного горько, но это пройдет. Едва увиделись и должны расстаться! Ну, как вы жили?

Ботредж начал громко дышать и ушел к окну; его рука нервно погрузилась в карман. Он вернулся, протягивая Давенанту револьвер.

— Не промахнетесь даже с закрытыми глазами,— сказал Ботредж,— вы — человек твердый.

Давенант признательно взглянул на него, понимая смысл движений Ботреджа и радуясь всякому знаку внимания, как если бы не ужасную смерть от собственной руки дарили ему, а веселое торжество. Он взял револьвер и уронил его рядом с собой.

— Устроюсь,— сказал Давенант.— Я понимаю. Что же это? Стомадор! Не плачьте, большой такой, грузный!

— Что передать? — вскричал лавочник, махнув рукой на эти слова.— Есть ли у тебя мать, сестра или же та, которой ты обещался?

— Ее нет. Нет тех, о ком вы спрашиваете.

— Тиррей,— заговорил Галеран,— эта ночь дала тебе великую власть над нами. Спасти тебя мы не можем.

Исполним любое твое желание. Что сделать? Говори. Даже смерть не остановит меня.

— И меня,— заявил Стомадор.— Я могу остаться с тобой. Откроем пальбу. Никто не войдет сюда!

В этот момент полупомешанный от страха Лекан ворвался в камеру и, прошипев: «Уходите! Перестреляю!» — был обезоружен Факрегедом, подскочившим к Лекану сзади.

Факрегед вырвал у надзирателя револьвер и ударил его по голове.

— Уже пропал! — сказал он ему.— Опомнись! Смирись! На, выпей воды. Застегни кобуру, револьвер останется у меня. Эх, слякоть!

— Лекан, кажется, прав,— отозвался Тиррей.

Оглушительные действия, брань и стакан воды образумили надзирателя. Чувствуя поддержку и крепкую связь всей группы, он вышел, бормоча:

— Мне показалось... на дворе... Скоро ли, наконец?

— Положись на меня,— сказал Факрегед,— не то еще бывало со мной.

— Решайте,— обратился Ботредж к Давенанту.— Все будет сделано на разрыв сердца!

— Не думайте,— вздохнул Давенант,— не думайте все вы так хорошо для одного, которому суждено пропасть.

Взгляд его был тих и красноречив, как это бывает в состоянии логического бреда.

— Должна придти,— сказал он с глубоким убеждением,— одна женщина, узнавшая, что меня утром не будет в живых. Ей сказали. Неужели не лучшее из сердец способно решиться посетить мрачные стены, волнуемые страданием? Это сердце открылось, став на высоту великой милости, зная, что я никогда не испытал любящей руки, опущеной на горячую голову. Как мало! Как много! Неизвестно, как ее зовут, и я не вижу ее лица, но, когда вы уйдете, я увижу его. В этом — все. Проклят тот, кто не испытал такого привета.

— Мы увидим ее, милый Тиррей,— сказал Галеран, внимательно слушая эту речь, навеяниую бредом и одиночеством.— Кто ей сказал?

— Как будто кто-то из вас,— встрепенулся Давенант, осматриваясь с усилием,— недавно выходил отсюда.

— Вышли и вернулись,— неожиданно произнес Стомадор, отвечая взглядом пристальному взгляду Галерана.

Ботредж тоже понял. Образы предсмертного возбуждения открылись им в той же простоте, с какой говорил Давенант. Ночь смертного приговора уравняла всех. На многое довольно было намека.

— Стомадор,— шепнул Галеран, отходя с лавочником к окну,— ведь вы готовы на все...

— Он готов, я с ним,— сказал Ботредж,— но... вы?

— Нет, я не гожусь,— грустно ответил Галеран.— Я — порченый. Вы сделаете лучше меня, если сделаете.

Слушавший у двери Факрегед мрачно кивнул головой, когда Галеран глазами спросил его.

— Да,— сказал Факрегед,— все мы решились на все, по крайней мере о нас будут говорить с уважением. Пусть идут, только недолго, через час станет опасно.

— О чем вы говорите? — спросил Давенант.— Как длинна эта ночь! Но я не жалуюсь, я никогда не жаловался. Галеран, сядьте на койку, вы уйдете последний.

Между тем Ботредж и Стомадор, крадучись, проникли в отверстие за стеной лазарета и поползли к Тергенсу; он, догадываясь уже о скверном исходе, молча смотрел на приятелей, которые, ухватив друг друга за плечи, спорили, стоя на коленях. Тергенсу Стомадор сделал знак не мешать.

— Вы слушайте,— говорил Ботредж, тряся плечи лавочника,— я проворнее вас и могу сказать все быстрее. Я знаю,что делать.

— При чем проворство? Пустите, отцепитесь, ты все погубишь! — возражал Стомадор, сам не выпуская плеча Ботреджа.— За тобой прибежит толпа...

— Не упрямьтесь, времени у нас мало,— перебил Ботредж,— ведь это не то, что привести священника. Душа его мучится. Понимаешь ли ты?

— Я все понимаю лучше вас. Сойди с дороги, говорят тебе. Ты не можешь выразить, как нужно, от тебя разбегутся все. У меня есть опыт на эти вещи! Я изучаю психологические подходы и имею верность глаза! Как можешь ты меня заменить? Это нахальство!

— Бросьте. Я сбегаю за угол к одной вдове, она добрая душа и не труслива. Она сразу пойдет. Ее сын тоже сидит в тюрьме, только не здесь.

— Да понимаешь ли ты, чего хочет он перед смертью? — зашипел Стомадор.— Даже мне этого не сказать, хотя в такую сумасшедшую ночь мои мысли проснулись на всю жизнь! Он хочет вздохнуть — слышишь? — вздохнуть всем сердцем, вздохнуть навсегда! Молчи! Молчи! Это я приведу последнего, неизвестного друга, такого же, как его светлый бред! — в исступлении шептал Стомадор, утирая слезы и чувствуя силы разбудить целый город.— О ночь,— сказал он, стремясь освободиться от переполнивших его чувств,— создай существо из лучей и улыбок, из милосердия и заботы, потому что такова душа несчастного, готового умереть от руки нечестивых! Что мы будем болтать. Стой у тюремного выхода и стреляй, если понадобится!

Ботредж хотел возражать, но Тергенс взял его за ворот блузы и оттащил от лавочника, кинувшегося, ударяясь головой о свод, к выходу на двор.

— Сидите,— сказал Тергенс,— лавочник говорит дело.

Перескочив из двора на пустырь сзади сарая, где сильно волнующийся Груббе сидел, не выпуская из рук рулевого колеса, лавочник только махнул ему рукой, давая тем знак стоять и ждать, сам же обогнул квартал со стороны пустыря, выбежав на Тюремный переулок ниже тюрьмы.

Сухой, знойный ветер обвевал его задыхающуюся фигуру. С обнаженной головой, чувствуя все время безмолвный призыв сзади себя, Стомадор оглядывался в ночной пустоте. Он то шел, то бежал.

Луна таилась за облаками, обнажив светящееся плечо. Бесстрастный ночной свет охватывал тени домов. Не добегая моста в низине, соединяющего предместья с городом, Стомадор увидел двух девушек, торопливо возвращающихся домой. Он кинулся к ним с глубокой верой в одушевляющую его силу, но, замерев от неожиданности, эти девушки при первом его слове: «Помогите умирающему...» — разделились и бросились бежать, испуганные диким видом растрепанного грузного человека. Не останавливаясь, не смущаясь, Стомадор пробежал короткий квартал, соединяющий мост со ступенями северного выхода Центрального бульвара, почти пересекающего город прямой линией.

Густая листва низких пальм шумела и колыхалась от горячего ветра, далеко играл оркестр мавританской ротонды; его звуки отдалялись ветром, иногда лишь звуча явственно и тревожно, как слова, бросаемые в дверь человеком, уходящим навсегда, далеко. Почти не было прохожих в этот час ночи; на конце бульвара одна явственная женская фигура в черной мантилье приближалась к ступеням; как звезды, блеснули ее глаза.

— Жизнь, остановись ради смерти! — крикнул Стомадор, бросаясь к ней.— Кто бы вы ни были, выслушайте голос самого отчаяния! Дело идет о приговоренном к смерти. Я не пьян, не безумен, и я сразу поверил в вас. Не обманите меня!

ГЛАВА XV

Даже первый месяц брака не дал счастья молодой женщине, так горячо любившей своего мужа, что она не замечала его обдуманных действий, подготовляющих разрыв. Лишь первые дни брака Ван-Конет был внимателен к своей жене; с переездом в Покет он перестал стесняться и начал вести ту обычную для него жизнь, к которой привык. Он был рассеян, резок и насмешлив, как взрослый, быстро разочаровавшийся в игрушке, взятой им из прихоти для недолгой забавы. В этот день Консуэло была грубо оскорблена Ван-Конетом, попрекнувшим жену ее незнатным происхождением. Чтобы хотя немного рассеяться, молодая женщина отправилась на концерт одна, где, слушая взволновавшую и еще более расстроившую ее музыку, в задумчивости покинула концертный зал. Впервые так тяжко не совпадали выраженные высоким искусством чувства с ее горьким наивным опытом. Грустная, чувствуя желание остаться одной, она, мало зная город, медленно шла по бульвару не в ту сторону, куда надо было идти, и ее остановил Стомадор.

Мельком взглянув на него, Консуэло проронила несколько испанских слов и хотела пройти дальше, но Стомадор так бережно, хотя пылко, схватил ее руку, что она остановилась, не решаясь сердиться.

— Не уходите, не выслушав,— говорил Стомадор, растопырив руки, как будто ловил ее.— Сеньора, приговорен к смертной казни лучший мой друг, Джемс

Гравелот, и на рассвете его повесят. Сеньора, помогите мне сказать такие слова, которые убедят вас! Идите к нему со мной, выслушайте и проводите его! Ваше сердце поймет это последнее желание, для которого слишком недостоин и груб мой язык, чтобы я мог его выразить!

Чувствуя серьезность нападения, видя расстроенное лицо, беспорядочную одежду, уже слегка зараженная неистовым волнением старого человека, Консуэло произнесла:

— Да простит бог его грешную душу, если это так, как вы говорите, добрый человек. Куда же вы зовете меня?

— В тюрьму, сеньора. Это не преступник, хотя и обвинен в перестрелке с таможней. Никто не верит в его преступность, так как его погубил Ван-Конет, сын губернатора. Гравелот ударил этого негодяя за подлый поступок. Месть, страх потерять выгодную невесту сгубили Гравелота. Но нет времени рассказать все. Я вижу: вы сжалились, и ваша прекрасная душа бледнеет, как ваше лицо, слыша о преступлении. Вот его последнее желание, и судите, может ли так сказать черная душа: «Стомадор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать, если молода,— станет сестрой, если ребенок,— станет моей дочерью». Судите же, чего не получил умирающий и как жестоко отказать ему, потому что он болен, неподвижен и готовится умереть!

Эта речь, полная безыскусственного страдания, страшное обвинение ее мужа, отчего дрогнуло уже нечто непоправимое в душе тоскующей молодой женщины, отвели все колебания Консуэло. Она решилась.

— Я не откажу вам,— сказала Консуэло.— Есть причина для этого, и она довольно мрачна, чтоб я пыталась ее объяснить. Идемте. Ведите меня. Как мы пройдем?

— О, извините! Только через подкоп. Бегство не удалось,— ответил ликующий Стомадор, готовый из благодарности нести на руках это милое существо, так отважно решающееся подвергнуть себя опасности.— Верьте или нет, как хотите, но, по крайней мере, двадцать обращений было с моей стороны, и все они не имели успеха. И я не жалею,— прибавил он,— так как

мне суждено было... Вы понимаете, что это правда, сеньора.

Несмотря на душевный мрак, более напоминающий смерть, чем лихорадочное возбуждение Давенанта, Консуэло не могла удержаться от улыбки, слушая наивную лесть и многое другое, что, поспешно шагая рядом с ней, говорил Стомадор, пока минут через пятнадцать они не проскользнули в дверь лавочного двора. Добросовестность Стомадора была теперь вполне ясна Консуэло, поэтому, хотя и с стеснением, вызываемым необычностью опасного происшествия, она все же храбро заглянула в слабо освещенную фонарем узкую шахту, сказав:

— Я вся перемажусь. Дайте мне завернуться во что-нибудь.

За то время, что они шли, из разговора со Стомадором стало ей вполне грубо и мерзко ясно сердце ее мужа, как будто открылись больные внутренности цветущего на вид тела, полные язв. И она хотела выслушать приговор свой от приговоренного, неведомо для себя распутавшего грязную ложь.

Быстрее кошки, уносящей скачком мышь, Стомадор кинулся в свою комнату, возвратясь с простыней, довольно чистой. Закутавшись с головой, Консуэло увидела выглянувшее снизу лицо Тергенса. Ее охватил глубокий интерес к предприятию, мрачность и трепет которого чем-то отвечали ее страданию.

— Еще все тихо,— с облегчением прошептал Стомадор.— Ночь милостива к Джемсу... Но обдумано же все действительно блестяще!

Молоденькая женщина с лицом самой совести казалась Стомадору доверчивой девочкой. Он парил около нее, бережно поддерживая при спуске.

— Клянусь терновым венцом! Вы — настоящие мужчины! — произнесла Консуэло, заглянув в жуткий тоннель, мрачно озаренный звездой фонаря. Действительно, можно было восхититься этой работой.— Хоть это утешение мне,— добавила она, оставив лавочника в недоумении насчет смысла своего замечания.

Между тем само положение тюрьмы против закоулка двора указывало истину слов ее расстроенного проводника. Теперь Консуэло считала прямой обязанностью своей загладить чем-нибудь зло, нанесенное ее

мужем; она торопилась и пробиралась согнувшись. Ботредж, пораженный ее видом, молчал, прижавшись к стене прохода, чтобы пропустить женщину. Она наступила ему на руку, но он даже не пошевелился. Тергенс пополз вперед и сел у второго выхода, протянув ноги. Консуэло и лавочник перешагнули через его ноги с бо́льшим удобством, чем минуя длинное туловище Ботреджа. На счастье всех действующих лиц тюремной драмы, ветер дул им в лицо. Карабкаясь по ступенькам деревянной лестницы, Консуэло выбралась наверх. Бросив простыню в отверстие, она неслышно прошла за Стомадором те десять шагов, которые отделяли подкоп от двери лазарета, и, прижимаясь к стене угла, скользнула в яркое помещение. Из всех манипуляций прохода от подкопа к двери и обратно эти два шага под прикрытием узкой дверной плоскости были острейшим испытанием риска. Грузный Стомадор, как и первый раз, лег у двери на бок, подтянувшись затем на руках. Консуэло прижималась к стене спиной, расставив руки и откинув голову. Такие же предосторожности принимались всеми, не исключая Факрегеда, и если принять во внимание, что за время действия было всего тринадцать следований разных людей из дверей и в двери лазарета, причем никто не зашумел, не споткнулся, то станет ясным, какое напряжение потрачено было на этом крошечном участке тайной борьбы.

К моменту ее появления Давенант уже забыл, кто может придти. Его бессвязная речь, коснувшись отца, бегства, Ван-Конета, странной тактики адвоката, становилась затрудненной. Когда он умолкал, Галеран говорил с ним, укрепляя его, как мог, соображениями о возможности отсрочки исполнения приговора. Уже он хотел проститься и уйти, не веря в поиски Стомадора и сознавая, что опасность растет, как Давенант сказал:

— Отдайте серебряного оленя Роэне и Элли Футроз. Не знаю, когда это было — сейчас или в прошлую ночь, казалось мне, что я видел на столе свечу, горящую днем. В окно врывался ветер, но пламя свечи не шевелилось, не гасло, лишь быстро таяла эта свеча...

Факрегед открыл дверь, пропустив Стомадора и молодую женщину, с ужасом взглянувшую на распростертого человека. Его измученное и ясное лицо еще не успело потерять свое, далекое всему, выражение. Лекан,

которого Стомадор огорошил при входе заявлением: «Это племянница начальника тюрьмы!» — силой тащил теперь за рукав Факрегеда, чтобы получить объяснение происходящего и отпроситься бежать. Они удалились.

— Это я... это я,— твердил Стомадор.— Я нашел эту фею... а не Ботредж... это божество... это утешение, этого рыцаря-девочку. Она девочка. Я, может быть, раз тридцать останавливал всяких подходящих особ!

Упавшее было настроение Галерана поднялось на небывалую высоту. В эту ночь все лучшее человеческих сердец раскрывалось перед ним и невозможное становилось простым.

— Вы подвергаетесь величайшей опасности,— сказал Галеран молодой женщине, догадываясь о ее положении в жизни с одного взгляда на нее.— Если нас всех накроют, не миновать боя, и, хотя мы вас не дадим тронуть, риск все же огромен.

— Для меня это не так страшно,— ответила Консуэло, с гордым видом человека, знающего себя.— Могут быть только неприятности, но я на это пошла.

«Кто же она?» — думали все, чувствуя, что Консуэло не бодрится, а говорит правду. В камере повеяло неясной надеждой. Давенант глубоко вздохнул. Темная вода временно ушла из его сознания, и, безмерно счастливый тем высшим, что выпало на его долю среди мучений и страха, он оживился.

— Сознание мое прояснилось,— заговорил Давенант.— Мой бред привел вас сюда; это был не совсем бред,— прибавил он, уже жалея существо, несущее так много отрады одним звуком своего голоса, такое настоящее — то самое, такое удивительное и прекрасное, как будто бы он сам придумал его.— О,— сказал Давенант,— я спокоен, я равен теперь самым живым среди живых. Уходите! Простите и уходите.

— Но постойте. Я еще не опомнилась, а вы меня уже гоните. Вы приговорены к смерти, несчастный человек?

— Видя вас, хочется сказать, что я приговорен к жизни.

Тронутая благородным тоном этой тоскливой шутки, Консуэло заставила себя отрешиться от собственного страдания и, став у койки, склонилась, положив руку на грудь Тиррея.

— В этот момент я не совсем чужой вам человек. Вы будете жить. Правда ли все то, что рассказал мне мой проводник о вашем столкновении с Ван-Конетом?

— Да,— сказал Давенант, восхищенный и удивленный ее решительным и милым лицом.— Но каждый поступил бы так, как поступил я. В присутствии своей любовницы, приятелей, проезжая с попойки к ничего не подозревающей о его похождениях невесте, о чем похвалялся, публично унижая ее, тут же за столом этот человек захотел оскорбить и грубо оскорбил одну проезжавшую женщину. Немало досталось от него и мне. Я ударил его во имя любви.

Консуэло всплеснула руками и закрыла лицо. Не удержав слезы, она опустила голову, плача громко и горько, как избитый ребенок.

— Не сожалейте, не страдайте так сильно! — сказал Давенант.— Зачем я рассказал вам все это?

— Так было необходимо,— вздохнула несчастная, поднимаясь с табурета, на который села, когда Давенант начал с ней говорить.— Но я ничего не знала! Я — Консуэло Ван-Конет, жена Георга Ван-Конета, которая вас спасет. Я ухожу. Верьте мне. Скорее проводите меня.

От ее слов стало тихо, и все оцепенели. Произошла та суматоха молчания, когда оглушение событием превосходит силой своей возможность немедленно отозваться на него разумным словом. Давенант громко сказал:

— Я спасен. А вы? Чем я вас утешу? Не проклинайте меня!

Все неясное, вызванное поведением Консуэло, стало на свое место, и Стомадор испугался.

— Простите...— бормотал он,— умоляю вас, не рассказывайте никому, что так стряслось, не погубите нас всех!

Консуэло только улыбнулась ему. Бросив приговоренному теплый взгляд, она торопливо вышла, провожаемая Стомадором и паническим взглядом Лекана. Давенант не смог больше ничего сказать женщине, так тяжко подвернувшейся под удар. Галеран вытащил из-под его подушки револьвер и махнул ему рукой, шепнув:

— Жди, а через полчаса потребуй врача.

Камера опустела.

Донельзя обрадованный Лекан бормотал:

— Скорей, скорей!

И, как только три человека, один за другим, исчезли в подкопе, шепнул вслед Стомадору:

— Ящик... Два ящика, подставить к этой дыре, мы засыплем ее.

Слова Лекана услышал Тергенс. Сообразив все значение такого предложения, он, когда проход опустел, приволок два ящика и поставил их один на другой так, что доска верхнего закрыла снизу отверстие.

— Что же это такое? — сказал Ботредж Тергенсу.

— Молчи. Происходит то, о чем иногда думаешь ночью, если не спишь. Тогда все меняется.

— Ты бредишь? — сказал Ботредж понурясь.

— Ну нет. Выйдем. Все там, в лавке.

С яростью, вызванной ощущением почти миновавшей опасности, Факрегед и Лекан забросали дыру землей с клумб и притоптали ее. К утру разразился проливной дождь, отчего это место меж двух кустов приняло естественный вид.

Обессилевший Факрегед вошел в камеру Давенанта, который долго смотрел на него, затем улыбнулся.

— Я спасен,— тихо произнес он.

— Что? Эта женщина спасет вас?

— Нет. Не знаю. Я спасен так, как вы понимаете, но не хотите сказать.

Он затих и начал бредить. Факрегед вымыл руки, запер Тиррея, тщательно подмел коридор и взглянул на часы. Они показывали четверть третьего.

— Как будто вся жизнь прошла,— пробормотал Факрегед.

Пока два контрабандиста устраивали заслон из ящиков, а надзиратели маскировали отверстие, Галеран, Консуэло и Стомадор сошлись в задней комнате лавки.

— Спасите его,— сказал Галеран заплаканной молодой женщине.— Не время углубляться в происшествие. Сядьте в мой автомобиль.

— Поймите, что я чувствую, сеньора! — проговорил Стомадор.— Я так потрясен, что уже не могу стать таким бойким, как когда встретил вас.

Молча пожав ему руку, Консуэло записала адрес

Галерана, и он проводил ее на пустырь, где Груббе уже изнемог, ожидая конца.

— Груббе,— сказал Галеран,— опасность для меня миновала, но не миновала для Давенанта. Помни, что ты теперь повезешь его спасение.

— Кто он? — спросила Консуэло, усаживаясь в автомобиль.

— Все будет вам известно,— сказал Галеран,— пока я только назову вам его имя — Тиррей Давенант. Один из самых лучших людей. Пожалуйста, известите меня.

Консуэло мгновенно подумала.

— Все решится до рассвета,— сказала она и, кивнув на прощание, дала Груббе свой адрес.

Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привезти ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стомадора.

— Так вот что произошло,— сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы.— Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа, это уж так.

Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стомадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горла бутылок ударами одна о другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания.

— Вставайте,— сказал Ботредж.— Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется,— убежим.

ГЛАВА XVI

Дом, купленный Ван-Конетом в Покете, еще заканчивался отделкой и меблировкой. Супруги занимали три роскошных номера гостиницы «Сан-Риоль», соединенных в одно помещение с отдельным выходом.

Георг Ван-Конет вернулся с частного делового совещания около часу ночи. Утверждение его председателем Акционерного общества должно было состояться на днях.

Слуги сказали ему, что Консуэло еще не возвратилась домой. Скорее заинтересованный, чем встревоженный таким долгим отсутствием жены, зевая и бормоча: «Ей пора завести любовника и объявить о том мне»,— Ван-Конет уселся в гостиной, очень довольный движе-

нием дела с председательским креслом, стал курить и вспоминать Лауру Мульдвей, сказавшую вчера, что изумрудный браслет стоимостью пять тысяч фунтов у ювелира Гаррика нравится ей «до сумасшествия».

Небрежная, улыбающаяся холодность этой женщины с всегда ясным лицом раздражала и пленяла Ван-Конета, уставшего от любви жены, не знающей ничего, кроме преданности, чести и искренности.

Ван-Конет был стеснен в деньгах. Приданое Консуэло почти целиком разошлось на приобретение акций, уплату карточных долгов, подарки Лауре, Снотдену; солидная его часть покрыла растраты отца, а также выкуп заложенного имения.

Он задумался, задумался светло, покойно, как баловень жизни, уверенный, что удача не оставит его.

«Исчезла жена»,— подумал, усмехаясь, Ван-Конет, когда часы пробили два часа ночи.

В это время за дверью полуосвещенной соседней комнаты послышались легкие, быстрые,— такие быстрые шаги, что муж с беспокойством взглянул по направлению звуков. Консуэло вошла как была — в черных кружевах. Ее вид, утомление, бледность, заплаканное, осунувшееся лицо предвещали несчастье или удар.

— Что с вами? — сказал Ван-Конет невольно значительнее, чем хотел.

Он встал. Еще яснее почувствовал он беду.

— Георг,— тихо ответила Консуэло, смотря на него со страхом, подавляя вздох, приложенной к сердцу рукой и вся трепеща от боли,— идите, спасите человека, в этом и ваше спасение.

— Что произошло? Откуда вы? Где вы были?

— Каждая минута дорога. Ответьте: месяц назад гостиница «Суша и море» ничем не врезалась в вашу память?

Ван-Конет испуганно взглянул на жену, повел бровью и бросился в кресло, рассматривая близко поднесенные к глазам концы пальцев.

— Я не посещаю трактиров,— сказал он.— Прежде чем я узнаю причину вашего поведения, я должен объяснить вам, что моя жена не должна исчезать, как горничная, без экипажа, маскарадным приемом.

— Не браните меня. Вы знаете, как я расстроилась сегодня от ваших жестоких слов. Я была на концерте,

чтобы развеселиться. И вот что ждало меня: произошла встреча, после которой мне уже не жить с вами. Спасайте себя, Георг. Спасайте прежде всего вашу жертву. Утром должны казнить человека, имя которого Джемс Гравелот... Что же... Ведь я вижу ваше лицо. Так это все — правда?

— Что правда? — крикнул обозлившийся Ван-Конет.— Дал ли я зуботычину трактирщику? Да, я дал ее. Еще что принесли вы с концерта?

— Ну, вот как я скажу,— ответила Консуэло, у которой уже не оставалось ни малейших сомнений.— Спорить и кричать я не буду. В тот день, когда вы были у меня такой мрачный, я вас так сильно любила и жалела, вы оказались подлецом и преступником. Я не жена вам теперь.

— Хорошо ли вы сделали, играя роль сыщика? Подумайте, как вы поступили! Как вы узнали?

— Никогда не скажу. Я ставлю условие: если немедленно вы не отправитесь к генералу Фельтону, от которого зависит отмена приговора, и не признаетесь во всем, если надо, умоляя его на коленях о пощаде,— завтра весь Покет и Гертон будет знать, почему я бросила вас. Вам будут плевать в лицо.

Ван-Конет вскочил, подняв сжатые кулаки. Его ноги ныли от страха.

— Не позже четырех часов,— сказала Консуэло, улыбаясь ему с мертвым лицом.

Ван-Конет опустил руки, закрыл глаза и оцепенел. Хорошо зная жену, он не сомневался, что она сделает так, как говорит. Ничего другого, кроме встречи Консуэло с каким-то человеком, все рассказавшим ей, Ван-Конет придумать не мог, и его нельзя за это обвинить в слабоумии, так как догадаться о сообщении с тюрьмой через подкоп мог бы разве лишь ясновидящий.

— Не напрасно я ждал от вас чего-нибудь в этом роде,— сказал Ван-Конет, глядя на жену с такой ненавистью, что она отвернулась.— Я все время ждал.

— Почему?

— В вас всегда был неприятный оттенок бестактной резвости, объясняемый вашим происхождением не очень высокого рода.

— Низким происхождением?! Я была ваша жена. Нет ближе родства, чем это. Разве любовь не рав-

няет всех? Низкой души тот, кто говорит так, как вы. Меня нельзя оскорбить происхождением, я — человек, женщина, я могу любить и умереть от любви. Но вы — ничтожны. Вы — корыстный трус, мучитель и убийца. Вы — первостатейный подлец. Мне стыдно, что я обнимала вас!

Ван-Конет растерялся. Его внутреннее сопротивление гневу и горю жены было сломлено этой так пылко брошенной правдой о себе, чему не может противостоять никто. Он стал перед ней и схватил ее руки.

— Консуэло! Опомнитесь! Ведь вы любили меня!

— Да, я вас любила,— сказала молодая женщина, отнимая руки.— Вы это знаете. Однако сразу после свадьбы вы стали холодны, нетерпеливы со мной, и я часто горевала, сидя одна у себя. Вы взяли тон покровительства и вынужденного терпения. Вот! Я не люблю покровительства. Знайте: просто говорится в гневе, но тяжело на сердце, когда любовь вырвана так страшно. Она, мертвая, в крови и грязи у ног ваших. Мне было двадцать лет, стало тридцать. Сознайтесь во всем. Имейте мужество сказать правду.

— Если вы хотите,— да, это все правда.

— Ну, вот... Не знаю, откуда еще берутся силы говорить с вами.

— Так как мы расходимся,— продолжал Ван-Конет, ослепляемый жаждой мести за оскорбления и желавший кончить все сразу,— я могу сделать вам остальные признания. Я вас никогда не любил. Я продолжаю отношения с Лаурой Мульдвей, и я рад, что развязываюсь с вами так скоро. Довольны ли вы?

— Довольна?.. О, довольно! Ни слова больше об этом!

— Я могу также...

— Нет, прошу вас! Что же это со мной? Должно быть, я очень грешна. Так ступайте. Я не пощажу вас.

— Да. Я вынужден,— сказал Ван-Конет.— Я буду спасать себя. Ждите меня.

— Торопитесь, этот человек опасно болен.

— О! Мы вылечим его, и я надеюсь получить вашу благодарность, моя милая.

Несмотря на охвативший его страх, Ван-Конет очень хорошо знал, что́ делать. Спастись он мог только отчаянным припадком раскаяния перед Фельтоном, со-

средоточившим в своих руках высшую военную власть округа. Он не раскаивался, но мог притвориться очень искусно помешавшимся от отчаяния и раскаяния. Медлить ему даже не приходило на ум, тем более не помышлял он обмануть жену, зная, что будет опозорен навсегда, если не выполнит поставленного ему условия. Сказав: «Ждите. Я начинаю действовать»,— сын губернатора бросился в свой кабинет и соединил телефон с тюрьмой.

Уже осветились окна квартиры начальника тюрьмы, а также канцелярии.

— Это вы, Топпер? — крикнул Ван-Конет начальнику, слушавшему его. Он был знаком с ним по встречам за игрой у прокурора Херна.— Ван-Конет, бодрствующий по неопределенной причине. Сегодня у вас большой день?!

— Да,— сдержанно ответил Топпер, не любивший развязного тона в отношении смертных приговоров.— Признаюсь, я очень занят. Что вы хотели?

— Чертовски жаль, что я досаждаю вам. Меня интересует один из шайки — Гравелот. Он тоже назначен на сегодня?

— Едва ли, так как с ним плохо. Он почти без сознания, врач полчаса назад осмотрел его, и, по-видимому, он умрет сам от заражения крови. Его мы оставляем, а прочих увезут в четыре часа.

«Положительно, мне везет»,— размышлял Ван-Конет, возвращаясь к жене, с внезапной мыслью, настолько гнусной, что даже его дыхание зашлось, когда он взглянул на дело со стороны. Соблазн пересилил.

— Консуэлита,— сказал Ван-Конет женщине, ставшей его жертвой,— я еду к Фельтону. Ручаюсь, что я выполню ваше желание. Сможете ли вы подарить мне пятнадцать тысяч фунтов?

— Чек будет готов, как только вы известите меня,— ответила Консуэло без колебания, уже не мучаясь этой новой низостью, но так внимательно рассматривая мужа, что он слегка покраснел.

— Боже мой! Я совсем без денег,— сказал Ван-Конет.— Это просьба, не ультиматум. Вы великодушны, а я не хочу, чтобы вы считали меня корыстным. Я вас застану?

— Нет.

— Куда же вы отправляетесь?

— Это — мое дело. А пока избавьте меня от своего присутствия.

— Болтайте, что хотите,— сказал, уходя, Ван-Конет,— это наш последний разговор.

Генерал Фельтон, с которым должен был говорить Ван-Конет, занимал небольшой одноэтажный дом, стоявший недалеко от гостиницы «Сан-Риоль». Фельтон ещё не спал, когда ему доложили о неожиданном посещении Ван-Конета. Фельтону редко удавалось лечь раньше пяти утра, по множеству важных военных дел.

Генерал был человек среднего роста, державшийся очень прямо благодаря неестественно приподнятому правому плечу, раздробленному в сражении при Ингальт-Гаузе. Седые, гладко причесанные назад волосы Фельтона искусно скрывали лысину. В некрасивом, нервном лице генерала светился обширный, несколько капризный ум баловня войны, прозревающий мельчайшие оттенки сложных схем, но могущий ошибаться в простом умножении.

— Нельзя ли отложить свидание с ним до завтра? — сказал Фельтон адъютанту.

Адъютант вышел и скоро вернулся.

— Ван-Конет просит немедленной аудиенции по бесконечно важному делу. Оно секретно.

— Что делать! Пригласите его.

Когда появился Ван-Конет, никого, кроме генерала, в комнате не было. Удивленный расстроенным видом молодого человека, с которым был немного знаком, Фельтон добродушно протянул руку, но, отчаянно тряхнув сложенными руками, Ван-Конет бросился перед ним на колени и, рыдая, воскликнул:

— Спасите! Спасите меня, генерал! Моя жизнь и смерть в ваших руках!

— Встаньте, черт возьми! — процедил Фельтон, бросаясь к нему и силой заставляя встать.— Что вы наделали?

— Генерал, пощадите жизнь невинного, погубленного мной,— заговорил Ван-Конет с искренней страстью человека, действующего ввиду опасности очертя голову, под наитием расчета и страха.— Утром будет повешен Джемс Гравелот, обвиняемый в вооруженном сопротивлении береговой страже. Он не контрабандист. Я при-

казал подбросить ему, в его гостиницу на Тахенбакском шоссе, мнимую контрабанду ради того, чтобы путем ареста Гравелота избежать поединка и отомстить за удар, который он мне нанес, когда в этой гостинице я гнусно оскорбил какую-то проезжую женщину.

— Недурно! — сказал Фельтон, смешавшись и краснея от такого признания.

Пораженный отчаянием негодяя, он несколько мгновений молча рассматривал Ван-Конета, закрывшего руками лицо.

— Что же... Все это правда?

— Да, позорная правда.

— Как вы могли так низко пасть?

— Не знаю... я пил... пил сильно... я погряз в разврате, в игре... Моя воля исчезла. Я кинулся к вам под влиянием моей жены. Она сумела заставить меня почувствовать ужас моего поведения. Если Гравелот будет повешен, я не снесу этого. Мое завещание готово, и я...

— Да, такой выход был бы неизбежен,— перебил Фельтон.— Ну, расскажите подробно.

Находя неописуемое удовольствие в самооплевывании, Ван-Конет, хорошо помнивший проповеди Снегдена о сверхчеловеческой яркости «душевных обнажений», так изумительно точно рассказал неприглядную историю с Гравелотом, что Фельтон стал печален.

— Откровенно скажу вам,— произнес Фельтон,— что мне вас ничуть не жаль. Другое дело — этот Гравелот. Вот что: если ваше раскаяние искренне, если вы измучены своим позором и готовы умереть ради спасения невинного, даете ли вы мне слово бросить тот образ жизни, какой привел вас к преступлению?

— Да,— сказал Ван-Конет, поднимая голову.— Одна эта ночь переродила меня. Скройте мой грех. О генерал, если бы я мог открыть вам мое сердце, вы содрогнулись бы от сострадания к падшему!

— Попробую верить. Но, должен признаться, вид ваш для меня нестерпим. Извините эту резкость старика, привыкшего объясняться коротко. Успокойте вашу жену. Дело Гравелота, а заодно всех остальных, будет пересмотрено. Я выпущу Гравелота под личное ваше поручительство. Его не будут о ч е н ь искать.

— Генерал! — вскричал Ван-Конет.— Какими хоти-

те муками я отплачу вам за это великодушие, дающее мне право дышать!

— Ах,— сказал несколько смягченный его ликованием Фельтон.— Все это не то. Жизнь, если хотите, полна мерзостей. Держите руки чистыми, милый мой.

Затем он выпроводил посетителя и, просмотрев дело контрабандистов, отдал адъютанту соответствующие приказания, немедленно протелефонированные в тюрьму, Херпу и в канцелярию военного суда. Предлогом пересмотра дела явилось новое обстоятельство, сообщенное Ван-Конетом: участие Вагнера, которого следовало теперь разыскать.

Исполнив все формальности по выдаче поручительства за освобождаемого до нового суда Давенанта, Ван-Конет приехал домой и узнал от слуг, что его жена уже выехала, взяв один саквояж, и не сказала ничего о том, куда едет. Впрочем, на столе в кабинете брошенного мужа лежал запечатанный конверт с цифрой телефона на нем. Вскрыв конверт, Ван-Конет увидел чек.

Утомленно вздохнув, он соединил телефон с квартирой Лауры Мульдвей. Она спала и заявила об этом тоном сурового выговора.

— Что до того? — возразил Ван-Конет.— Изумрудный браслет — ваш, дорогая, и вы завтра его получите. Консуэло больше нет здесь. Она уехала навсегда.

— О! Важные новости. Отчего же вы раньше не разбудили меня?

— Не существенно. Но браслет?!

— Браслет прелестен. Я жду.

— Спокойной ночи, утром я буду у вас.

Ван-Конет оставил ее и позвонил Консуэло. Она ждала в гостинице, где жил Галеран, заняв там перед отъездом домой небольшой номер.

— Где вы находитесь? — насмешливо спросил Ван-Конет, услышав ее тревожный голос.— Не есть ли это телефон рая?

— Говорите же, говорите скорей! — воскликнула Консуэло.— Вам удалось?

— Конечно. Генерал был очень любезен.

— Тогда мне больше ничего не нужно от вас.

— Я взял Гравелота под свое поручительство. Необходимые документы, вероятно, уже в тюрьме. Вы можете, Консуэлита, заполучить вашего умирающего.

— Прощай, жестокий человек! — сказала Консуэло.— Пусть ты найдешь сердце, способное изменить тебя.

— Благодарю за чек,— грубо сказал Ван-Конет.— У вас еще остались деньги. Муж будет.

С этим он отошел от телефона, а Консуэло, сев в автомобиль Груббе, ждавшего ее решений, отправилась к Стомадору. Только один Галеран ждал ее возле лавки. Стомадор и контрабандисты сидели на пустыре, за двором.

— Спасен! — сказал им Галеран.— Я увезу его. Дело пересмотрится. Гравелот сегодня будет на свободе, под поручительством своего врага, Ван-Конета.

— Так не напрасно работали,— сказал потрясенный Ботредж.— Тергенс, ведь ваш брат тоже спасется. Одно из другого вытекает. Это уж так.

— Понятно,— ответил Тергенс.— Вот всем стало хорошо.

— Вам нечего бежать,— заметил Стомадор,— а я готов, я уже собрался. Никак не выходит мне сидеть на одном месте. Передайте Гравелоту, что я согрел свою старую кровь вокруг его несчастья. А где же та, золотая... чудесная, которую я поймал?

— Вот она,— сказал Галеран, увидев силуэт Консуэло, идущей от автомобиля.

— Благодарим вас,— произнес Тергенс, кланяясь бледной тихой женщине,— узнали мы за одну ночь столько, сколько за всю жизнь не узнаешь!

— Прощайте, мужественные люди,— сказала всем Консуэло,— я не забуду вас.

Она поцеловала их низко опущенные хмельные головы и вернулась сесть в экипаж. Галеран отдал полторы тысячи фунтов Стомадору и по двести — контрабандистам. Они взяли деньги, но хмуро, с стеснением. Для надзирателей Галеран прибавил Ботреджу триста фунтов: двести Факрегеду и сто Лекану.

Затем все попрощались с Галераном и исчезли, растаяли в темноте. Брошенная лавка осталась без присмотра, на произвол судьбы. Галеран и Консуэло уехали ждать наступления дня, чтобы часов около восьми утра вызвать санитарную карету Французской больницы, а с ней — лучшего хирурга Покета, врача Кресса.

ГЛАВА XVII

Ввиду тяжелого положения Давенанта, решительно взятого под свою защиту всемогущим генералом Фельтоном, судейские и тюремные власти так сократили процедуру освобождения заключенного, что, начав хлопоты около девяти часов утра, Галеран уже в половине одиннадцатого с врачом Крессом и санитарным автомобилем был у ворот тюрьмы, въехав на ее территорию с законными основаниями.

Давенант находился в таком беспомощном состоянии, что жили только его глаза, бессмысленные, как блеск чайных ложек. Он говорил несуразные вещи и не понимал, что делают с ним. На счастье Галерана, а также обоих надзирателей, переживших за эту ночь столько волнений, сколько не испытали за всю жизнь, Давенант бредил лишь об у т е ш е н и и[1]. По его словам, оно являлось к нему в черном кружевном платье и плакало.

Свежий воздух подействовал так, что помещенный в больницу Давенант временно очнулся от забытья. Теперь он все помнил. Он спросил, где Галеран, Консуэло, Стомадор.

Начался ветреный, пасмурный день. К ожидающим Консуэло и Галерану вышел Кресс и пригласил идти в помещение Давенанта.

— Какое его положение? — спросил Галеран доктора.

— Скоро начнется агония,— ответил Кресс,— пока он все сознает и хочет вас видеть.

Последние гости приблизились к кровати умирающего — одинокий старик и женщина, едва начавшая жить, со смертью в душе.

— Теперь я скоро поправлюсь,— прошептал Тиррей, полуоткрывая глаза и с нежным страхом смотря на Консуэло, севшую у изголовья.— Я был причиной вашего горя,— продолжал он,— но я не знал, что так выйдет. Но вы не печальтесь. Что-то в этом роде было со мной. Надо пересилить горе. Вы молоды, перед вами вся жизнь. Ведь это вы спасли меня из тюрьмы?

---

[1] «Консуэло» — значит «утешение».

— Я исполнила мой долг,— сказала Консуэло,— и я не хочу больше говорить об этом. Ваше дело будет пересмотрено и, конечно, разрешится благополучно.

— Мое. А тех?

— Они спасены,— сказал Галеран.— Отмена приговора указывает, что дело ограничится несколькими годами тюрьмы.

— Я рад,— быстро сказал больной,— потому что бой был прекрасен. Суд должен был понять это. Об одном я жалею, что меня не было с вами, Галеран, когда вы рыли подкоп. А где Стомадор?

— Должно быть, уже бежал. Его положение стало очень опасным.

— Конечно. Так я не в тюрьме... Вы не поверите,— обратился Тиррей к Консуэло, смотревшей на него с глубоким состраданием,— как хорошо спастись! Мне хочется встать, идти, побывать на старых местах.

Давенант беспокойно двинулся и, утомленный, закрыл глаза. Сознание боролось с темной водой. Он шарил руками на груди и у горла, отгоняя незримую тесноту тела, сжигаемого смертельным огнем. Лицо его было в поту, губы непроизвольно вздрагивали, и, нагнувшись, Галеран расслышал последние слова: «Сверкающая... неясная...»

Видя его положение, Кресс отошел от окна, взял руку Давенанта и, нахмурясь, отпустил ее.

— Избавьте себя от тяжелого впечатления,— тихо сказал Кресс Консуэло, которая, все поняв, вышла, сопровождаемая Галераном. В приемной Консуэло дала волю слезам, рыдая громко и безутешно, как ребенок.

— Это — сразу обо всем,— объяснила она.— Зачем умирает чудесный человек, ваш друг? Я не хочу, чтобы он умирал.

Она встала, утерла слезы и протянула руку Галерану, но тот привлек ее за плечи, как девочку, и поцеловал в лоб.

— Что, милая? — сказал он.— Беззащитно сердце человеческое?! А защищенное — оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки. Укрепитесь, уезжайте в Гертон и ждите. Тишина опять явится к вам.

Консуэло закрыла лицо и вышла. Галеран вернулся в палату. Он подождал, когда тело перестало подерги-

ваться, закрыл глаза Давенанта рукой с обломанными ногтями, пострадавшими на подземной работе, и отправился вручить серебряного оленя по назначению.

Его приняла Роэна Лесфильд, молодая женщина в расцвете жизни, жена директора консерватории.

Гостиная, где Тиррей девять лет назад сидел, восхищаясь золотыми кошками, выглядела все так же, но не было в ней тех людей, какие составляли тогда для начинающего жить юноши весь мир.

— Я исполняю поручение,— сказал Галеран вопросительно улыбающейся молодой женщине,— и если вы меня помните, то догадаетесь, о ком идет речь.

— Действительно, ваше имя и лицо как будто знакомы...— сказала Роэна.— Позвольте... помогите вспомнить... Ну, конечно. Кафе «Отвращение»?

— Да. Вот олень. Тиррей просил передать его вам.

Галеран протянул ей вещицу, и Роэна узнала ее. В это время появилась скучающая, бледная Элеонора, девушка с капризным и легким лицом. Жизнь сердца уже неласково коснулась ее.

— Элли! Какая древняя пыль! — сказала Роэна.— Смотри, мальчик, который был у нас лет девять назад, возвращает свой приз оленя. Да ты все помнишь?

— О, как же! — засмеялась девушка.— Вы — друг Тиррея? Я сразу узнала вас. Где этот человек? Тогда он так странно пропал.

— Он умер в далекой стране,— ответил Галеран, поднимаясь, чтобы откланяться,— и я получил от него письмо с просьбой вернуть вам этот шутливый приз.

Настало молчание. Никто не поддержал мрачного разговора, пришедшегося не совсем кстати: у Роэны хворал мальчик, а Элли, ставшая очень нервной, инстинктивно сторонилась всего драматического.

— Благодарим вас,— любезно сказала Роэна после приличествующего молчания.— Так он умер? Как жаль!

Слегка пошутив еще на тему об «Отвращении», Галеран простился и уехал домой.

— Ведь что-то было, Элли? — сказала Роэна, когда Галеран ушел.— Что-то было... Ты не помнишь?

— Я помню. Ты права. Но я и без того не в духе, а потому — прости, не сумею сказать.

Феодосия, 23 марта 1929 г.

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА

ВОКРУГ СВЕТА

I

Последние десять миль, отделявшие торжествующего Жиля от шумного Зурбагана, пешеход прошел так быстро и весело, словно после каждого шага его ожидало несравненное удовольствие. Узнавая покинутые два года назад места, он испытывал восхищение больного, чудом возвращенного к жизни, которому блаженное чувство безопасности показывает домашнюю обстановку в звуках ликующего оркестра.

Костюм Жиля в день его возвращения состоял из серых шерстяных чулок до колен, толстых башмаков с пряжками, кожаных коротких штанов, голубой парусиновой блузы и огромной соломенной шляпы, покоробившейся самым причудливым образом. Дыра от пули была единственым его украшением. У пояса, в кожаной кобуре, висел старый друг, семизарядный револьвер, а за плечами — емкая дорожная сумка.

Жиль твердо постукивал суковатой палкой и свистал так пронзительно, что воробьи вспархивали, увидев его, за сто шагов.

Описав дугу кривой дорогой равнины, отделяющей рабочие предместья Зурбагана от лесистых долин Кассета, Жиль вступил наконец в крикливую улицу Полнолуния. Ранний час дня свежим блеском и относительной для этих широт прохладой придавал уличному движению толковую жизнерадостность. Крупная фигура Жиля, особенная стремительная походка, выработаиная долгими странствованиями, густой кофейный загар, подавляющее напряжение лица, вызванное волнением, и бес-

сознательная улыбка, столь сложная и заразительная, что заставила бы обернуться мрачнейшего ипохондрика, скоро обратили на путешественника внимание многих прохожих. Жиль взглянул на часы — было половина девятого. «Ассоль спит,— решил он.— Зачем портить восторг встречи смесью сна с действительностью? Я все равно — дома». Заметив, что порядком устал, Жиль, свернув в аллею просторного бульвара, выбрал кабачок попроще и, сев в еще пустом зале за круглый стеклянный стол, сказал, чтобы подали яичницу с луком, бутылку водки и крепких сигар.

Почти тотчас вслед за ним вошли: меланхолический лавочник, держа руки под фартуком; толстый надутый мальчик, лет десяти, красный от нерешительности и любопытства; девушка мужского сложения, в манишке и стоячем воротнике, с мужской тростью, мужским портфелем и мужскими манерами; испитой субъект с длинными волосами; кургузый подвижной господин, свежий и крепкий; две барышни и несколько молодых людей, безлично-галантерейного типа с тросточками и золотыми цепочками.

Хозяин, смотря поверх очков и прижимая пальцем то место газеты, на котором застигло его такое изумительное в ранний час нашествие посетителей, почесал свободной рукой спину, воспрянул и потряс огромным звонком. Слуги, вбежав, принялись кланяться, стирать пыль, принимать заказы и покрикивать друг на друга.

Тем временем посетители, сев в разных местах зала, открыто уставились на Жиля взглядами театральных зрителей. Заметив это, молодой человек смутился, но скоро сообразил, в чем дело. Газеты, видимо, были извещены о нем,— вероятно, выклянчили у Ассоль портрет, тиснули его в рамке барабанных статеек, и экспансивные зурбаганцы, с догадкой, что герой — он, человек воинственно-бродячей наружности, ждали подтверждения этому; ждали, отдадим справедливость, смирно и уважительно, однако при виде стольких глаз, круглых и не мигающих, третий глоток водки застрял в горле Жиля. Он думал, что хорошо бы удрать. Сигара заставила его кашлять, а яичница упрямо разваливалась на вилке.

Вдруг положение изменилось,— лопнул пузырь томления: мужевидная девица, понюхав поданный шо-

колад, крякнула, обвела общество призывным взором, решительно поднялась и, подойдя к Жилю, громко спросила:

— Разрешите мои сомнения. Портрет кругосветного путешественника, Жиля Седира, напечатанный в журнале «Герольд», хроникером которого имею честь состоять я, Дора Минута, очень напоминает ваши черты. Не вы ли славный зурбаганец Седир, два года назад вышедший на стотысячное пари с фабрикантом Фрионом, что совершите кругосветное путешествие без копейки денег, сроком в два года?

Эта тирада заставила даже хозяина покинуть стойку и придержать дыхание.

— Я, я! — сказал взволнованный Жиль, смеясь и раскланиваясь с повскакавшей вокруг публикой. Послышалось: «ура! браво! приветствуем!» — и Жиль оказался в кругу радостно-любопытных лиц. Все хотели знать, как он путешествовал, с какой целью, что видел и испытал.

Немного можно ответить сотням вопросов и обращений,— однако, настроенный благодушно, Жиль рассказал главное. Его заставило добыть таким способом деньги изобретение, имеющее важное будущее. Никто не давал денег для окончательных опытов. Министерство благосклонно отвертелось, капиталисты не доверяли, а сам изобретатель, вставая поутру, не знал, будет ли сегодня обедать. Эксцентрик Фрион, жестокой забавы ради, предложил ему обогнуть земной шар за сто тысяч, покинув город без денег, съестных припасов и спутников. Нотариус скрепил это условие. Опаздывая сверх двух лет даже на одну минуту (секунды прощались), Жиль не получал ничего.

Но он выполнил задачу неделей раньше условленного. Конец нищете! Начало славы изобретателя пришло к его ногам. Жиль вскользь, но одушевленно и любовно коснулся яркой пестроты двухлетнего путешествия. Прекрасной феерией развернулось в его душе опасное прошлое. Все способы передвижения испытал он: ходьбу, лодку, носилки, слонов, верблюдов, велосипед, барки, пароходы, парусные суда. Храмы и башни, развалины и тоннели, тропические леса, горные цепи, пропасти, водопады, цветы, пальмы, миражи — простое перечисление виденного заставило бы не один раз перевести дух. На-

строение опасности, силы, радости, экстаза, величественного покоя, бури и тишины, молитвы и милых воспоминаний, решительности и вызова — всю сложную мелодию их Жиль передавал сердцам слушателей нервными толчками рассказа, стиснутого возбуждением торжества. Пламенное воспоминание это, витая в избранной красоте прошлого, заразило аудиторию. Лица и глаза светились возвышенной завистью людей подневольных, но увлеченных.

— А видели ли вы рыбий храм? — басом сказал толстый мальчик, видимо, давно уже державший этот вопрос на спуске своей любознательности. Тотчас же великий конфуз съел его без остатка, и, красный, как помидор, смельчак жалостно запыхтел.

— Какой храм, милочка? — улыбнулся Седир.

— В котором дикари поклоняются рыбам,— с отчаянием проголосил бедняк, прячась за Дору Минуту, так как все пристально посмотрели на его круглую, стриженую голову.— Когда дикари пляшут...— выпискнул он при общем хохоте и исчез, покончил существование как сознательный член общества, утопив свою кругленькую фигуру в путанице угловых стульев.

Жиль встал, пожимая руки поклонников, в воздухе было тесно от восклицаний. За дверью кликнул он на всякий случай извозчика,— и не напрасно, потому что любопытные явно были огорчены этим. Скоро Жиль стучал у бедных дверей на шестом этаже, в комнату жены.

Дверь тихо приоткрылась, показала легкую молодую женщину с блистающими глазами и вдруг стремительно отлетела к стене. Оба чуть не упали с высокого порога, на котором стиснули друг друга теплом, счастьем и стосковавшимися руками. Амур, всхлипывая и визжа от восторга, повис на них с цепкостью уистити, поймавшей бабочку, повернул ключ и опустил занавески.

II

Еще два года назад решено было в условии меж Фрионом и Жилем, что установление выгрыша пари и получение премии состоятся в редакции «Элеватора». За два часа перед тем, когда Седиру следовало быть на

месте триумфа, в дверь постучали корректным, негромким стуком первого посещения.

Вошел человек, скромной, солидной внешности, с привычно висящим в руках портфелем и осмотрел скудную обстановку комнаты неподражаемо пустым взглядом официального лица, обязанного быть бесстрастным во всех, без исключения, положениях.

— Норк Орк, поверенный известного вам Фриона,— ровно сказал он, кланяясь погибче Ассоль и каменным поклоном — Седиру.

Тень предчувствия напрягла нервы Жиля. Он подал стул Орку и сел на другой сам.

— Дело, благодаря которому я имею честь видеть вас, хотя предпочел бы ради удовольствия этого дело совершенно иного рода,— заговорил Орк,— касается столько же вас, сколько и партнера вашего по пари, заключенному меж вами и доверителем моим, бывшим фабрикантом Фрионом. Я уполномочен сообщить—и тороплюсь сделать это, дабы скорее сложить обязанность печального вестника,— что смелые, но неудачные спекуляции ныне совершенно уравняли с вами Фриона в отношении материальном. Он не может заплатить проигрыша.

— Жиль, Жиль! — кричала Ассоль, поворачивая к себе белое лицо мужа нечувствуемыми им маленькими руками.— Жиль, не дрожи и не думай! Перестань думать! Не смей!..

Седир перевел дыхание. Синяя жила билась на его лбу,— он летел в пропасть. Удар был невероятно жесток.

— Так. И никакой пощады? — тоскуя, закричал Жиль.

Норк Орк поднял глаза, опустил их и встал, застегиваясь, с вытянутым лицом.

— Мне поручено еще передать письмо — не от Фриона. Вам пишет известный Аспер. Кажется, это оно... да.

Жиль бросил письмо на стол.

— Как-нибудь прочитаю,— вяло сказал он, обессиленный и уставший.— Вы, конечно, ие виноваты. Прощайте.

Орк вышел; прямая спина его несколько времени была видна еще Жилю сквозь дверь. Ассоль громко, безутешно плакала.

— Плачешь? — сказал Жиль.— Я тебя понимаю. Вот судьба моего изобретения, Ассоль! Я обнес его вокруг всей земли, в святом святых сердца, оно радовалось, это металлическое чудо, как живое, спасалось вместе со мною, ликовало и торопилось сюда...— Он осмотрел комнату, бедность которой солнце делало печально-крикливой, и невесело рассмеялся.— Что же? Залепи дырку в кофейнике свежим мякишем. Начнем старую голодную жизнь, украшенную мечтами!

— Не падай духом,— сказала, поднимаясь, Ассоль,— когда худо так, что хуже не может быть,— наверно, что-нибудь повернется к лучшему. Давай подумаем. Твое изобретение не теперь, так через год, два, может быть, оценит же кто-нибудь?! Поверь, не все ведь идиоты, дружок!

— А вдруг?

— Ну, мы посмотрим. Во-первых, что же ты не читаешь письмо?

Жиль содрал конверт, представляя, что это — кожа Фриона: «Жиль Седир приглашается быть сегодня на загородной вилле Кориона Аспера по интересному делу. Секретарь....»

— Секретарь подписывается, как министр,— сказал Жиль,— фамилию эту разберут, и то едва ли, эксперты.

— А вдруг...— сказала Ассоль, но, рассердившись на себя, махнула рукой.— Ты пойдешь?

— Да.

— А понимаешь?

— Нет.

— Я тоже не понимаю.

Жиль подошел к кровати, лег, вытянулся и закрыл глаза. Ему хотелось уснуть,— надолго и крепко, чтобы не страдать. Неподвижно, с отвращением к малейшему движению, лежал он, временами думая о письме Аспера. Он пытался истолковать его как таинственную надежду, но о катастрофу этого дня разбивались все попытки самоободрения. «Меня зовут, может быть, как любопытного зверя, гвоздь вечера». Иные имеющие прямое отношение к его цели предположения он изгонял с яростью женоненавистника, обманутого в лучших чувствах и возложившего ответственность за это на всех женщин, от детского до преклонного возраста. Он был оскорблен, раздавлен и уничтожен.

Ассоль, жалея его, молча подошла к кровати и легла рядом, затихнув на груди Жиля. Так, обнявшись, лежали они долго, до вечера; засыпали, пробуждались и засыпали вновь, пока часы за стеной не прозвонили семь. Жиль встал.

— Пойдем вместе, Ассоль,— сказал он,— мне одному горестно оставаться. Пойдем. Уличное движение, может быть, развлечет нас.

III

Аспер, перейдя те пределы, за которыми понятие богатства так же неуловимо сознанием, как расстояние от земли до Сириуса, тосковал о популярности подобно Нерону, ездившему в Грецию на гастроли.

Владыка материи сидел в обществе двух господ испытанного подобострастия. Был вечер; большая терраса, где произошло вышеописанное, в ясном полном свете серебристых шаров заплыла по контуру теплым глухим мраком.

Когда вошли Жиль и его жена, Аспер, встал медленно, точно по принуждению, скупо улыбнулся и сел снова, дав на минуту свободу выжидательному молчанию. Но не он прервал его. Истерзанный Жиль сказал:

— Объясните ваше письмо!

— Оно благосклонно. Вы выиграли пари с Фрионом?

— Да,— безуспешно.

— Фрион — нищий?

— Да... и мошенник, кстати.

— Ах! — любовно прислушиваясь к своему звучному голосу, сказал Аспер.— Право, вы очень суровы к нам, игрушкам фортуны. И мы бываем несчастны. Дорогой Седир, я знаю вашу историю. Я вам сочувствую. Однако нет ничего проще поправить это скверное дело. Если вы, начиная с девяти часов этого вечера, отправитесь второй раз в такое же путешествие, какое выполнили Фриону, на тех же условиях, в двухлетний срок, я уплачиваю вам проигрыш Фриона и свой, то есть не сто тысяч, а двести.

— Как просто! — сказал пораженный Жиль.

— Да, без иронии. Очень просто.

Жиль помолчал.

— Если это шутка,— сказал он, посмотрев на из-

менившееся лицо Ассоль взглядом, выразившим и жалость и тяжкую борьбу мыслей,— то шутка бесчеловечная. Но и предложение ваше бесчеловечно.

— Что делать? — холодно сказал Аспер.— Хозяин положения вы.

Насмешка взбесила Жиля.

— Да, я вернулся раз хозяином положения,— вскричал он,— только за тем, чтобы надо мной издевались! Гарантия! Я пошел!

Все силы понадобились Ассоль в этот момент, чтобы не разрыдаться от горя и гордости.

— Жиль! — сказала она.— И любить и проклинать буду тебя! Как мало ты был со мною! Впрочем, покажи им! Я заработаю!

— Гарантия? — Аспер взял из рук у одного притихшего подобострастного господина банковскую новую книжку и подал Жилю.— Просмотрите и оставьте себе. Сегодня 13-е апреля 1906 года. Вклад на ваше имя; вы получите его по возвращении, если не позже 9-ти вечера 13-го апреля 1908 года явитесь получить лично.

— Так,— сказал Жиль,— я должен идти сегодня? Не могу ли я получить отсрочку до завтра? Один день... Или это каприз ваш?

— Каприз...— Аспер серьезно кивнул.— У меня не всегда есть время развлечься, завтра я могу забыть или раздумать. Однако, без десяти девять; решайте, Седир: спустя десять минут вы направитесь домой или будете идти к горам Ахуан-Скапа.

Жиль ничего не сказал ему, он смотрел на Ассоль взглядом полубезумным, силою которого мог бы, казалось, воскресить и убить.

— Ассоль,— тихо сказал он,— еще один раз... последний, верный удар. Сама судьба вызывает меня. Я тебя утешать не буду, оба мы в горе,— помни только, что такому горю позавидуют два года спустя многие подлецы счастья. Дай руку, губы,— прощай!

Ассоль обняла его крепко, но бережно, словно этот мускулистый гигант мог закачаться в ее руках. Носки ее башмаков еле касались пола. Жиль прочно поставил молодую женщину в двух шагах от себя, вернулся к столу, где подписал предложенное условие, и, пристально посмотрев на Аспера, сошел по широким ступеням в сад.

Но едва ноги его оставили последний лестничный камень, как он твердо остановился в ужасе от задуманного. Он знал, что, сделав только один шаг вперед, больше не остановится, что шаг этот ляжет бременем всего путешествия. Потрясенным сознанием начал он обнимать грозную громаду предпринятого. Если утром, незлопамятный от природы, он переживал в восторге удачи только вдохновенное и красивое, то теперь бился над пыльной, темной изнанкой сверкающего ковра. Пространство стало реальным, ясным во всей необозримости изобилием мучительных переходов; болезни, утомление, скучный попутный труд, изнурительная тоска о письмах, мнительность маниакальной силы, проволочки горше, чем отказ,— все стороны походного угнетения стиснули его сердце.

Аспер стоял несколько позади. Вдруг он побледнел,— состояние Жиля передалось ему с убедительностью внезапно хлынувшего дождя. Он задумался.

— Ну, вот... — сказал Жиль, скрутив слабость всей яростью ослепшей в муках души,— я иду. Ступай домой, милая!

Он шагнул, пошел и временно перестал жить. На мгновение странная иллюзия встряхнула его: ему казалось, что он шагает на одном месте,— но быстро исчезла, когда поворот аллеи устремился к смутно белеющему шоссе.

В глазах его были глаза жены, пульс бился неровно и слабо, сердце молчало, холодные руки встречались одна с другой бесцельно и мертвенно. Он ни о чем не думал. Подобно лунатику, сошел он с шоссе на тропу в том самом месте, где два года назад связал лопнувший ремень сумки. Была весна, странная восприимчивость мрака доносила эхо могучих водопадов Скапа, чувственные благоухания цветущих долин неслись в воздухе, и тысячи звезд вдохновенно жгли тьму огнями отдаленных армад, столпившихся над головой Жиля.

Равнодушный ко всему, ровным, неслабеющим шагом прошел он долину и часть холмов, песчаной тропой вышел на семиверстную лесную дорогу, одолел ее и заночевал в поселке Альми,— первой, как и два года назад, тогда утренней, остановке. Хозяин узнал его.

— За постой я пришлю с дороги,— сказал Седир,—

дайте вина, свечку и чистое белье на постель, сегодня у меня праздник.

Он сел у окна, пил, не хмелея, курил и слушал, как на дворе влюбленный, должно быть, пастух настраивает гитару.

— Заиграй, запой! — крикнул в окно Жиль.— Нет денег, плачу вином.

Смеясь, поднялась к окну пылкая песня:

В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ,—
В два-три дня установляя благодать, тепло и сушь.
Там в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед;
Синим пламенем разлива в скалы дышащее бьет.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты;
Почки лопаются звонко, загораются цветы.
Если крикнешь — эхо скачет, словно лошади в бою;
Если слушаешь и смотришь,— ты,— и истинно,— в раю.
Там ты женщин встретишь юных, с сердцем диким и прямым,
С чувством пламенным и нежным, бескорыстным и простым.
Если хочешь быть убийцей — полюби и измени;
Если ищешь только друга— смело руку протяни.
Если хочешь сердце бросить в увлекающую высь,—
Их глазам, как ворон черным, покорись и улыбнись.

Песня развеселила Седира: «Это о тебе, Ассоль,— сказал он.— И ради тебя, право, не пожалею я ног даже для третьего путешествия. Не я один был в таком положении». Он вспомнил ученого, прислуга которого, думая, что старая бумага хороша для растопки, сожгла двадцатилетний труд своего хозяина. Узнав это, он поседел, помолчал и негромко сказал испуганной неграмотной бабе:

— Пожалуйста, не трогайте больше ничего на моем столе.

Разумеется, он повторил труд.

Жиль так задумался, светлея и воскресая, что не слышал, как вошел Аспер. Лишь увидев его, он припомнил стук колеса и голоса на дворе.

— Вернитесь,— побагровев и нервничая, сказал толстяк.— Я скоро поехал догонять вас. Пустой формальностью было бы выжидать два года. Я, так и так,— проиграл; живите, изобретайте.

— Однако,— сказал Асперу в конце недели темный граф Каза-Веккия,— вы, я слышал, поторопились проиграть ваше пари?!.

— Нет, меня поторопили! — захохотал Аспер.— И, право, он заслужил это. Конечно, я оторвал деньги от своего сердца, но как хотите,— думать два года, что он, может, погиб... Передайте колоду.

— Да, жиловат этот Седпр,— неопределенно протянул граф.

— Жиловат? Это — сокрушитель судьбы, и я ему, живому, поставлю памятник в круглой оранжерее. А та разбойница, Ассоль... Увы! Деньгами не сделаешь и живой блохи. Как,— бита? Нет, это валет, господин...

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА

Посвящаю Нине Н. Грин

I

В 1903-м году, в Лондоне, женился Август Эсборн, человек двадцати девяти лет, красивый и состоятельный (он был пайщик судостроительной верфи), на молодой девушке, Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на девять лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой: ее зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсборна нравиться скоро определили желанный ответ.

Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсборна, всем было ясно, что гости и родственники Эсборна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и женщиной. Богатая квартира Эсборна утопала в цветах и огнях, стол сверкал пышной сервировкой, и музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Повеяло той наивной и эгоистической сердечностью, какая присуща счастливцам. Выражение лица Алисы Эсборн и ее мужа определило настроение всех — это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира.

Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсборн, склонив лицо к руке, которой вертел цветок, о чем-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упорная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему.

Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсборн подошел к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на десять для того, чтобы свежий воздух прогнал легкую головную боль. Закруженная всем этим днем, полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсборна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа.

Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались ее широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что ее жених-муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину; она встряхнула блестящими черными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит; и в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошел час, как вышел Эсборн,— час, исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряженных чувств перемены судьбы.

Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло еще полчаса. Между тем Алиса не могла найти места от тревоги. У нее было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около пяти часов утра, когда еле держалась на ногах. В полиции записали приметы исчезнувшего Эсборна и в быстром деловом темпе обещали принять «все меры».

В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Ее мозг получил сильное сотрясение. Еще два дня она ждала Эсборна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался с страшной высоты последний камень, дер-

жась за который и изнемогая висела она над внезапной пустотой всего и во всем.

Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей девушки остался испуг—боязнь звонка и стука в дверь. Ей казалось, что войдет он, уже немыслимый и отвергнутый... Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсборну, что он покинул ее среди ее первых доверчивых минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту.

Прошел год, другой. С ней встретился человек, которого тронула ее история, полюбил ее и стал ее мужем.

II

Когда Август Эсборн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию беса невинной мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь оттого, что во время речи полковника, пожелавшего новобрачным «провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда», представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была несознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспомнил, как, еще мальчиком, любил прятаться в темный шкап и выскакивал оттуда, лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее.

Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернется. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всем этом, а потому и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи и на улицах становится все меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться,

когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред, женщины, не уступая доводам рассудка, говорят с тоской: «Ах, я ничего, ничего не знаю!» — а мужчины испытывают приближение рока, заключенного в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и ему пришло на мысль, что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройства и тяготы всей остальной ночи, тем более, что утром он надеялся представить жене все как нелепую, случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел, как был,— во фраке, белом галстуке, с цветком,— в холодный мрачный номер.

Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своем положении, Эсборн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров. Все время было при нем, с ним это тоскливое, мучительное противодействие—непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в одиннадцать. Тогда перед ним встал вопрос: «Что теперь делать?»

III

Он видел, что все погибло, погибает, и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас, утром, оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним, самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинуясь этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но слова не повиновались так, как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьезном усилии. Эсборн был теперь, как перегоревший шлак,— так много он пережил за эти часы.

Эсборн провел рукой по глазам. Внезапно вспомнив, что должны думать о нем, он послал за газетой и, раз-

вернув ее, отыскал с злым изумлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсборна при обстоятельствах, которые знал сам, но, читая, готов был усумниться, что Эсборн — это и есть он, читающий о себе.

Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесен тяжкий удар невесте-жене. Он не мог бы теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным солгать так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни.

Но, как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть в лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок, в равновесие избитого тела, полубесчувственно распростертого среди темной ночной дороги.

Он переменил имя, открыл, что произошло, своему другу, взяв с него клятву молчать, и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдаленную часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсборн стал «пропавшим без вести». Джон Тернер, заменивший его, вошел в жизнь и жил, как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы и одна неизменная, причудливая мысль, связанная с Алисой — теперь Алисой Ренгольд.

IV

Он не мог думать о ней, как о чужой, и время от времени наводил справки о ее жизни, узнавая через частный сыск все главное. Он узнал о ее болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсборна-Тернера являлось неотгоняемое представление, что он всегда с ней, в лице этого Ренгольда, служащего торговой конторы. Он был, про себя, ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой канве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме

Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни,— не то беспрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет: «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером.

Так шло и прошло одиннадцать лет. На двенадцатом году безвестия Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на шесть месяцев в Индию, и у него противу всех душевных запретов стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день, в жаркий, изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день, он поехал, как на казнь, к дому, где жила Алиса Ренгольд.

По мере того, как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится в глубь прошедших годов и что время — не более, как мучение. Жизнь перевертывалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся новизне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка.

Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не сознавая, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свет комнаты, где увидал подходившую к нему постаревшую, красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал ее, затем узнал так, как будто видел вчера.

Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано все. Шатаясь, Эсборн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины.

— Прости! — сказал он, сам ужасаясь этому слову.

— Я рада, что вы живы, Эсборн,— сказала, наконец, Алиса Ренгольд издалека, голосом, который был мучительно знаком Эсборну.— Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы...— упав в кресло, она быстро, навзрыд заплакала и договорила: — все годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите,— о! мне так тяжело, Август!

— Я уйду,— сказал Эсборн.— Там, в моем дневнике... Я писал каждый день... Может быть, вы поймете...

Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно.

КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО

Стало темно. Туча, помолчав над головой Костлявой Ноги, зарычала и высекла голубоватый огонь. Затем, как это бывает для неудачников, все оказалось сразу: вихрь, пыль, протирание глаз, гром, ливень и молния.

Костлявая Нога, или Грифит, постояв некоторое время среди дороги с поднятым кверху лицом, выражавшим презрительное негодование, сказал, стиснув зубы:— «Ну хорошо!», поднял воротник пиджака, снятого на гороховом поле с чучела, сунул руки в карманы и свернул в лес. Разыскивая густую листву, чтобы укрыться, он услыхал жалобное стенание и насторожился. Стенание повторилось. Затем кто-то, сквозь долгий вздох, выговорил: — «Будь прокляты ямы!»

Грифит сделал несколько шагов по направлению выразительного замечания.

Прислонившись к пню, сидел молодой человек в недурном новом летнем пальто, с хорошенькими усиками и румяным лицом. Охватив руками колено, он раскачивался из стороны в сторону с таким мучительным выражением, что Грифит почувствовал необходимость назвать себя.

— Позвольте представиться,— сказал он угрюмо, как будто посылал к черту.— В тех кругах, где вы не бываете, я известен под именем Костлявой Ноги. Мой отец ничего не знает об этом, так как его звали Грифит. Чем вы недовольны в настоящую минуту жизни?

— Тем, что свихнул ногу,— ответил молодой человек, смотря на серое, голодное лицо Грифита и переводя взгляд на ближайший толстый сук.— Я не могу больше идти. Боль страшная. Нога горит.

— Вы бы встали,— заметил Грифит.

Пострадавший злобно и тяжко крякнул.

— Бросьте шутки,— сказал он.— Лучше бегите по дороге на ферму — это полчаса ходьбы — и скажите там Якову Герду, чтобы прислал лошадь.

— На ферму «Лесная лилия»? — кротко спросил Грифит.— Ну нет, я не так глуп. Месяц назад я поспорил там с одним человеком. Я старательно обхожу эту ферму. Она мне не нравится. Прощайте.

— Как,— вскричал пострадавший,— вы бросите меня здесь?

— Почему же нет? Какое мне дело до вашей ноги? Ну, скажите, какое? — Грифит пожал плечами, сплюнул и отошел. Постояв под дождем, он вернулся, сморщась от раздражения.— Вот вы и пропадете тут,— сказал он грустным голосом,— и помрете. Прилетят птички, которые называются вороны. Они вас скушают. Кончено. Прощайте радости жизни!

Взгляд разъяренного кролика был ему ответом.— С людьми вашего сорта...— начал молодой человек, но Грифит перебил.

— Черт бы вас побрал! — сурово сказал он, схватив жертву под мышки и ставя на одной ноге против себя.— Прислонитесь пока к стволу. Я посмотрю. Вес легкий. Я вас снесу, но не на ферму — долой собак! — а где-нибудь поблизости. Там вы можете проползти на брюхе, если хотите.

— Удивительно,— пробормотал молодой человек,— зачем вы ругаетесь?

— Потому что вы осел. Почему вы не свернули себе шею? По крайней мере, мне не пришлось бы возиться с таким трупом, как вы. Ну, гоп, кошечка! С каким удовольствием я бросил бы в озеро ваше хлипкое туловище.

Говоря это, он с ловкостью и бережностью обезьяны, утаскивающей детеныша, взвалил жертву на плечи, дав ей обхватить шею руками, а свои руки пропустил под колени пострадавшего и встряхнул, как мешок. Взвизгнув от боли, молодой человек страдальчески рассмеялся. Его взгляд, полный ненависти, был обращен на грязный затылок своего рикши.

— Вы оригинал, но, как вижу, очень сильны,— проговорил он.— Я не забуду вашей доброты и заплачу вам.

— Заплатите вашей матери за входной билет в эту юдоль,— сказал Грифит, шагая медленно, но довольно

свободно, по размытой дождем дороге.— Не нажимайте мне на кадык, паркетный шаркун, или я низвергну вас в лужу. Держитесь за ключицы. Так с высоты моей спины вы можете обозревать окрестность и делать критические замечания на счет моей манеры говорить с вами. Моя манера правильная. Я сразу узнаю человека. Как я увидел вашу лупетку, так стало мне непреоборимо тошно. Разве вы мужчина? Морковка, каротель,— есть такая сладенькая и пресная. Другой бы за десятую часть того, чем я вас огрел, вступил бы в немедленный и решительный бой, а вы только покрякиваете. Впрочем, это я так. Сегодня у меня дурное настроение.

Его ровный, угрюмый, дребезжащий голос, а также ощущение могучих мускулов, напряженных под коленями и руками жертвы, привели молодого человека в оторопелое состояние. Он трясся на спине Грифита с тоской и злобной неловкостью в душе, нетерпеливо высматривая знакомые повороты дороги.

Грифит, который эти дни питался случайно и плохо, стал уставать. Когда ноша сообщила ему, что ферма уже близко, он присел, ссадив жертву на траву,— отдохнуть. Оба молчали.

Молодой человек, охая, ощупывал распухшую у лодыжки ногу.

— Зачем шли лесом? — угрюмо спросил Грифит.

— Для сокращения пути.— Молодой человек попытался фальшиво улыбнуться.— Я там знаю все тропочки от Синего Ручья до Лесной Лилии. И вот, представьте себе...

— Полезай на чердак! — крикнул Грифит, вставая.— Эк разболтался! Не дрыгай ногой, чертов волосатик, сиди, если несут.— И он снова побрел, придумывая, как бы больнее растравить печень себе и своему спутнику.— Решительно мне не везет,— рассуждал он вслух,— тащить вместо мешка хлеба или свинины первого попавшегося ротозея, которому я от души желаю лишиться обеих ног,— это надо быть таким дураком, как я.

Дорога стала снижаться. Под ее уклоном блеснуло озеро с застроенным несколькими домами берегом.

— Ну,— сказал Грифит, окончательно ссаживая молодого человека,— катись вниз, к своему Якову Герду. Возьми палку. Ею подпирайся. Да не эту, остолоп проклятый, вот эту бери, прямую.

Он сунул отломанный от изгороди конец жерди.

— Вы... потише,— сказал вывихнутый, взглядывая на крыши.— Здесь не лес.

— А мне что? — добродушно ответил Грифит.— У меня нет крыши, на которую ты так воинственно смотришь. Прощай, береги ножки. Как бы там ни было. Мой сын был вроде тебя, но я его обломал. Он умер. Убирайся!

Не обращая более внимания на человека, с которым провел около получаса, Грифит задумчиво побрел в лес, чтобы обогнуть ферму, где некогда водил знакомство с курами. Его что-то грызло. Скоро он понял, что эта грызня есть не что иное, как желание посидеть, в чистой, просторной комнате, за накрытым столом, в кругу... Но здесь мысли его приняли непозволительный оттенок, и он стал тихо свистать.

Гроза рассеялась: дождь капал с листьев, в то время как мокрая трава дымилась от солнца. Грифит провел несколько минут в состоянии философского столбняка, затем услышал собачий лай. Лай затих, немного погодя в кустах раздалось жаркое, жадное дыхание, и Грифит увидел красные языки собак, удержаниых от немедленной с ним расправы ремнем, оттянутым железной рукой Якова Герда. Это был старик, напоминающий шкап, из верхней доски которого торчала вся заросшая бородою голова гиганта. Винтовку он держал дулом вперед.

Грифит встал.

— Я не ем куриного мяса,— сказал он.— Вы ошиблись и в тот раз и теперь. Я — вегетарианец.

— Если я еще раз увижу тебя в этих местах,— сказал Герд, бычьим движением наклоняя голову,—ты при мне выкопаешь себе могилу. Что сделал тебе племянник? За что ты так оскорбил его?

— Мы поссорились,— угрюмо ответил Грифит, не сводя взгляда с собак.— Спор вышел из-за вопроса о...

— Ступай прочь,— перебил Герд, тряся за плечо бродягу.— Помни мои слова. Я пощадил тебя ради воскресенья. Но Визг и Лай быстро находят свежую дичь.

И он стоял, смотря вслед бродяге, пока его спина не скрылась в кустах.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Скульптор, не мни покорной
И вязкой глины ком...

Т. Готье

I

— Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу,— сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто.— Ну, Джен,— отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие новости.

Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.

Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась.

— Ох, я боюсь всего потрясающего,— сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку.— Не сердись. Я только хочу сказать, что когда ты приносишь «потрясающие» новости, у нас, на другой день, обыкновенно, не бывает денег.

— На этот раз, кажется, будут,— возразил Геннисон.— Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела — вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других, поэтому Стерс сказал: — «Мой милый, это ведь ваша фигура «Женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках»? — Конечно, я отрицал, а он докончил, ничего не выпытав от меня:—«Итак, говоря условно, что ваша,— эта статуя имеет все шансы. Нам,— заметь, он сказал «нам»,— значит, был о том разговор,— нам она более других по душе. Держите в секрете. Я со-

общаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды. Поправляйте свои дела».

— Разумеется, тебя нетрудно узнать,— сказала Джен,— но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?

— Что еще он сказал,— я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисуика, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?

— Ледан уже представил свою работу?

— Верно — нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?

— Я подумала,— задумавшись, произнесла Джен,— что, пока мы не знаем, как справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.

— Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом, Стерс еще сказал, что моя «Женщина» — удачнейший символ науки, ведущей младенца — Человечество — к горной вершине Знания.

— Да... Так почему он не говорил о Ледане?

— Кто?

— Стерс.

— Не любит его: просто — не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.

Напряженный разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.

Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение

десяти минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность.

Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната, с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать...

Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы — было почти семь — и встал.

— Джен, я схожу. Ты понимаешь — это не беспокойство, не зависть — нет; я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но... но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях.

Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрыла и выдала, поспешно сказав:

— Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?

— Очень скоро,— сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу.— Итак, недели две, не больше, осталось нам ждать. Да.

— Да, так,— ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: — Иди же. Я сяду шить.

II

Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:

— Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть,

подправить кой-что. Ну, как — много ли доставлено сегодня моделей?

— Всего, кажется, четырнадцать.— Нурс стал глядеть на пол.— Поннмаете, какая история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке.

— Конечно, конечно,— подхватил Геннисон,— но, право, у меня душа не на месте и неспокойно мне, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет безвредно. И... вот она,— покажите-ка ей место в кассе «Гриль-Рума».

Он вытащил золотую монету — последнюю — все, что было у него,— и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.

— Ну, да,— сказал Нурс,— я это очень все хорошо понимаю... Если, конечно... Что делать — идем.

Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях, покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преображенной жизненности, какая отличает скульптуру. Два человека разно смотрели на это. Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать глазами Ледана.

Нурс вышел.

Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону с щитом и гербом города. Ледан тоже не изумил выдумкой. Всего-навсего — задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном ли-

це отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит.

Геннисон отступил с чувством падения и восторга.— «А! — сказал он, имея, наконец, мужество стать только художником.— Да, это искусство. Ведь это все равно, что поймать луч. Как живет. Как дышит и размышляет».

Тогда — медленно, с сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той «Женщине с книгой», которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он всмотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного ви́дения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.

За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя сильными ударами обратил свою модель в глину,— без слез, без дикого смеха, без истерики,— так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.

— Эти удары,— сказал он прибежавшему на шум Нурсу,— я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести.

— Как?! — закричал Нурс,— эту самую... и это — ваша... Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?

— Что? — повторил Геннисон.— То же, но только лучше,— чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.

БЕЛЫЙ ОГОНЬ

I

«Зал художественных аукционов» — коммерческое учреждение, основанное, как гласила вывеска, в 1868 г., лишилось ценного служащего. То был Джозеф Лейтер, повесивший ударами молотка на золотые гвозди покупателей десятки тысяч картин.

Он продавал с азартом, с пламенным ожесточением проповедника. Его глаза, налитые нервным блеском, останавливались на лицах колеблющихся соперников с затаенным льстивым восторгом; скромно опуская ресницы или вдруг насмешливо озирая публику, он подстрекал самолюбие, дразнил жадность, медля опустить молоток, срывая последние судороги запоздавшего аппетита; он в совершенстве постиг власть пауз, выкрикивая ни раньше, ни позже, но именно в нужный момент, с оттенком непоправимой потери: «Восемьсот слева! Спереди — центр — тысяча! Сзади — направо — три,— три тысячи сзади; три, три, три,— кто более?!» — в результате чего кто-нибудь, как бы слыша вызов или презрение, бросал решительную надбавку.

Обстоятельства сложились так, что один из сподвижников Лейтера заболел, другой переменил место, а третий был рассчитан за мошенничество, почему последние одиннадцать дней Лейтер безотлучно стоял на аукционной эстраде. Надсаживаясь и хрипя от переутомления, с горлом, повязанным платком, небритый, бледный и грязный, он не выпускал молотка, следя за выражением лиц, подобно опытному рыболову, которому вздрагивание лесы точно говорит о величине и породе рыбы, схватившей приманку. Его голос срывался, рука дрожала; ослабевающее внимание упускало важные моменты тишины; теряя способность угадать, что даст следующая минута,— падение молотка или взрыв надбавок,— он делал непростительные ошибки, выходя из ритма общего внутреннего движения, тратясь без нужды на вялые моменты и плохо соображая там, где следовало подчеркнуть большую игру.

У его левой руки, меняя форму и силу, сверкала вечная человеческая душа, выраженная художественным усилием. Она появлялась, исчезала и появлялась вновь.

с номером на лице. Картина, статуя, вышивка, гобелен, бронза, камея, этюд, рисунок, медальон, бюст — и каждый раз в каждом творении Лейтер находил немного себя, тотчас продавая это немногое тем, кто владел силой зажать рот чужому желанию безнадежным холодом высокой цены.

Последний месяц по количеству вещей, выброшенных на аукционные рынки, был исключителен. В том мире есть шквалы и штили, затмения и ясные дни, приливы и отливы. Эпидемия продаж подобна чуме, в силу обстоятельств весьма сложных и значительных для того, чтобы была возможность без надобности объяснить их в кратком повествовании.

Эта эпидемия, этот непрерывный трепет души, выраженный трагическим усилием и ощупываемый грязной ладонью художественной похоти, треплющей ее по щеке с видом глубокомыслия,— выяснил, наконец, полное бессилие Лейтера стучать впредь молотком по карману и нервам. Решительную роль сыграл рисунок Берн-Джонса — узкая полоса желтой бумаги с изображением обнаженной женской руки. Еще ранее Лейтер останавливался перед этим рисунком со вздохом тихого облегчения. У Лейтера было второе внутреннее лицо, над которым он не задумывался.

Эта совершенно прекрасная рука, вытянутая горизонтально от плеча до кисти, которая слегка свешивалась с нежным и твердым выражением, объясняла нечто неназываемое так бесспорно, что зрителю оставалось лишь отвечать ей мыслью и чувством так же красиво и чисто, как красиво и чисто было изображение.

— Рисунок Берн-Джонса!— провозгласил Лейтер.— Собственность Марка Твида, заявленная цена двести...— Привычным движением он поднял свою руку и вдруг увидел ее по-новому. Эта рука с нечищенными ногтями тряслась в грязной манжете, облитая набухшими жилами.

Произошло некоторое смещение предметов и мыслей, подобно тому, что называется «двоится в глазах». Лейтер милостиво улыбнулся; у него было сухо и горько во рту, скверно и разносторонне противно на душе. С остротой боли вдохновенно подметил он все оттенки идиотизма, рассеянные в физиономиях, увеселился и

рассмеялся. В то же время на него направились глаза всех портретов и статуй. Он выпрямился.

— Я имею сказать,— захрипел Лейтер,— что этот рисунок должен быть куплен безусловно по цене небесной зари. Это оттого, что я очень устал. Давно уже замечаю я, что покупаете вы множество всякой дряни, до которой вам, как и до Берн-Джонса, нет никакого дела. Однако я желал бы продать этот рисунок, предварительно узнав, был ли покупатель рожден женщиной. Закрываю аукцион!

На него хлынул туман, заставив отступить к стене; бормоча: «попала мне пальцем в глаз какая-то шельма»...— он был подхвачен усердными руками служащих. И неторопливые, степенные, безусловно приличные, вполне нормальные люди отвезли Лейтера в больницу умалишенных.

II

— Довольно! — сказал Лейтер, еще не открывая глаз.— Я не хочу вашего супа. От него делается изжога. С меня достаточно чая, хлеба и масла.

Никто ему не ответил. Он сел и осмотрелся с досадой, тотчас уступившей место глубокому изумлению.

Он находился в глухом лесу, у ствола старого дуба, на краю узкого зеленого луга, замкнутого со всех сторон чащей. Блаженное утреннее солнце поджигало траву. Веселый аромат сырости, зелени и земли возбуждал легкие. За деревьями, в гнездах лесного мрака вспыхивали зеленые искры. Ближайшие птицы, подхватывая или перебивая далекое щебетание, разражались неистовой трелью; бабочки, сидя на цветах, медленно поникали крыльями; бродил свет, трепетали тени, дымилась роса.

Лейтер, сжав голову, минут пять осваивался с положением, пока не натолкнулся на единственное правильное толкование происшедшего.

— Я бежал,— сказал он, внимательно прислушиваясь к своему голосу, с тревожной и добросовестной подозрительностью человека, не вполне уверенного в благополучном состоянии собственного рассудка.— Да, я, очевидно, бежал из больницы,— тресни она. Я был болен. Теперь, кажется, я здоров, я чувствую, что я

здоров, так как у меня нет больше этой проклятой тоски.

Невероятным усилием вырвал он из недр ослабевшей памяти блеск лунного окна, расшатанную решетку и четыре пустых бочки, поставленных одна на другую в углу садовой стены.

— Прекрасно,— продолжал он.— Сделаем экзамен рассудку: «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками».— «Сомнение в собственном сумасшествии должно быть признано доказательством психического здоровья». Я — Джозеф Лейтер, тридцати лет, нахожусь в дикой лесистой местности с явным желанием немедленно вернуться домой к обычным своим занятиям.

Но он уже понимал, что выздоровел,— и без этих наивных упражнений,— быть может, благодаря потрясению свободы, добытой путем связных усилий, долгому сну, отдыху,— вернее же всего — силой тех душевных течений, какие при остром помешательстве, бурно выйдя из берегов, скоро нащупывают прежнее основное русло.

Успокоенный и почти счастливый,— так как полному счастью мешало тревожное нетерпение выбраться возможно скорее к заселенным местам,— Лейтер обошел лесной луг, избирая верное направление. По теням скоро заметил он, что двигается спиной к западу, и тотчас повернул обратно, сделав спустя короткое время привал ради орехов и диких слив, что, утолив голод, не вернуло, однако, его смягченному воспоминанию о больничном супе прежнего отвращения. Затем Лейтер продолжал путь, следуя течению маленького ручья, бегущего к западу.

В поту, с ободранным лицом и руками, он делал милю за милей то вброд, то по руслу, если растительность, свисавшая над водой, мешала идти берегом, то проваливаясь в овраги, заваленные буреломом, или продираясь в густой тьме, с клочком неба над головой, сквозь заросли, вызывавшие припадок сердцебиения. Чем больше он уставал, тем острее подгоняла его сама усталость, которую он стремился опередить, оставив лес позади. Меж тем, вначале маленький, как струя воды из опрокинутого ведра, ручей расширился; его течение нарастало, ширина увеличивалась, а призрачный

блеск мелкого песчаного дна медленно угасал, оставляя местами воду черной, как полоса бархата, трепещущая под ветром. Изменялся характер берегов: довольно просторная опушка, усеянная мысами и желтыми мелями, незаметно образовала крутые обрывы, к осыпям которых в угрюмой тесноте и вечном молчании подступали прямые влажные стволы чащи. Их вершины разделялись высоко над головой Лейтера извилистой синей щелью; внизу бродил искаженный свет, еле шевеля черноту потока серыми отблесками. Лейтер принимался кричать, но крики возвращались к нему тупым эхом, запертым на замок. Затем отстаивалась прежняя тишина, нарушаемая так внезапно и редко, что испуганный слух болезненно переносил эти краткие нарушения; подавленный, угнетенный, бессильный, с извращенным удовлетворением раба, возвращался он к прежнему состоянию покорного напряжения. Плеснула рыба, выдра прошумела в траве, скакнула и заверещала пума; отдаленный треск, ворочаясь, как кора в огне, звучал дикой тоской. Эти явления разделялись долгими промежутками лесного безмолвия.

Так проходил день, пока, наконец, не увидел Лейтер впереди себя, сквозь стволы, поворота течения, род просвета, заполненного сверкающей белизной. Вначале показалось ему, что это известковый утес, чему он весьма обрадовался, надеясь с высоты обозреть местность, но, приближаясь, был вынужден неоднократно останавливаться, так как белое нечто усложнялось странными очертаниями, напоминающими группу человеческих тел или статуй; Лейтер протер глаза. Между тем сомнениям все менее оставалось места; уже, заслоненный ветвями, мелькнул впереди мраморный профиль, за ним другой, третий и, наконец, тонкий рисунок фигуры, стоящей где-то вверху, в полных, как веселый крик, лучах солнца, поднявшегося к зениту.

Лейтер отвернулся, пятясь спиной к таинственному явлению, в надежде, что оно, если, приблизясь, он станет к нему вдруг снова лицом, рассеется, подобно туману; однако поймал себя на том, что невольно прибавляет шагу, подгоняемый любопытством. В том месте лес отступал и был значительно реже; лишь там, где сверкала чудная белизна, его крылья вновь смыкались у берегов пышными остриями. Лейтер не выдержал. Он

обернулся шагах в двадцати от зрелища, которое, раскрывшись теперь вполне, исторгло у него крик изумления. Не бред, не галлюцинация поразили его. Пред ним блистало подлинное произведение чистого и высокого искусства, брошенное, подобно аэролиту,— телу непостижимой звезды,— в стомильные дебри лесной пустыни.

Здесь берега ручья несколько возвышались, образуя естественные устои, на которых держалось сооружение. Это была мраморная лестница без перил, согнутая над ручьем высокой аркой, с круглым под ней отверстием, в которое, серебрясь и темнея, шумно устремлялся поток. Оба конца лестницы повертывались внизу легким винтообразным изгибом так, что нижние их ступени почти сходились, образуя как бы рассеченное снизу кольцо. По лестнице, улыбаясь и простирая руки, сбегал рой молодых женщин в легкой, прильнувшей движением воздуха одежде; общее выражение их порыва было подобно звучному веселому всплеску, овеянному счастливым смехом. Две нижних женщины, коснувшись ногой воды, склонялись над ней в грациозном замешательстве; следующие, смеясь, увлекали их; остальные, образуя группы и пары, спешили вслед, и с их приветливо вытянутых прекрасных рук слетала улыбка.

Это мраморное движение разделялось на обе стороны лестницы, с живописным разнообразием, столь естественным, что строго рассчитанная гармония внутреннего отношения форм казалась простой случайностью. Центром чуда была легкая фигура девственной чистоты линий, стоявшая наверху, с лицом, поднятым к небу, и руками, застывший жест которых следовало приписать инстинкту тела, ощущающего себя прекрасным. Они были приподняты с слабым сокращением маленькой кисти, выражая силу и стыд, смутную прелесть юной души, смело и бессознательно требующую признания, и запрещение улыбнуться иначе, чем улыбалась она, охваченная тайным наитием.

Внизу и на верху лестницы, свешивая ползучие ветви, покрытые темными листьями, стояло несколько плоских ваз. Растения, выбегающие из них, были, повидимому, насажены здесь давно, так как, пробравшись на самую лестницу, Лейтер заметил, что земля в вазах

и дикий вид старых ветвей, почти высохших, помечены рядом лет. Но ничто не говорило о древности самих ваяний, в них чувствовалась нервная гибкость и сложность новых воззрений, мрамор был бел и чист, на медной доске, врезанной под ногами верхней прекрасной женщины, чернел крупный курсив: *«Я существую — в силе, равной открытию»*.

Какой замысел, какой глубокий каприз, какая могучая прихоть крылись под этой надписью? Более двух часов провел Лейтер, рассматривая фигуры, созданные безвестным резцом для того, чтобы навсегда помнил их лишь некий случайный и,— мнилось — столь редкий в этих местах, что самое появление его здесь следовало считать чудом,— одинокий бродяга.

От лестницы ручей резко поворачивал к югу. Лейтер, держась прежнего направления, покинул место, осененное святым мрамором, и через два дня достиг, наконец, поселка, оказавшегося так далеко от города, что он сел в поезд.

Врачи подтвердили его выздоровление, хотя, расскажи он им о своем открытии, больница могла бы его вновь пригласить к супу, вызывающему изжогу. Но другим, тем, кто не имел к психиатрии ни малейшего отношения, Лейтер рассказывал о прекрасной мраморной группе. Никто не верил ему; он стал повторять рассказ все реже и реже, сохранив его, наконец, только для одного себя.

ШЕСТЬ СПИЧЕК

I

Вечерело; шторм снизил давление, но волны еще не вернули тот свой живописный вид, какой настраивает нас покровительственно в отношении к морской стихии, когда, лежа на берегу, смотрим в их зеленую глубину.

Меж этими страшными и крутыми массами черного цвета стеклянно блестел выем, в тот же миг, как вы заметили его, взлетающий выпукло и черно на высоту трехэтажного дома.

В толчее масс кружилась шлюпка, которой управляло двое.

На веслах сидел человек без шапки, с диким, заостренным лицом, босой и в лохмотьях. Его красные глаза слезились от ветра, шея и лицо, почерневшие от испытаний, поросли грязной шерстью. Голова с отросшими, как у женщины, волосами была перетянута платком, черным у виска от засохшей крови. Он греб, откидываясь назад всем телом и каждый раз закрывая глаза. Подаваясь вперед занести весла, он снова открывал их. Следя за направлением его неподвижного взгляда, можно было догадаться, что этот человек смотрит на бортовый ящик.

Второй человек сидел у руля, управляя движением шлюпки с всепоглощающей заботой не дать бешеному движению воды выбить из рук румпель, трясшийся беспрерывно, как тряслись от крайнего напряжения руки рулевого. Этот человек был одет или, вернее, раздет в той же степени, как и первый, с той разницей, что на нем, кроме белья, разорванного, хлопающего на руках и спине, были просмоленные брюки, застегнутые скрюченными кусками проволоки. Отросшие черные волосы хлестали по глазам, взгляд которых был более разумен, чем взгляд его товарища по несчастью. Лицо опухло, сквозь сильный загар светилось истощение. Усы и борода вокруг искусанных запекшихся губ сбились мохнатым кольцом. Он был мускулист, тяжел, двигался медленно и основательно даже теперь, когда первый дергался при каждом толчке волны и производил впечатление потерявшегося.

Дно шлюпки было залито водой, где плавали, стукаясь о борта, консервные жестянки, обломки скамеек, служивших некогда факелом; там же мокли, болтаясь при перевалах через гребни, тряпки, куски кожи, обрывки бумаги. Сами того не замечая, оба пловца мелко, беспрерывно дрожали, сутулясь от холодного ветра.

Наконец один из пловцов проговорил медленно и упорно:

— Метлаэн!

— Понатужься, Босс, молодчина, хорошая старая собака! — крикнул рулевой.— Слышишь, что я говорю? Ветер упал.

Босс поднял голову, двинул весла, как бы нехотя, и стал смотреть на бортовый ящик.

Некоторое время они молчали. Небо слегка очистилось впереди и темнело, пена перестала летать, срываясь, через головы пловцов, и разбег валов принял более равномерный темп. Не выпуская руля, привязанного к талии толстым концом, Метлаэн потянулся левой рукой и достал из бортового ящика карманные золотые часы, которые не забывал заводить при всяких условиях сорокадвухдневного скитания по волнам. Приблизив часы к глазам, Метлаэн увидел, что время — без двадцати минут шесть.

Некоторое время он держал часы в руках, как бы не решаясь выпустить это осязательное доказательство стойко существующей за горизонтом спокойной и безопасной жизни. Затем вложил часы в ящик. Подымая голову, Метлаэн заметил взгляд Босса, легший на его руку тяжело, как упрек.

Тем временем валы снизились, и неожиданно удары воды сменились отлогими перевалами. Стоял шум тысячи водяных мельниц.

Босс сказал:

— На западе ничего нет. Зачем плыть на запад?

— Куда мы не бросались?! — возразил Метлаэн.— Надо плыть в каком-нибудь одном направлении. И разрази меня бог, если я знаю, где мы находимся!

Его тревога была так сильна, что он различил острое посвистывающее дыхание Босса. Оно звучало, как стон. Подняв голову, Босс дико и неуверенно произнес:

— Я хочу закурить.

II

Метлаэну нужно было некоторое время, чтобы, услышав это, такое простое заявление, примириться с неизбежным, понять, что оно наступило. Он дернулся на своем месте и с отчаянием посмотрел во тьму. Страх выбил из его души все мысли и чувства, кроме нелепого гнева на Босса. Он сам держался если не из последних, то из таких сил страдания, которые, останься он один, могли мгновенно изменить ему, бросив его и шлюпку на произвол случая. Смерть одного подчеркивала близкий конец другого.

— Эй, Босс,— сказал, удерживая ругательства, Метлаэн,— если ты собрался околевать, то лучше это тебе сделать во сне. Вались и спи.

Босс не обратил внимания на его слова. Поддерживая голову рукой, он устойчивее расставил ноги и проговорил, разделяя слова хрипом останавливающегося дыхания:

— Я это знал, когда мы еще садились в шлюпку. У меня екнуло так, будто махнули перед глазами пальцем. Дома не быть — я знаю это. Ни есть, ни пить, Метлаэн, этого больше нет,— только курить. Ты не можешь сказать, что я был плохим товарищем. Я ослаб и умер — только всего. Ну же, давай е е!

Он говорил о половине сигары, спрятанной на самом дне бортового ящика вместе с шестью спичками. Спички и окурок были обмотаны куском просмоленного брезента, а брезент завернут в рукав старой куртки. Согласно уговору, выкурить этот окурок мог только умирающий. Дней десять назад, перекладывая содержимое ящика, Метлаэн нашел этот замусоленный и распухший кусок сигары на дне коробки из-под овощей. Сигара принадлежала Бутлеру, последняя сигара на трех людей, сходящих с ума при мысли о табаке. Ее курили несколько раз по очереди. Бутлер сказал, что уронил окурок в воду, между тем как, продержав его в рукаве, спрятал ночью в жестянку. Когда Метлаэн нашел окурок, Бутлер был в беспамятстве и умер, не приходя в сознание.

— Скорее, Метлаэн,— сказал Босс,— у меня голова кружится, мне худо.

Чувствуя томление, во время которого его тело иногда как бы исчезало, он стал беспокойно двигаться. На перевале через волну, когда рухнувшая вниз шлюпка сильно встряхнулась, Босс соскользнул на колени, затем привалился правым плечом и щекой к борту, сидя на подогнутых под себя ногах.

В положении Метлаэна не было никаких средств оживить умирающего. Страх остаться одному перешел в дикую нервную тоску и тщательное внимание, с каким следовало исполнить теперь последнее желание Босса. Но он сказал все-таки:

— Вгрызись зубами в судьбу, Босс, вставай!

— Долго ты будешь рассуждать? — с ненавистью прохрипел Босс.

Метлаэн привязал руль так, чтобы он не изменил положения, то есть обмотал конец румпеля веревкой с двумя концами, прикрепив к бортам: левому — один конец, правому — другой. Устроив это, он с сомнением посмотрел на шлюпку, которая, лишенная живой силы, правившей ею до сего момента, стала повертываться, но решил, что возня с окурком — дело одной минуты, в течение которой мало риска перевернуться. Тогда он открыл бортовый ящик и развязал сверток, держа его на коленях, чтобы не уронить за борт.

Было темно, но он чувствовал, что Босс живет теперь глазами в каждом его движении. Нащупав окурок, Метлаэн не удержался от искушения сжать в зубах его конец, отдававший в слюну крепким и горьким вкусом, потом, вдохнув еще раз табачный запах, передал окурок Боссу. Руки их встретились, разыскивая одна другую, и Метлаэн удивился про себя, как цепко, с силой схватил Босс свое последнее угощение.

— О-го-го! — жадно сказал Босс.— Огня!

— Дай сигару назад,— Метлаэн протянул руку.

Наступило молчание. Затем Босс протянул руку, и Метлаэн ощутил на своем колене холодную, костлявую тяжесть. Это была рука Босса, которой пытался он иронически похлопать товарища.

— Если ты раздумал...— тихо произнес Босс,— и если ты...

У него не было силы договорить, его мотало, то приваливая к борту, то неудержимо клоня в сторону, и он схватывался тогда за край борта. Метлаэн знал, что он думает. Стараясь быть кратким, чтобы выиграть время у волн и смерти, Метлаэн нагнулся к уху Босса, с силой вбивая слова в голову полуонемевшего человека.

— У нас шесть спичек, которые ты испортишь и не закуришь. Закурить могу только я. Это надо сделать скорей, потому что шлюпку сбивает и может залить. Неужели ты думаешь, что я буду лукавить в эту минуту?

Мгновение Босс колебался, затем, прямо устремив взгляд и так же прямо, резко протянув сжатую руку, дал Метлаэну высвободить из распухших пальцев спорную вещь. Тогда, держа во рту окурок, Метлаэн пристроился к ящику, откуда предусмотрительно еще не вынимал спи-

чек, чтобы не отсырели. Коробка с шестью спичками лежала, завернутая отдельно в длинную полоску газетной бумаги, облепленную сверху варом, который Метлаэн наколупал в пазах шлюпки. Содрав вар и осторожно вывалив в руку спички, Метлаэн немедля приступил к операции закуривания.

Это дело приходилось выполнять в гимнастических условиях качки и неожиданных толчков, делавших задачу не менее трудной, чем писание при езде в тряском экипаже.

Опустив над ящиком лицо, Метлаэн взял в одну руку коробку и, достав спичку, решительно провел ею по зажигательному месту. Хотя ветер и улегся, но колебания воздуха было довольно для маленького огня, чтобы погасить его. Огонь вспыхнул, потрепетал и угас, прежде чем Метлаэн поднес его к очищенному от пепла концу сигары.

Со второй спичкой дело произошло еще хуже: она обсыпалась, не загоревшись.

Метлаэн выпрямился и передохнул. Он подумал, что, держа сигару в губах, едва ли зажжет ее как из боязни опалить бороду, что мешало действовать увереннее, так и потому, что силой мыканья шлюпки среди перехватов волн ему приходилось бороться с собственными усилиями головы и руки, стремясь привести их к согласию. Он скрутил бумажную полоску шнуром и, чиркнув третьей спичкой, соединил бумагу с огнем. Бумага, не опалившись достаточно, погасла, едва он сделал ею движение к сигаре, но продолжала тлеть, и Метлаэн некоторое время пытался прососать в сигару часть красной, уменьшающейся искры. Когда это не удалось, на него напал страх, неуверенность в успехе, тем более что спичек осталось всего три. Это был страх, сродный страху ребенка, несущего полный кувшин молока и вдруг возомнившего, что оно расплещется: ребенок остановился и заплакал.

Метлаэн не заплакал, но, с пересохшим от волнения горлом, поднес к коробке четвертую, чиркнув ею так осторожно, словно боясь произвести взрыв. Светлая черта указала меру его усилия, и, ощупав головку спички, Метлаэн нашел, что она хотя не загорелась, но должна загореться, не осыпавшись, как вторая. Он нервно провел ею, раздался легкий треск, огонь вспыхнул и удер-

жался при значительном колебании воздуха. Древесина спички занялась пламенем до половины. Медленно поднимая ее, Метлаэн выждал относительно спокойный момент, поднес огонь к сигаре и, потеряв равновесие, стукнулся подбородком о край ящика. Пламя в дернувшейся схватиться руке задело борт и погасло.

— Четвертая,— сказал Босс ревнивым, сдержанным голосом.

Все самолюбие и самообладание Метлаэна восстали при этом слове безропотно ожидающего человека, как свеча в твердой, поднятой высоко руке. Почти небрежно испортил он пятую спичку, стараясь быть беспечным, как в гамаке, и испортил потому, что долго водил слепым концом по коробке, в то время как серный конец отпотел в просыревших пальцах. Так же небрежно, с презрением, с вызовом к собственным, делающимся мучительными движениям зажег он шестую, осветив ею на мгновение внутренность ящика, и она погасла так же безразлично к судьбе Босса, как и прочие спички. Когда это произошло, Метлаэн стал ощупывать дрожащими пальцами дно коробки, ища,— по обязанности искать, бессмысленно ожидая, что скажет Босс. Он деловито потянул воздух сквозь сигару и даже звучно пососал ее, не зная, что теперь будет.

— Все? — спокойно спросил Босс.

— Да... но, кажется, есть еще,— сказал Метлаэн. Горло его сжалось, и он глубоко вздохнул, захлебнувшись едкой струей дыма, поползшего в носоглотку из бессознательно раскуренного окурка. Сигара загорелась. Ничтожная искра, попавшая с тлеющей бумаги на табак и не замеченная впопыхах, дала постепенно огонь.

Светлое и соленое ударило в голову Метлаэна. Он судорожно протянул окурок поднявшему руку Боссу и торопливо сказал:

— Держи, держи крепко, не урони. Я зажег ее.

У него не было больше времени ни рассуждать, ни следить, что делает Босс: шлюпка легла краем борта к самой воде. Метлаэн рванул за веревку слева, круто повернул руль так, чтобы нос шлюпки следовал в направлении движения волн и, сев, как сидел раньше, стал смотреть на медленно разгорающийся золотой кружок, озаряющий тусклое и синее лицо с повязкой на лбу.

III

Босс глубоко втянул дым, закашлялся, изогнулся всем телом, и слезы удовольствия выступили на его воспаленных глазах.— «Да, это — утешение»,— пробормотал он, дымя все гуще ртом и ноздрями, как будто хотел накуриться до отвращения. Отвыкнув курить, он боролся с головокружением, вызванным никотином, но его мысли вздохнули. Он ловил их, они растекались и уходили с дымом, с жизнью, куда-то вниз, под лодку.

— Ужасно,— проговорил он,— умирать так... Готово!

Это относилось к окурку, выскользнувшему из его пальцев. Огонь зашипел в воде. Босс сидел, низко склонясь, потом перевалился к скамье и лег на нее головой, с подложенными под нее руками. Он был бесчувствен к качке, к холодной воде, в которой сидел. Ему казалось, что он громко говорит Метлаэну, что́ написать семье, если тот спасется; на самом же деле он молчал и не двигался.

— Босс! — крикнул Метлаэн. Умирающий вернулся к миру реальных звуков и проговорил, заканчивая мысленную речь вслух:

— Так ты запомнишь?

Больше он не сказал ничего. Метлаэн сидел, ворочая руль, прислушиваясь и соображая, умер ли уже Босс. Босс был жив, и Метлаэн знал это.

— Нас еще двое,— сказал он, всматриваясь в лежащего и ощущая его жизнь как бы в себе. Босс был совершенно неподвижен, если не считать легких движений тела, вызываемых размахом волнения. Его поверженная фигура виднелась смутной, покорной кучей.

— Босс,— тихо сказал Метлаэн. Ответа не было и не могло быть, но еще не было и смерти, и Метлаэн снова подумал, без слов: «Нас двое». Следя за шлюпкой и Боссом, он неоднократно возвращался к этому ощущению быть вдвоем, но иногда оно исчезало, и он нетерпеливо повертывался на своем месте, как будто движение это помогло бы явственнее услышать счет: «Два».

Вдруг — и это произошло, как неожиданное воспоминание, открывшееся внезапно,— по телу Метлаэна, его мыслям и по тому месту каната, которое он держал ру-

кой, прошла некая значительность, непохожая ни на что из ощущаемых чувствами или воображением вещей, но вполне явственная. Что-то произошло. С неясным и жутким побуждением Метлаэн громко сказал:

— Босс! Очнись!

В то же время ощущение двоих исчезло. «Нас двое»,— с силой подумал Метлаэн, ожидая живого указания внутри, но слова «нас двое» отскочили от некоего глухого препятствия и тупо возвратились назад.

Тогда Метлаэн узнал, что он один в лодке с коченеющими надеждами плывет долгой, неверной ночью искать спасения.

Наутро он был замечен бригом «Сатурн» и принят на борт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

На «Бандуэре», океанском грузовом пароходе, вышедшем из Гамбурга в Кале, а затем пустившемся под чужим флагом в порт Прест, служил кочегаром некто Ольсен, Карл-Петер-Иоганн Ольсен, родом из Варде. Это было его первое плавание, и он неохотно пошел в него, но, крепко рассчитав и загнув на пальцах все выгоды хорошего заработка, написал домой, своим родным, обстоятельное письмо и остался на «Бандуэре».

Как наружностью, так и характером Ольсен резко отличался от других людей экипажа, побывавших во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на темных от ветра лицах; на каждого из них как бы падал особый резкий свет, подчеркивая их черты и движения. Ритм их жизни был тот же, что ритм ударов винта «Бандуэры»,— все, что совершалось на ней, совершалось и в них, и никого отдельно от корабля представить было нельзя. Но Ольсен, работая вместе с ними, был и остался недавно покинувшим деревню крестьянином — слишком суровым, чтобы по-приятельски оживиться в новой среде, и чужим всему, что не относилось

к Норвегии. В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет.

Чем дальше подвигалась к югу «Бандуэра», тем более чувствовал себя Ольсен как в отчетливом сне. Плавание казалось ему долгой болезнью, которую нужно перетерпеть ради денег. Отработав вахту, он ложился на койку и засыпал или чинил белье; иногда играл в карты, всегда понемногу выигрывая, так как ставил очень расчетливо. Раз, в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с «Бандуэрой» в трепете прекрасного света к тропическому безмолвию. Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далей, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену,— и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз.

Неподалеку от Преста, когда «Бандуэра» оканчивала последний переход, Ольсен, спускаясь по трапу в сияющее сталью машинное отделение, почувствовал, что слабеет. Это был внезапный обморок — следствие жары и усталости. Блеск поршней свился в яркий зигзаг, руки разжались, и Ольсен упал с трехсаженной высоты, разбив грудь. Некоторое время он был без сознания. Доктор повозился с Ольсеном, нашел, что внутреннее кровоизлияние отразилось на легких, и приказал свезти пострадавшего в лазарет. Там должен был он лежать, пока не поправится. Ему сказали также, что по выздоровлении он будет бесплатно отвезен в Гамбург.

«Бандуэра» выгрузилась, взяла местный груз, уголь и ушла обратно в Европу. На горизонте от нее остался дымок. Лежа у окна лазарета, Ольсен посмотрел на него с напутствующей улыбкой, как будто этот дым, стелющийся на запад, был его гонцом, посланным успокоить и рассказать.

Путешествие кончилось. Жалованье получено сполна, отправлено почтой в деревню. Мир выпускал, наконец, Ольсена из своих ненужных и обширных объятий. Теперь Ольсен мог плыть только назад.

II

Лазарет, где лежал кочегар, стоял на холме, за городом. Его верхний этаж состоял из спускных тентов, превращающих больницу в веранду. Отсюда видны были порт, океан и — очень близко от стены лазарета — группы растений, покрытых огромными яркими цветами, подобных которым Ольсен не видел нигде. Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега,— беспокоили его, как дурман, власть которого был он стряхнуть не в силах. Казалось ему, что на нем надето стесните́льное парадное платье, заставляющее жалеть о просторной блузе.

Кроме Ольсена, в том же помещении лежали распухший от водянки француз, китаец, высохший и желтый, как мумия, и несколько негров. Не зная языков, Ольсен не мог говорить с ними; но если бы и мог, то предпочел бы все-таки лежать молча. В молчании, в неподвижности, в мыслях о родине он чувствовал себя ближе к дому. Вечером, засыпая, он думал: «Марта доит корову, старуха варит рыбу, отец засветил лампу, вымыл руки и сел к огню курить». Тогда тьма внезапно оборачивалась в его сознании утренней свежестью, и он видел не летний деревенский вечер, а глухой зимний рассвет. Ольсен задумчиво, с неудовольствием улыбался, смотрел некоторое время перед собой в полную огней тьму и сосредоточенно засыпал.

III

Время шло, а он худел, слабел, кашлял; испарина и лихорадочное состояние усиливались. Наконец, не видя никакой нужды держать неизлечимо больного кочегара, доктор сказал ему, что у него чахотка и что север-

ный воздух будет полезнее Ольсену, чем лихорадочный тропический климат. Он прибавил еще, что на днях придет пароход, направляющийся в Европу, что бумаги и распоряжения администрации относительно Ольсена в порядке; таким образом, ему предоставлялся выбор: остаться здесь или ехать домой.

В тот день, когда Ольсен узнал правду, его силы временно вернулись к нему. Он был возбужден и мрачен; ликовал и скорбел, и та внутренняя нервная торопливость, какою стремимся мы, когда это не от нас зависит, приблизить желаемое,— наполнила его жаждой движения.

Он встал, оделся в свое платье, подумал, постоял у окна, затем вышел. Несколькими тропинками он достиг берега. Белый песок отделял море от стены леса, склоненной с естественного возвышения почвы к Ольсену нависшими остриями листьев. Там, в сумраке глубоком и нежном, дико блестели отдельно озаренные ветви. Там выглядело все, как таинственная страница неизвестного языка, обведенная арабеском. Птицы-мухи кропили цветным блеском своим загадочные растения, и, когда садились, длинные перья их хвостов дрожали, как струны. Что шевелилось там, смолкало, всплескивало и нежно звенело? что пело глухим рассеянным шумом из глубины? — Ольсен так и не узнал никогда. Едва трогалось что-то в его душе, готовой уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканных из солнца и тени,— подобных саду во сне,— как с ненавистью он гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол, так обиженный, ограбленный среди монументального праздника причудливых, утомляющих див. Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных, с светлым бесстыдством гурии,— поднял ее, бросил и, сильно топнув, разбил каблуком, как разбил бы стакан с ядом. Чем дальше он шел, тем тоскливее становилось ему; сердце и дыхание теснились одно другим, и сам он чувствовал себя в тесноте, как бы овеянным пестрыми тканями, свивающимися в сплошной жгут. Солнце село; огромный, лихорадочно сверкающий месяц рассек берег темными полосами; прибой,

шумя, искрился на озаренном песке. Пришла ночь и свернулась на океане с магнетической улыбкой, как сказка, блеснувшая человеческими глазами.

Ольсен остановился: глухой, с шумом воды, пришел издалека голос: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам! Это я, твоя милая сестра Марта, и твоя старая мать Гертруда; и это я — твой отец Петерс. Иди и живи здесь...».

IV

Два месяца плыл Ольсен обратно на пароходе «Гедвей», затем прибыл домой и, походив день-два, лег. Но теперь свободно, устойчиво чувствовал он себя, был даже весел и, хотя речь свою часто прерывал мучительным кашлем, был совершенно уверен, что скоро выздоровеет. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад.

Он лежал, изредка рассказывая о жизни на пароходе, о чужих странах. Можно было и продолжать слушать его и уйти: так рассказывают о посещении музея. Но с увлечением, с страстью говорил он о том, как хотелось ему вернуться домой. Чем больше он вспоминал это, тем ярче и прочнее чувствовал себя здесь,— дома, на старой кровати, под старыми кукующими часами.

Но бой часов этих начинал все чаще будить его ночью; жарче было дышать в бессонницу; сильнее болела грудь. В маете, в страхе, в угрызениях совести за то, что «не работник», прошла зима. Наконец, весной, стало ясно ему и всем, что конец близок.

Он наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, Ольсен попросился сесть у окна. Мерзнущий, весь в поту, с подушками под головой, Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха. Тоска, бóльшая, чем в Престе, разрывала его. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка.

— ...Дай!..— кричала она, выговаривая нетвердо это универсальное слово карапузиков, но едва ли могла по-

нять сама, чего именно хочет. «Дай! Дай!» — голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсинном масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других — и все, решительно все: — н е э т о л и хотела она?! Перед ней стоял мир, а ее мать не могла уразуметь, что хочет ребенок, спрашивая с тревогой и смехом: — «Чего же тебе? Чего?»

Умирающий человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные путы, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул в Престе.

— Мы все поедем туда,— сказал он.— Там — рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.

Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой — т а м.

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»

Слово не воробей,
вылетит — не поймаешь.

I

Больная девушка лежала на спине, укутанная по самый подбородок меховым одеялом. Черное ночное окно отражало красноватый огонь лампы. По закопченным стенам хижины висели пробочные балберки, грузила,

остроги, мережки, удочки и другие рыбные снасти. Над изголовьем больной, прикрепленная шпилькой, виднелась вырезанная из журнала картинка, изображавшая молодого человека в плаще, отбивающего нападение разбойников.

Услышав за окном шаги, девушка приподнялась на локте. Это, видимо, стоило немалых усилий ослабевшему телу, так как брови ее, поднявшись и морщась, выразили мучение. Глаза, однако, светились оживлением.

— Ну что? — спросила она, прежде чем вошедший успел закрыть дверь.— Дали тебе «Звезду»?

— Не прыгай, Дзета,— сказал старик Спуль, отставляя в угол ведерко с пойманной рыбой.— Валяйся себе потихоньку.

— Ты просто невыносим, отец,— сказала девушка. Углы ее рта вздрогнули, а обнажившаяся рука нервно потянула одеяло.— Не понимаю, зачем меня нужно дразнить! Есть или нет? Скажи честно!

— Чего честнее,— захохотал Спуль, торжественно замахиваясь, как мечом, длинной желтенькой бандеролью и бережно подавая ее томящейся руке дочери.— Почта запоздала, видишь ли, на неделю, потому что...

Дзета уже не слушала. Она попробовала разорвать бандероль, но, ослабев, в изнеможении, с закружившейся головой откинулась на подушку, крепко зажав в худеньком кулаке драгоценный журнал.

— Эй, старуха,— тревожно сказал Спуль,— тебе ведь спички не переломить, а туда же... Пусти-ка, я сам.— Он взял у дочери «Звезду», помуслил палец и, словно вспарывая рыбу, произвел весьма чинно на столе деликатную операцию открытия бандероли.

Затем Спуль приступил к делу.

— Посмотри прежде «Эмиль и Араминту»,— тревожно сказала Дзета.— Должно же быть, наконец, продолжение. Не могу же я верить до бесконечности. Ведь вот полгода прошло, как сама я прочла... помнишь? После того, где Эмиль сказал Араминте: «Ты, дорогая, не беспокойся. Я возвращусь, и мы будем счастливы». Да, так там ведь напечатано внизу: «Продолжение следует».

Она взволновалась, как бы предчувствуя, что и на этот раз ожидания ее будут обмануты.

Пока девушка говорила, старик осторожно перевертывал страницы, опасливо приглядываясь к каждому

заголовку. Его широкое, прекрасное наивной старостью и смелыми, но добродушными глазами лицо делалось все растеряннее по мере того, как он приближался к обложке, смущенно бормоча что-то вроде: «пропустил, надо быть», «вот поди найди», «экое дело» — и другие, облегчающие подавленное состояние, слова-вздохи. Он сам был немало заинтересован дальнейшей судьбой главных героев оборванного романа, но стеснялся показывать это.

— «Моисей в пустыне», рассказ,— монотонно говорил он, по временам вглядываясь в петит, словно исчезнувший граф Эмиль притаился как в загадочной картинке, среди букв,— «Волны», стихотворение. «Открытие Южного полюса», научно-популярный очерк. «Испытание огнем», очерк средневековой жизни. «Про то, про се», мелочи. «Смесь». «Пейте шоколад»... Хм, Дзета, ты опять не уснешь... нет, ровнешенько ничего нет!

— Ну что это, право! — жалобно воскликнула девушка.— Ты понимаешь тут что-нибудь?

Старик не ответил. Он был сильно расстроен, Дзета таяла на его глазах с каждым днем. Болезнь ее, как говорил приезжавший врач, «не поддается определению». Он думал, что это на нервной почве. Началось с того, что девушка стала страдать бессонницей, отсутствием аппетита, а месяц спустя слегла с признаками сильного истощения.

— Ее нужно развлекать,— сказал врач, и Спуль по его совету выписал «Звезду», маленький журнал с картинками, с невинным, почти сказочным содержанием.

Отец и дочь свято верили в то, что каждая печатная строка — правда. Вымышленных лиц в «Эмиле и Араминте» для них не было. Герои романа, конечно, живы, и приключения их по мере шествия событий протокольно описываются доверенными сего дела — писателями. Роман увлек Дзету нежной любовью Эмиля и Араминты, девушки, как и она, бедной, но преданной своему возлюбленному. Граф Эмиль, блестящий придворный, отправился в Америку добывать завещание, украденное разбойниками, и простодушная Дзета, обманутая извещением: «Продолжение следует», искренно страдала от неизвестности дальнейших событий. За полгода, как оборвался роман,— потому ли, что автору надоело возиться с благородным Эмилем, по причине ли скудности авансов в «Звезде», из-за смерти ли романиста,— но только

в эти полгода, как думала Дзета, все должно было уже закончиться или благополучно, или катастрофой.

Болезненно страстно хотела она узнать, что случилось, а каждый номер приносил ей новое и новое разочарование. И что главное — в одиноких мечтах ее, в заученном наизусть романе Араминта постепенно превратилась в нее, Дзету, а Эмиль — в того, который год назад стал для ее сердца далекой обетованной страной. Случайный городской гость пробыл несколько дней в пустыне, и Спуль не знал, что притихшая и больная девушка год назад смеялась, крепко целуясь в береговом кустарнике с широкоплечим молодым человеком, модная бородка которого, мягкие усы и быстрые ореховые глаза застряли неподалеку от Хоха (деревня Спуля) благодаря поломке пароходного колеса. Он сказал Дзете, что любит полевые цветы и скоро вернется к ним. И...

— «Продолжение следует»,— невольно пронеслись перед ее глазами знакомые буквы.

«Как его зовут? Акаст. Милый Акаст... милый обманщик».

Она вытерла мигающие глаза и снова спросила:

— Отец, какое же твое мнение?

Спуль раздувал очаг.

— Я думаю, что его...ф-ф-ф-фух! щепки сырые... что его сиятельство граф, видишь ли,— ф-ф-фух! — отдал распоряжение... Сварить тебе рыбки, Дзета? Ну, затрещало.

— Какое распоряжение?

— А чтобы... этого... его не пропечатывали.

— Ну вот! — Она стала смотреть на огонь.— Если он терпел и знал, что о нем все до сих пор написано... Не понимаю. Зачем запрещать теперь?

Меж ними возгорелся легкий спор. Старик доказывал, что высокопоставленные люди имеют свои резоны — публиковать или не публиковать их приключения; а Дзета утверждала, что здесь замешана какая-то неизвестная дама, которая влюблена в Эмиля и которой, мстительных ради целей, хочется, чтобы бедная Араминта пребывала в неизвестности относительно судьбы своего возлюбленного.

— Если бы поговорить с тем человеком, который писал это! — сказала, вздыхая, девушка.— «Дон-Эсте-

бан» — сказано там. Роман Дон-Эстебана. Писатели, наверное, все знают... Уж я бы у него выспросила.

— Хочешь посмотреть «Звезду»? — спросил Спуль, кончив есть.

Он примостился уже было на краю кровати с журналом в руках, но Дзета нерешительно покачала головой:

— Я не буду смотреть картинки. Отец,— робко прибавила она, помолчав,— если хочешь, почитай мне конец... там, где остановились.

— Опять? Вчера ведь читали, Дзета.

— Ну что ж... жалко тебе?

Спуль взял с полки старый, замызганный номерок и, смотря поверх страницы,— так как наизусть знал развернутое,— отбарабанил далеко не нежным голосом:

«Араминта, обливаясь слезами, обняла Эмиля за шею, и ее прекрасное лицо наполнило сердце героя состраданием и любовью.

— Не плачь, бесценная возлюбленная,— сказал Эмиль,— беру в свидетели небо и землю, что вернусь к радостям семейной жизни с тобой. Мне надо только преодолеть коварный замысел дяди, вручившего жестокому атаману Грому завещание моего отца. Не беспокойся, дорогая. Я вернусь, и мы будем счастливы».

«Продолжение следует»,— хмуро закончил старик.

— Дзета!

Девушка лежала навзничь, уткнув лицо в мокрые от слез ладони. Она не откликнулась. Скоро дыхание ее стало ровнее, тише, и сон, вызванный непосильным волнением, положил свою теплую руку на ее маленькую горячую голову.

II

После рассказанного в течение добрых десяти дней, на протяжении тысячи верст, одинокая старческая фигура — с платком вокруг черной от солнца шеи, в высоких сапогах, в страшной трубообразной шляпе и красной шерстяной блузе,— совершала, ие останавливаясь, перемещение от одной точки земного шара к другой, пока не появилась иа площади Амбазур.

Сначала фигура сидела на одном из звеньев длинного речного плота, затем путешествовала верст пятьдесят от берега к берегу другой реки, где села на пароход, а

с парохода, дней пять спустя, в шумный вагон, который к вечеру десятого дня доставил благополучно фигуру на упомянутую блестящую площадь.

Было без четверти пять, когда в передней «Звезды» раздался неуверенный короткий звоиок, и редакционный сторож, злобно открыв дверь, увидел живописную фигуру Спуля, благоговейно созерцающего эмалевую дощечку, где строгими черными буквами возвещалось, что секретарь «Звезды» сидит за своей конторкой ровно от трех до пяти — ни секунды более или менее.

— Подписка внизу,— отрывисто, подражая редактору, заявил сторож,— да затворяй двери, дед!

— Послушай-ка, паренек,— таинственно зашептал Спуль, продвигаясь в переднюю,— я, видишь ты, дальний... Мне, видишь, нужно поговорить с вашими. А прежде скажи: здесь находится господин писатель Дон-Эстебан?

— Вот, надо быть, к вам пришел,— сказал сторож, приотворяя дверь в комнату секретаря.— Я, хоть убей, не понимаю этого человека.

Секретарь «Звезды», желчный толстенький господин, измученный флюсом и корректурой, выскочил на каблуках к Спулю.

— От кого? — процедил он сквозь карандаш, зажатый в зубах, тонким, словно оскорбленным, голосом.— Стихи? Проза? Рисунки?

— Как бы мне,— запинаясь, проговорил старик,— потолковать малость с господином Дон-Эстебаном?

— А! Фельетонист?

— Может быть... может быть,— кивнул Спуль, уступчиво улыбаясь,— не знаю я этого. Может, он ваш директор, может, и побольше того.

— В трактире,— сердито сказал секретарь, прыгнул за дверь, подержался с той стороны за дверную ручку, снова приоткрыл дверь, высунул голову и крикливо адресовал: — «Голубиная почта»! Трактир на той стороне площади! Вот где ваш Дон-Эстебан!

Старик печально надел шляпу. Он не понимал ничего: ни ободранности темной, грязной редакции, где, однако, знают о жизни герцогов и князей больше, чем их прислуга; ни того, почему надо идти в трактир; ни раздражительности толстенького господина. У Спуля был

такой обескураженный вид, что сторож пояснил ему, наконец, в чем дело.

— Зайди в «Голубиную почту», дед,— жалостливо сказал он,— там спроси: где тут сидит Акаст? Потому что, видишь, пишет-то он под именем одним, а настоящее его имя Акаст. Вот он Дон-Эстебан и есть.

С холодом и тяжестью недоверия к своему положению Спуль переступил порог «Голубиной почты». Здесь его не мучили; слуга, услышав: «Дон-Эстебан», вытащил палец из соусника и ткнул им в направлении большого стола, за которым сидело и возлежало человек шесть в позах более свободных, чем пьяных. Малое количество бутылок указывало, что головы пока на местах.

— Кто из вас, добрые господа...— начал Спуль, но сбился.— Не тут ли... Который здесь господин писатель Дон-Эстебан?

— Я,— сказал высокий в накидке и серой широкополой шляпе.— Откуда ты, одетый в первобытные одежды, странник Киферии? Кто указал тебе путь в жилище богов? Бессмертных ты или смертных дел древний глашатай? Сядь и скажи, Гекуба, что тебе в моем имени?

— Господин,— сказал Спуль,— послушайте-ка меня... Уж, право, не знаю, как это вам все объяснить, в точку-то самую, а только, изволите видеть, без вас в этом деле, вижу, не обойтись.

И вот, путаясь и волнуясь, поощряемый сначала возгласами и смехом, а затем общим молчанием, рыбак рассказал Акасту, как в глухом, пустынном уголке дикой реки читалась с трепетным напряжением, со страхом и радостью, с опасениями и облегчениями история любви блистательного графа Эмиля и Араминты, дочери угольщика.

— Дзета-то, дочка моя,— говорил Спуль,— хлопочет об них не знамо как, прямо так и скажу: надрывается Дзета. А тут и застопорило, да целых полгода... этого... никаких известий. Здоровому, так скажем, каприз, потому его сиятельство может ведь свои резоны иметь... а больному — горе; только ей, бедняге, Дзете-то, и радости было, что мечтала, будто граф женится на той барышне. И выходит теперь одно-единственное мучение... как принесу это, «Звезду», ну, вроде ребенка моя Дзета: «Опять,— говорит,— нет ничего». Читай ей вот опять про старое, где прощались. Меня измаяла, и сама изве-

лась; да не встает; хоть бы гуляла или что: слаба, видишь... Ну, я и поехал. Чего там? Сердце-то ведь того... Думаю, разузнаю у вас. Так что на вас вся надежда...

Старик замолчал; Акаст, опустив глаза, водил пальцем по скатерти.

— Вот тебе и макулатура, Акаст,— серьезно сказал сутулый человек в синих очках.— Что ты об этом думаешь?

Акаст поднял голову.

— Вы приехали как раз вовремя, Спуль,— сказал он, протягивая рыбаку полный стакан.— Теперь все известно. Эмиль... впрочем, придите сюда завтра к этому же времени. Дела графа блестящи.

— Ну-те?! — повеселел Спуль.— Значит, благополучно?

— Просто прекрасно. Лучше нельзя.

— И пропечатано?

— Конечно. Завтра я дам вам конец романа, и вы отвезете его домой.

Спуль встал.

— Так я рад, что и сидеть никак не могу,—засуетился он, ища шляпу.— Я и то думал: где же и знать, как не здесь? Я ведь грамотный. «Идти уж,— думаю,— так уж по самой по первой линии! По прямой то есть! Приду». Кончину и причину, значит, представите? Ангел вы, господин Дон-Эстебан... ну — запрыгал старик!

Он вышел, то оборачиваясь и пятясь, чтобы еще раз отвесить поклон, то спотыкаясь о тесно расставленные стулья.

— За здоровье Дзеты! — сказал Акаст, поднимая стакан.

III

Стемнело, когда «Дон-Эстебан», присев дома к столу, вспомнил остановку буксирного парохода, на котором, спасаясь от полуголодной жизни провинциального репортера, перекочевывал бесплатно к центрам цивилизации. Вспомнил он веселую Дзету — знакомство с ней у плотов, где девушка полоскала белье, и ее доверчивые слова: «Раз вы говорите, что приедете,— чего же еще?» Затем Акаст вспомнил «Эмиля и Арамишту» — роман, шитый белыми нитками, ради нужды, и властно обор-

ванный издателем, сказавшим однажды: «Довольно. Строчек вы выгоняете много, а конца не предвидится». Погрустив обо всем этом, мысленно улыбнувшись больной Дзете и думая о читательской ее душе с тем пристальным, глубоким вниманием, какое сопутствует серьезным решениям,— Акаст взял перо, бумагу, старательно превратил белые листы в строчки, украшающие судьбу влюбленных помпезной свадьбой, стряхнул с колена изрядную кучу папиросного пепла и, зайдя в типографию, сказал метранпажу:

— Дорогой генерал свинца, наберите это к утру.

— Редакционно?

— Ну... между нами. Кстати, я вам обещал два литра коньяку. Коньяк у меня. Вы всегда сможете его получить. Эта рукопись мне нужна самому — в наборе. Поняли?

— Ничего не понял. Коньяк есть — вот это я понял. Хорошо, будьте покойны!

После этого прошло десять дней, в течение которых одинокая старческая фигура с драгоценным печатным оттиском в зашитом кармане и с письмом в сапоге перемещалась с одной точки земного шара к другой, пока не постучалась у дверей старого маленького дома деревни Хох.

— Ну, тетка,— сказал Спуль старухе-соседке, в его отсутствие ходившей за больной,— ступай-ка пока. Потом поболтаем. Дзета! Дело-то ведь выгорело! Прочтика это письмо! Сам Дон-Эстебан написал тебе! «Я,— говорит,— уважаю читателей!» Вот как!

Говоря это, он трудился над распарыванием кармана. Меж тем изумленная и счастливая девушка, едва переводя дух, прочла:

«Дорогая Дзета! Я очень виноват, но дела с графом Эмилем страшно мешали мне приехать или хотя написать. Прости. Знай, что я тот самый писатель, чей роман о незаслуженно страдавшей Араминте ты читала с таким увлечением и который ты дочитаешь теперь, потому что я передал твоему отцу продолжение и окончание. Я скоро приеду; лучшей жены для писателя, чем ты, нигде не найти. Крепко целую. Твой — виноватый — Акаст».

— Что там в письме, Дзета? — спросил старик, разглаживая сверстанный оттиск.

— Что там? — сказала девушка.— Самое простое

письмо. Здравствуйте да прощайте, так, ничего... вежливо. Знаешь, я хочу есть. Дай-ка мне молока и хлеба... Нет, ты отрежь потолще. Теперь читай... ну же!

Пока Спуль читал, девушка боролась с волнением и, окончательно, наконец, победив его, громко, довольная, засмеялась, когда, воодушевляясь и притоптывая ногой, Спуль проголосил последние строки:

«...их свадебное путешествие длилось два месяца, после чего граф Эмиль и его молодая жена поселились в замке Арктур, на берегу моря, вспоминая в счастливые эти дни все приключения и опасности, испытанные Эмилем среди шайки бандитов, потерпевших заслуженное и грозное наказание».

БОРЬБА СО СМЕРТЬЮ

I

— Меня мучает недоделанное дело,— сказал Лорх доктору.— Да: почему вы не уезжаете?

— Любезный вопрос,— медленно ответил Димен, сосредоточенно оглядываясь.— Кровать надо поставить к окну. Отсюда, через пропасть, виден весь розовый снеговой ландшафт. Смотрите на горы, Лорх; нет ничего чище для размышления.

— Почему вы не уезжаете?—твердо повторил больной, взглядом заставив доктора обернуться.— Димен, будьте откровенны.

Лорх лежал на спине, повернув голову к собеседнику. Заостренные черты его бескровного лица, обросшего лесом волос, выглядели бы чертами трупа, не будь на этом лице огромных, как бы вывалившихся от худобы глаз, сверкающих морем жизни. Но Димен хорошо знал, что не пройдет двух дней,— и болезнь круто покончит с Лорхом.

— Мне здесь нравится,— сказал Димен.— Меня хорошо кормят, я две недели дышу горным воздухом и быстро толстею.

Лорх с трудом поднес к губам папиросу, закурил и тотчас же бросил: табак был противен.

— Меня мучает недоделанное дело,— повторил Лорх.— Я расскажу вам его. Может быть, вы тогда поймете, что мне надо знать правду.

— Говорите,— сердито отозвался Димен.

— На днях приедет Вильтон. В его руках все нити новой концессии, я лично должен говорить с ним. Если я не смогу говорить лично, важно, не откладывая, подыскать надежное лицо. Меня не испугаете. Да или нет?

— Третий день вы допрашиваете меня,— сказал доктор.— Ну, я скажу. Вы, Лорх, умрете, не позже как через два дня.

Лорх вздрогнул так, что зазвенели пружины матраца. Он взволновался и сразу еще более ослабел от волнения. Стало тихо. Доктор с лицом потрясенного судьи, объявившего смертный приговор,— встал, хрустнул пальцами и подошел к окну.

Больной едва слышно рассмеялся.

— Вильтон, положим, не приедет,— насмешливо сказал он,— и нет у него никакой концессии. Но я узнал, что нужно. Кровать действительно можно переставить к окну.

— Вы сами...— начал Димен.

— Сам, да. Благодарю вас.

— Наука бессильна.

— Знаю. Я хочу спать.

Лорх закрыл глаза. Доктор вышел, распорядился оседлать лошадь и уехал на охоту. Лорх долго лежал без движения. Наконец, вздохнув всей грудью, сказал:

— Какая гадость! Просто противно. Какая гадость! — повторил он.

II

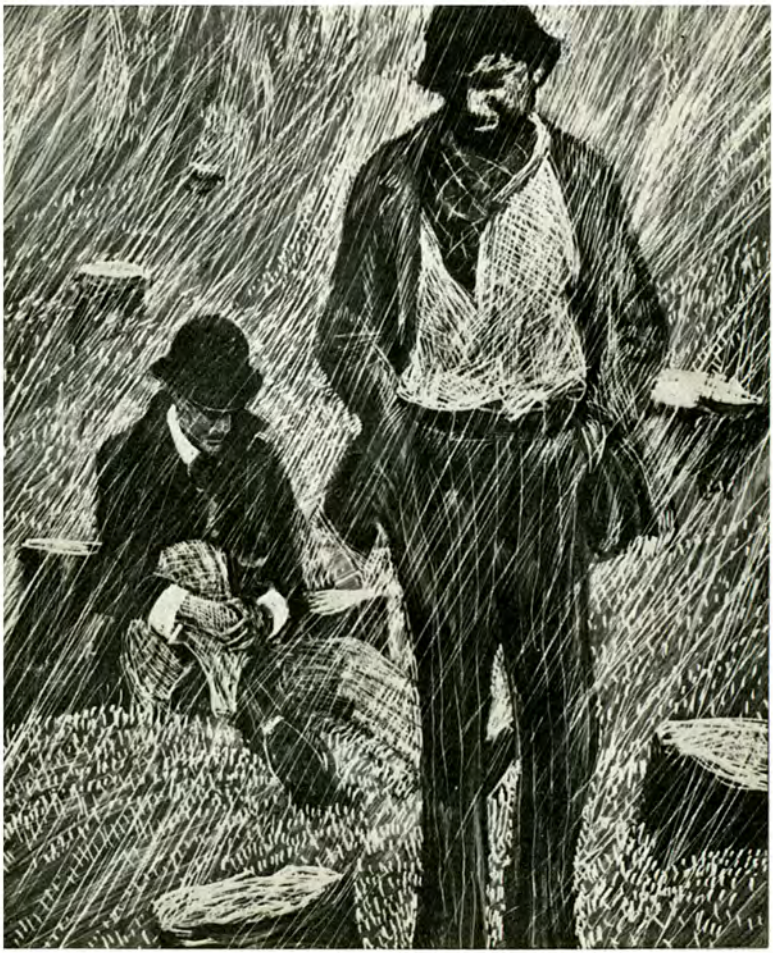
Лорх заснул и проснулся вечером, когда стемнело. Он не чувствовал себя ни хуже, ни лучше. но вспомнив слова доктора, внутренне ощетинился.

— Еще будет время размыслить обо всем этом,—сказал он, придавливая кнопку звонка. Вошла сиделка.

Лорх сказал, чтобы позвали племянника.

Его племянник, широкий в плечах, немного сутулый молодой человек двадцати четырех лет, в очках на старообразном, белобрысом лице, услышав приказание дяди, сказал недавно приехавшей сестре:

«ДОРОГА НИКУДА»



«КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО»

— По-видимому, Бетси, мы выиграли. Ты уже плакала у него?

— Нет.— Бетси, дама зрелого возраста, торговка опиумом, находила, что слезы — большая роскошь, если можно обойтись и без них.

— Нет, я не плакала и плакать буду только постфактум. Завещание в твою пользу.

— Как знаешь. Я иду.

— Ступай. Намекни, что я хотела бы тоже увидеть его сегодня.

Вениамин сильно потер кулаком глаза и ласково постучал в дверь.

— Войди,— сурово разрешил Лорх.

Вениамин, страдальчески играя глазами, подошел к постели, вздохнул и сел в прямолинейной позе египетских сидящих статуй.

— Дядя! Дядя! — усиленно горько сказал он.— Когда же, наконец, вы встанете? Ужас повис над домом.

— Слушай, Вениамин,— заговорил Лорх,— сегодня я говорил с доктором.

Он приостановился. Вениамин заблаговременно поднес руку к очкам, чтобы, сияв их в патетический момент — ни раньше, ни позже,— оросить слезами платок.

Лорх смотрел на него и думал:

«У малого три любовницы,— две — наглые, красивые твари, а третья — дура. Сам он — прохвост. Он подделал три моих векселя. Меня он ненавидит, согласно его речи в Спартанском клубе. Сколько получил он за это выступление — неизвестно, но сплетен развел порядочно и провалил меня в окружном списке. Для такой компании мой миллион — короткая жвачка».

— О! Надеюсь, доктор... Дядя! Вы спасены?! — с натугой вскричал племянник.

— Подожди. Мне жалко вас,— тебя, милый, и Бетси, очень жалко...

— Дядя! — разученно зарыдал Вениамин,— скажите, что этого не будет... что вы пошутили!

— Нисколько. Вы должны примириться с судьбой.

— Боже мой?!

— Да.

— Итак — примириться?! Родной и дорогой дядя...

— Хорошо, спасибо. Я хочу сказать, что моя болезнь прошла спасительный кризис, и я, через сутки, самое

большое,— снова буду петь басом «Ловцы жемчуга».

Вениамин оторопел. Прилив грубой злобы заставил его вскочить, но он вовремя перевел порыв этого чувства в нескладное ликование:

— Вот свинья Димен!.. Он мог бы сказать нам... Не мучить нас! Поздравляю, милый дядя! Живи и работай! Я ожидал этого!

Лорх посмотрел на темную замочную скважину, достал через силу из-под подушки револьвер и выпалил в потолок.

Племянник отпрыгнул. За дверью раздался визг: там кто-то упал. Вениамин, открыв дверь, показал себе и Лорху растянувшуюся Бетси.

— Как вы любите это дело, Бетси! — кротко сказал Лорх.

— Дура! — зашипел брат сестре, подымая ее.— Спокойной ночи, дядя! Вам теперь нужен покой!

— Как и вам,— холодно сказал Лорх.

Родственники ушли. В гостиной Бетси заплакала тяжелыми ненавидящими слезами. Вениамин вынул из букета розу, понюхал и свернул цветку венчик.

— Он врет. Он злобно мучает нас,— сказал племянник. Бетси высморкалась. Они сели рядом и стали шептаться.

III

По приказанию Лорха, кровать была передвинута к окну. Стояли жаркие ночи.

Дом был построен на самом краю пропасти — меж стеной и отвесом бездны оставалась тропинка фута два шириной. Лорх видел в россыпи белых звезд полную, над горным хребтом, луну; ее свет падал в пропасть над непроницаемым углом тени. Смотря за окно в направлении ног, Лорх видел на обрыве среди камней куст белых цветов. Он думал, что цветы эти останутся, а его, Лорха, не будет.

Тогда, решив продолжать жить, он тщательно привел мысли в порядок и понял, что самое главное,— побороть слабость. Лорх резко поднялся. Голова закружилась. Он стал, сидя, раскачиваться; затем, взяв с ночного столика нож, ударил себя им в бедро. Резкая боль вызвала тревогу сердцебиения; кровь бросилась в голову. Лорх вспотел; пот и ярость сопротивления дали его душе по-

рывистую энергию, сопровождающуюся жаром и дрожью.

Не говоря уже о том, что каждое движение было ему невыразимо противно (Лорх хотел бы отдаться болезненному покою), всякое представление о движении казалось совершенно ненормальным явлением. Несмотря на это, Лорх, как загипнотизированный, встал и упал на пол. Сапоги лежали возле него; он, лежа, натянул их, затем, поймав ножку кровати,— встал, уселся и принялся одеваться. Когда он закончил это дело, его бросало из стороны в сторону. Новый припадок головокружения заставил его несколько минут лежать, уткнувшись лицом в подушку. После этого его стошнило; жадно возжелав пить, он весь облился водой, но осушил графин и выбросил его в пропасть. Затем он направился расползающимися ногами к двери, но попал к печке. От печки Лорх направился снова к двери, но печка вновь приветствовала его и он держал ее в объятиях пять минут. Когда он попал, наконец, к двери, в комнате было все опрокинуто. Лорх опустился на четвереньки, чтобы не производить шума, полчаса потратил на то, чтобы нащупать головой, в темноте, дверцу буфета, отыскал и стал пить коньяк.

Несмотря на строжайшее запрещение доктора употреблять даже крепкий чай, не говоря уже о вине,— Лорх, без передышки, вытянул бутылку крепкого коньяку и впал в того рода исступление, когда, независимо от обстоятельств, человек с пожаром в голове и бурей в сердце, занятый одной мыслью, падает жертвой замысла или одолевает его. Таким замыслом, такой мыслью Лорха явился бассейн. Это был четырехугольный цементный водоем, куда лился горный, ледяной ключ. Удар вина временно воскресил Лорха; шатаясь, но лишь в меру опьянения, мокрый от пота, с обслюненной папиросой в зубах, прошел он боковым коридором во двор, сполз в бассейн,— как был,— в сапогах и костюме, окунулся, мучительно задрожал от холода, вылез и направился обратно в спальню.

Сырой мороз родника согнал все возбуждение организма к неимоверно обремененной мыслями голове. Сердце стучало как пулемет. Лорх думал обо всем сразу,— от величайших мировых проблем до кирпичей дома, и мысль его молниеносно озаряющим светом проникала во все тьмы тем всяческого познания. У буфета он принял вторую порцию огненного лекарства, но этот при-

ем сильно бросился в ноги, и Лорх вынужден был восстановить равновесие с помощью дуплета. У кровати он задумчиво осмотрел различные, на полу, скляики с лекарством и лужу, образовавшуюся на месте его стояния. Затем он перелез подоконник, прошел, несколько трезвея, вдоль стены, к кусту белых цветов, оборвал их, вернулся и лег, раздевшись, под одеяло, бросив предварительно на него все брюки и пиджаки, какие нашел в шкафу. Сделав это, он вытянулся, приятно вздрогнул и — вдруг — потерял сознание.

IV

— Он не просыпался за это время? — спросил Димен сиделку.

— Нет. Даже не повернулся.

— Где же вы были? Во время припадка прошлой ночи больной мог выброситься из окна в пропасть. Все было перебито и опрокинуто. Он пил вино, купался. Это агония!

— Вы знаете, доктор, больной всегда гнал меня вон из спальни. Каюсь — я вздремнула... но...

— Идите; дело все равно кончено. Позовите Вениамина и Бетси.

Вошли родственники: два вопросительных знака, пытающихся стать восклицательными.

— Ну — вот что,— сказал Димен,— дело кончится не позже, как к вечеру. Выходка (вероятно — горячечный приступ) имела следствием, как видите,— полное беспамятство. Пульс резок и неровен. Дыхание порывистое. Температура резко упала,— зловещее предвестие. Надо... нам... приготовиться... сделать распоряжения.

Бетси, сверкнув бриллиантами красных рук, закрыла лицо и искренне зарыдала от радости. Вениамин молитвенно заломил руки. Доктор расстроился.

— Общая участь всех нас...— жалобно начал он.

Лорх проснулся. Взгляд его был стремителен и здоров.

— Принесите поесть! — крикнул он.— Я во сне видел жаркое. Принесите много еды — всякой. Хорошо бы пирог со свининой, коньяку, виски,— всего дайте мне — и много!

ПЬЕР И СУРИНЭ

Мы верим в чудесное, но до такой степени подозрительны сами к себе, что редко признаемся в этой вере. Тот второй «я», которому равно дороги сказки Шехеразады и таинственные опыты Юма, работа молнии, раздевающей человека догола, не расстегнув пуговиц, и сон «в руку»,— этот второй «я» нам кажется посторонним, милым, но недалеким субъектом. Мы часто краснеем за него, когда распаленный видениями, имеющими мало общего с законами будней, он тихо соблазняет нас высказать в кругу старых, добрых материалистов что-либо явно революционное, например, веру в то, что душа бессмертна.

Однако, думая, что таинственнее и чудеснее нас самих, т. е.— человека, людей,— ни свете нет, что сами мы, и в скептицизме и в легковерии, одинаково непостижимы ни с какой точки зрения, я беру на себя смелость рассказать милым читателям одно из самых потрясающих происшествий, какие случались когда-либо на нашей планете. Это не сказка, не выдумка и не аллегория — это сама жизнь, голая правда жизни, действительное событие,— факт.

В экипаже четырехмачтового парусника «Атлант» служил матросом некто Пьер, человек лет тридцати двух, разгульный, жестокий и злобный парень; большая мускульная сила и смелость создали ему репутацию опасного человека. Он пропивал обычно все жалованье, но был прекрасным, сметливым моряком и дело свое любил. Отрывистая, грубая речь, презрительное выражение лица и нескрываемое злорадство при виде чужих печалей не особенно располагали дружить с ним; друзей у него не было; а временные приятели, сподвижники кутежей, охладевали к обществу Пьера равномерно с отощанием его кошелька, Пьер не жалел денег, ни своих, ни чужих, вообще он ничего и никого не жалел, нося в душе ту тягостную пустоту, оторванность ото всего, кроме своей профессии, которая, при известных обстоятельствах, приводит к самоубийству, сумасшествию или преступлению.

Да не покажется странным, что этот человек был в связи с девушкой, любившей его той самой совершенной

любовью, которую вот уже множество столетий искусство пытается осилить звуками и словами. Девушку звали Суринэ. Она была корсажницей в заведении старухи Вийдук и самой красивой девушкой городка.

Тысячи способов есть познакомиться, нарочно или случайно, и как познакомился Пьер с Суринэ,— мы не старались особенно разузнать. Пламенную любовь Суринэ едва ли можно объяснить качествами избранника, так как Пьер не был пригож, и обветренное лицо его, сильно попорченное оспой, не нравилось даже старым портовым шлюхам, лелеющим, по традиции, несбыточную мечту о жантильных «мальчиках». Однако, мы поймем Суринэ, если согласимся признать два типа души: одну — с ненасытной потребностью быть любимой, другую — с не менее сильной потребностью любить, давать и дарить самой. Суриинэ своим темпераментом полно выражала вторую категорию. Пьер был очень неблагодарным материалом для сильного женского чувства, поэтому-то, так как любовь дающая идет по линии наибольшего сопротивления, Суринэ и полюбила его. Это слабое объяснение, не более, как шаткая и поспешная догадка, однако в подкрепление ее мы можем привести общеизвестный факт, именно тот, что у негодяев, большей частью, подруги и жены их — человеческие, хорошие женщины (или были такие в прошлом).

Суринэ редко видела Пьера. Проходило иногда, от двух до восьми месяцев, пока «Атлант» возвращался в родной порт, где стоял, в зависимости от погоды и груза,— месяц, полтора,— и редко более. Пьер мало оказывал внимания Суринэ. Он никогда не писал ей, не привозил даже безделушки в подарок и, встречаясь после разлуки, вел себя так, как если бы расстался с Суринэ только вчера. Любовь часто тяготила его. Иногда проблески настоящего чувства вспыхивали и в нем, но тогда ему непременно требовалось напиться, чтобы прийти в равновесие, нарушенное несвойственной его характеру неуклюжей любовной мягкостью. Случалось, что Суринэ покупала ему на свои деньги одежду, пропитую накануне, или часами простаивала в полицейском участке, умоляя выпустить Пьера, попавшего туда за скандал. И все-таки, если бы ей поставили выбор: смерть или жизнь без Пьера, она, не задумываясь, предпочла бы смерть.

В конце февраля «Атлант» бросил якорь у Зурбагана, где должен был простоять несколько дней. Неподалеку от порта жила некая Пакута, женщина вольного поведения, вдова почтальона. Пьер всегда, попадая в Зурбаган, бывал у нее, и с ней, пьянствуя, проводил ночь; на этот раз он собрался сделать то же; когда вахта окончилась, он спустился в кубрик, побрился, захватил кошелек и нож и пришел на улицу Синдиката, к дому Пакуты.

По дороге он выпил в попутном трактире два полных стакана водки и был поэтому нетерпелив, как игрок. Он постучал в наружную дверь; ему не ответили. Подождав немного, он возобновил стук и услышал шаги человека, осторожно сходившего по лестнице.

— Кто это ломится так поздно? — раздался голос вдовы.— Второй час ночи, и я лежу.

— Это я, Пьер,— сказал матрос,— отвори же.

Женщина рассмеялась.

— Ну, голубчик, ты опоздал,— решительно заявила она,— во-первых, я тебя не пущу, а во-вторых, у меня сейчас гости. Кстати — больше не приходи.

И она удалилась.

Пьер в полном бешенстве, не слыша больше звуков шагов и голоса, стал бить в дверь ногами и кулаками с такой силой, что все его тело стонало от сотрясения. Но дверь, заложенная железными засовами, не поддавалась. Пьер впал в исступление: то присаживаясь на тумбу в яростном, кипящем раздумьи, то вскакивая и ломясь снова, он, наконец, постепенно ослабел. С ним происходило нечто страшное: ноги отяжелели, голова кружилась, сердце глухо возилось в груди, как раздавленная птица, и непреодолимая сонливость владела Пьером. Вскочив через силу, чтобы поднять камень и разбить им окно Пакуты, Пьер зашатался, почувствовал, что теряет сознание, и упал навзничь.

Когда рассвело, матроса подобрал полицейский и отвез в больницу. Врач установил смерть от паралича сердца. Матроса похоронили на кладбище Северного Ручья, и один из его бывших товарищей мелом написал на деревянном кресте: «Пьер, с «Атланта», умер 28 марта 1892 года». Никто не заплакал на похоронах, и недели через три корабль вернулся в свой порт, где, как всегда,

принарядившись, застенчиво и трепеща, Суринэ ждала Пьера.

Она сильно удивилась, когда вечером, развязно постучав в дверь, вошел неизвестный ей, легкомысленного вида и навеселе матрос. Вздохнув из приличия, повертев в руках шапку и высморкавшись, посланец, торопившийся к собутыльникам, решил не маять ни себя, ни девушку и дело покончить разом.

— Только не ревите! — сказал он.— Этим ведь не поможешь. Пьер приказал долго жить. Похоронили мы его в Зурбагане, на кладбище Северного Ручья.

Суринэ, выслушав это, слушала еще, машинально, как матрос приводит подробности и, не устояв, села. Стены, потолок, мебель — все прыгало и ломалось в ее глазах. Сознание покинуло ее. Очнувшись, она уже не видела матроса, но слова его, болезненно громко, гремели в комнате, означая, что Пьер умер. Одна мысль, бесповоротно и сразу, вошла в душу Суринэ: ее место там, где лежит он; взглянуть на его могилу и умереть.

Через несколько дней после этого почтовый пароход «Блеск» бросил якорь у Зурбаганского мола, и с парохода поспешно сошла девушка в черном платье, расспрашивая прохожих, как пройти на кладбище Северного Ручья. Ей указали, и к тому времени, когда солнце садилось, несчастная, в последнем его свете, отыскала свежий, с надписью мелом крест; он стоял невдалеке от ограды, в дальнем, самом глухом, зеленом и цветущем углу кладбища.

Суринэ стала на колени, тоскуя и плача, как перед казнью. Ей хотелось молиться, но мысль о молитве настойчиво перебивалась воспоминаниями прошлого, где самые мрачные страницы ее любви казались теперь светлыми праздниками. Она вспомнила, как Пьер подолгу смотрел на нее своим рассеянным, немного косящим взглядом, словно спрашивал у судьбы: «В чем же собственно, дело?», как он дышал, спящий, как неуклюже целовал ее, как, крепко нахмурясь, молчал часами, думая о своем.

Небольшой бугор рыхлой земли с плохо отесанным крестом стоял перед ней мучительной преградой к милому мертвому. Она знала, что может биться головой о крест, и кричать, и звать таинственные силы на помощь — без конца, но и без утешения, что непоправимо

страшное свершилось,— знала это умом, но собственное ее сердце билось так живо и больно, что, бессознательно, ощущение своей жизни она переносила и на Пьера, не в силах будучи ясно вообразить, как же это его сердце молчит, когда ее, полное молодого горя, взывает о милосердии? Тихая ярость обезумевшей любви толкала Суринэ к действию; душа ее возмутилась, и мысли, сраженные смертельным несчастьем, перестали быть мыслями человеческими,— грозная тень исступления легла в них, смешав и сокрушив страдающее сознание.

Весь мир стал могилой для Суринэ.

С лицом, мокрым от слез, как от проливного дождя, с глазами, потемневшими от любви, как бы вростая похолодевшими коленями в ненавистную землю, она громко и безумно сказала:

— Прости же меня, отец! Я умираю! Или он встанет из могилы прежде, чем взойдет солнце, или я не оторвусь от этой земли, пока меня не оставит жизнь.

Она встала, с головой, кружившейся от изнурения и печали, расстегнула верхние пуговицы мрачного своего платья, чтобы хотя телом быть ближе к тому, кто не слышал и не мог слышать ее, и, склонясь к насыпи, крепко, нежно приникла к ней нагой грудью,— так крепко, что губы и лицо ее прижались к земле.

Так, неподвижно обнимая могилу, распростерлась девушка Суринэ в третьем часу утра, на кладбище Северного Ручья.

Какое напряжение воли можем мы представить себе в ее слабом теле? Перо наше отступает перед ее душой в эти минуты,— мы не совершим святотатства, пытаясь заковать в жалкие, неверные слова величайшее роковое усилие любви — все в муках и трепете...

И вот, жизненное тепло молодого тела стало покидать Суринэ. Как лицо, подставленное ледяному ветру, стыла, коченея от земляной сырости, ее белая грудь, посерели недавно еще красные от рыданий щеки; неодолимая слабость постепенно сокращала дыхание, в нервной неровности которого еще слышались могильной траве, осенявшей ее виски, отголоски слез. Измученное тело Суринэ приближалось к обмороку, к бессознательному состоянию, предсмертному упадку превысивших себя сил. Все глуше, все тягостнее сокращалось сердце. Суринэ не могла бы уже понять, если б и захотела,— жива она,

бодрствует и что с Пьером,— но, застывая в скорби, тайно чувствовала его под собой — не мертвым.

Тем временем ясное утро весны подбиралось, минуя далекие леса и горы, к кладбищу Северного Ручья, так же тихо и ласково, как нежные пальцы любимой, коснувшись виска друга, пробираются в глубь покорных волос, грея голову, заставляя глаза смеяться, а голове приказывая быть неподвижной, пока длится безмолвный привет.

Еще не взошло солнце, но листья затрепетали уже в ровном и ясном свете, и токи воздушных струй, играя с пространством, были теплы по-утреннему. Шиповник и белена, крапива и анютины глазки, маргаритки и колючий волчец показались, наконец, из предрассветных сумерек во всей нехитрости своей жизни, бесцельной и радостной. Проснулись, мелькая в воздухе, зеленые мухи, любительницы сидеть на солнце, утираясь лапками, умные бисерные глаза ящерицы показались на углу могильной плиты, и невидимые в кустах птицы начали робкую перекличку.

Суринэ лежала, замирая в тяжком бессилии. И вот когда показалось ей, что каждый ее вздох мгновенно может оказаться последним,— сорваться и улететь, как пух, оставив грудь бездыханной,— судорожный толчок земли вверх, короткий, но подступивший к сердцу, рассеял ее предсмертное томление...

— Это твое сердце разорвалось, Суринэ,— сказала она, но тут же почувствовала, как мертвое уже — в мыслях ее — сердце стучит в невыразимом волнении, в жутком и страшном трепете.

Она приподнялась, движимая как бы чужой волей, приникла ухом к земле, и там, из таинственной глубины праха, услышала темные звуки жизни, шорох и неясное трение, и глухой отзвук голоса, который, может быть, оглашал тесноту гроба воплем, близким к безумию. Не думая о том, слышно ее или нет, Суринэ крикнула всей всколыхнувшейся грудью:

— Пьер! Мой Пьер! Я здесь, и ты сейчас будешь со мной!

Она быстро обежала вокруг могилы, ища какого-нибудь орудия, заступа, кирки, палки, куска доски, чтобы отрыть Пьера. Судьба помогла ей. Накануне гробокопатель оставил неподалеку от Суринэ, у недорытой моги-

лы, железный заступ. Суринэ схватила его и, тяжкая даже для мужчин, земляная работа показалась ей легкой строчкой батиста. По мере того, как она пробивалась к гробу, стук снизу становился все явственнее и настойчивее. Еще верхнюю крышку гроба закрывала, по углам ее, земля, как Суринэ, с силой, какая никогда, ни ранее, ни потом, не вспыхивала в ней, откинула крышку, и Пьер, поднявшись на дрожащих руках, увидел яркие глаза Суринэ, блестевшие потрясением. Не медля, как бы боясь, что могила вновь сомкнется над ним, она помогла полубесчувственному ожившему взобраться наверх и здесь, прижав его большое тело к себе маленькими руками, дала утреннему воздуху обиовить легкие и кровь Пьера.

Наконец, истощенный, но способный уже говорить и двигаться, он сказал:

— Суринэ, меня хотели похоронить?

— Ты умер и воскрес, Пьер,— прошептала девушка,— молчи же, приди в себя. Мы никому не скажем об этом, для людей это будет страшно подозрительно.

К Пьеру возвращалась память. Он вспомнил ночь перед домом вдовы, но другим воспоминаниям помешало внезапно овладевшее им отвращение к себе — в прошлом,— как к трупу, к могиле, на краю которой он сидел со свешенными в нее ногами, и разбросанной повсюду земле. Они встали, удалившись от печального места, и тогда, наконец, взаимные слова, приведенные в некоторый порядок силой возбужденных душ, объяснили каждому то, что оставалось неясным в их положении. Пьер понял все, понял Суринэ и заплакал.

Когда они уходили с кладбища и Пьер, шатаясь, опирался о плечо девушки, над кладбищем ярко горело солнце.

Нам остается сказать немного о их дальнейшей судьбе. Пьер переменил имя и поселился с Суринэ на берегу моря, недалеко от Кассета. Через два или три месяца он получил место смотрителя маяка, и Суринэ больше не обижал, чем мы весьма и весьма довольны.

Случаи каталепсии, подобные описанному нами в этом рассказе, как известно, не редки. Но,— спрашиваем мы себя с стесненным от стыда сердцем,— возможно ли, допустимо ли, чтобы действительно, по-настоящему умерший человек ожил таким образом? Мы не сомнева-

емся, что многие признают самое возникновение такого вопроса симптомом безнадежного слабоумия. Пусть так.

Но нам так сильно хочется верить, что это — возможно и, может быть, мы так верим уже в это, что, продолжая краснеть, съежившись и прося пощады, упорно говорим: — «Да»...

Июнь 1918 г.

СОЗДАНИЕ АСПЕРА

I

В мрачной долине Энгры, близ каменоломен, судья Гаккер признался мне во многом необычайном.

— Друг мой,— заговорил Гаккер,— высшее назначение человека — творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя художника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления, удивляющие их, не что иное, как произведение искусства.

Живопись, музыка, поэзия создают внутренний мир художественного воображения. Это почтенно, но менее интересно, чем мои произведения. Я делаю живых людей. С этим возни больше, чем с цветной фотографией. Тщательная отделка мелких частей, пригонка их, чистка, обдумывание умственных способностей созданного вновь субъекта, а также необходимость следить за тем, чтобы он поступал сообразно своему положению,— отнимают немало времени.

— Нет, нет,— продолжал он, заметив на моем лице недоверие и натянутость,— я говорю серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь последователей; поэтому, зная, что завтра окончу жизнь, решился доверить вам метод, посредством которого достиг известных результатов.

Земля скупо создает новые виды растений, животных и насекомых. Мне пришла мысль внести в роскош-

ное разнообразие природы еще более разнообразия путем создания новых животных форм. Открытие новой разновидности кокуйо[1] или орхидеи увековечивает имя счастливого профессора, тем более мог гордиться я, если бы удалось мне,— не путем скрещивания, это путь природы,— а искусственно изменить видовые признаки отдельных особей с сохранением этих изменений в потомстве. Я нашел верный путь, столь странный, но бесконечно простой, что вы, если я посвящу вас в свое открытие, должны изумиться. Однако я молчу, чтобы не сделать бедных животных пасынками ученого мира, забавными униками: теперь же они — предмет благоговейного изучения, завоеватели славы своим исследователям.

Я создал плавающую улитку с новыми органами дыхания; шесть пород майских жуков, из коих одна особенно замечательна выделением благовонной жидкости; белого воробья; голубя-утконоса; хохлатого бекаса; красного лебедя и много других. Как вы заметили, я выбирал общеизвестные, легко встречаемые виды с целью наискорейшего их открытия учеными. Мои произведения вызвали фурор; автором считали природу, а я читал о плавниках новой улитки с улыбкой и нежностью к маленьким тварям, отцом которых был я. В это время, определяя границы возможного, я занялся деланием людей. Я придумал их три, выпустив в жизнь: «Даму под вуалью», известного вам «поэта Теклина» и разбойника «Аспера», относительно которого в стране не существует двух мнений: это — гроза округа.

Являлось бесцельной забавой производить обыкновенных людей, которых весьма достаточно. Мои должны были стать центром общего внимания и произвести сильное впечатление, совершенно так, как знаменитые произведения искусства; след, задуманный и проложенный мной, должен был глубоко врезаться в души людей.

Я начал с «Дамы под вуалью» как с опыта. Однажды к прокурору главного суда в Д. позвонила стройная молодая женщина; лицо ее скрывал черный вуаль. Она объясняла, что желает видеть прокурора для секретных разоблачений по сенсационному процессу Х., обвиненного в государственной измене. Слуга, ходивший с докла-

[1] Святящийся жук.

дом, вернулся, но дама скрылась. В один и тот же час того дня, как обнаружилось, таинственная посетительница приходила с аналогичным заявлением к сенатору Г., министру юстиции, военному министру и инспектору полиции и везде скрывалась, не ожидая результатов доклада.

Предположения, возникшие в печати и обществе по поводу этого необъяснимого случая, доставили мне множество приятных часов. Уличные газеты кричали о мадам К., любовнице штабного генерала, заинтересованного в гибели подсудимого; другие, с пеной у рта, объявили даму хитрой выдумкой консерваторов, подкупленных министерской полицией, старавшейся прекратить скандал. Третьи, измышляя интригу государств иностранных, обвиняли в измене правительство и утверждали, что дама под вуалью — морганатическая супруга принца В., красавица, опасная для мужчин, какое бы высокое положение они ни занимали. Салонный шепот распространил клевету на женщин света и полусвета; в таинственной даме олицетворяли подкуп, разврат, интригу, происки партий, трусость и предательство. Наконец, общим голосом объявлена она была Марианной Чен, полулубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду.

Три года в четырех городах появлялась она, скрываясь от назначенных ею самой свиданий по разным, но всегда крупным делам, имеющим мировое значение. Никто не видел ее лица иначе, как на портрете, помещенном ею вместе с собственноручным письмом в «Парижском Глашатае». Вот этот портрет.

Рассказ Гаккера взволновал меня, я начал верить ему; было здесь нечто, похожее на эхо в овраге, когда повторенный звук указывает глубину обрыва; эхом человеческого могущества звучал рассказ Гаккера.

Он подал мне фотографию; удачнее выбрать лицо, выражающее тайну, было бы трудно: с полузакрытыми, прямо смотрящими глазами под высоким и гордым лбом белело оно твердым овалом, и сжатые губы, казалось, только что покинул отнятый от них палец.

— Марианна Чен — символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле.

— Сотворение поэта Теклина, переводчиком которо-

го я состоял до его смерти,— более трудное дело. Как вы знаете, это писатель из народа, а художественные требования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность.

В редакциях стал появляться застенчивый деревенский гигант, предлагая приличные для необразованного человека стихи; на него обратили внимание, а через год он писал уже значительно лучше. Затем, после нескольких внушительных фельетонов и критических статей о себе Теклин исчез, изредка сообщая, что он в Индии, или Бухаре, или Австралии, с быстротой молнии перекатываясь из одного конца света в другой. Теклин продолжал писать строго-идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла. Я стал переводить его на всевозможные языки и, могу вас уверить, достиг тоже известности, как недурной переводчик.

Теклин умер недавно от желтой лихорадки в Палестро. Даже разбогатев, поэт обходился без прислуги, был вегетарианцем и любил физический труд.

— Вы шутите! — вскричал я.— Но ведь это немыслимо!

— Почему же? — Гаккер искренне удивился.— Разве я не могу сочинить плохие стихи?

Он замолчал.

II

— Это хорошее было произведение — Теклин,— сказал, выходя из задумчивости, Гаккер.— Я тщательно сработал его. Но перехожу к тому, кто мне интереснее всех,— к Асперу; не распространяясь о технике, я оставляю этот вопрос открытым. В настоящем примере вы увидите черновик, будни художника.

Аспер — тип идеализированного разбойника: романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы. Как это ни странно, но ожесточенно борясь с преступностью, общество вознесло над жуликами своеобразный ореол, давая одной рукой то, что отнимало другой. Потребность необычайного,— может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и наро-

дов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Морган, Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин,— все они как бы не пахнут кровью, и мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава. Это освежает нервы, и я создал легендарного Аспера. Порывшись в трущобах, где лица заросли волосами и пропиты голоса, я остановился на беглом, весьма опасном каторжнике. Не стоило мне больших трудов выгнать его за океан с помощью денег; он был хорошо известен полиции, его арест был мне невыгоден. Я воспользовался его именем «Аспер» — взял чужую мышеловку, но посадил в иее свою мышь. В нашем округе вооруженные грабежи — обычное явление, и я умело распорядился ими, но не всеми, а лишь такими, где преступники обходились без насилия и убийства. Создав Аспера, я создал ему и шайку, после каждого ограбления пострадавший получал коротенькое письменное уведомление: «Аспер благодарит». В то же время наиболее бедные из крестьян получали от меня деньги и таинственные записки: «От Аспера щедрого» или «Свой своему. Аспер». Иногда послания эти становились длиннее; напуганные фермеры читали, например, следующее: «Я скоро приду. За Аспера — помощник его, скрывающий имя».

Случалось, что на фермеров этих действительно нападали, но в случае поимки грабителей они, естественно, протестовали против принадлежности своей к шайке Аспера, и это еще больше удостоверяло прекрасную дисциплину неуловимого и, что признавали уже все, отважного бандита.

Дерзость и наглость Аспера обратили на себя особо пристальное внимание. Сам он, как говорили, появлялся весьма редко, и мнения относительно его наружности расходились. Воображение пострадавших помогало мне сильно. Изредка я оживлял впечатления; например, завидя одиноко едущего по дороге крестьянина,— надевал маску и молча проходил мимо него; известная рисовка положением заставляла беднягу рассказывать всем о встрече не с кем иным, как с Аспером. Устроив близ железнодорожной станции потухший костер, я бросил около него на траву две полумаски, несколько пустых па-

«АКВАРЕЛЬ»

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

тронов и нож; это обсуждалось серьезно, как спугнутый ночлег бандита.

Благодеяния его становились все чаще и разнообразнее. Я посылал деньги бедным невестам, вдовам, умирающим с голоду рабочим, игрушки больным детям и т. п. Популярность Аспера укреплялась с каждым месяцем, полиция же выбивалась из сил, отыскивая злодея. Целые деревни подозревали друг друга в укрывательстве Аспера, но невозможно было уследить ходы и выходы этого замечательного человека. Однажды, зная, что поселку Гаррах по доносу фантазера угрожают надзор и обыск, я послал от имени Аспера письмо в газету «Заря»: Аспер удостоверял клятвенно, что Гаррах враждебен ему.

Около этого времени Аспер влюбился.

Молодая дама Р. поселилась недалеко от Зурбагана в вилле своей сестры. Во время лесной прогулки к ногам ее упал камень, завернутый в лист бумаги. Подняв упавшее, Р. с испугом и удивлением прочла следующие строки: «Власть моя велика, но ваша власть больше. Я тайно и давно люблю вас. Не беспокойтесь; отверженный и преследуемый — я, произнося ваше имя, становлюсь иным. Аспер». Дама поспешила домой. Семейный совет решил, что это глупая шутка кого-либо из соседей, и успокоил взволнованную красавицу. На утро под окном ее нашли целый сад роз; весь цветник, от клумб до подоконников, был завален гигантскими букетами, а в дереве стены торчал, удерживая записку, кинжал синей стали с рукояткой из перламутра. На записке стояло «От Аспера».

Р. немедленно уехала в другую провинцию, унося на спине взгляды знакомых дам, не лишенные зависти.

Неуловимость волнует больше, чем преступление. Несколько раз полиция устраивала засады в горных проходах, на берегах рек, в бродах, пещерах и везде, где только можно было предположить тайные лазейки Аспера. Но сверхъестественная неуловимость бандита, лишая полицию даже жалкого утешения в виде стычки или погони, понемногу охладила рвение администрации; вяло, без воодушевления, как хронически-больной, потерявший надежду на излечение, принимала она меры канцелярского свойства — отписку и переписку. Тогда, болея за Аспера, я послал донос с указанием места его посто-

янного пребывания, выстроив заранее в глухом лесу небольшой дом. По следу этому отправились конница и пехота.

Ранним утром, в то время как преследователи приближались к хижине Аспера, в зеленой чаще раздались выстрелы. Разбойники стреляли из-за кустов. То были патроны без пуль, укрепленные мною в различных местах леса и снабженные великолепно скрытыми электрическими проводами; конные полицейские, проехав по единственной в этом месте тропе, не подозревали, что копыта их лошадей давили зарытую доску, нажимавшую, в свою очередь, кнопку. Все это стоило мне больших трудов. Полицейские, бросившись на выстрелы, никого не нашли; разбойники скрылись. В очаге хижины тлели угли, остатки пищи лежали на оловянных тарелках, ножи и вилки, кувшины с вином — все говорило о спешном бегстве. В ящиках под кроватью, на стенах и в небольшом тайнике было обнаружено несколько париков, фальшивых бород, пистолетов и огнестрельных припасов; на полу валялись черепаховый веер, пояс и шелковый женский платок; это сочли вещами любовницы Аспера.

Игра тянулась шесть лет. В окрестностях поют много песен, сложенных молодежью в честь Аспера. Но Аспер, как я убедился, должен быть пойман. В последнее время полиция наводнила округ до такой степени, что разбои прекратились совсем. Уже год, как об Аспере ничего не слышно, и существование его многими оспаривается.

Я должен спасти его, т. е. убить. Завтра я это сделаю...

Гаккер расстегнул рукав сорочки и показал мне татуировку. Рисунок изображал букву «А», череп и летучую мышь.

— Я копировал с руки настоящего Аспера,— сказал Гаккер,— полиция примет рисунок к сведению.

— Я понял. Вы умрете?

— Да.

— Но ведь жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.

— У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть

подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить.

Он встал, мы пожали друг другу руки. Я знал, что эту ночь не усну, и шел медленно. Аспер, как разбойник, продолжал существовать для меня, несмотря на рассказ Гаккера. Я посмотрел в сторону гор и ясно почувствовал, что бандит там; прячась, караулит он большую дорогу, взводя курки, и неодолимая уверенность в этом была сильнее рассудка.

«Около одиннадцати часов вечера у скалы Вула, где пропасть, убит легендарный Аспер. Остановив почтовую карету, разбойник, взводя курок штуцера, поскользнулся, упал; этим воспользовался почтальон и прострелил ему голову. Раненый Аспер бросился в кусты, к обрыву, но не удержался и полетел вниз, на острые камни, усеявшие дно четырехсотфутовой пропасти. Обезображенный труп был опознан по татуировке на левой руке и стилету, на лезвии которого стояло имя разбойника. Подробности в специальном выпуске».

Так прочел я в вечерней газете, кипы которой разносились охрипшими газетчиками. «Смерть Аспера!» — кричали они. Я положил эту газету в особый ящик редкостей и печальных воспоминаний. Каждый может видеть ее, если угодно.

ОБЕЗЬЯНА

На третьем действии «Золотой цепи», поставленной после продолжительного перерыва в Новом Сан-Риольском театре, сидевший в ложе второго яруса Юлий Гангард, натуралист и путешественник, был несколько озадачен одной сценой, в отношении которой долго старался что-то припомнить, но безуспешно. Это был как раз тот момент, когда, по пьесе, смертельно раненный

Ганувер падает и, лежа, протягивает руки к Дигэ, привлекая ее за Молли, в то время как круг озверевших гостей, мерно ударяя в ладоши, вопит песню. Не песня, не каждое движение актеров в отдельности, но совершенно неуловимое стечение впечатлений, подобно легкому движению воздуха, вынесло Гангарда из театрального настроения в область неверных воспоминаний,— тронуло и прошло, оставив неутоленный след.

Некоторое время он был задумчив, рассеянно говорил со своим приятелем, почти не слыша его замечаний, и, когда занавес спустился, вышел один в буфет, где, стоя у прилавка, выпил коктейль.

Он думал, что странное веяние, коснувшееся его во время описанной сцены третьего действия, прошло, но, рассмотрев толпу, заметил, как сквозь перебегающие обычные мысли возвращается, приближаясь и ускользая, настойчивое воспоминание,— с закрытым смыслом, в спутанных очертаниях сна. Оно было как твердый предмет, попавший в ботинок,— ощутительно и неизвестно по существу. Больше того,— оно вывело его из равновесия, требуя разрешения, и он стал самым положительным образом искать в памяти: что такое почти припомнилось ему во время игры.

В это время через шумную тесноту фойе пробирался, рассыпая улыбки, худощавый нервный человек с живым, напоминающим мартышку лицом, и, рассеянно взглянув на него, Гангард разом связал потуги воспоминаний в одно отчетливое и загадочное зрелище, которому был свидетель год назад,— очень далеко отсюда. Вновь встал перед ним лес, из леса вышли звери с мохнатыми, круглыми, человеческими глазами, и повторилось острое изумление, усиленное замечательным совпадением поз,— здесь, на сцене, и в лесу — там.

Продолжая думать об этом, он разговаривал теперь с одним из своих поклонников, молодым человеком, не умеющим отличить пули от пороха, но несмотря на это мечтающим или, вернее, болтающим о далеких путешествиях языком томного петушка, зачислившего себя в орлы.

— Скажите-ка мне, Перкантри,— прервал его трепет Гангард,— как театралу плохому и случайному,— кто это играл Ганувера?

— О! Неподражаемый Бутс, конечно,— сказал Перкантри, изящно шевеля талией,— кстати, вы знаете его историю? Ну, конечно, знаете, и в строгих, каменных чертах вашего лица я уже уловил симпатию к Бутсу: Как же: он был в Африке, хотя и случайно. Он ехал в Преторию с труппой, ха-ха! — вы хотите сказать, Гагенбека? О, нет, сам великий Давид Патарон, антрепренер, вез его в первоклассном салоне; кормил конфетами и так мягко вспоминал о контракте, как будто горел желанием вписывать туда все новые и новые суммы. Да: «Сингапур» толкнулся о мину, после чего на шлюпках, при хорошей погоде и попутном ветре, вся братия высадилась где-то севернее или южнее Занзибара,— сказать не могу. Да, их потрепало, конечно, и там были экзотика, и таинственный лес, и хищные звери, и все. Ну, естественно, реклама чудовищная. Теперь Бутс здорово раздул щеки.

Сославшись на телефон, Гангард оставил Перкантри и пошел за кулисы. Он ничего не понимал, догадок у него никаких не было, но какая-то нить уже связывала актера и путешественника и, еще отчетливее, с большими, тревожно обращенными в прошлое глазами, увидел Гангард сцену в лесу.

Бутс, кончив роль, переоделся; уже брал он цилиндр, когда явился Гангард.

— Я не задержу вас,— сказал гость после обмена приветствиями, с наполовину искренней лестью.— Привычка говорить через переводчика научила меня экономно составлять фразы, и потому я кратко расскажу о странных наблюдениях моих на восточном берегу Африки. Сначала коснемся вашей игры, вернее,— той сцены, которая повергла меня в недоумение. Я говорю о моменте падения Ганувера, когда он, стараясь поймать подол платья Дигэ, принимает ее за свою невесту, а гости, стоя вокруг умирающего, хлопают и поют.

— О! Я не был в ударе...— начал Бутс, но Гангард остановил его жестом.

— Ваша игра прекрасна,— сказал он.— Теперь слушайте. В лесу, в лунную ночь, я увидел на тесной, ярко озаренной поляне, как из чащи, спускаясь по лианам, вышло стадо обезьян-сопунов, довольно редкая разновидность человекоподобных.

Бутс стал вдруг крайне внимателен и, описав сигарой что-то подтверждающий полукруг, согласно кивнул.

— Итак,— продолжал Гангард, пристально смотря в напряженные глаза Бутса,— эти обезьяны, отчасти напоминающие кокетливо одетых в меха шоферов, особенно, если принять во внимание автомобильные очки и движения быстрые, как движения пальцев вяжущей чулок женщины, спустились с деревьев и наполнили поляну по странному сигналу своего предводителя. Был это фыркающий, тоскливый и глубокий, как вздох, крик, после чего на поляне произошло смятение, подобное фальшивой тревоге пожарного обоза, когда он выезжает на упражнения. Обезьяны толкались, бесцельно переходя с места на место. Часть их еще скакала по веткам, но скоро все сплотилось в одну сумасшедшебыструю кучу, и нельзя было понять смысл этого сборища. Наконец, крики, тревожные, грустные крики знающих что-то свое зверей перешли в хор, в режущий ухо вопль, иногда просекаемый густым ворчанием самцов.

Но вот — все они расступились. В середине круга стало два зверя; согнувшись, руками касаясь земли, они гримасничали, блестя круглыми, в меховых очках, глазами, и один зверь, раскачиваясь, упал. Дикий крик издал он, пронзительный, резкий вопль, какой издает обычно антропоид, если его подстрелят. Он упал, стараясь схватить за хвост другого, который, увертываясь, вытягивал руки и потрясал ими, выказывая всем видом крайнее исступление.

Я, конечно, не помню мелочей общего движения этих шоколадных фигур в лунной пустоте чащи. Прошло несколько времени, когда, казалось, видя всеобщее замешательство, они перейдут в драку, но упавшая обезьяна оставалась лежать по-прежнему среди некоторого свободного пространства, и я не видел ничему объяснения. Тогда,— обратите на это внимание,— круг обезьян, утихнув, привстал, окружив лежащего в середине теснее, и некоторые из них, медленно покачивая головами, стали соединять и разъединять руки, правда, не хлопая, но совершенно так, как в глубокой рассеянности поступает человек,— трогая рукой руку, не зная, то ли потереть их, то ли, сжав, на чем-то сосредоточиться. Это движение, этот однообразный жест, полный

грустной механичности, вскоре стал общим, после чего на высоте дерева раздался короткий крик, и, соскочив оттуда в гущу действия, вновь явившаяся обезьяна стала поднимать лежащую.

Вот, собственно, все. Когда Молли,— ваша блестящая, высоко даровитая артистка Эмилия Аренс, прибегает к раненому Гануверу и поднимает его, в то же время разгоняя хищную толпу самозваных гостей, я вижу, что ее драматический момент в точности совпадает,— конечно, в грубых чертах,— с поведением той обезьяны, которая спустилась с дерева; она зарычала. Круг обезьян отступил и рассеялся. Все смешалось. Лежавший зверь тоже вскочил, и произошло обычное, бессмысленное для нас скаканье взад-вперед, после чего целый дождь пружинных прыжков разнес все сборище по окружающим поляну деревьям, и, еще несколько повозившись на высоте, сопуны скрылись, а я вернулся в палатку, чувствуя, что подсмотрел нечто, едва ли встречаемое натуралистами.

Крайне заинтересованный, я провел на этом месте еще три ночи подряд, и каждый раз, с несколькими вариациями, сопуны проделывали это же непонятное действие. На четвертую ночь я подстрелил одного из них,— именно того, который падал посередине круга, желая узнать, не является ли какое-нибудь органическое страдание зверя причиной этих ночных загадочных сборищ. Итак,— но... хочу ли я что-нибудь сказать этим? Нет. Я только рассказал факт.

— Где это происходило? — спросил Бутс, едва Гангард смолк.

— На морском берегу, между Кордон Брюн и устьем небольшой речки, называемой туземцами Ис-Ис. На картах она отмечена не везде.

— Мы выехали из Кордон Брюн,— сказал потрясенный актер,— выехали на нефтяном пароходе,— но скажите еще одно, не начинается ли длинный овраг от песчаной полосы — там, где вход на эту поляну?

— Да, и я пересек овраг в отдаленном его конце.

— Отдаленном от моря?

— От моря.

— Пройдя большие серые камни?

— Их пять штук, они расположены прямой линией, под углом к лесу.

— Слушайте,— сказал, помолчав и усмехаясь, Бутс,— на этой поляне я и мои товарищи, между прочим, небезызвестная в Европе Мери Кортес, разыграли, от нечего делать, для себя и для прочей спасшейся публики третье действие «Золотой цепи». И стая обезьян собралась смотреть на нас. О! Я все хорошо помню. Их так густо нанесло вокруг по вершинам, что кое-кто хотел выстрелить, чтобы их разогнать, так как они иногда мешали своим сопением и чрезвычайным волнением, но Мери Кортес взяла их под свою защиту, объявив, что им выданы контрамарки. Да, мы весело провели несколько дней,— по-африкански весело. Теперь что же? Как вы объясняете все?

Гангард долго молчал.

— Я, кажется, напрасно застрелил сопуна,— сказал он с внезапной неподдельной грустью, что-то обдумывая.— Да, конечно, так, дорогой Бутс. Эти впечатлительные нервные существа были, надо думать, поражены действием. Они видели притворное горе, и притворную смерть, и притворную любовь во всей недоступной им человеческой сложности и, ничего не поняв, все же что-то оставили для себя. Им прозвучал сильный призыв из навсегда закрытого мира. Увы! бедняги могли только перенять внешность и тщательно повторять ее. У вас никогда не было более потрясенных зрителей. Мы встретимся поговорить об этом подробно, а пока что я так расстроился, что поеду домой, и, не сердитесь,— пришлю вам чучело моего сапуна. Это ваш меньшо́й брат — маленький Бутс.

ОГОНЬ И ВОДА

ОГОНЬ И ВОДА

I

Леон Штрих, в надежде, что его история с оппозицией диктатору области кончится благополучно,— поселился у самой границы, однако вне пределов досягаемости. Теперь он находился всего лишь в тридцати верстах от города и дома, где проживала его семья. Значительные и властные лица хлопотали о разрешении Штриху вернуться на родину. Это тугое и обременительное для многих дело шаг за шагом подвигалось, как можно было уже надеяться, к благополучному концу. Штрих, бесконечно влюбленный в семью, скрашивал свое нетерпеливое тягостное уединение тем, что в ясные дни, когда даль сбрасывала туманы окрестных болот, взбирался на холмы Железного Клина и подолгу смотрел через бухту на рой туманных блесток далекого Зурбагана. Мысленно определив место, где стоял дом, Штрих вскрывал воображением все его этажи и, мысленно же побыв с детьми и женой, согревшись их обществом, возвращался к своему убежищу, маленькому деревянному домику рыбака, стоявшему на краю деревни, в конце Железного Клина, неподалеку от линии моря.

Он жил здесь около года, утешаясь предельной близостью к городу. Жена и дети часто писали ему. Он вскрывал письма, опустив оконные занавески, чтобы не рассеиваться ничем, и читал их по нескольку раз, до утомления, стараясь определить мысли, проносившиеся в уме писавшего, меж фразами и знаками препинания. Иногда он рассматривал отдельные буквы, ломая голо-

ву при поспешном или старательном начертании их; также над запятыми, точками, особенно в письмах жены. «Не знала, что писать дальше, ей скучно»,— воображал он иногда, и его сердце при виде отчетливо вкрапленной где-нибудь в середине письма точки — сжималось. Зато он ликовал, получая мелко исписанные страницы с приписками на полях и поперек текста. Его жене было двадцать четыре года, мальчику — восемь и пять — девочке. Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытьи с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что ввязался в политику,— с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника.

Он ничего не делал и жил, слоняясь целыми днями по береговым скалам, на солнечном ветре, избегая людей, чувствуя больную ревность к самому себе при встрече с ними, так как невольно вникал в чужие интересы, страдания, надежды, обманы. Рыбаки начали дичиться его. Он неохотно отвечал на вопросы, улыбался, когда жаловались на что-либо; морщился, когда с ним делились радостью; часто говорил невпопад, резко прощался.

Кузнец, хозяин дома, где он жил, человек неговорливый, но любивший выпить и покурить вдвоем, был единственный человек, которого терпел Штрих. Кузнец являлся по вечерам. Штрих ставил на стол бутылку, папиросы и принимался рассказывать о своих. У него мальчик и девочка. Его мучает иногда то, что которого-то из них он, кажется, любит больше, но не может уяснить, кого именно. Мальчика зовут, как и его, Леон, но прозвище у него «Брандахлыстик». Он начал читать четырех лет. Он делает очень хорошо маленькие лодки и обожает музыку. Девочку, которую зовут, как мать,— Зелла, прозвали «Муму». Она складывала, когда была очень маленькой, губки в трубку, и выходило у нее поэтому не «мама», а «муму». Оба черноволосы, оба очень добры. Оба страшные шалуны. Оба прекрасны. Жалко, что кузнец их не видел. Муму ездит на волкодаве верхом и всегда хохочет. Однажды она засунула палец в пустой пузырек от лекарства и не могла

вытащить (ей было тогда три года), но она догадалась его разбить и притом не обрезалась.

Кузнец добродушно слушал, кивая головой и поморгивая огромными бровями. Веки его слипались. Постоянно, не торопясь, выпивал он вино, вытирал рот кистью руки, благодарил за угощенье и уходил, дымя папиросой, весь в пепле. Оставшись один, Штрих, возбужденный разговором, долго ходил по комнате. В стенном зеркале мелькало, как бы пролетая, его иссохшее от тоски лицо с блестящими напряженными глазами. Синий туман, наконец, ослаблял его и вгонял в постель.

Каждый день, утром, с головой, полной одних и тех же мыслей, в нервном и тоскливом ожидании писал он длинные письма жене, бесконечно уснащая их ласковыми словами, интимными обращениями и теми маленькими вольностями, какие у цельных натур выказывают не испорченность, а острое всепроникающее обожание. В конце письма следовали длинные обращения к детям. Он писал о своих настроениях, мечтах, планах, надеждах, описывал окрестности, прогулки, раковины, деревья, закаты солнца, морские шквалы, подробно исчислял однообразное течение дня, давал советы, спрашивал о положении своего дела; просил читать те или другие книги. Затем он совершал упомянутую прогулку к холмам с видом на Зурбаган.

Тем временем друзья стали извещать его — все в более и более определенных выражениях — о том, что вокруг его дела создалась благоприятная атмосфера. Оставалось посетить двух-трех лиц, завершить некоторые формальности (просить в одном месте, дать взятку в другом). Штрих чувствовал приближение свободы. Он спал меньше, дольше оставался на холмах, иногда заговаривал сам с туземцами, угощая их табаком. Огромная тяжесть, давившая его, покачнулась, и под дальним краем ее блеснул свет.

II

В четвертом часу ночи на воскресенье Штрих внезапно проснулся, мгновенно взвинченный необъяснимой тревогой. Она была так сильна, что руки Штриха плясали, долго не попадая спичкой в фитиль свечи. Штрих

кое-как надел брюки, жилет. По лужам (днем прошел сильный ливень) торопливо ударяли копыта верховой лошади. Шум приближался; подковы звякнули перед окном о камни, и на мгновенье стало тихо. Штрих ждал.

За дверью раздались голоса; один был голосом кузнеца, снимавшего дверные засовы, другой голос, тоже мужской, показался Штриху знакомым. Три громких удара в дверь слились с его криком:

— Да, да, я здесь; идите, в чем дело?!

Вошел, задыхаясь, Морт,— учитель, друг Штриха. Они не виделись больше года. Морт был в грязи, бледен, странен в движениях; нестерпимо-тоскливое выражение его лица душило Штриха. Морт остановился у двери, смотря на друга взглядом, полным таинственного значения. Штрих подступил к нему, не здороваясь, сжав кулаки, видя, что визит грозен, как разрушение.

— Я взял отпуск, лошадь и помчался к тебе,— говорил Морт, торопясь высказать все, пока руки Штриха не вцепились в его горло.— Ты чувствуешь? Ты угадал? Я просил, молил о разрешении тебе ехать немедленно в Зурбаган, но скоты уперлись лбом... Телеграмма убила бы тебя. Признаюсь, я хотел начать издалека, но когда увидел, что ужас уже с тобой — говорю сразу. Слушай, возьми в зубы одеяло и крепче закуси или же сразу оглушись водкой как можно больше. Дом сгорел, Штрих; пожар начался в нижнем этаже, дерево занялось сразу, дети... Понял? Твоя жена в больнице; сутки, может быть, но не более...

Когда он договаривал, Штрих уже рвал изо всех сил дверь, удерживаемую тоже с бешеным упорством Мортом; тот кричал нечто, чего Штрих не понимал и не хотел знать. Он плакал навзрыд, цеплялся за его руки, с смутной надеждой найти слова повелительной и разумной силы. Но таких слов не могло быть. Штрих ударами кулака отбил Морту руки, державшие закраину двери, и выбежал в тьму.

Он был босой, без шапки, как застал его Морт. Дождливый мрак грудью навалился на землю, временами колыхая в лицо душным сырым ветром. Свернув за угол дома, Штрих с точностью лунатика устремился по прямой линии к развалинам зурбаганского дома, как голубь, брошенный с аэростата, сквозь блеклый туман

бездны, падая стремглав, берет сразу нужное направление. Штрих пересекал полуостров. Полного сознания окружающего у него не было. Весьма неровная местность, покрытая перелесками, оврагами, скалистыми рубцами почвенных гранитных прослоек, местами смытая водой, местами песчаная,— одолевалась им как бы во сне. Он спотыкался, падал, вставал, снова бросался вперед, не помня и не ощущая ничего. Общее смутное впечатление пробега, когда оно являлось мгновениями, напоминало бешеную пляску в наглухо закрытой карете. Потрясение, сильнейшее, чем можем мы представить себе, держало его на границе мгновенной смертн. Ни боли окровавленных ног, ни тяжести, ни дыхания не чувствовал, пока бежал, Штрих, увлекаемый нервным вихрем в неизменно безошибочном направленин. Он знал только, что неизвестно как, через некоторый чудовищный промежуток времени — очутится там, где надо, где — поздно и где что-то можно поправить.

Тьма была полная; однако блеск образов, сопутствующих ему, неотступно плывущих вокруг, в близком расстоянии от лица, превращал мрак, световым напряжением мозга, в подобие сумеречных провалов, где, дымясь фосфорически, сплотились облака уродливых контуров. Дым окружал Штриха. Он слышал его угарный запах, видел колебание волнистых серых завес, пронизанных багровым отсветом, и тихо передвигающихся, красных струек огня. Часть оконного переплета мелькала вдали. Временами Штрих громко произиосил:

— И вот они задыхались!..

Оба, мальчик и девочка, беспрерывно перемещались в сгущении дыма; они то бежали по направлению к нему, протирая кулачками глаза, то удалялись в таинственные углы мрака, откуда слышался их затихающий крик; то, лежа на полу в конвульсивной дрожи, тыкались головами, как слепые щенки, в извивы бурно мятущегося везде дыма. Или лицо жены, закинутое назад, как у обморочной, с пылающими волосами, проносилось так близко от него, что он протягивал руки, вскрикивая, как подстреленный.

— Так вот,— повторял он вслух, стараясь осознать произносимое,— они задыхались. Но не сразу же задохлись. Я бы не перенес этого.

Моментами яркое представление об ужасе, испытан-

ном теми, почти пронизывало его, тогда ему хотелось вдохнуть весь воздух, всю атмосферу земли, чтобы разразиться, наконец, безобразным, неслыханным воплем. Но вместо этого он только тихо мычал, покусывая губы, и скорость его движения возрастала.

Тем временем занялся рассвет; мрак, утратив могущество, слабо и постепенно редел. Дождь оборвался. Штрих сквозь негустой туман, расстилавшийся на высоте его груди, видел за тонкой, как травинка, вершиной далекого дерева — бледный край солнца, теснившего призраки, и под ногами равнину странного вида. Ее цвет, один и тот же повсюду,— в кругу одолеваемого зрением тумана,— был тускло-зеленый, прозрачности мутного стекла, и переливчат. Мягкий удар ветра заклубил туман впереди Штриха, погнал к солнцу, и в образовавшемся воздушном пространстве Штрих заметил изменение зеленоватого цвета почвы — в голубоватый и синий,— чем далее, тем синее. Начав видеть, он овладел той частью сознания, которая оценивает и следит окружающее.

Зелень, вздрагивая, колебалась под ним, по ней пробегала рябь; складки и борозды, ритмически следуя друг за другом, напоминали волнение воды.

— Это землетрясение,— сказал Штрих, страстно надеясь, что земля разверзнется и избавит его от страданий. С легкостью, которая бывает только во сне, скользил он неудержимо и быстро, подобно струе тумана, к недалекому берегу. Вдруг нагнетание теплого ветра, длительное и ровное, истребило туман, и залив, во всей юной красоте тихого утра, заблистал перед его воспаленными глазами. Под ногами Штриха покачивалась вода. Он не изумился и не испугался.

— Теперь я вижу, что сплю,— сказал он, но уверенность в этом не простиралась на происшедшее в Зурбагане. Каждое было само по себе, и он не думал о странности совмещения действительности с тем, что считал сновидением.

Яркая лучезарность неба после тьмы ночных часов опять воскресила воображению огонь в дикой его беспощадности. Штрих посмотрел в сторону. Там, шагах в ста от него, огромный и бодрый, шел на всех парусах барк; купеческая солидность его тяжело нагруженного корпуса венчалась белизной парусов; их тонкие воздуш-

ные очертания поднимались от палубы к стеньгам стаями белых птиц. Звонкие голоса матросов достигли ушей Штриха. Он послал им проклятие, стиснув руками грудь. Ему было невыносимо наблюдать это воплощение бодрой и целесообразной работы, радостное движение барка к далекой цели, когда он сам, Штрих, потерял все. Не помня как, увидел он затем вокруг себя — лес, бабочек и цветы; трава дымилась в косых лучах солнца, и неясная фигура бледного человека выросла перед ним. То был таможенный солдат; он не закричал, не выстрелил и не остановил бегущего — он видел Штриха, и этого оказалось довольно для того, чтобы окаменеть в испуге.

За перелеском открылась широкая с шоссейной дорогой равнина, и на крутом обрыве реки — амфитеатр Зурбагана.

Штрих бросился по дороге...

III

В восемь часов утра в палату городской больницы ввели вырывающегося из рук служителей человека,— грязного, окровавленного и полунагого. Он подошел к кровати, шатаясь от изнурения. На кровати лежала плотно укрытая, с сплошь обвязанной головой, женщина; из марлевых повязок видны были только опухшие глаза без ресниц; последние искры жизни, угасая, блестели в них; она тихо стонала.

Штрих молча смотрел на нее веселым диким взглядом.

— Зелла! — сказал он.

Чуть заметное движение света опухших глаз ответило ему — сознанием ли происходящего или вспышкой предсмертного бреда? — никто не мог сказать с точностью.

— Раньше я умел просыпаться вовремя, если видел тяжелый сон,— заговорил Штрих, обращаясь к взволнованному доктору.— Сны бывают очень отчетливы, заметьте это. Конечно, это не моя жена. Потом, здесь были бы дети. Ну, теперь я спокоен; я думаю, что скоро проснусь.

Но он проснулся только через полтора года в лечебнице для таких же, как и он, неуверенных в реальности

происходящего людей. Смерть наступила от паралича сердца.

Морт впоследствии утверждал, что Штрих, в силу извилистости полуострова, образующего формой серп, свободным концом обращенный к материку, не мог от четырех до восьми часов утра явиться в город пешком. Дороги здесь настолько плохи, прихотливы и неустроены, что он сам, торопясь к Штриху, одолел расстояние — и то верхом — в пять с половиной часов. Но доктор (и другие) настаивали именно на восьми часах утра. Однако, как утверждают многие, часовщики в Зурбагане не пользуются дурной славой. По нашему мнению, в каждом споре истина — все-таки не в руках спорщиков, иначе бы они не горячились.

ГНЕВ ОТЦА

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа,— но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия — стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников: сделаться преступником или бродягой — и, окончив выговор, сказала:

— Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:

— Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл

и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев,— значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

— Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

— Все спокойно на Ориноко,— сказал он.— Гуроны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

— Не знаете ли вы, кто такой гнев? — мрачно спросил он.— Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе.

— Гнев?

— Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

— Ах, так! — сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага.— Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, счи-

тался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове, в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

— За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и крадучись проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.

Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

— Скажи, Том,— начал дядя,— достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

— Я думал,— сказал Том.— Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

— Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака,— сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета.— Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» — думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жаждой утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга — все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.

— Да, я выехал днем раньше,— говорил Беринг,— чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

— Я приведу его,— сказал Карл.

— Я пришел сам,— сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.

Дядя Карл вытаращил глаза.

— Но ведь ты был наказан! Был заперт!

— Сегодня он амнистирован,— заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? — подумал Том.— Едва ли. Не похоже».

— Она будет твоя мать,— сказал Беринг.— Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

— Мы будем с тобой играть,— шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков — среди них два с откинутыми к стене крышками — непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг, и, держа его в вытянутой руке, осмелясь, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.

Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

— Я убил твой гнев! — кричал он в восторге и потрясении.— Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

— Успокойся, Том,— сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына.— Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!

АКВАРЕЛЬ

Клиссон проснулся не в духе.

Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход «Деннем».

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клиссон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы.

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клиссон курил папироску и размышлял: каким образом получить крону? День был праздничный; вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса.

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на желтые и белые цветы, представлял, что это — серебряные и золотые монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул.

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол.

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла. За дверью, в углу, целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с грязным бельем распространяли запах тлена и сырости.

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку, она выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо опохмелиться.

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь повторения вчерашних нападок, он не торопился вступать в разговор.

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвала из руки кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего. Клиссон сказал:

— Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг?

— А будь я проклята, если дам,— спокойно ответила Бетси.— Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, как ты.

Они поругались, потом затихли. Клиссон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал:

— Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Надела рубашку чужую, с кружевами, и хвасталась!

— Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, а денег не дам.

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разрыл белье в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клиссон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу.

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клиссона, но не догадалась о краже. Вздохнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клиссон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая.

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился.

Приехав через полчаса в город, Клиссон полюбовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул: Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, невольно остановясь, втянул голову в плечи.

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: «Не уйдешь, подлец!» — Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального щита: «Весенняя выставка акварелистов» — и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину.

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло

на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайльса и Дежруа; он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем... явственно признал Бетси: она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клиссона, взявшего ее крону.

— Не ушел? — сказала Бетси ледяным тоном.— Пойдем-ка поговорим.

— Только не здесь,— взмолился Клиссон, устремляясь вперед.— Здесь выставка... Я поехал на выставку... Где же ты была? Не видел тебя в трамвае...

— В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец!

— Я не на привязи у тебя,— огрызнулся Клиссон, шагая все быстрее среди толпы.

Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку, подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло, и Клиссон начал останавливаться возле картин,— хотя ему было не до картин,— выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» — или: «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!»

— Замолчи! — сказал Клиссон так громко, что, побоясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой.

— Похоже, что это наш дом,— произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.

— Сбрендил ты, что ли?

Но чем больше прачка всматривалась в картину,

тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов — все это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет.

— За крыльцом помойное ведро; его не видно! — радостно заявила Бетси.

— Да-а... а внутри-то?! Хоть бы ты подмела,— с горечью отозвался Клиссон.

Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом.

— Я тогда же подумала,— сказала она,— идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить,— ни на кого не похож! А ты пропадал три дня. Два дня я тебя искала.

Они наговорились и вернулись к картине, так необычно уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала:

— Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите на плющ!

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом.

Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год»,— мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок.

— А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен,— сказала Бетси,— потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею. Ну... раз уж украл, так поди выпей... только не на все.

Клиссон помолчал, затем шепнул:

— Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу. Завтра надо поговорить с Гобсоном — Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется.

— Будь уверен, что тебя водят за нос.

— Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим.

Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, уднвляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.

ИЗМЕНА

I

Годвин уехал так весело, что покачивался даже в окне вагона, а провожавшие его Бутс, Томас, Лей и Брентган, обнявшись, пустили по ветру свои платки, которыми махали счастливцу, прощенному отцом за беспутство и едущему загладить прошлое среди богобоязненных теток.

Кстати — отцу Годвина оставалось недолго жить.

— Летела муха на патоку! — закричал Годвин из окна.

— Летела муха на па-а-току! — грянул хор друзей, и, содрогаясь от скуки, поезд ушел из города в синюю степь.

Кая Брентгана ждала домой его жена, Джесси, но, растворясь в цветных жидкостях, он был далек от процесса кристаллизации и уехал в страну оркестров, где почему-то раздавался звои битой посуды.

Утром Брентган проснулся у Лея. Ему казалось, что он покинул мир качалок, поставленных на аэроплан. Белокурый, стройный Лей сидел против него и, растирая розовую шею, прихлебывал красное вино. На

его нежном лице было удрученное выражение кряхтящего старика.

— Что произошло? — сказал Брентган, поднимаясь с кушетки и стараясь отыскать просвет в своей памяти, сплавленной в безобразный шлак.— Я ничего не помню. Дай мне стакан виа.

Лей налил ему; Брентган жадно выпил, и его покинуло противное ощущение спрятанной во рту толстой рыбы. Но ничуть не яснее было в оглушенном мозгу.

— Мы хотели отправить тебя домой, но ты поехал ко мне. Ты не хотел, чтобы Джесси видела твое состояние.

— А Бутс? Томас?

— Не знаю. Они задержались у наших маленьких гейш: Греты и Сандрильоны. Ты был очень мил с девушками.

— Послушай,— сказал Брентган,— я ничего не помню с момента, когда начал пить на пари в «Китайском принце». Подними занавес!

— Лучше я его опущу! — расхохотался Лей.— То, что ты называешь «занавесом», есть лишь полог кровати одной пикантной детки.

— Но это ты выдумал! — вскричал Брентган, помертвев и вскакивая.

— Неужели тебя могут расстроить такие пустяки?

— Не может быть! С кем?

— Я перепутал их имена, Кай. Тебя увела черненькая.

— Лей, ты солгал!

Лей побледнел, потом покраснел. Некоторое время он чувствовал себя отвратительно, но вкоренившееся презрение к верности и любви помогло ему заключить свой низкий поступок грязным намеком:

— Во всяком случае... риска не было. Уверяю тебя.

Брентган пристально вгляделся в равнодушное лицо Лея и, осунувшись от неожиданного удара, подошел к зеркалу.

Он спал одетый. Зеркало, когда он приводил одежду в порядок, видом покрасневших глаз и состоянием воротничка было на стороне Лея. Брентган отвернулся и подошел к телефону.

Лей, коварно смеясь, наблюдал приятеля, взявшего дрожащей рукой трубку.

— Алло, Бутс? Томас? Да, это Брентган. Нет, некогда. Скажи мне: действительно ли со мной это произошло?

Звучный, толкающий ухо голос Томаса произнес:

— Кай, старина, я догадался по слову «это». Не сомневайся. Думай, что у тебя прорезался зуб. Все в порядке.

— Будь проклят! — сказал Брентган.

— Не ругайся. Брось, милый Брентган. В каком столетии ты живешь? Нельзя же быть вечно смешным.

— Пожалуй, ты прав. Я смешон. Но где же эта квартира?

— Ты молодец; утренние визиты весьма приятны.

Томас сообщил адрес и прибавил:

— Бутс здесь. Он хочет с тобой.

— Хорошо,— солгал Брентган, чтобы отвязаться.— Скажи ему, что я заеду за ним.

Кончив этот разговор, Брентган с содроганием позвонил домой. Лей протяжно зевнул и пробормотал:

— Напрасно ты придаешь этому... придаешь... А-а-ах! О-о-о-а-х!

По-видимому, Джесси ждала звонка мужа, так как Брентган сразу услышал ее голос:

— Это кто? — И, как задевший по лицу конец бича, ее тревога передалась ему.— Надеюсь, ты приедешь немедленно.

— Я скоро приеду,— нервно сказал Брентган.— Вот случай! Проводы затянулись.

— Воображаю. Бутс уже сказал мне.

— Что он сказал? — оцепенев, крикнул Брентган.

— Что ты отправился к Лею. Где ты теперь?

— Я у Лея. Все ли благополучно?

— Да. Но... что с тобой?

— Так я приеду,— сказал Брентган, избегая ответа.

— Ну да... Я так жду...

Вдруг он почувствовал, что не в состоянии продолжать разговор, и, медленно опустив трубку, с болью внимал быстрым словам, мелко и неразборчиво отдающимся в сжатой руке. Что-то живое и бесконечно преданное трепетало внутри мембраны, только что перенесшей к нему сдержанное огорчение Джесси.

Догадавшись, с какой целью Брентган хочет ехать в квартиру девиц, Лей, несколько струсив, пытался его отговорить, ссылаясь на более интересное место, но Брентган почти не сознавал, что говорит Лей. Два раза Брентган сказал: «Да... Конечно... Ты прав»,— и вышел от него в дикой тоске, стремясь иметь точные доказательства. Приятели ужаснули его.

II

«Если произошло то, что я считал немыслимым в моей жизни с Джесси,— думал Брентган, когда такси вез его по мрачному адресу,— я должен буду ей об этом сказать. Иначе как бы я смог переносить ее взгляд? Я не виноват, я стал только внезапно и тяжко болен стыдом. Я стал болен тем, что стряслось».

Он вспомнил свою жизнь с Джесси, их любовь, понимание, близость и доверие. Над всем этим раздался злой смех. Брентган и Джесси были теперь такие же, как и все, с своей маленькой грязноватой драмой, до которой нет никому дела.

Брентган обратился к философии, именуемой парадно и гордо: «сеть предрассудков». Философия эта напоминала отлично вентилируемый пассаж, с множеством входов и выходов. На одном входе было написано: «Особенности мужской жизни», на другом: «Потребности в разнообразии», на третьем: «Наследственность», на четвертом: «Темперамент» и так далее; каждый вход помечен был хитрой и утешительной надписью.

— Все это хорошо,— сказал Брентган,— но все это не приложимо к т о й правде, какая соединяет меня и Джесси. В области желаний все может стать «предрассудком». Я могу выйти из такси и почесать спину об угол дома. Я могу не заплатить своих долгов. Могу сказать незнакомой женщине в присутствии ее мужа, что я ее хочу; если же муж вознегодует,— сошлюсь на искренность и е с т е с т в е н н о с т ь своего желания. Так же всякий другой может подойти к Джесси, а я выслушаю его желания и буду продолжать разговор о красивых ногах Эммы Тейлор.

Чувство глубокого одиночества, совершенной, беззубой пустоты охватило его при этих образных заключениях.

— Но такая жизнь — только в танцах,— сказал

Брентган.— Человечество изобрело танцы, как рисунок своих вожделений.

Между тем решение вопроса лежало не в логике, а в прекрасном и редком чувстве Джесси к нему. Это чувство нельзя было трогать ни грубой, ни жестокой рукой.

Такси остановился у недурного подъезда, и Брентган взошел на второй этаж, к двери с номером 3. Впервые он задумался над тем, что он скажет? Это естественное колебание было подавлено тревогой обокраденного, разыскивающего пропавшую вещь. Он вздохнул, выпрямился и позвонил.

III

Ему открыла женщина, которую Брентган не успел разглядеть, так как она тотчас убежала, кутая голые плечи в меховую накидку. Он прошел к раскрытой двери гостиной и остановился. Никто не появлялся, лишь в соседней комнате слышался шепот. Затем раздался смех и появилась девушка лет двадцати трех, в цветной пижаме и желтой юбке. Эта пижама и гладко остриженные черные волосы придавали ей больной вид. По равнодушию ее взгляда Брентган видел, что она знает его, но сам ничего не помнил. Зевнув, она протянула руку.

— Ах, это вы,— сказала девушка, рассматривая посетителя в тоне раздумья.— Других нет? Вы один?

— Один и не надолго,— ответил Брентган с выражением чрезвычайным.

— Дело в том, что я адски хочу спать,— заявила она, идя за ним в гостиную и поигрывая пальцами в карманах пижамы.— Вы нас разбудили, молодой человек... а ваше имя? Ах, да... вы... этот... этот... Ренган? Если хотите, сидите и дожидайтесь, пока я пополощусь в ванной.

— Послушайте, Грета...

— Грета еще не встала. Вы перепутали.

Никакие усилия не помогли Брентгану вспомнить ни девушку, ни маленькую гостиную ярких тонов с роскошным трюмо и с концертино на низком столике рядом с конфетной коробкой, полной окурков. Запах вина и духов угнетал Брентгана.

— Послушайте,— сказал он,— со мной произошла дикая вещь. Я ничего не помню: ни вас, ни эту квартиру. Но мне сказали, что я был здесь...

— Да.— Девушка мрачно смотрела на посетителя; она испугалась.— Но вы не были со мной. Также и с Гретой. У вас что-нибудь пропало?

— Не был?! — вскричал Брентган, схватив ее руки.— Не был? Говорите, говорите! Я хочу знать правду. Правду о себе. Только это! Повторите еще!

— Прочь! — Она вырвала свои руки и отскочила,— Что вы хотите?

Он молчал, и она поняла его.

Ее крашеный рот двинулся неопределенным, жалким движением. Деланно рассмеявшись, она указала на кресло:

— Тут вы спали, и вас ничто не могло разбудить. Эти ваши приятели — дураки. Еще больший дурак — вы. Это они сговорились,— понимаете? — сговорились водить вас за нос. Я слышала.

— Я так и думал,— сказал Брентган, сердце которого одним сильным ударом вышло из угнетения.

— Думал? Тогда вы не приехали бы сюда.

— Сюда? О, это не то... Простите меня. Я не мог представить, что... Но вы понимаете.

— Конечно, я понимаю,— сказала она, вся потускнев и смотря взглядом побитой.— Теперь идите к вашей жене и не беспокойтесь... Ваши приятели... о, они не любят вашу жену. Они говорят, что вы «пресноводное».

— «Пресноводное»? — Брентган весело рассмеялся.— Ну, пусть их...

Его охватила теплая, искренняя признательность к этой девушке с зачеркнутым будущим, которая поняла его состояние и не поддержала глупую травлю.

— От всего сердца благодарю вас! — сказал Брентган, снова беря ее руку и крепко сжимая узкие холодные пальцы.— Вы — благородное существо.

Ответом ему был неожиданный щелчок в нос, нанесенный так метко и зло, что Брентган вскрикнул.

— Зачем вы это сделали? — спросил он, потерявшись и задыхаясь от унижения.

— Уходите! — Она стояла в слезах, обозленная и растерявшаяся до того, что едва не кинулась на него.— Ступайте вон!

Не помня себя от стыда, Брентган вышел, вздрогнул от грома хлопнувшей двери и подозвал такси.

Стыд долго не покидал его. Лишь входя в свою квартиру, Брентгану удалось вернуть чувство веселья и счастья быть невиновным, говоря с Джесси.

IV

Он застал ее в кабинете, на самом верху лестницы, у книжного шкапа. Взяв нужную книгу, Джесси спустилась, опираясь рукой о плечо мужа, и сказала:

— Вот, ты вернулся, и я спокойна теперь. Я знаю,— что-то произошло.

— Да, произошло. Я расскажу, пока еще взволнован, чтобы ты видела, в каком я был состоянии. Оно окончилось. Я был очень... очень пьян. Как животное.

— Да? Печально.— Джесси шутливо покачала головой и, видя, что Брентган затрудняется говорить, положила на его рукав свою руку.— Мне все можно сказать, дорогой Кай. Мой дорогой!

— Да? Конечно. О-о! Ну... Мы были у женщин, знакомых Бутса или Томаса, я не знаю наверное,— быстро говорил Брентган, желая скорее передать сущность, чтобы успокоить Джесси.— Я ничего не помнил. Утром мне сказал Лей. Он и остальные выдумали, что я... не помня себя... тоже. Все перемешалось во мне. Я раздобыл адрес, отправился в то место и узнал от... одной из двух, что все ложь. Оказывается, я проспал ночь, сидя в кресле, и был увезен к Лею бесчувственный.

— Ты боялся, что?..— тихо спросила Джесси.

— Да, я боялся, что... в таком состоянии мог.

— Разве ты не знаешь себя?

— Знаю.

— Как же ты мог бояться?

Брентган молчал. Приветливая улыбка Джесси ввела его в заблуждение: он мало всмотрелся в ее замкнувшиеся глаза.

— Я тебя не узнаю. Ты ли это, Кай?

— Это я, Джесси. Я сам.

— Но даже я сообразила, что т о не могло быть. Бутс сказал, что ты стыдишься ехать домой. Разве то, чего ты боялся, меньше появления в пьяном виде?

— Сама мысль ужаснула меня. Внутренний голос молчал. Я не мог прийти к тебе с такими сомнениями. Теперь ты видишь, что все это — пустяк, пусть даже все было связано с попойкой.

— Пустяк? Допустим. Да, ты прав, конечно... Пустяк. Но в этом пустяке ты не был мужчиной.

Брентган так изумился, что выронил папиросу, которую собирался закурить дрожащей рукой. Настойчивость и прямота действий, совершенных им, вполне удовлетворяли его. Он затосковал, взял неподатливую руку Джесси и склонился к ее чистой прохладе горячим лбом.

— Так что же, что же? — простонал он, зная, что ни за что не сможет признаться, теперь и никогда, в унизительных подробностях сцены у спасшей его женщины.

— Надо было рассмеяться и дернуть, даже больно. Лея за ухо. Тогда он и все узнали бы, что ты, мой муж, знаешь себя во всем и всегда.

— Джесси, я думал о своем страхе!

— Конечно, но не думал обо мне. О, успокойся! Ты невинен, бедный мой Кай!

Она нервно расхохоталась, отчего Брентган колко спросил:

— Джесси, ты недовольна?

— Знаешь, мне легче было бы,— взволнованно ответила Джесси,— легче было бы мне снести ту правду, которой ты так боялся; чем эту. Ты и я теперь всю жизнь обязаны девушке, к которой ты явился допрашивать и тем, конечно, страшно обидел ее.

— Ты меня больше не любишь? — спросил Брентган после продолжительного молчания.

— Я любила и буду любить тебя, но сегодня я тебя не люблю. Прощай; мне надо съездить к Доротее Сноу.

В дверях мелькнули перед ним ее полные слез глаза, и, тяжко вздыхая, Брентган подошел к окну.

Кусая губы, он смотрел в переулок, залитый дождевой грязью. Проехал огромный фургон, расхлестывая брызги, попавшие на отшатнувшихся прохожих. Один из них выругался, погрозил кулаком и начал с остервенением счищать коричневые шлепки, размазывая их по материи. Другой прохожий, взглянув на свой рукав

и, видимо, решив дать пятну отсохнуть, продолжал путь, читая заголовки в газете.

Брентган бессознательно провел пальцами по своему рукаву, но темная ассоциация угасла, едва наметясь.

Он сел и задумался.

ДВА ОБЕЩАНИЯ

I

Всю ночь берега Покета рвал шторм. Ветер ударял с моря. Были сломаны кукурузные посевы, изгороди; толевые и железные крыши местами отвернулись, как поля шляп.

В саду Гаррисона, начальника каторжной тюрьмы, стоявшей в полумиле от Покета, повалились два дерева. Они загромоздили аллею. Гаррисон приказал убрать их; к десяти часам партия арестантов отправилась из тюрьмы в сад. Они обрубили сучья и стали распиливать стволы.

Отправляясь в канцелярию, Гаррисон задержался около работающих и стал смотреть. Работа пошла так быстро, как движение на экране при ускоренном пропуске ленты.

Его дочь, одиннадцатилетняя Джесси, росшая свободно, как мальчик, и ни в чем не знающая запретов, была с ним. Оставив отца, она заметила, что нижняя ветка одного из свалившихся стволов прилегает к стволу старого дуба так удобно, как лестница.

Джесси умела лазать по деревьям с наглостью и хладнокровием существа, уверенного в своей безнаказанности. Ей пришло в голову закричать с вершины: «Папа, тебя требуют к телефону».

Обдумав это, она стала влезать, переходить с сука на сук, как по вертикальной винтовой лестнице, и скоро была на высоте двух третей ствола, волнуясь при мысли, что отец заметит ее отсутствие раньше, чем она сообщит ему о своей проделке.

Вскоре расположение ветвей заставило девочку

искать такую ветку, ухватясь за которую она могла бы ступить на ту сторону ствола, с какой виден Гаррисон.

Она вытянулась, схватилась за тонкий сук левой рукой и, передав ему свою тяжесть, отпустила правую руку. Сук, росший из более толстого ответвления ствола, треснул в месте сращения. Вцепясь в него обеими руками, Джесси потеряла точку опоры и повисла. Обида, испуг и самолюбие заставили ее крикнуть те самые слова, которые она повторяла себе, взбираясь на дерево:

— Папа, тебя требуют...

Затем она закричала и заплакала.

Гаррисон взглянул вверх и помертвел. Джесси висела высоко над ним, подобрав ноги и стиснув коленками вертикально натянутую ветку, основание которой медленно, но неуклонно отдиралось под ее тяжестью.

Гаррисон растерялся, потом поднял вверх руки. Его резко оттолкнул арестант № 332; он, расставив ноги и протянув руки, как Гаррисон, но не вверх, а на уровне лица, принял на себя удар тела с воплем мелькнувшей вниз девочки.

В момент толчка он присел. Руки его временно отнялись. Он опустил сильно встряхнутую, потерявшую сознание Джесси на траву и, вытирая пошедшую носом кровь, сел с закружившейся головой.

Повелительное и тяжелое лицо начальника каторжной тюрьмы исчезло. Вышло его настоящее лицо, по которому текли слезы. Он поднял Джесси и унес в дом.

Послышался шум. Некоторые арестанты, а также конвойные хлопнули № 332 по плечу, принесли воды, и он выпил полную кружку, стуча зубами о край.

— Полсрока отработал, Эдвей,— сказал один из конвойных.

Эдвей встал, помахал руками, потряс головой. Она все еще туманилась и гудела. В это время прибежал помощник Гаррисона и приказал Эдвею немедленно идти к начальнику.

II

Эдвей никогда не был в квартире начальника тюрьмы. Он прошел ряд светлых, красивых комнат с иллюзией возвращения в мир, покинутый пять лет назад.

Гаррисон отослал конвойного, который сопровождал Эдвея, и сам ввел арестанта в свой кабинет; его окна, выходя на тюремный двор, были заделаны решеткой.

— Ваш номер? — спросил он, давая знак, что Эдвей может сесть.

— 332.

— Ваше имя?

— Томас Эдвей.

Официальный тон не помог Гаррисону овладеть волнением, и он оставил его.

— Послушайте, Эдвей,— сказал начальник после короткого молчания,— вы можете требовать, что хотите, за то, что вы сделали. Кроме невозможного. Я обязан вам больше, чем жизнью, и вы это понимаете.

— Конечно, я понимаю.— Эдвей задумался.— Мне не хочется огорчать вас, но я думаю, что если вы не сделаете, о чем я буду просить, все же кричать на меня не будете.

Гаррисон посмотрел на Эдвея с беспокойством.

— Говорите, что там у вас? Неделя отдыха? Похлопотать о сокращении срока? Или что?

— И больше и меньше,— сказал Эдвей.— Как взглянуть. Я прошу вас снабдить меня городским платьем, выдать мне заработанные деньги за полгода — это составит, приблизительно, полтора фуита — и отпустить меня на свободу до половины шестого следующего утра. В шесть происходит поверка. К назначенному сроку я буду здесь.

Гаррисон засопел, взял сигару резким движением и нервно захлопнул ящик.

— В другое время,— сказал он со вздохом,— выслушав такую просьбу, я, конечно, приказал бы дать вам дюжину-другую плетей. Теперь дело иное. О том, что вы говорите, я читал в романах. Не знаю, чем это кончалось в действительности. Ну, что даст вам один день? Зачем это?

— Будь вы на моем месте, вы прекрасно понимали бы, что такое свободный день.

— Каждый из нас на своем месте,— сказал Гаррисон.— Что привело вас сюда?

— Мои страсти.

— В образе?..

— Трех векселей. Я отбыл пять лет, осталось три года.

— Сдержите ли вы слово? Или я заранее должен приготовить прошение об отставке?

— Я совершил подлог, но не потерял чести,— возразил Эдвей.— Разговор становится тяжел для меня. Решите — «да» или «нет».

— Ужасный день! — сказал Гаррисон.— Что я могу? Останьтесь здесь и ждите.

Он вышел и возвратился через несколько минут, хмурый, утомленный собственным решением, которое, подобно трещине, зияло на эмали его характера нервной, острой чертой. В его руках были башмаки, шляпа, костюм, и он подал это Эдвею. Оба они смутились. Заметив, что арестант смотрит на него с изумлением и восторгом, Гаррисон нахмурился, махнул рукой и вышел опять, плотно прикрыв дверь.

III

«Невозможно, ослепительно!» — думал Эдвей. Он хватался за одну вещь, за другую, оставлял их и снова хватал. Сознание совершившегося, причем так неожиданно, и забегающая вперед мечта о свободной городской улице мешали ему сообразить, что должен он сделать с брюками или жилетом. Когда он снимал арестантское платье, его руки тряслись. Чтобы вызвать сосредоточенность, Эдвей стиснул зубы. Вещи плясали в его руках. Порыв, падение девочки, адская боль в плечах, взволнованный Гаррисон, просьба о невозможном, чего хотел он, как сдавленная грудь хочет полного воздуха, неловкое и высокое решение Гаррисона — он обо всем думал зараз, с трудом находя среди неожиданностей дня место своему нетерпению. Он отвык застегивать воротник, завязывать галстук. Он одевался со стыдом, непонятным, но важным и неизбежным, как всякий хороший стыд.

Покончив с переодеванием, Эдвей подошел к стеклу книжного шкапа. Там, сливаясь с переплетами книг, стоял в темной воде высокий мускулистый человек статной осанки — тот самый, каким был Эдвей несколько лет назад.

— Это сон о свободе,— сказал он.— И я, конечно, вернусь.

— Покончим с этим неприятным делом,— сказал, входя, Гаррисон.— Идите за мной.

Говоря так, он протянул ему два фунта и пошел впереди Эдвея по глаголю коридора. Все двери были закрыты. В конце прохода был выход на шоссе, ведущее к городу.

Гаррисон выпустил арестанта и крепко повернул ключ. На душе у него было неверно и смутно. Он отлично сознавал значение своего поступка. С этого дня меж ним и № 332 образовалась неестественная связь, полная благодарности, о которой хотелось не думать. Однако он не мог быть так крупно обязан Эдвею и кому бы то ни было, не заплатив полной мерой. Уже готов был он пожелать никогда не видеть его более, но сообразил, что это — дрянная трусость.

Он вернулся в кабинет и увидел свою жену. Она, сохраняя в лице спасительное насмешливое выражение, свертывала арестантскую одежду Эдвея.

— Оставь это здесь, Эми,— сказал Гаррисон.— Как ты узнала?

— Но... я видела в окно, как он ушел.

— Меня всегда удивляло, что женщины всегда все узнают,— сказал Гаррисон, очень недовольный собой. Наконец он решил, что пора улыбнуться.— Ну, он меня поддел! Это произошло врасплох. Я не мог быть меньше его, но я надеюсь, что он не явится. До половины шестого утра завтра. Как он обещал.

— Он явится,— сказала Эми, засовывая сверток за шкап.— Можешь быть в этом уверен.

— Что ты говоришь?!

— Но ты и сам отлично это знаешь.

— Я?

— Ты и я,— мы оба это знаем.

— Эми, он не придет.

— Зачем ты говоришь против себя?

Помолчав, Гаррисон позвонил в канцелярию:

— Латрап? № 332, который спас Джесси, разбит. Этот день он проведет в постели, в моей квартире. Что? Да, я рад, что вы понимаете. Поместите его в больничный список, утром переведем в лазарет. Что? Да, пусть отдохнет. Более ничего.

IV

Весь день Гаррисон думал о происшедшем и заснул поздно, одетый, у себя в кабинете. Когда рассвело, он проснулся, положил на стол часы и стал ходить, взглядывая на циферблат. Чем ближе стрелка подвигалась к половине шестого, тем быстрее менялись его желания. Сложным, непривычным для него путем он наконец пришел к заключению, что желать обмана — невеликодушно, и приготовился услышать звонок.

Когда он прозвучал — и это было идеально точно, как раз на половине шестого,— Гаррисон от этой драматической точности испытал большее удовольствие, чем при мысли, что не надо теперь придумывать для округа историю несуществующего побега. Он пошел к выходу и открыл дверь. В сумерках рассвета стоял перед ним Эдвей, с слегка вольно надетой шляпой. От него пахло вином; он был сдержан и утомлен.

— Молчите,— сказал Гаррисон, заметив в его лице искреннее движение.— Я не хочу говорить более обо всем этом. Ступайте, переоденьтесь и отправляйтесь в лазарет к дежурному. Вот записка.

Раскаиваясь в своей мрачности, он прибавил:

— Благодарю вас.

Снова стесняясь и избегая смотреть в глаза, они прошли тихо, как воры или дети, в кабинет Гаррисона, где Эдвей принял свой прежний вид. Затем Гаррисон вывел его другим ходом в дверь тюрьмы, запер дверь и облегченно вздохнул. Его кошмар кончился, а трещина осталась и расцвела.

Через день после этой истории, рано утром, помощник Гаррисона Латрап быстро вошел в кабинет начальника, протянув письмо.

— Вот все, что осталось от № 332,— сказал он.— Эдвей бежал ночью, распилив решетку. Он оставил под подушкой это письмо, которое адресовано вам.

Гаррисон закаменел и прочел:

«Я видел сои, что я на свободе, что шторм, опрокинувший деревья в саду, загнал в бухту. Покета яхту моего старого приятеля. Приснилось мне, что я встретился с ним, рассказал ему свою горькую, но поправимую весть и дал ему честное слово, что буду на палубе его

судна не позднее трех часов этой ночи. И я должен был сдержать обещанне».

— Тонкой стальной пилой,— сказал Латрап.

Гаррисон стоял неподвижно. В нем возникло несколько одновременных бессмысленных движений, но ни одно не родилось. Он был связан извне и внутри.

— Дайте знать в город, по округу,— сказал Гаррисон.

— Немедленно? — спросил, обгрызывая ноготь, Латрап.

— Немедленно! Что вы хотите сказать?

— Ваше распоряжение...

— Ну?

— Ясно оно или нет?

— Никто не знает, что ясно, а что неясно! — ответил с сердцем Гаррисон, выходя и оставляя Латрапа в психологическом затруднении. Здесь он увидел Джесси и рассердился.

— Ты довольна? Твой спаситель удрал.

— Куда? — осведомилась Джесси, подбегая к нему.

— Как я могу знать, куда?

— Но ты сам сказал... Ты начал первый.

— Я думаю, что первая начала ты,— ответил Гаррисон.— Впрочем, извини меня, я устал.

ВРАГИ

I

Я не знаю более уродливого явления, как оценка по «видимости». К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник; мы видим помидор-солнце, метелки-деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря,— изображенное в

истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее,— разбей мы о них голову,— не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен,— мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков, или хотя бы скорбь об ее отсутствии — претензия достаточно фантастическая, и однако есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувствам громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности: падений, самоубийств, самообольщений, мании величия и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим, в лучшем случае, является смешением впечатлений: впечатления, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатления от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка, и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня — механического суждения по «видимости». Обладай природа человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо,— мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз,— истинных откровений, способных поколебать мир.

Лет десять назад я остановился в гостинице «Монумент», намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина за газетой и кофе после ужина;

был снежный, глухой вечер; вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма.

За окнами послышались скрип саней, топот, щелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками; в зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распоряжались и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании: молодую женщину лет двадцати трех. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям: осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку; не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села, как неживая, на ближайший стул, то опуская удивленные, редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство, с выражением детского недоумения и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо — улыбка потрясающей радости, и я, как от толчка, оглянулся, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу.

Ее спутники,— двое мужчин среднего возраста,— вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозвав его, тихо спросил:

— Вы знаете эту даму?

Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу.

— Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эспризгуса. Мне сказал это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную, тихую комнату.

Я еще раз пристально осмотрел незнакомку; ничего безумного не было в ее лице и глазах; все, что я мог отметить, это — пораженность, придавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова; все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников.

Пробило двенадцать, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился, он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличие, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу — болезни молодой женщины.

— Допустим,— сказал он,— что это сказка, но и тогда она не была бы более удивительной, чем случившееся. Имя сестры — Ассоль. В путешествии, два года назад, она познакомилась с капитаном «Астарты» Ивлетом и вышла за него замуж. Три месяца назад муж вернулся из плавания. Супруги, утомленные радостью и оживлением встречи, рано легли спать: спали они на одной постели,— Ивлет у стены.

Ночью его разбудил громкий крик, шум падения тела, и, вскочив, он увидел жену лежащей на полу в обмороке. Горело электричество. Капитан, бесполезно употребив домашние средства, вызвал доктора; его содействие вернуло Ассоль сознание: «Кто вы? — спросила она мужа, смотря на него со страхом, изумлением и восторгом.— Я не знаю вас; как вы очутились здесь? Где Ивлет?»

«Ассоль, милая,— сказал встревоженный капитан,— что с тобой? Здесь нет никого, кроме меня и доктора». Так началось внезапное помешательство сестры; слишком тяжело рассказывать, как, неузнаваемый ею, он приводил, словно испуганный ребенок, доказательства того, что он,— он, а не некто, видимый молодой женщиной. Теперь обратимся к ней.

Проснувшись и включив электричество, она увидела рядом с собой неизвестного человека,— спящего, как спал всегда капитан,— на спине, с руками под головой. Лицо этого человека было прекрасно, юно, гармонично-правильно, лицо Феба, смягченное духовной изысканностью, изяществом неуловимых оттенков. Крупно вьющиеся золотистые, блестящие волосы открывали чистый, высокий лоб. Оно показалось ей совершенным лицом человека, мыслимым лишь в видении. Думая, что спит, Ассоль провела руками вокруг себя, уронила стакан, стоявший на ночном столике, и звон стекла, достоверно подчеркнув действительность, лишил ее самообладания. Испуганная, она вскрикнула и упала.

Ее рассказ об этом, повторенный нескольким врачам

в разное время, привел последних к заключению, что они имеют дело с редким случаем полной локализации помешательства, ограничением его странной и редкой галлюцинацией. Во всем остальном Ассоль проявила и твердость и полное сознание положения. Убежденная посторонними, что видит мужа, она не сомневалась более в этом, мужественно умалчивая о страданиях, выпавших на ее долю, благодаря этой тайне умозрения, проектированного в действительность. Она сама пожелала ехать в лечебницу и выражала лишь скорбь о том, что, может быть, никогда не узнает, где истина: в прошлом или теперь.

Рассказ брата Ассоль был более, значительно более подробен, чем мой. Я сжал его в той мере, в какой он сжался отдаленным воспоминанием. В шесть часов утра я отправился в Зурбаган, унося жалость к несчастной,— несчастной потому, что никто не мог видеть ее глазами, обреченными отныне на безмолвный и покорный вопрос.

II

Спустя около полугода, я прочел в «Вечернем Курьере» следующее:

«11 октября пароход каботажного Ллойда «Астарта», получив около Мизогена пробоину кормовой части, пошел ко дну в течение 20 минут. Не более половины пассажиров спаслось на шлюпках. Погиб также почти весь экипаж и капитан парохода Ивлет. Трагичны и трогательны подробности его смерти.

Одна женщина, торопясь сесть в шлюпку, уже спускавшуюся на талях, уронила трехлетнюю девочку. Исступленно крича, женщина повисла на тросах. Ее пальцы были раздавлены блоком, но отчаяние сильнее боли заставило ее цепляться, мешая спуску. Она умоляла спасти девочку. Буря и плеск волн заглушили ее вопли.

Тогда капитан Ивлет, сбросив сюртук, прыгнул в воду и, схватив захлебнувшегося ребенка, передал его матери. Корма «Астарты», образуя гибельную воронку, буквально падала вниз с быстротой вертикально брошенного шеста. Переполненная до отказа шлюпка задержалась у борта,— матросы хотели спасти капитана. «Ну, не разговаривать! — крикнул он.— Отчаливайте!

Берегитесь! Вас втянет в водоворот!» Сказав это, он оттолкнулся от шлюпки и скрылся. Матросы заработали веслами как раз вовремя,— кипучая водяная яма разверзлась за кормой лодки, едва не затянув ее в свою грозную пропасть».

На этом месте я отложил газету и пристально рассмотрел помещенный в тексте, с фотографии, портрет Ивлета. Портрет весьма согласовывался с описанием наружности капитана, сделанным мне братом Ассоль. Это был коренастый человек лет сорока, с квадратным простодушным лицом, короткой верхней губой и маленькими, упрямыми глазами.

Но я думал, что может быть,— в момент, когда он отталкивался от шлюпки,— лицо это было совершенно таким, каким увидела его Ассоль ночью и какое несомненно вызывало прекрасную улыбку в ее печальном лице и глазах, таивших неведомое.

ИСТРЕБИТЕЛЬ

I

Когда неприятельский флот потопил сто восемьдесят парусных судов мирного назначения, присоединив к этому четырнадцать пассажирских пароходов, со всеми плывшими на них, не исключая женщин, стариков и детей; затем, после того как он разрушил несколько приморских городов безостановочным трудом тяжких залпов — часть цветущего побережья стала безжизненной; ее пульс замер, и дым и пыль бледными призраками возникли там, где ранее стойко отстукивали мирные часы жизни.

Нет ничего банальнее ужаса, и однако нет также ничего стремительнее, что действовало бы на сознание, подобно сильному яду. Поэтому-то в прибрежных городах и селениях появилось множество сумасшедших. Глаза и неуверенность нелепых движений существенно выдавали их. Они никогда не плакали,— безумие лишено слез,— но произносили темные тоскливые фразы, от которых у слышавших их сильнее стучало сердце.

Между тем неприятельский флот остановился в далеком архипелаге, где, как в раю, солнце мешалось с розовым отблеском голубой воды,— среди нежных пальм, папоротников и странных цветов; пламенные каскады лучей падали в глубину подводных гротов, на чудовищных иглистых рыб, снующих среди коралла. Из огромных труб неподвижных стальных громад струился густой дым. Тяжелое любопытное зрелище! Крепость и угловатость, зловещая решительность очертаний, соединение колоссальной механичности с океанской стихией, окутанной туманом легенд и поэзии,— сказочная угрюмость форм, причудливых и жестких,— все вызывает представление о жизни иной планеты, полной невиданных сооружений!

В одно из чудесных утр, среди ослепительного сияния радужного тумана, в неге сверкающей голубой воды, взрывая пену, к крейсеру «Ангел бурь» понеслась таинственная торпеда. Удар пришелся по кормовой части. «Ангел бурь» окутался пеной взрыва и погрузился на дно. Флот был в смятении; трепет и тревога поселились среди команд; назначались меры предосторожности; охранители, сторожевые суда и дозорные миноносцы, получив приказание, зарыскали по архипелагу, а в далекой стране сотни молодых женщин надели траурные платья, и сны многих осенило угрюмое крыло страха. Меж тем самые тонкие хитрости не помогли открыть виновников катастрофы, и это казалось изумительным, так как в тех диких водах не было других судов, кроме судов флота, разрушившего цветущие берега.

— Вы посмотрите,— сказал неделю спустя командир огромного броненосца «Диск» старшему лейтенанту,— посмотрите на эти орудия: они напоминают упавшие стволы лесов Калифорнии. Из всех жерл вылетают конденсированные воздушные поезда, сжавшие в своих округлостях вихри и землетрясения.

Он замолчал и повелительно осмотрел вечернее небо. В этот момент «Диск» дрогнул; свирепый гул скатился по его железным сцеплениям в потрясенную тьму, и броненосец получил смертельную рану.

В течение следующих недель были потоплены миноносец «Раум», крейсера «Флейш», «Роберт-Дьявол» и две подводные лодки. Невозможно было предугадать

или отразить катастрофические удары. Их как бы наносил океан. Казалось, в глубоких недрах его отражением напряженной действительности рождались громоподобные силы, принимающие сверхъестественным образом внешность реальную. Морской простор стал угрозой, небо — свидетелем, корабли — жертвами. Угрюмость и отчаяние поселились среди моряков. Тогда, желая раз и навсегда покончить с невидимым ужасным врагом, адмирал велел тайно вооружить две парусные шхуны с тем, чтобы, плавая по архипелагу, они, защищенные безобидностью своего мнимого назначения, старались отыскать неприятеля. Последний, несмотря на всю осторожность, с какой действовал, мог, наконец, пренебречь ею в виду парусной скорлупы, чего, конечно, не допустил бы с военным разведчиком. Одна шхуна называлась «Олень», другая «Обзор». На «Олене» был капитаном Гирам, человек странный и молчаливый; «Обзором» командовал Лудрей, веселый пьяница апоплексического сложения. Пустившись на розыски, суда взяли противоположные направления: «Обзор» двинулся к материку, а «Олень» — к югу, в пустынное лоно вод, где изредка можно было встретить лишь скалистый риф. На рассвете следующего дня был густой белый туман. К «Обзору» кинулась бесшумная торпеда, разорвала и потопила его, а «Олень», застигнутый тем же туманом, находился в это утро неподалеку от архипелага. Паруса, заполоскав, сникли. Ветер исчез.

Гирам вышел на палубу. В матово-белой тьме, насыщенной душной влагой, царило совершенное молчание. Дышалось тяжело и тревожно. На баке матрос чистил гвоздем трубку, и скрип железа о дерево был так явственно близок, как если бы эти звуки раздавались в жилетном кармане.

II

Гирам некоторое время смотрел перед собою, словно мог взглядом разогнать туман. Затем, бессильный увидеть что-либо, он сел на складной стул в странном, полугипнотическом состоянии. Оно пришло внезапно. Капитан не дремал, не спал, его ум был возбужден и ясен, но чувствовал он, что при желании встать или заговорить не смог бы выполнить этого. Однако он не беспо-

коился. Ему случалось переходить за границу чувств, свойственных нашей природе, довольно часто, начиная именно подобным оцепенением, и тогда что-нибудь вне или внутри его принимало особый истинный смысл, родственный глубокому озарению. Скоро он услышал шум воды, рассекаемой невидимым судном. По стуку винта можно было судить, что оно проходит совсем близко от «Оленя». Два человека разговаривали на судне не громко, но так явственно, что все слова, с грустным и величественным оттенком их были слышны, как в комнате:

— Что происходит с нами?

— Не знаю.

— Мы, как во сне.

— Да, это не может быть действительностью.

— Где остальные?

— Все на том свете.

— Кругом море, и нам не уйти отсюда.

— Кажется, сегодня туман.

— Я чувствую сырость и тяжесть в груди.

— О, как мне больно, как безысходно горько!

— В тьме родились мы и в тьме умираем!

Шум отдалился, голоса стихли.

Гирам встрепенулся. Стоя за его плечами, вахтенный офицер вполголоса приводил свои соображения относительно неизвестного судна. Он думал, что оно весьма подозрительно.

— Вы слышали разговор, Тиррен? — спросил капитан.

— Я слышал действительно невнятное бормотание, но был ли это разговор, или проклятие, решать не берусь.

— Нет, это был разговор и очень странный, чтобы не сказать больше.

— А именно?

— Признаюсь, я не мог бы передать его содержания. Однако туман редеет.

Туман, точно, редел. Под белым паром просвечивала заспанная вода, а вверху наметился мутный голубой тон. Вскорости, рассекаемый золотым ливнем, туман распался стаями белых теней, в апофеозе блистающих облаков открылось океанское солнце. Сникшие паруса, взяв ветер, крылато потянулись вперед, и «Олень» дви-

нулся дальше, на поиски истребителя. Как ни осматривал горизонт капитан Гирам,— нигде не было видно следов недавно проскользнувшего судна.

III

Прошла неделя. «Олень» безрезультатно вернулся к своему флоту, который тем временем потерпел еще две значительные потери. Так как не было оснований ожидать прекращения военных действий со стороны невидимого врага, то адмирал дал приказ идти в море. Флот направился к берегам Новой Зеландии

Когда он ушел, когда его одуряющее присутствие, его гарные запахи и металлические звуки исчезли,— архипелаг вернул своим лагунам и островам их прежнее выражение — роскошь страстного творчества, и снова стало казаться мне, свидетелю тех событий, что к этим оазисам в живописном сиянии тонко окрашенных лучей летят райские птицы с оранжевыми и синими перьями.

В бурную ночь, когда дьявол тьмы, взбесившись, приподнимал истерзанные волны, целуя их с пеной у рта, за борт почтового парохода упал матрос Кастро. Он хорошо плавал, но, выбившись наконец из сил, потерял сознание и очнулся на пустынных камнях, в утренней тишине маленького залива, куда погибавшего выбросило случайной волной. Кастро был разбит ужасом и усталостью. Однако уголок океана, приютивший его, был так прелестен, что к несчастному немедленно снизошло настроение ясной живости. Тесный круг сияющих скалистых зубцов отражался в дымчатой синеве моря, а глубина залива, полная облаков, дышала сказочными намеками. Оглядевшись, Кастро заметил недалеко от себя спину подводной лодки, дремлющей в тени каменного навеса. Удивленный таким неожиданным обстоятельством, матрос долго рассматривал опасное судно, пока на его площадку не вышли изнутри два человека, из которых один был, видимо, слеп, так как двигался неуклюжей ощупью, с закрытыми глазами; его лицо, завешенное изнутри тьмой, было грубовато и грустно. Второй, явный моряк, бородач, решительной внешности, говорил с первым, наклонясь к его уху, и Кастро, хотя прислушивался, ничего не расслышал. Затем оба они скрылись внутрь лодки; через несколько

минут она продвинулась к скале, и тот же моряк вышел на мостик один, с сумкой за плечами и палкой в руке. Он спрыгнул на камни и, поспешно шагая, скоро увидел Кастро.

— Остановитесь, приятель,— сказал матрос,— и если прогулка наша не выйдет длинной, уделите мне чуточку чего-либо съестного.

— Что ты за человек? — подозрительно спросил неизвестный.

— Я человек, умеющий хорошо плавать. В эту ночь меня смыло за борт; но я очень сердит; я рассердился и спасся.

— Идем,— помолчав, сказал моряк.— Моя прогулка длинна, но нам хватит галет.

И молча, осторожно рассматривая друг друга, они выбрались из каменного хаоса прибрежья в тихую пустыню.

IV

— Приятель! — заговорил, не выдержав, Кастро.— Я по природе не любопытен, но если вы не видите во мне врага, то расскажите, как попала в это глухое место подводная лодка? Мы идем вместе. Я ем вашу галету, путь, кажется, предстоит не близкий, так как нет нигде признаков какого-либо селения, а потому осмеливаюсь просить вас приоткрыть маленький уголочек сих страниостей.

Неизвестный ничего не ответил, улыбнулся и заговорил о другом, а Кастро в течение дня еще раза три пытался навести разговор на ту же тему, но лишь когда они заночевали у костра под придорожной скалой, моряк открыл тайну подводной лодки:

— Мы плыли из Европы с минным отрядом и,— долго рассказывать, как это произошло в подробностях,— после трех суток бурной погоды потеряли из виду свой отряд, крейсируя вблизи этого берега.

Наконец, волнение стихло; мы остановились неподалеку от старенького монастыря, погрузившего свои белые стены в зелень и аромат цветущих апельсиновых садов. Там жили слепые, тринадцать человек, схоронивших блеск дня и алмазные огни ночей в унылой тьме трагического рождения. Скоро, нуждаясь в пресной воде, я, захватив часть команды, отправился в монастырь.

Пока матросы, руководимые монахами, делали свое дело, я присел в саду; обвеянный теплым ветром, уставший, я не мог противиться смыканию глаз и скоро уснул, а когда очнулся, была ночь. Взошла луна, разостлавшая белый мир среди черных теней. Я вскочил и тревожно стал звать команду. Тогда вздохи и шорохи наполнили сад, и тринадцать слепых мужчин медленно окружили меня, всматриваясь слепыми глазами.

— Вот наш командир,— он ждал нас и мы пришли.

— Мы знаем его,— сказали другие,— но он еще не узнает нас. Капитан Трен, ведите свою команду!

Я был в страхе, но не мог противиться ничему, что совершалось в ту ночь, как не мог бы противиться вулканическому эксцессу. Я спросил:

— Где мои люди?

— Посмотри,— сказали они, указывая на лужайку, блистающую лунным покоем,— они теперь дома и пробудут среди семей до тех пор, покуда мы не вернемся.

Я увидел всех пришедших со мной и тех, кто остался на «Этне». Как попали они сюда? Все спали в траве, с улыбкой сладкого отдыха. Тогда нечто сильнее меня наполнило мою душу трепетом и грустным безмолвием. Я двинулся, окруженный слепыми, к морю; с ними же вошел в подводную лодку и здесь, друг Кастро, я увидел, что слепые в с е в и д я т.

Да, я подозреваю, что мои сны, мои отчетливые сновидения за прошедший месяц — были д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю. Я просыпался около полудня, всегда в той бухте, где ты встретил меня, как будто «Этна» никогда не покидала ее, и со мной были подлинные слепые, бродившие ощупью в непривычном им сложном помещении военного судна; они громко жаловались на диковинную перемену жизни, спали, много ели и вечно ссорились, и я— объясни мне это? — не мог уйти, как если бы лодка висела на высоте тысячи метров; но, мгновенно засыпая с закатом солнца, видел во сне, что отдаю приказания, что все тринадцать слепых с быстротой и опытностью истинных моряков кипят в боевой работе и что, выплывая рядом хитрых маневров к самому пеклу неизвестного военного флота, мы топим суда, всегда ускользая обратно, а после этого плачем в безысходном отчаянии.

Сегодня меня оставила эта чужая сила, как тучи оставляют поля; я глубоко вздохнул и ушел... Слепые исчезли, остался один, самый старый и равнодушный ко всему, что может произойти с ним. Быть может, на «Этну» скоро вернутся мои проснувшиеся матросы.

— Что же это за монастырь? — спросил Кастро.— Какие демоны живут в нем?

— Не знаю. Но здесь вообще, как я слышал, появилось множество сумасшедших. Они бродят и бредят,— всегда бредят о сияющих берегах, разрушенных синевой моря.

БАРКА НА ЗЕЛЕНОМ КАНАЛЕ

I

— Выходя из дома, никогда не знаешь наверное, чем это может окончиться. А если вы, вдобавок, еще рассеянны, то совсем плохо. Тысячи случайностей подстерегут вас в самых разнообразных местах, и бывает иногда — довольно одной из них, чтобы поставить человека в такое положение, где его глубокомыслие и соображение потерпят фиаско, если, в свою очередь, новый случай не уничтожит силу первого случая. Этот несложный вывод, не записанный даже ни в одной из гимназических прописей, дается иногда такою ценою, что усилия, потраченные, скажем, на открытие Америки, покажутся, сравнительно с этим,— плохо сделанной фальшивой монетой. И вот что расскажу я, сидящий перед вами на этом потертом стуле...

Доктор остановился. Переход от вступления (у него была скверная привычка делать плохие вступления) к самому рассказу был для него всегда несколько затруднителен. Может быть, будучи в душе художником, он угадывал, какое огромное значение имеет удачно сказанное начало? На этот раз мы ждали ровно минуту.

— Лет восемь назад,— сказал доктор, переходя в серьезный тон,— я возвращался глубокой ночью от одного больного домой и был погружен в размышления

о только что произведенной мною операции. Мне казалось, что я наложил шов не совсем удачно; это могло повлечь вздутие вен. Хирургия поглощала меня; я перешел мысленно к труднейшим операциям, виденным мной, восхищаясь ловкостью знаменитых профессоров.

Я так углубился в воспоминания и мечты,— профессиональные мечты, милостивые государи,— что не заметил, как очутился в неизвестной мне части города.

Подняв голову, я пытался определить место.

Кругом меня скрещивались и расходились темные, вонючие улицы, застроенные фабриками, трактирами, слепыми домами, с окнами, наглухо заколоченными досками. Редкие фонари тускло освещали панель, глухое молчание царило в тьме переулков, и я был единственный прохожий, шаркающий калошами по неровным, облитым жидкой осенней грязью плитам узкого тротуара. Я остановился, повернул влево, но тут же сообразил, что, куда бы я ни пошел, у меня не будет твердой уверенности в правильности взятого направления. Оставалось подождать, пока не пройдет кто-нибудь и не скажет, где нахожусь я, или бродить наугад.

Я выбрал последнее. Пройдя с десяток кварталов, причем все они были, как лица в толпе, до странности похожи один на другой и пустынны, как воздух, я услыхал стон, тихий, протяжный стон боли.

Несколько секунд я вслушивался, стараясь определить, откуда идут звуки; затем, сильно встревоженный и обеспокоенный, пошел в направлении стона, который, то ослабевая, то усиливаясь, болезненно резал слух.

И вот, представьте себе угрюмый мрак городских окраин, сырой воздух ночи, грязную мостовую и среди всего этого — молодую, не более семнадцати лет, девушку, лежащую навзничь. Она делала усилия подняться, опираясь ладонями о скользкие булыжники, и снова бессильно опускалась с душу раздирающим стоном.

Я стал возле нее на колени, вынул коробочку восковых спичек и осветил лицо женщины. Проживу ли я еще двадцать или тысячу лет,— я не забуду этого лица так же, как не могу забыть, что я доктор. Это был счастливый мгновенный сон; не отрываясь, как поражен-

ный столбняком, смотрел я на редкую красоту этой девушки, и спичка обожгла мне пальцы прежде, чем я успел бросить ее. Маленькая, хрупкая, она была похожа на переодетую принцессу. Большие голубые глаза, изящество рта, ноздрей, овал лица, растрепанные, как золотая пряжа, волосы — все это показалось мне настоящим сном, так что я ущипнул себя за руку. Но рука заныла, а стон девушки окончательно убедил меня в реальности происшествия.

— Что с вами? — спросил я.

— Я живу недалеко отсюда,— сказала она, прерывая себя стонами и всхлипываниями,— я возвращалась домой и попала под автомобиль. Меня переехали, но, несмотря на мои крики, негодяи даже не остановились и умчались. Я лежу с полчаса, ни один прохожий не показывался поблизости. Я не могу встать и боюсь, не сломана ли у меня нога.

— Держитесь за меня,— сказал я, подставляя плечо.

Она ухватилась за него, а я приподнял ее и поставил на ноги. Но лишь ее подошвы коснулись земли, как она с криком села на мостовую.

— Не могу,— печально произнесла девушка,— у меня, должно быть, все сломано. Оставьте меня!

— Где вы живете?

— На Зеленом канале. Я и отец. Он барочник, и недавно пришел с грузом.

— Послушайте,— сказал я, охваченный нежной жалостью и восторгом,— позвольте мне донести вас. Я силен, это не затруднит меня. А вы показывайте мне дорогу.

Не откладывая в долгий ящик, я взял ее на руки, как ребенка, и понес, шагая возбужденными, быстрыми шагами.

II

Я был молод, поэтому, надеюсь, каждый охотно простит мне то удовольствие, с каким я прижимал к себе прелестную, бедно одетую девушку, поднятую среди ночи на мостовой.

Естественно, что я был в своих глазах рыцарем. Я не чувствовал тяжести: бледная головка покоилась на моем плече, а теплые гибкие руки охватывали шею, заставляя сердце биться скорее, чем всегда. Она стона-

ла, но меньше, изредка указывая нужное направление. Подвигаясь таким образом, мы выбрались на туманный темный берег городского канала, прорезающего кольцом окраины города. Здесь мне в первый раз показалось нужным спросить, как зовут мою новую знакомую, что я и сделал.

— Лина,— сказала она, пытаясь улыбнуться.

Я начинал уставать. Черные силуэты барок тянулись вдоль берега. Я брел, спотыкаясь о доски и комья глины. Наконец, Лина сказала:

— Здесь. Стойте. Видите наклонную доску? Это — сходня. Идите по ней, только осторожно, чтобы не упасть в воду.

Доска скрипела и колебалась под моими ногами. Я сошел на палубу барки и закричал, чувствуя, что руки мои деревенеют:

— Эй, кто-нибудь!

Мой голос замер в шуме и свисте ветра. Я ударил ногой в наглухо закрытый люк, подождал и прислушался. Неясный скрип раздался под моими ногами.

— Это идет отец,— слабым голосом произнесла Лина,— сойдите с люка.

Я отошел в сторону, и в тот же момент люк приподнялся, освещенный изнутри огнем маленького фонаря. Фонарь держал мужчина лет сорока, с суровым, но благообразным выражением лица, одетый в клеенчатый костюм и такую же шапку. Он приподнимал люк, тщательно осматривая меня.

— Ваша дочь, сударь,— сказал я,— здесь и нуждается в помощи.

— А! — вскричал барочник.— Хорошо, сударь, давайте ее мне, я положу ее у себя в каюте. Дрянная девчонка! Ты у меня добегаешься до того, что тебе свернут голову! Что с ней?

Рассказывая, я передавал в то же время неподвижно лежащую девушку в руки отца. Он быстро схватил ее, сбежал вниз, повозился там несколько минут и вернулся наверх.

— Пожалуйте! — сказал он.— Сойдите, вам следует обогреться; к тому же в таких случаях не благодарят людей, оставляя их на улице.

Он посторонился, пропуская меня, и я, спускаясь по трапу, случайно посмотрел в его круглые серые гла-

за. Они смотрели на меня как-то особенно; усиленное внимание к моим движениям чувствовалось в их неподвижности. Потом сильный удар в голову свалил меня с ног; я вскрикнул и потерял сознание.

III

Когда я очнулся, первым ощущением была боль в голове и сильный холод.

Я лежал навзничь, голый, и стучал зубами от холода. Лина, барка, человек в клеенчатой шляпе — быстро пронеслись и исчезли. Я выпустил град проклятий и, пошатываясь, встал на ноги. Затем двинулся, ощупывая свою тюрьму. Запах соломы и гниющего дерева наполнял затхлый воздух, которым дышал я. Ощупав стенки, я без труда пришел к заключению, что действительно нахожусь в небольшой, тесной части трюма, похожей формою на ящик с выпуклыми боками.

Чувства, которые я тогда пережил, были очень разнообразны. Главным образом,— я краснел в темноте, вспоминая, как ловко одурачен мошенниками. Я проклинал судьбу, барабанил ногами в пол и стены, но мертвая тишина была мне ответом. Лишь иногда легкое поскрипывание руля да шорох ветра напоминали мне, что я отделен от свободного пространства какими-нибудь двумя дюймами дерева. Пока я пытался собрать воедино мысли и прийти к какому-нибудь заключению относительно ближайшего будущего,— новый резкий звук поразил меня и наполнил ужасом, от которого я затрясся и закричал, как ребенок. В мою коробку вливалась вода; невидимой бьющей струей падала она у моих ног, обдавая тело холодными брызгами. В несколько секунд она достигла моих колен и продолжала подниматься все выше, сжимая голую кожу ощущением страха и холода. Итак, мне суждено было утонуть здесь, подобно мыши, попавшей в банку с водой. Не помня себя от ужаса, я бросился искать отверстие, пропускавшее воду, и скоро коснулся струи, толщиной, по крайней мере, в один обхват; она била из невидимого прохода на высоте моих глаз. Не думая и не соображая, я бросился в эту струю, пытаясь пролезть наружу, но силой воды меня отбросило, как щепку. Нечего было и думать об этом. Тогда, барахтаясь по пояс в воде, я решил

так: лягу на спину и поднимусь вместе с водою до потолка; если трюм останется свободным у потолка хотя бы на один дюйм, я смогу продышать несколько времени. Что будет потом, об этом я не думал, да и не было времени; конечно, даже и в этом случае я должен был задохнуться от недостатка воздуха, но когда смерть неизбежна,— так важно прожить хотя бы несколько лишних минут.

Вода оглушала меня: ее стремительный шум и плеск звучали в тесноте трюма подобно тысяче барабанов. Я лег на спину; время, казалось, остановило свой бег, и те, вероятно, немногие минуты, которые прошли, пока пальцы моих ног не встретили потолка, показались мне столетиями тоски и ужаса. Вода медленно поднимала меня кверху; наконец, я толкнулся сразу лбом, коленями и руками в липкий шероховатый потолок. Я был как бы зажат в огромном прессе, верхняя часть которого была твердой, а нижняя — холодной и жидкой. Шум прекратился. Один звук наполнял воду,— я говорю: воду потому, что почти уже не оставалось воздуха,— стук моего сердца. И вдруг разом исчезло небольшое пространство между водой и потолком,— пространство, в котором я вытягивал губы, ловя крошки воздуха. Я весь был в воде.

Потом, неделю спустя, я, вспоминая это ужасное приключение, понял, что такое — инстинкт. Совершенно не размышляя, двигаемый безумным страхом, задыхаясь в водяном мраке,— я нырнул, ухватился руками за края отверстия, через которое трюм наполнялся водой, судорожно протиснулся в него и, почти теряя сознание, вынырнул на поверхность канала. Барка угрюмо чернела рядом. Хозяева ее, устраивая водяную ловушку, конечно, не могли предвидеть того, что произошло со мной. Я спасся только благодаря тому, что не лишился чувств в момент наполнения водой трюма. Но это бывает не со всяким.

Осмотревшись, я выплыл к противоположному берегу.

— А потом? — спросил кто-то.

— Потом? — сказал доктор, и лицо его стало задумчивым.— Потом, конечно, нашлись люди, давшие мне одежду и доставившие меня домой.

— А барка?

— Полиция не нашла той барки. Да и было темно, когда я принес девушку. Все барки похожи одна на другую

— А Лина?

— Лина? Вот, представьте себе: я все-таки с удовольствием вспоминаю, как нес эту маленькую злодейку. И нет у меня к ней враждебного чувства. Противоположности человеческой природы, милостивые государи!

ОТРАВЛЕННЫЙ ОСТРОВ

I

По рассказу капитана Тарта, прибывшего из Новой Зеландии в Ахуан-Скап, и согласно заявлению его местным властям, заявлению, подтвержденному свидетельством пароходной команды, в южной части Тихого океана, на маленьком острове Фарфонте, произошел случай повального и единовременного, по соглашению, самоубийства всего населения, за исключением двух детей в возрасте трех и семи лет, оставленных на попечение парохода «Виола», которым командовал капитан Тарт.

Остров Фарфонт лежит на 41° 17′ южной широты, в стороне от морских путей. Он был открыт в 1869 г. хозяином китобойного судна Ван-Лоттом и помечен далеко не на всех картах, даже официальных. Никакого коммерческого и политического значения он не имеет, и Джон Вебстер в своей «Истории торгового мореплавания» презрительно относит подобные острова к разряду «бесполезных мелочей», сообщая, в частности, по отношению к Фарфонту, что остров весьма мал и скалист.

В хронике судового журнала «Виолы» было запротоколено следующее:

«14 июня 1920 года. Сильный зюйд-вест. Весь день сбивало с курса; к вечеру разыгрался шторм. Лишились трех парусов.

15 июня 1920 года. Сорваны ветром грот и фок-зейль, поставили запасный грот, идем к югу, матрос Нок упал в море и погиб.

16 июня. Умеренный ветер. В полдень показалась земля. Остров Фарфонт. Бросили якорь. На остров направились капитан Тарт, помощник капитана Инсар и пять матросов».

Эти матросы были: Гаверней, Дрокис, Бикан, Габстер и Строк.

Капитан показал, что перед спуском шлюпки был усмотрен им в зрительную трубу человек, стоящий на берегу; он быстро скрылся в лесу. Рассчитывая в силу этого, что островок населен, капитан,— хотя и не заметил по прибытии шлюпки на берег следов жилья,— был, тем не менее, поставлен в необходимость возобновить запасы провизии и отправиться на розыски жителей. Действительно, скоро были замечены им в небольшой, удивительной красоты долине, среди живописной и щедрой растительности, пять бревенчатых домов, крытых тростниковыми матами. Людей не было видно. Они не появились и тогда, когда капитан выстрелил в воздух из револьвера, желая привлечь этим внимание туземцев. Трубы не дымились, и вообще подчеркнутая странная тишина жилого места сильно удивила Тарта. Он начал обходить здания, двери которых оказались незапертыми, но внутри трех домов не нашел никого ни спящего, ни бодрствующего. В пятом, по порядку обхода, доме тоже никого не было, но в четвертом путешественники нашли человека, умирающего или находящегося в бессознательном состоянии; он лежал на полу с закатившимися глазами, с лицом бледным и мокрым от пота. Слабый стон конвульсивно вырывался из его горла. Около него стояли сильно напуганные и плачущие мальчик и девочка лет шести-семи.

Капитан стал расспрашивать мальчика, но, не добившись ответа, обратился к девочке. Из ее бессвязного и, видимо, спутанного представления о происшедшем он узнал только, что «все ушли», куда именно,— она не знает; с ней и с маленьким Филиппом остался лежавший теперь без чувств человек «дядя Скоррей». Девочка, которую звали Ли,— сокращенное Ливия,— рассказала также, что Скоррей еще полчаса назад шутил с нею и говорил, что сейчас придут люди, которые

увезут ее и Филиппа на «большую землю», где им будет неплохо. Сам же он недавно выпил чего-то из кружки, стоявшей и посейчас на столе. После этого он сказал, что умирает, лег на пол и застонал, а затем сказал Ли: «Отдай письмо человеку с золотыми пуговицами»,— и больше они, дети, ничего не знают.

Как ни был силен аромат цветущих у окна кустарников, буквально круживший головы моряков, капитан, понюхав остаток мутной жидкости, сохранившейся на дне кружки, счел нужным, не теряя времени, принять меры к спасению Скоррея. Предполагали, что он отравился. Жидкость обладала неприятным, горьким, густым запахом. Раскрыв стиснутые зубы несчастного складным ножом, Тарт, за неимением под рукой ничего лучшего, стал лить в рот Скоррея водку, но понемногу, дабы бесчувственный не захлебнулся. Через полчаса он опорожнил свою фляжку, Гаверней и Дрокиса. Тем временем матросы вскипятили в глиняном котле воду и обложили нагого Скоррея пучками вымоченной в кипятке травы, сделав таким образом подобие бани. Тарт действовал более по вдохновению, чем по указанию медицины, но, так или иначе, больной перестал хрипеть. Тогда возобновили припарки, применили растирания, и, наконец, больной открыл глаза. Взгляд его был безумен. Он не говорил и не понимал ничего и заговорил лишь ко времени прибытия в Ахуан-Скап, но вразумительность его речи оказалась более чем жалкой для разумного существа.

Детей, совершенно утешенных карманными часами Дрокиса, отданными в их распоряжение, и очнувшегося Скоррея на носилках отправили на «Виолу», а капитан занялся расследованием печального случая. Письмо Скоррея, ныне представленное судебным властям, было написано на пожелтевшем от старости заглавном листе библии; вместо чернил употребляли, надо полагать, быстро темнеющий сок какого-нибудь растения. Малограмотные, но загадочные, ужасные строки прочел Тарт. Вот что было написано (без числа):

«Мы все, жители Фарфонта, заявляем и свидетельствуем перед другими людьми, что, находя более жить невозможным, так как все мы помешаны или одержимы демонами, лишаем себя жизни по доброй воле и взаимному соглашению. Настоящее письмо поручено

сохранить Иосифу Скоррею до тех пор, пока не наступит возможность вручить его какому-нибудь кораблю или пароходу. Согласно общей просьбе и доброму своему согласию, Скоррей не имеет права лишить себя жизни, пока не окажется возможным отправить оставленных живыми, за малолетством, детей: Филиппа и Ливию».

Здесь следовали двадцать четыре подписи с обозначением возраста каждого самоубийцы. Самому старшему было сто одиннадцать лет, самому юному — четырнадцать. Недалеко от поселка Тарт обнаружил высокий, свеженасыпанный холм — братскую могилу. Высохшие на деревянном кресте цветы были удалены командой «Виолы» и заменены свежими венками.

— Общее впечатление от всего этого,— заключил свой рассказ капитан Тарт,— было таково, как если бы на наших глазах зарезали связанного человека; мы поторопились, как могли, починить такелаж и утром следующего дня покинули страшный Фарфонт.

II

Таким образом, «Виола» бросила якорь в Ахуан-Скапе со следующими доказательствами самоубийства целого населения: остатком ядовитой жидкости, перелитой в тщательно закупоренную бутылку, безумным Скорреем, коллективным письмом двадцати четырех мертвых и двумя совершенно дикими, по нашим понятиям, малышами женского и мужского пола.

Расспросы детей прибавили очень немного к показаниям матросов и капитана. Мальчик вообще не мог ничего сообщить, так как почти не умел говорить, а девочка, очевидно, спутавшая воспоминания о жизни на острове с впечатлениями путешествия и большого города, рассказывала явные нелепости: «Отец говорил, что нас всех убьют».— «Кто?» — «Какие-то люди, которых очень много».— «Ты видела их?» — «Не видела».— «А приходили на остров корабли?» — «Один приходил очень большой, выше меня».— «Припомни, Ли, когда это было? Очень давно?» — «Да, давно».— «А может быть, недавно?» — «Недавно». Она не могла ориентироваться во времени, и дальнейшие сообщения ее о корабле, людях, бывших на острове, и о числе их носили

характер полузабытого темного сновидения. Затем она принялась рассказывать о том, как все боялись, что их убьют, и как ночью приходило много кораблей, которые стреляли в дома. Некоторые корабли летали по воздуху. Следователь отнес это в область детской фантазии, зараженной рассказами моряков, а также к замеченной у детей склонности к мистификации. Он, правда, записал все, но из соображений формального характера.

Из объяснений девочки выяснилось, однако, некое своеобразное, почти устраняющее чью-либо посторонюю силу в этом деле редкое обстоятельство. На памяти ребенка шести лет Фарфонт был посещен один раз одним кораблем; допустив, что прочные завоевания памяти начинаются с трехлетнего возраста, выходило, что остров в течение трех лет был отрезан от всякого сообщения с миром, отчего, естественно, возник вопрос, как часто заходили корабли к берегам Фарфонта и не являлось ли каждое захождение своего рода легендой — в ряде последующих годов? Короче говоря, не был ли Фарфонт таким заброшенным местом, куда корабли заглядывают несколько раз в столетие, и то благодаря случайности, как «Виола».

Согласно почти полной неизвестности Фарфонта для администрации и совершенного небытия его для всех мелких и главных линий морского сообщения, ответ на этот вопрос явился, само собой, утвердительным. В таком случае постороннего преступного вмешательства в дела туземцев Фарфонта быть не могло, и изолированность селения подтвердилась показаниями экипажа «Виолы». Домашняя утварь, орудия, одежда и прочие предметы, бегло осмотренные матросами, носили следы самобытного изготовления, за исключением нескольких старых ружей, книг и мелочей, вроде обломка зеркала или куска ткани, некогда попавшего на Фарфонт. Относительно природы острова все сходились в том, что «местечко очень красиво». Более впечатлительный, чем другие, Габстер заявил, что там — истинный рай. Капитан Тарт подробнее распространился об острове, но, будучи человеком практичным, отмечал плодородие и тучность земли, а также обилие прекрасной родниковой воды.

Ниже нам придется еще встретить подробное описа-

ные острова, а потому мы возвратимся к сопоставлению фактов. В силу изложенного, следователь остановился на двух версиях: 1.— Жители Фарфонта, под давлением неизбежных, необыкновенных обстоятельств, причин и побуждений местного, а не внешнего происхождения, добровольно, по уговору, лишили себя жизни. 2.— Были убиты из неизвестных следствию соображений единственным оставшимся в живых ныне безумным Скорреем, причем последний, стараясь отклонить подозрения, составил и написал подложное, за подложными подписями жителей Фарфонта посмертное письмо, удостоверяющее наличность самоубийства.

Вторая версия, как наиболее отвечающая несложности криминалистического мышления и непреодолимому тяготению властей к изобличению злого умысла даже там, где человек просто сам падает, разбив себе голову,— была, к сожалению, подхвачена слишком усердно некоторыми газетами, издатели которых избавили этим публику от раздражающего недоумения, а сотрудники держались легкомысленной позиции «здравого смысла», именно того, чего следует избегать, как чумы, в отношении некоторых явлений.

«Утренний Вестник» писал:

«Ха-ха! Нас хотят уверить, что целая деревня здоровых, выросших на лоне природы, не знавших излишеств, непосредственных, полудиких людей обрела какую-то общую трагедию. Может быть, конечно, что они поссорились из-за туземной красавицы. А женщины? Но в таком случае остается предположить общее разочарование в жизни, крушение идеалов и т. п.! Однако Скоррей жив, живы двое детей, и они-то более всего убеждают нас в хитрой предусмотрительности злодея. Он знал, что на Фарфонт может заглянуть судно, он приготовился к этому маловероятному случаю. Здесь он является нам в роли хранителя детей, якобы порученных ему, Скоррею. Дети, разумеется, могли спать в то время, когда свирепый убийца отравлял земляков. Заметьте, что он тоже выпил яд, но не умер. Ясно, что доза была рассчитана с таким опытом...» и т. д.

«Наблюдатель», стоявший за коллективное самоубийство, придерживался, главным образом, показаний капитана «Виолы».

«Помимо серьезности отравления,— писал «Наблю-

датель»,— отравления, едва не отправившего Скоррея на тот свет, невинность его подтверждается видом общей могилы. Холм,— говорит капитан Тарт,— был на виду вблизи поселка; насыпанный весьма добросовестно, обложенный дерном, с прочным крестом, он является лучшим доказательством уважительного выполнения печального долга, возложенного судьбою на Скоррея. В его распоряжении было несколько лодок; если бы он был убийцею, он мог бы без помехи, не торопясь, бросить трупы в море и объявить громким голосом, что все жители утонули на рыбной ловле. Мы говорим примерно. Разумеется, причины самоубийства непостижимы, так как текст письма, написанного вполне здраво, указывает не на сумасшествие или «одержимость демонами», а лишь на следствие неких причин, покуда еще не выясненных. Составители письма, видимо, сильно сомневались в возможности его оглашения, иначе, быть может, мы имели бы дело с пространным, исчерпывающим положение документом. Краткость письма указывает также на поспешность, с какой эти несчастные торопились умертвить себя; нам остается ждать выздоровления Скоррея, на что, как объяснил доктор Нессар, есть ныне надежда».

Анализ жидкости, привезенной капитаном «Внолы», установил присутствие сильного яда.

Скоррей, помещенный в лечебницу профессора Арно Нессара, был признан буйным помешанным в не очень тяжелой форме. Скоррей провел у Нессара четыре месяца, в течение которых выяснились новые обстоятельства благодаря публикации и экспедиции психиатра Де-Местра.

III

Де-Местр, посвятивший значительную часть жизни изучению самоубийств, подвергался некоторое время осаде журналистов, дам, властей и подставных, от полиции, личностей; он каждому указывал на явную запутанность дела, хотя сам про себя склонялся к гипотезе самоубийства.

11 августа он, субсидируемый журналом «Юпиона», надеясь личным посещением острова добыть новые руководящие указания, отплыл из Ахуан-Скапа на за-

фрахтованном с этой целью пароходе «Терепций» и возвратился 24 сентября, поразив общество обнаружением фактов, сильно поколебавших мнение о независимости смерти фарфонтцев от причин внешних. Именно неподалеку от моря, в скалистом углублении берега, Де-Местр нашел сорок четыре бутылки из-под вина,— продукт, чуждый Фарфонту,— белую пружинную булавку и полуистлевший от старости номер газеты «Стационер» 18 мая 1920 года. Последний предмет окончательно убедил Де-Местра в том, что на острове незадолго до «Виолы» побывало другое судно.

Тем временем, благодаря публикации и вообще широкой огласке дела, редакцией газеты «Наблюдатель» было получено из Бомбея письмо за подписью капитана Брамса, засвидетельствованное нотариусом. Брамс служил в Сиднейском обществе транспорта на пароходе «Рикша». Его сообщение было, строго говоря, преддверием истины, печальное лицо которой показалось вполне лишь в день выздоровления Скоррея. Вот это письмо:

«5 апреля 1920 года «Рикша» в поисках пропавшего судна «Вандом» был сбит с курса циклоном и, потерпев значительные повреждения, отнесен далеко к югу. Утром 20 апреля был нами замечен небольшой остров, не значившийся на карте; никто из моей команды на нем не был и не знал об его существовании. Жители,— смешанной крови,— происходили, по их объяснению, от двух семейств эмигрантов, высаженных в этот отдаленный уголок мира в 1870 году военным крейсером «Бробдиньяг», по причинам политического характера. Благодаря этому только две фамилии были на Фарфонте: Скорреи и Гонзалесы; занятиями их были земледелие, охота и рыболовство; поставленные в исключительные условия, они производили и добывали все необходимое для жизни собственными руками и средствами, за исключением небольшого количества привезенных первыми жителями или проданных на остров впоследствии случайными кораблями вещей.

Последний корабль, посетивший их, был взбунтовавшийся «Скарабей»; он бросил якорь к берегам Фарфонта шесть лет назад. Понятно, с каким утомительным вниманием и волнением встретили нас. Жители высыпали на берег, окружив чудесных гостей. Все до послед-

ней пуговицы на нашей одежде стало предметом бесконечных споров, толков, вопросов. Оказалось, что мы приехали в день бракосочетания юного Антонио Гонзалеса с не менее молоденькой Джоанной Скоррей. Нас ожидало пиршество, бесконечные расспросы о жизни большого мира и зрелище дикой, но весьма милой свадьбы.

Жених в довольно удачно скроенной одежде и огромной соломенной шляпе не оставлял двух мнений о своей наружности: это был стройный коричневый молодец, с немного глуповатой улыбкой и серьезными большими глазами, в которых читалось сознание важности и торжественности момента; но невеста в решительную минуту спряталась за углом дома — застыдившись, конечно, нас — и мы потратили немало терпения, пока нам удалось взглянуть на ее славную рожицу. Наконец она вышла из прикрытия, красная от смущения. Шкипер Полладиу, мастер на комплименты, стал громко восхвалять ее качества, отчего она заметно приободрилась и соблаговолила посмотреть на него одним глазом, черным, как орех, и наивным, как недельный цыпленок. Простое платье из грубой домашней ткани облегало ее тонкую, еще связанную в движениях фигуру, хорошенькую и стройную.

Очень прост и величественен был свадебный обряд. Мы стояли на берегу потока, сверкавшего синевой и белизной в изломах гранита, сомкнувшегося впереди нас, через поток, прихотливой тенисто-краснеющей аркой. По ней тянулись бархатные груды ползучей зелени. Солнечные лучи, дробясь над аркой, делали воздух подобием пылающего костра или золотой завесы, сквозь которую просвечивали голубыми тенями извивы берега. Берег пестрел цветами. На горизонте узким серпом блестел океан.

Дедушка Скоррей прочитал несколько молитв, отрывки из библии, соединил своей отжившей рукой горячие руки молодых людей, и мы вернулись к селению. Там, на берегу моря, в скалистом углублении берега начался пир, сугубо орошенный нами двумя ящиками с вином и ромом. И я начал рассказывать о теперешних великих делах мира, изобретениях и титанической борьбе наших дней, заранее предвкушая, как должен поразить этих людей мой рассказ.

Действительно, они были потрясены. Я нарисовал им возможно полную картину гигантской борьбы девяти государств, представив все ее крупнейшие события, ее план, ход, темп, технические и моральные средства, пущенные в ход противниками. Кое-кто выразил сомнение в правдивости моих слов, тогда я дал им бывший у нас номер «Стационера». Люди с Луны или с Марса, попади они на землю, не вызвали бы такого убийственного интереса к себе, как мы со своим «Стационером» и рассказами о сражениях миллионных армий: нам задали столько вопросов, что ответить на все сколько-нибудь подробно — заняло бы полжизни.

Сознаюсь, что, несмотря на тяжесть событий, омрачивших это десятилетие, я испытывал невольное чувство гордости, вернее — превосходства над этими полуробинзонами, когда стал рассказывать о гениальных завоеваниях человека в области воздухоплавания, радио, химии, морской и артиллерийской техники. Я описывал им внешность дредноутов, цеппелинов, аэропланов, бетонных окопов и бронированных фортов, приводя слушателей в трепет весом шестнадцатидюймового снаряда или размерами земляной воронки после взрыва бомбы, способной смести деревню.

Мы проговорили всю ночь. К вечеру следующего дня «Рикша» исправил повреждения и, подняв якорь, прибыл 3 мая в Мельбурн. В настоящем письме изложены все обстоятельства нашего пребывания на Фарфонте, причем считаю нужным добавить, что известие о трагической и необычайной смерти наших бывших хозяев произвело на всех нас, видевших их, неописуемо тяжелое впечатление. Если мое, не имеющее, по-видимому, никакого прямого отношения к делу, сообщение сможет пролить свет на тайну смерти жизнерадостных и гостеприимных людей, я испытаю горькую радость человека, способствовавшего раскрытию печальной истины».

IV

20 сентября Скоррей дал, наконец, свое показание. Стенографическая запись рассказа Скоррея весьма спутанна, изобилует повторениями и отступлениями, кроме

того, самый язык рассказчика до такой степени непохож на нашу манеру мыслить и выражаться,— манеру, выработанную постоянным общением со множеством людей как лично, так и заочно, путем писем, телеграмм, книг и газет,— что мы нашли нужным дать этому показанию общую литературную форму, не исключая ни фактов, ни впечатления, оставленного ими.

— Нам очень трудно было поверить,— говорил Скоррей,— словам капитана Брамса, объявившего, что пережила Европа страшную войну в то время, когда мы, не подозревая ничего такого, слышали только плеск волн и шелест цветущих веток. Однако Брамс показал нам газету, хотя старую, но убедительно говорившую то же самое.

Всю ночь капитан и его товарищ беседовали с нами, посвящая нас, взволнованных, потрясенных и зачарованных, в самые глубины событий. Мы узнали, что войной были захвачены сотни миллионов людей. Мы узнали, что разрушено множество городов и целые страны. Мы узнали, что люди летают стаями на крылатых машинах, бросая сверху бомбы в корабли, дома и леса. Мы узнали, что посредством особого удушливого ветра сжигают легкие десяткам тысяч солдат, и многое другое, а также, что неизвестно, не повторится ли снова такая же война.

Утром капитан с товарищами отправился на свой пароход чинить повреждения, а мы продолжали обсуждать слышанное. Никто из нас и не подумал даже работать в этот день. Каждый по-своему оценивал происходящее. Некоторые уверяли, что Брамс нас слегка обманывает и что война, вероятно, продолжается. Иные утверждали, что наступило благоприятное время для морских разбойников и что нам, вероятно, скоро придется подвергнуться нападению. Вообще, нами овладело подозрительное и угнетенное состояние; каждый носился с предчувствиями, рассказывая направо и налево о своих догадках относительно событий в смутно представляемой нами Европе.

Кто-то,— не помню, кто именно,— сказал, что очень может быть, через год или два мы останемся единственными жителями на земле, так как воюющие, несомненно, уничтожат друг друга своими чудовищными

изобретениями. Леон Скоррей, мой племянник, говорил, что нужно опасаться не этого, а повального бегства с густонаселенных материков миллионов людей, которые рассеются по отдаленнейшим углам земли в поисках безопасности. Пришельцы многочисленные, хорошо вооруженные, конечно, могли одолеть нас, захватив наше имущество, возделанную землю и лодки. Было внесено даже предложение просить «Рикшу» взять нас с собой, чтобы не оставаться одним в страхе и неизвестности, но труса немедленно пристращали и образумили, объяснив ему, что неизвестность лучше происходящего ныне в больших странах. Однако вечером, когда «Рикша» снимался с якоря, два наших старика ездили на пароход с просьбой рассказать всем о нас и прислать встречное судно для желающих уехать, если такие окажутся. Брамс успокоил их обещанием исполнить это. На закате «Рикша» снялся и ушел.

Эту ночь я, как и многие другие, провел в тяжкой полудремоте, вставая изредка, чтобы помочь занемогшей от всех этих волнений жене. Два дня спустя после ухода «Рикши» Хуан Гонзалес, ездивший с Антонио, мужем Джоанны, ловить рыбу,— вернулся рано и объявил, что в полумиле от берега замечен был им круглый блестящий предмет, усеянный гвоздями и качавшийся на волнах. Вскоре пришедший Антонио подтвердил это. «Мы едва не наехали на него»,— сказал он и побледнел. По-видимому, это была одна из плавучих мин, о которых говорил Брамс.

В полдень над головами нашими раздался сильный трещащий гул, и все выбежали из домов. С полей спешили испуганные работники. Вверху, огибая дерево, летел с быстротой чайки огромный темный предмет, меняющий очертания; сделав поворот у леса, он нырнул вниз и скрылся.

Мы были так напуганы, что кричали все сразу, не понимая друг друга. Ни у кого, самого недоверчивого, не оставалось сомнения, что вокруг острова, пока невидимые нами, происходят морские сражения и разведчики осматривают окрестности, летая над островом. Глухие удары или взрывы послышались спустя недолгое время со стороны западного горизонта. Все устремились на берег. На линии воды и неба вилось множество дымков; оттуда, заглушенная расстоянием, доносилась

медлительная, тяжкая пальба, и казалось — земля дрожит под ногами. Так продолжалось час или более; затем все исчезло.

Вечером трое Гонзалесов, ходивших в лес за дровами, вернулись еле переводя дух. Они слышали стук множества копыт, крики, звон сабельных клинков и стоны, но никого не видали. Аллен Скоррей, бывший в это время с женой у водопада, пришел немного спустя; они видели на скале вооруженного всадника, смотревшего из-под руки в сторону леса. Заметив Скоррея, он исчез, едва натянув поводья.

— На острове произведена высадка,— сказал Аллен, сообщив свое и выслушав Гонзалесов.— Что это за война —мы не знаем, нам угрожает опасность, может быть — смерть. Надо обойти остров.

Антонио Гонзалес и я вызвались сделать это. Потратив половину следующего дня на обыск Фарфонта, мы не заметили никаких следов, но слышали звон и лязг, сопровождаемый криками. Вернувшись, мы застали наших в большом унынии. Женщины плакали. Наш рассказ удивил и еще больше напугал всех.

— Может быть,—сказал, покачивая головой, старик Рамсом,— может быть, люди ухитряются быть невидимыми. Теперь, говорят, время чудесных выдумок.

— А трупы? — спросил я.

Но он не ответил мне.

— Смотрите, смотрите!— закричала в это время моя сестра, и мы, следя за направлением ее ужасного взгляда, увидели, что все небо покрыто быстро несущимися таинственными кораблями со странным, невиданным такелажем, напоминающим парусные суда и имевшим как бы отражение под собой, в воздухе. Там слышались гул и свист, удары и протяжный звон колоколов, и скоро все затянулось дымом пальбы, отдавшейся в наших ушах смертным приговором. Женщины падали без чувств, бежали в дома, рыдали. Мы, мужчины, стояли как привязанные, не имея сил двинуться с места. Наконец последние корпы чудовищ скрылись за скалами, и мы могли, собравшись опять, с горем и страхом признаться друг другу в нашем общем отчаянии. Никто не мог объяснить происходящее. Эту ночь спали одни дети...

В таких беспрерывных, угнетающих, безжалостных, грозных явлениях прошел месяц и еще две недели, и

наконец мы пришли в совершенно жалкое, полубезумное состояние. Боялись отходить далеко от дома, чтобы не остаться одним; работы были заброшены; беспокойные и тяжелые сны преследовали тех, кто, ища покоя, кидался в постель; дети, более всех испуганные грозой, разрушившей нашу тихую жизнь, плакали, как и матери их, похудевшие от беспрерывного страха; мы, мужчины, решаясь иногда стряхнуть власть воинственных сил, обходили все вместе остров, дабы убедиться, что мы единственные его хозяева, и, каждый раз убеждаясь в этом, впадали в еще более острое отчаяние. Глухой рокочущий гул днем и ночью раздавался над нашими головами; нечто подобное отдаленным взрывам обрывало беседующих на полуслове, и стоны и вопли, то тихие и жалобные, то громкие, полные гнева и боли, наполняли воздух. Ночью слышалась сильная канонада в западной стороне, как будто там шло бесконечное сражение: люди, выходившие посмотреть на море, видели темные громады судов неизвестной национальности, преследующие друг друга. Мы более не знали покоя. Что происходило с нами? Что вокруг нас? Мы устали задавать друг другу вопросы. Наконец однажды вечером троюродный брат мой Аллен Скоррей сказал нам, собравшимся у него в доме, что в нашем беспомощном положении не видит он никакого выхода, кроме смерти: «Мы не бодрствуем и не спим. Отданные во власть дьявольского кошмара, а вернее — ужасной действительности, достигшей, с помощью неизвестных нам средств, совершенства неуловимости — мы, отрезанные от всего мира, ничего не знающие, невинные, теряющие рассудок, скоро совершенно сойдем с ума и огласим воздух дикими завываниями. За что? Мы не можем знать этого. Я предлагаю умереть добровольно».

Не было такого, который решился бы или хотел возражать ему. В глубоком молчании собравшихся Аллен приготовил жребья по числу мужчин: вытащивший самую короткую палочку должен был остаться в живых, чтобы похоронить остальных. Мне выпало это несчастье. Тогда сестра моя Алиса Скоррей, вдова, сказала: «Пусть так и будет, но я не возьму с собой моих Филиппа и Ливию». Затем она поручила их мне, умоляя дождаться какого-либо судна и не убивать себя до

чем пор, пока не наступит возможность увезти детей с острова.

Я сопротивлялся, как мог, но должен был уступить просьбам; к тому же действительно надо было кому-нибудь позаботиться о похоронах. Однако я зарыдал, ясно представив всю тягость своего будущего. Один, полный черных воспоминаний, с двумя детьми на руках, я должен был терпеть и выносить страдания худшие, чем смерть в пытке. Я согласился, может быть, потому, что мой разум был помрачен и не вполне понимал происходящее.

Скоррей в этом месте рассказа лишился чувств. Придя в себя, он, видимо, торопился досказать остальное. Здесь стенограмма сумбурна, отрывиста и коротка.

— Настоящая лихорадка нетерпения овладела всеми. Написали записку, Аллен принес яд. Я вышел и увел детей, сказав им, что наши скоро придут. Ни за что на свете не вернулся бы я туда, в дом Аллена. Я лежал в полуобмороке, в полузабытьи. Что там происходило — не знаю. Солнце садилось, когда я решился открыть роковую дверь.

И я увидел...

Скоррей отказался рассказывать, как он хоронил этих несчастных. Дальнейшие его показания — мрачную повесть жизни полубольного человека с двумя маленькими детьми, которых нужно было кормить и успокаивать, выдумывая всякие истории относительно всеобщего исчезновения,— можно найти в «Ежемесячнике Ахуан-Скапа», журнале, поместившем наиболее подробный отчет о деле Фарфонта. Автор, ссылаясь на Миллера, Куинси и Рибо, развивает гипотезу массовых галлюцинаций, а также «страха жизни» — особого психологического дефекта, подробно исследованного Крафтом.

В заключение, описывая прекрасную растительность острова, его мягкий климат и своеобразное очарование заброшенности, нетребовательной и безвредной,— автор заканчивает статью следующим замечанием:

«Это были самые счастливые люди на всей земле, убитые эхом давно отзвучавших залпов, беспримерных в истории».

ЛЕГЕНДА О ФЕРГЮСОНЕ

Настоящий рассказ есть суровое изложение того, как Эбергард Фергюсон потерял в мнении людей благодаря свидетельскому показанию человека, которому он, когда тот был ребенком, дал пряник. Из дальнейшего читатель убедится, что пряник был дан неблагодарному существу и что репутация Фергюсона нашла неожиданную защиту в лице девушки, до тех пор не обнаруживавшей себя ровно ничем.

Мы все, по крайней мере те из нас, кто побывал в долине Поющих Деревьев, слышали, что Фергюсон отличался необычайной силой и один победил шайку в сорок восемь бандитов, опрокинув на их гнездо с отвеса Таулокской горы огромную качающуюся скалу весом в двадцать тысяч пудов.

Эту скалу можно видеть и теперь: раздробив барак Утлемана, предводителя шайки, она скатилась по склону в лес и там, никогда более не качаясь, обросла кустами.

Лет пять назад низменный берег моря между Покетом и Болотистым Бродом был затоплен долгими ливнями. Прилив более сильный, чем обыкновенно, благодаря урагану, помог делу разрушения насыпи. Поезд, шедший из Гель-Гью в Доччер, высадил пассажиров на станции Лим, и все стали ждать прибытия рабочих команд.

Часть пассажиров вернулась в Гель-Гью, а часть осталась.

В деревянной гостинице «Зимородок» поселились Джон и Сесиль Мастакары, братья-агенты целлулоидной фирмы; доктор Фаурфдоль, получивший службу в Доччере и не торопившийся никуда; пьяный джентльмен с испуганными глазами и нервным лицом; самостоятельная девица плоских форм, смотревшая на все твердо и свысока; и инженер Маненгейм с дочерью шестнадцати лет, молчаливой и большеглазой. Ее звали Рой.

Лим — место, где из центра во все стороны можно видеть за домами бурое поле и лес на горизонте, а за ним — горные голубые намеки, почти растворенные атмосферой, а потому на третий день вынужденного покоя начался сплин.

Было слышно, как вверху ходит по своему номеру пьяный джентльмен, напевая: «Я люблю безумно танцы...» Доктор сидел на террасе, рассматривая местных пиявок. Братья Мастакары играли в шестьдесят шесть, сидя в тени пробкового дерева, у входа в гостиницу. Инженер забрался на кухню, где начал терпеливо учить кота подавать лапку, а его дочь стояла, прислонясь к садовой стене, и грызла орехи, которыми были всегда набиты карманы ее платья. Она думала: «Что будет, если я закрою глаза и вдруг открою? Может быть, я окажусь в Африке?!»

Никто не подозревал, что к гостинице приближается алчная и беспокойная личность, заранее рассматривающая пленников Лима как отпетых дураков. Это был Горький Сироп, имя и фамилия которого бесследно пропали.

Сварливый взгляд и длинный, угреватый нос Горького Сиропа увидели первыми братья Мастакары. Горький Сироп дернул за козырек кепи и сказал:

— Джентльмены желают развлечься. Они могут посмотреть местные достопримечательности.

Джон Мастакар сосчитал: «пятьдесят один» и прибавил: «уйдите». Но Горький Сироп подошел ближе.

— Во-первых,— сказал он,— столб, на котором линчевали трех негров в 1909 году.

У окна показался пьяный джентльмен. Он был-таки пьян и смеялся.

— Во-вторых,— продолжал бродяга,— вывеска, написанная масляными красками над булочной О'Коннэля. Если всмотреться, явственно различаешь среди булок и кренделей фигуру знаменитого полководца Наполеона.

— Ха-ха! — сказал пьяный джентльмен.— Выпей на доллар и увидишь зеленых слонов.

Вышел инженер с дочерью. Рой молчаливо грызла орехи.

Увидев ее, Горький Сироп преобразился.

— В-третьих,— сказал он совсем громко,— на дереве близ мастерских ласточка свила гнездо в туфле приезжей артистки Молли Фленаган, которая бросила ее туда после того, как выпила из этой туфли целую бутылку шампанского.

Раскрылось второе окно и показался раздраженный бюст самостоятельной девицы средних лет; она твердо сказала:

— Вы должны найти работу, Дачежин! Все должны работать, а не попрошайничать!

С террасы приплелся доктор.

— Нет ли еще чего-нибудь? — спросил он, зевая.

— Едва ли вы назовете «чем-нибудь» скалу в двадцать тысяч пудов, сброшенную Фергюсоном,— с достоинством произнес Горький Сироп,— редкую качающуюся скалу, которую он обрушил на притон бандитов Утлемана! Она в двух милях отсюда. След могучих рук Фергюсона навеки врезался в камень. Можно различить снимок его пальцев.

— Папа, я хочу видеть скалу,— заявила Рой.

— Вы выразили разумное желание, мисс,— сказал Горький Сироп.— внушительное, незабываемое зрелище!

Инженер не противоречил девушке. Достаточно, что она хотела видеть скалу.

Погода стояла отличная. Уговорили ехать Мастакаров, доктора; пьяный джентльмен пришел сам. Самостоятельная девица резко отошла от окна и больше не показывалась. Хозяин гостиницы доставил поместительный старый автомобиль, куда все и уселись. Горький Сироп, сдвинув колени, чтобы не задеть кого-нибудь и тем не уменьшить свой гонорар, рассказывал, прикладывая руку к груди:

— Фергюсон был таинственная и благородная личность. Ростом семь футов, красивый, как Юпитер, с глазами, обжигавшими каждого, кто приближался к нему. Его голос звучал, как корнет-а-пистон. Его черные усы и такая же борода вились, как шелк. Его лицо было бело, как мрамор. Он жил в лесу, за Таулокской горой. Никто не знал, что он делает. Говорили, что он был несчастен в своей великой любви к дочери одного... гм... инженера. Каждый день он ходил на Таулокскую гору и слегка поддавал скалу, утоляя свое неутешное сердце ее неистовыми раскачиваниями. И вот он узнал, что Утлеман собирается ограбить и убить переселенцев. Тогда герой взошел на гору и ночью, когда бандиты спали в своем лесном доме, послал им вечную печать молчания. Сто двадцать человек было убито, а пятеро сошли с ума, и их поймали.

Доктор лениво улыбался, инженер хохотал, братья Мастакары слушали и соображали, не предложить ли целлулоидной фирме изобразить на гребенках Фергюсона, толкающего скалу.

Наконец приехали к месту, где лежала скала, и вылезли из автомобиля. Пройдя немного пешком, путешественники увидели огромный камень неправильной ромбической формы, лежавший среди деревьев, как серый дом без окон и дверей.

— Не поздоровится от такой штуки,— сказал Джон Мастакар.

— Покажите отпечатки пальцев! — потребовала Рой у Горького Сиропа.

— Они с нижней стороны, так что их не видать,— заявил прохвост.

Доктор лениво созерцал скалу, соображая, сколько ампутаций мог бы он произвести у ста двадцати человек. В это время подошел маленький спокойный старик, очень дряхлый, но с проницательными живыми глазами.

— Толкуете о Фергюсоне? — обратился он к компании.— Что-то вам Сироп врет. Дело в том, что я знал этого Фергюсона, но, хоть убей, это делу не помогает. Даже обидно. Я его знал, когда мне было одиннадцать лет. Впрочем, если...

— Отчего же, скажите...— протянул пьяный джентльмен.

— Я стоял у лавки,— продолжал старик,— а он вышел оттуда и сказал: «Хочешь пряник?» Я сказал: «Да». Взял пряник и съел. Ну, он жил около болота, этот ваш Фергюсон, и промышлял тем, что хлопотал в суде о земельных участках. Разбойники, действительно, были, только дальше отсюда, у Котомахи. Фергюсон был заика, болезненный человек, малого роста. Я ему полюбился, и он брал меня с собой на прогулки: бывало, мы с ним качали эту скалу. Но ее качнуть не труднее было, чем большую лодку. Вот он мне и говорит как-то: «Надоела дурацкая скала!» В ту же ночь ее штормом ударило об откос — верхним краем, должно быть,— основание сползло, и устойчивое равновесие нарушилось. Она, конечно, упала и раздавила двух коров, которые там внизу задумались.— знаете, эти, ко-

серые... стоят и жуют. Теперь мне даже смешно, как все это переиначили.

Через два дня Рой Манеигейм приехала в Доччер и стала рассказывать своей тете о путешествии грызя, как всегда, орехи. Ее задумчивые большие глаза рассматривали белое ядро ореха, когда она вдруг прибавила ко всему прочему:

— Еще видели мы с отцом скалу, весом тридцать тысяч пудов, которую Фергюсон бросил на гнездо бандитов. С ужасной высоты!

Подумав, она вытащила из кармана новую горсть орехов и, трудясь над ними, докончила:

— Он был красивый, с черной бородой, сильный и храбрый. Так нам сказал какой-то старик. Он говорил — как пел. Все боялись его, а он — никого. И когда он сбросил на разбойников эту большую скалу, он дал какому-то мальчику пряник, потому что был очень прост и доступен... Он любил одну девушку, и они женились.

Еще подумав, Рой прибавила:

— Они женились раньше, чем он сбросил скалу.

НАИВНЫЙ ТУССАЛЕТТО

Герцог Сириан, изувеченный страстью к ослепительной Ризалетте Бассо, которая, что не было уже ни для кого секретом, обратила светлое внимание на казначея двора, Стенио Герда, улыбаясь ему при всех радостно и открыто,— сделал то, что подсказывали ему кровь и кулак.

Об этом через несколько столетий дошли сведения, более поучительные, чем достоверные, но, сверив переставшие биться, истлевшие в могилах сердца с живыми сердцами нашего века, мы все-таки подойдем к истине, и время исчезнет.

Герцог, расфранченный, хлыщеватый мужик, убийца и трус, мало напоминал аристократов нашего времени, изучающих естественные науки.

Теперь пусть говорит и расскажет о своем позоре дворянин Туссалетто. Рассказ ведется от первого лица, все описанное Туссалетто относится, по-видимому, к семидесятым годам шестнадцатого столетия.

I

Пока я торговал краденую арабскую лошадь, во двор въехал гонец и, покинув седло, подал мне письмо от герцога Сириана.

Давно забытый милостями его светлости, я стоял с опущенной головой, не решаясь прочесть послание. Меня озарили воспоминания: в деревенской глуши, где кричат лишь мулы и петухи, а люди смиренно проходят жизнь, уповая на милосердие божье,— всякое письмо подобно уличной драке или пожару, тем более письмо славного, живого вовеки веков герцога Сириана.

Голубой день и сизые холмы за оградой; рев сгоняемых стад; красная пыль дорог и босоногие женщины, по вечерам после рабочего дня развлекавшие Туссалетто в тишине спальни, все это перестало существовать для меня, пока я, с сильно бьющимся сердцем, держал в руках письмо герцога. Я вспомнил, что всего два года назад мои отношения к нему не оставляли желать ничего лучшего. Я был поверенным его сердечных забав, и благодаря мне он нарушил столько молодых женских снов, сколько в гранате семечек. Я доставал ему тоненьких и полных девушек, не жалея себя. Иногда в моих руках билась и более опасная добыча — замужние женщины, клохтавшие от испуга наподобие раскормленных кур в пальцах торопливого повара, но все чудесно сходило с рук. Меня просто оклеветали. Герцог требовал, чтобы я посмотрел ему прямо в глаза. Я сделал это, боясь смерти, но все было испорчено. Иуда Консейль напоил меня толченым стеклом, я заболел, покрылся сыпью и струпом, так что перестал обращать на себя внимание герцога и улизнул. Хуже всего то, что Консейль сам рассказал об этом, а герцог смеялся.

Герцог, наполовину шутя, наполовину ругаясь, писал следующее:

«Любезнейший прощелыга Туссалетто! Перестаньте сердиться на меня и приезжайте сегодня ночью. Вы знаете, что я всегда рад вас видеть. Я пригласил изы-

сканное общество, а вам, старый дурак, советую убраться немедленно: дело прежде всего. Сколько вы натравили зайцев с этим бродягой, косноязычным моим однофамильцем? Не унижайся, Туссалетто, он хитрее меня. Желаю видеть твой черный мозг у себя как можно скорее.

Ваш бедный, нищий, старый, больной, слепой и преданный герцог С и р и а н».

Я выронил письмо, испуг мой передался посыльному. Он стоял с разинутым ртом, бледный, ожидая, что я упаду или начну лаять от страха. Я вспотел и дрожал, но, насколько мог, овладел собой.

Первым помыслом моим было бежать, бросив все, переодеться и скрыться, но, вспомнив участь Луиджи и многих других, умиравших под ударами прежде, чем успевали оглянуться на покидаемый дом, я понял все безумие явной трусости. Меня убили бы те невидимые, на обязанности которых лежит стеречь обреченного человека, зевая за углами оград или лежа в придорожных канавах, пока жертва, думая, что еще есть время спастись, смотрит на горизонт.

Такое же письмо, как и я, получил на моей памяти Гандио. Он, не теряя времени, написал завещание и исповедался. Во время танцев кинжальщик подставил ему ногу и, повалив, пробил горло несчастного с такой силой, что лезвие сломалось о плиту пола. Режи, раздушенный, счастливый тем, что сидит рядом с герцогом, упал с недопитым стаканом в руках, отравленный шутя, мимоходом, на всякий случай. А Скарабулло, избегая ударов, бросился сам с террасы, разбив голову. Герцог во всех таких случаях делая вид, что ему дурно, требовал холодной воды.

Снова перечитав письмо герцога, я сказал «прости» всякой надежде. Черный нимб смерти остановился над моей головой. Все знали хорошо его манеру писать в таких случаях. Он кривлялся и хныкал, грубил и угрожал одновременно; новый позыв к убийству водил его рукой, но гнусная стыдливость палача претила выразиться откровенно,— иезуиты научили его приличиям.

«Косноязычный бродяга-однофамилец»—Лука, младший брат герцога, приближенных и друзей которого Сириан истреблял при каждом удобном случае,— охотясь, провел у меня ночь. Намеки герцога ясны и про-

сты. Лука, к вечеру совершенно пьяный, жаловался мне на брата за то, что тот, поддавшись гневу, рассек, ослепив на один глаз, лицо Чезаре, племяннику Луки, человеку несдержанному на язык, но честному.

Он подмигивал мне, усмехался, кивая головой в такт моим судорогам перед его братом Сирианом, и жал мне, лукавя, как вся их порода, руку, просил сыска и плакал позеленевшими от злобы глазами.

Разумеется, нас подслушали. Мысль о близкой смерти приводила меня в отчаяние. Умереть за то, что слушал чужую болтовню и из вежливости кивал головою?! Меня мутило от страха и тоски. Я люблю жить и согласен стать последней собакой, клещом в грязной ноге нищего, червем, улиткой, но не трупом.

Я несчастнее гусеницы, потому что одарен мыслью, божественным началом вселенной, и должен беспомощно созерцать свое собственное уничтожение.

— Сириан, умирающие приветствуют тебя!

II

Когда умирает дворянин, лицо его скорбно, но не трусливо. С этим навязчивым представлением о благородном конце я появился во дворце герцога, но, вспомнив о близкой смерти, упал духом.

Когда я прибыл, у дверей герцогского покоя собрались следующие: Стенио Герд, три племянника Строцци и неизвестные мне люди с темными лицами.

Я посмотрел на Стенио, он тихо улыбался, смотря на дверь. Я стал в самом дальнем углу, мысленно падая прахом.

Долго все молчали или разговаривали вполголоса, или шепотом; наконец вышел герцог.

Дверь распахнулась стремительно, я увидел небесно-голубой бархат, лицо разъяренной летучей мыши, серые волосы и глаза, полные тусклого коварства.

Взглянув на меня, герцог Сириан оживился; я понимал его: добыча стояла перед ним; убийца ликовал, стал жеманным, когтистым, впал в ужасную шутливость удава, болтающего хвостом.

— Туссалетто! Красавец! — и герцог поманил меня пальцем; затем, сунув бороду в рот, стал грызть ее, смотря снизу вверх.

Я подскочил, кланяясь с тьмой и тоской в душе, не в силах будучи отвести взгляд от прыщеватой щеки, засевшей в голубом кружеве.

— Н-но-но!..— сказал герцог, погрозив пальцем, и вдруг похоронным огнем бьющие глаза его скрылись; он закрыл их, стал тяжело дышать и, повернувшись круто, ушел. Я оглянулся, увидел торчащие хвостами рапиры, испуганные лица вокруг; зазвенело в ушах.

Трое неизвестных с черными усами, отойдя в сторону, склонили друг к другу уши, оглядываясь на меня и секретно шепчась. Растерянность страха лишила меня достоинства, я осмотрелся, все наполнявшие зал смотрели сурово и подозрительно, один Стенио улыбался, бесцеремонно рассматривая меня в упор, подняв брови, как бы удивляясь чему-то...

Трое, в далеком углу близ арки, продолжали зловещее свое совещание, а я, сбитый с толку, огорошенный и несчастный, бросился к ним, желая прервать кровавое их соглашение, так как речь шла — я чувствовал — обо мне. Я подбежал к ним, и они расступились, кланяясь хмуро и неохотно. Умоляюще посмотрев на всех я сказал:

— Если вы издалека, я все могу сделать, герцог меня любит и слушает.

Все трое отвесили по поклону, и первый сказал:

— Я Гонзалес, я прибыл по приказанию герцога.

Второй, взмахнув шляпой, прибавил:

— Я Перуджио и нахожусь здесь по всемогущему желанию герцога.

Третий, кланяясь еще раз, прибавил:

— Его воля. А?

Стараясь, насколько можно, сдержать трепет, я отскочил задом, кланяясь ниже всех. В это время в дальнем углу покоев несколько раз быстро и звонко ударили в колокол. Вдруг стих шепот и разговоры вполголоса и, рванув дверь, выбежал, схватив меня за руку, Сириан. Он молчал, а с ним все, и я слышал, как жужжит у стекла муха.

— Туссалетто! За мной! — Меня как бы потянули за цепь, и я, не слыша ног, вошел за властной спиной в спальню.

Герцог, бросив меня у порога, подбежал к столу, где

было вино, и налил огромный кубок. Он жадно пил, обливая бороду и грудь, но не замечал этого.

За дверью слышались топот, возня и глухое дыхание.

— А! Меня убивают! — закричал Стенио Герд; узнав его голос, я стиснул руки, пытаясь унять их дрожь.

— Молчать! — вскричал Сириан, подняв голову.— Это дерутся солдаты. Я их повешу.

Чик-чик-чик-чик — это лязгали шпаги.

— Помогите! — еще раз закричал Стенио.

— Я тебе помогу! — сказал герцог.

Затем наступила тишина. Я стоял, но не смел стоять, дышал, но не смел дышать.

— Боже, отпусти ему грехи! — пробормотал герцог, склонив голову.

— Ваша светлость,— решился произнести я,— эта отличная погода... охота...

— Молчи, дурак,— заявил герцог. Он подошел ко мне, покачиваясь, и нежно поцеловал меня в лоб.— Ступай к Ризе Бассо. Вот ключ.

Я согнулся.

— В тюрьму.

Я стал на колени и поцеловал полу его одежды.

— Уговори.

— Ваша св...

— Обещай.

— Д... д... д... д... д...

— Все.

— Светл...

— Любви! — сказал герцог и заметался, томно склонив голову.— Будьте мастером своего дела,— прибавил он,— я влюблен.

Уходя, я видел, что замытая плита еще сыровата. Но я жив. Не мне, не мне!

Меня привели в подвалы; от недавно перенесенного страха мои ноги ступали нетвердо.

Но что я увидел! Некоторое удовлетворение ощутил я, взглянув в глубину камеры. Ризалетта, милая Ризалетта! Она лежала в грязи, пробив себе грудь стилетом. Я поцеловал ее ноги.

Посмотрим, какой потребуете вы еще любви, Сириан, когда...

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

I

Я украл окорок ветчины в коптильне красноносого отца Дюфура. Дюфура звали «отцом», собственно, по старой памяти: как расстрига, он едва ли даже имел право ходить в церковь. Прекрасно — я украл, и не прекрасно — меня собрались повесить, так как поймали. Отправиться на Монфокон с кляпом во рту, чувствовать там горячей шеей холодные ногти палача и растворить дух в вое осеннего ветра показалось мне слишком сентиментальным. Разогнув поленом прутья оконной решетки, я бежал, оставив на подоконном гвозде добрый кусок штанины: малый я был плотный и кряжистый.

Покинув Париж, я долго скитался в провинции, иногда приставая к воровской шайке ради странной, случайной оседлости: у воров были в лесах и в развалинах замков насиженные укромные гнездышки; или шел к мужикам работать.

Так прошла зима. Мог бы я давно вернуться в Париж, где, без сомнения, забыли уже и об окороке и о моей скромной особе, но все время что-нибудь было помехой этому. То завязывался роман с коровницей, то пригревали меня на кухне попутного монастыря, и я, пользуясь смиренной трапезой, мог причесываться без масла, проведя по волосам просто рукой, предварительно огладив ею щеку; то впутывался я в какую-нибудь доходную комбинацию с замаскированным молодцом, умевшим необыкновенно внушительно произносить простые слова: «Кошелек или жизнь»,— и вообще полюбил случайную жизнь. Однажды я заблудился в недоброй памяти Арденнском лесу. Прошли сутки, вторые, третьи — я отощал. Я ел, что попало: жуков, сгнившие корешки, траву, листья. Странный сюрприз обоняния переводил все лесные запахи на запахи чего-либо съестного. Цветы пахли конфетами и вареньем, смола — подгоревшей свининой, теплая земля — хлебом. Расщепистая кора старых дубов выглядела хорошо пропеченной коркой, а солнечные разливы на дымных прогалинах — растопленным маслом. Раз я встретил медведя и, представив, как аппетитно захрустел бы он моими

костями, чуть не заплакал в припадке голодного бешенства.

От медведя я, правда, залез на дерево, но все-таки смотрел на себя, как на завидное кушанье.

Четвертый день ознаменовался тем, что я поднял искалеченный рыцарский шлем, а подальше, на расширении звериной тропы, встретил заросший травой деревянный крест.

Высохший венок лесных цветов украшал его середину. На кресте была темная надпись: Meme en ton absence — toujours avec toi. Arthur [1].

Но мне что за дело до этого? Пусть рыцари, волшебники, великаны и дамы ведают эти дела: я милостью божьей — Франсуа, голодный и бесприютный.

II

Итак — показалась речка: прежде всего я напился; затем осмотрелся. Речка текла быстро и глухо; от берегов черные тени мрачили половину течения, а середина сверкала, как чищенная на солнце медь. Везде упавшие поперек стволы, ямы и корни, изрытая кабанами осока. Жуткое, неприветливое было это место, клянусь спасением. Но, посмотрев направо, увидел я в зеленой извилине мыска черную бревенчатую лачугу с низкой трубой, из которой шел дым. Где дым, там и печь, а где печь, там и горшок с варевом. От одной этой мысли я пополнел. Прежде чем подойти к сему загадочному жилью, попробовал я — каким голосом попрошайничать. грустным и низким, либо же тонким и жалостливым. Последнее нашел я более отвечающим положению и, держа в горле пискливые слова, постучал в дверь.

— Войди, кто бы ты ни был,— раздалось за дверью.

Я вошел.

Передо мной у грубого камелька сидел дряхлый старик. Такого старика я никогда не видел. Был он обут в меховые туфли, а одет в коричневый балахон с откинутым капюшоном. Немного оставалось на его бледном лице места, свободного от белых волос. Борода лежала на груди пышно и строго, длинные кудри сыпались по

[1] И без тебя — с тобой. Артур *(франц.)*.

плечам, а усы тонули в бороде. Вот его глаза: что в них? Много всего; он смотрит как бы издалека. Просьба, приказание, гнев, жалость, любовь, лукавство, грусть, самомнение, беспокойство и ясность — все чувства излучают его острые, выцветшие зрачки,— и я почувствовал страх.

— Добрый отец! — заголосил я.— Помогите бесприютному и голодному Франсуа Долговязому! Я заблудился и четвертые сутки не принимал никакой христианской пищи, питаясь, прямо сказать, корой и листьями!

— Излишек пищи вредит бессмертному духу,— ласково сказал старик,— но что есть — твое. В той чашке орехи, а в углу за тобой — хлеб и вода. Ешь.

Принюхавшись уже к вареву, булькавшему в какой-то странной медной посуде, я усомнился, чтобы там было съестное,— пахло лекарственным. Поэтому, скрепя сердце, так как ожидал чего-либо получше, чем орехи, приступил я к предложенному угощению. Я жевал хлеб и грыз орехи и пил воду, а поев, сильно отяжелел. Потянуло меня ко сну. Пока я ел, старик молчал, время от времени заглядывая в книгу с железными застежками и помешивая варево узорной палочкой, разрисованной непонятными знаками. Это да и рассмотрение внутренности хижины убедило меня, что я попал к некоему волшебнику.

С потолка спускалось несколько высохших ящериц и летучих мышей. Живой, черный, как трубочист, кот сидел на очаге, и магические зеленые зрачки его, казалось, читали все мои спутанные мысли. Груды тяжелых, как гробовые плиты, желтых книг лежали на полу и столе, заставленном кроме того различными металлическими и стеклянными вещами с назначением, непонятным до одурения. Над окном висели вязанки корней и сухих цветов; слабый, нежный их запах разносился по всем углам. А в дальнем углу, запертый тремя огромными черными замками,— стоял таинственный высокий сундук, относительно которого я сразу подумал нечто существенное. Подумал неопределенно, конечно, но крепко: по привычке и любви к запертым сундукам.

— Франсуа,— сказал старик, погладив свою роскошную бороду,— я не любопытен. Кто ты такой — совсем не нужно знать волшебнику д'Обремочу, в жи-

лище которого привели тебя мои заклинания. Слушай: я стар, слабею, и мне нужен ученик, помощник. Помощью магического круга и неких формул я обратился сегодня к демону Азарету — покровителю стариков — и просил его послать мне здорового молодца, как ты. Видишь — просьба моя исполнена.

Я струсил. Значит д'Обремон может вить из меня веревки.

«Влопался ты, Франсуа»,— подумал я, но ничего не сказал. Колдун продолжал:

— Склонен ли ты к истине, Франсуа? К знаниям высоким, как горы? К устремлению духа в озаренные светом области? Говори смело.

— Я, ваше степенство, склонен ко всему, что кормит и греет,— отвечал я с унынием.

— Я не обещаю тебе лучшей пищи,— возразил д'Обремон,— чем та, которую я ем сам и которая будет поддерживать твои животные силы. Но я обещаю, со временем, могущество непомерное, власть над людьми и духами, над золотом и драгоценными камнями, над душой растений и животных. Магия творит чудеса. Твоя душа еще темна и дремотна, как жизнь в яйце змеи, но и мудрость змеи растет с ней. Ты возрастешь, пока же освой себя с новым своим положением и ложись спать, а я займусь комментариями к Альберту Великому, писанными великим и могущественным Нострадамусом.

Сказав так, старик дал мне мешок с сеном, и я повалился в углу, размышляя на сон грядущий следующим манером: «Алхимики, говорят, делают золото. Полезно и весьма прибыльно, если бы удалось научиться такой штуке, а там видно будет».

Уже поэтому решил я не прекословить д'Обремону и пожить у него, даже оставляя в стороне соображения о власти демона Азарета.

Засыпая, я увидел, что ко мне, мурлыча и выгибая спину, подошел кот. Потершись о плечо, сунул он мне голову под мышку и задремал,— кот-то был обыкновенный котище, и не пахло от него серой, в чем я убедился, тихонько прошептав молитву.

А д'Обремон сидел перед высокой желтой свечой, читал, и тень его головы падала на меня.

Я много видел людей, бывал в самых причудливых положениях, но такой жизни, которая сплела меня теперь с д'Обремоном, клянусь собственными глазами, еще не испытывал.

Старик обыкновенно спал неспокойно, ворочался и вздыхал и, шаркая на рассвете туфлями, будил меня чуть не стихами:

— Вставай, Франсуа! Аполлон запряг красных коней. Смотри, как вверху, в сонном еще зените, все зыблется и дрожит и дышит; там тени обнимаются со светом. Смотри, Франсуа, не проспи ранний час! Когда усталая Диана, бледная, оставляет Веиеру сгорать в лучах колесницы,— все чувства подвижны и тонки, как нежные ароматы. Вставай! Дух созерцает Вечное, Франсуа!..

Лень было подыматься на холоде, но цель, которую я поставил себе, требовала послушания. Я подметал хижину и выбрасывал из стеклянных колб какую-то за вчера накипевшую гадость; потом завтракал черствым хлебом, орехами и водой.

До чего противна была мне такая пища! Другой не бывало у д'Обремона. Сам он ел только хлеб и так мало, что удивительно, как не потухала жизнь в тощеньком его костячке. Глядя иногда, как, сгорбившись, подставив горсточкой сухую, прозрачную руку, старается он прожевать корочку беззубыми челюстями, а крошки вываливаются на ладонь, смеялся я не раз, задавая себе вопрос: «Ужели волшебство не добычливо насчет жирной, сладкой пищи и кружки винца?»

До времени я относил это к привычкам моего чародея, но вскорости, дней этак через пятнадцать, убедился, что д'Обремон просто придурковатый старик, полупомешанный хвастун. В этом убедился я такой дорогой ценой, что теперь, когда бессильно размышляю обо всем, зубы мои скрипят и лопаются от бешенства. Однако не забегай вперед, Франсуа!

Откуда старик брал хлеб и соль — было для меня тайной, пока однажды к мысу не причалила лодка. Из нее вышел пожилой мужик, тащя мешок. Он поклонился д'Обремону, как раб царю, и сказал, указывая на мешок:

— Надолго ли хватит вам этого, господин?

— Э, Жан, хватит, пока хватит! Благодарю!

Жан помолчал, затем, подозрительно косясь на меня, спросил как бы с опаской:

— Ну, что? Готово?

— Еще нет,— задумчиво и величественно ответил старик. Вдруг ребяческая улыбка преобразила его лицо.— Скажи, что надо терпеть, ждать, но уже недолго. Сокровища умножаются. Час восхитительный и божественно-мудрый наступит скоро.

Я навострил уши. Но больше ничего не было сказано меж ними про сокровища. Д'Обремон расспросил Жана о семейных делах и отпустил. Лодка мелькнула за тростником, скрылась; я же спросил:

— Учитель, кто этот человек?

— Он приезжает из далекой деревни раз в месяц,— сказал д'Обремон,— и привозит мне хлеб. Пока тебе незачем знать о моих делах больше. Наступит время, и я открою тебе великую тайну.

По вечерам старик открывал свои скрипящие книжищи и посвящал меня в магию. Я притворялся, что все это невыразимо интересно. Он показывал мне какие-то треугольники, круги, пентакли, языческие поганые буквы и вдруг, забывшись, начинал говорить на непонятном языке, турецком или арабском, как думаю. Я узнавал о феях, эльфах, гномах, ведьмах, демонах, инкубах, колдунах, сефиротах и о всякой другой нечисти. Приблизительно через день, по утрам, старик отправлял меня в лес за орехами и дровами, а сам запирался, и тогда из трубы целыми часами валил густой дым. Д'Обремон варил свои колдовские зелья.

Как ни любопытен я от природы, однако что-то удерживало меня расспрашивать моего хозяина о прошлой его жизни и о том, как он превратился в волшебника. Он никогда не сердился, но отвечал не на все вопросы; поэтому я предоставил все течению времени. Мне важно было только узнать золотой состав, а заклинания и сказки о феях я предоставлял д'Обремону. Я подсматривал за ним в щели и окна, но это не открывало мне ничего путного; а все мои намеки он пропускал мимо ушей.

— Практическая магия,— иногда говорил он,— есть самое конечное следствие высших знаний. Ты должен

пройти их. Можешь ли ты лечить больного, не зная природы человеческой? Учись, Франсуа!

И опять вязли у меня в зубах духи воды и огня, земли и воздуха; опять я погружался в запутанные тайны невидимых сил и стихий.

Раз, помню, мы вызывали духа. Какого духа — забыл. Д'Обремон переоделся в некую белую хламиду, повесил на шею бронзовую цепочку с медными кружками, а в руку взял странной формы извилистую тускло шпагу и, поставив меня с собой в очерченном кругу, начал произносить заклинания. Я чуть не умер от страха, но скоро оправился, так как дух не являлся. Старик продолжал взволнованно размахивать шпагой. Вдруг кот прыгнул к порогу, задавил там у щелки мышонка и стал возиться с добычей в самом кругу, у моих ног.

— Ну, сегодня ничего не будет, Франсуа,— сказал д'Обремон торжественно, с какими-то странными манипуляциями выбрасывая мышонка за дверь.— Сегодня Агиагул потерял силу и мог принять вид только одного из низших существ. Мышонок был Агнагул. Он не умер, конечно, но видеть его второй раз в образе того же мышонка — не стоит труда. Сотри круг!

Я подумал, что Агнагул столько же был мышонком, сколько тот Агнагулом, но хихикал в кулак по этому поводу, отвернувшись, дабы не сердить чудака.

В лесу бывали особенно хорошие дни, безветренные, жаркие и душистые, когда даже мне вставать рано было уж не так отвратительно. В такие дни д'Обремон иногда говорил:

— Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье, и пестрых тюльпанов, обостряющих слух, и медвяниц, прогоняющих ночное томление; не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше. Мандрагору ты вырвешь с корнем, не повредив его; рви, стоя лицом к востоку. Златоцвет и медвежьи ягоды бери левой рукой. Захвати и шиповник, он просто красив.

Я отправлялся в лес, собирал приказанные растения и тащил их нетерпеливо встречавшему меня д'Обремону. Старик, прижимая к груди рассыпающиеся вороха

трав и цветов, клал их на подоконник и часами, тихо улыбаясь, сортировал эти зелья, временами нюхая какое-нибудь с видом влюбленного, поднявшего цветок у балкона. Вскорости начинал пламенно дышать кирпичный очаг, старичок варил свои волшебные соусы, надев остроконечную шапку, украшенную магическими рисунками, и на кончике его носа дрожала капелька пота.

Я же садился на порог, перелистывая какую-нибудь старую книгу, но нигде в этих сочинениях не говорилось прямо о том, как изготовлять золото. В самом интересном месте появлялись какие-то Красные Львы, Желтые Реполовы и разные другие затмения секретного дела. Это выводило меня из терпения. Отчего бы не сказать прямо: возьми, мол, того-то и того-то, свари так и этак — и отливай двойные пистоли. «Мой д'Обремон,— рассуждал я,— человек, видимо, слабоумный или помешанный. На его месте — будь оно действительно всемогуще — я бы давным-давно состряпал себе уютный подвальчик, набитый червонным золотом».

IV

Таинственный высокий сундук, разумеется, не давал мне покоя все время. Иногда, пользуясь кратким отсутствием д'Обремона, выходившего побродить на воздух, я пытался потрясти этот сундук, но так был он тяжел, что не удавалось приподнять его угол даже на полвершка. Д'Обремон никогда не открывал сундук в моем присутствии,— я же, подсматривая за ним в окно, был так несчастлив, что в эти минуты старик оставлял проклятый сундук в покое. Однако все приходит в свое время.

Раз вечером, после жаркого дня, у окна, бледневшего тихо и пышно, д'Обремон, смотря на закатные верхи леса, просидел с очень что-то грустным лицом часа два. Он не любил, если тревожили его в минуты задумчивости. В раскрытой двери явилась, трепеща, вечерняя бабочка.

Д'Обремон обернулся ко мне и указал на бабочку.

— Франсуа,— сказал он торжественно и сердечно,— человек живет не долее этого мотылька. Я стар и, может быть, скоро умру. Настало время открыть тебе великую тайну.

Меня словно подбросило. Хотелось что-то сказать, но язык на радостях ускочил так далеко в глотку, что вытащить его оттуда требовались, пожалуй, клещи. Навострив уши, я перевел дух и фальшиво вздохнул.

Д'Обремон взял меня за руку, подвел к сундуку, открыл его большим гремящим ключом и, еще не поднимая крышки, сказал:

— Ты был добрым, послушным юношей, и если высшая мудрость медленно дается тебе, то здесь, конечно, виноват только твой возраст. В твои годы мысли, естественно, более покорны телу, чем духу. Со временем силой очищенной воли ты соберешь их, как пастух собирает стадо, и то, что надлежит тебе узнать от меня, будет как бы оазисом мрачной пустыни, к которому устремятся твои желания. Смотри, здесь сокровища, каких еще не было в руках ни у одного человека.

Он приподнял крышку, озарив свечой внутренность сундука.

— Это алмазы,— сказал д'Обремон,— двадцать лет я производил их с помощью тайны.

Я вскрикнул и упал на колени. Из сундука хлынул столб блеска, подобного снопу лунных лучей, но ярче и пламеннее неизмеримо. Полсундука было залито разноцветным ослепительным сверканием. Казалось, рука неведомого гиганта, зажав в горсти всю бесчисленность звезд, бросила их в этот сумасшедше-волшебный ящик. Теперь я не мог считать д'Обремона жалким помешанным. Восторг мучительной жадности овладел мною, и я, содрогаясь, захлебываясь от волнения, уже знал, что эта ночь будет с т р а ш н о й.

— Встань, Франсуа,— сказал д'Обремон.— Как мало еще этого моего блеска! Нужно втрое больше,— слышишь, не менее, чем втрое более сего количества,— дабы заветная моя мечта исполнилась. Жан, которого ты видел не раз привозящим мне хлеб, знает тайну и свято хранит ее. Он из далекой лесной деревни. Наступит день, и вот что я сделаю. Я покрою Францию великолепными дворцами. Шелк, атлас, парча, тканое золото и нежные кружева будут одеждой всех. Через реки я перекину серебряные мосты и мраморные белые башни поставлю на высоких горах,— жилищем строгих и мудрых. Болота я превращу в сады, какие снятся лишь разве влюбленным ангелам. Дивные статуи наполнят

леса совершенством чудесных линий. Придорожные камни будут сверкать алмазами, и мир заслушается музыкой нечеловеческой красоты. И любовь, Франсуа, любовь, крылья которой покрыты жестокой грязью, воскреснет навеки среди кликов и пенья труб — такой, какую знает лишь сердце в часы молчания.

Он замолчал. Свеча тряслась в его старой руке, а взгляд был отрезан от всего незримой стеной. Всегда бледное, еще бледнее стало его лицо. Простояв неподвижно несколько времени, он глубоко вздохнул, запер сундук и, взяв меня пальцами за подбородок, сказал:

— Ложись спать. Завтра мы поговорим еще об этом. Теперь же я чувствую, что устал, и засну сам.

V

Он сказал: «спи». Но только сон смерти мог бы заставить меня забыться.

Я лежал, вздрагивая, как в лихорадке, с открытыми глазами, с головой, набитой алмазами, и ждал момента, когда д'Обремон заснет. Ни слова я не сказал себе о том, что и как сделается. От меня к старику нужно было пройти пять-шесть шагов; хилая его шея в моих сильных руках должна была пискнуть и замереть, подобно котенку, раздавленному бревном. Я чувствовал, как горят ладони и кровь бьет в виски; я захлебывался решимостью, и стоило большого труда дождаться, пока д'Обремон, перестав ворочаться, начал коротко всхрапывать. Убить его бодрствующего мешал мне страх сверхъестественных сил, могущих быть призванными чародеем на помощь. Заслышав храп, я стал осторожно, понемногу сбрасывать с себя одеяло. Затем так же осторожно поднялся и, стоя на коленях, с пересохшим от затаенного дыхания горлом, прислушался.

В окно светила луна.

Вдруг, поставив волосы мои дыбом, сброшенное одеяло выпучилось горбом и завозилось, и кот выбрался из-под него, фыркая и глухо мурча. Узко, страшно блеснули его зрачки; он потянулся, подошел ко мне и стал тереться скользкой сухой головой о колено. Едва я удержался от крика, но, и опомнившись, слышал еще не одну минуту, как эхо перепуганного сердца колотится во всех углах и щелях проклятой хижины. Почти не

было у меня сомнений в том, что старик тотчас проснется. Однако я успел отдышаться и оттащить кота в сторону, а д'Обремон продолжал лежать неподвижно в своем углу, откуда виден был при тусклом свете луны его острый над белыми усами нос, а впадины спящих глаз, покрытые тенью, казалось, подсматривали за моими движениями.

Я встал и с холодным затылком, вытянув, как слепой, руки, подошел на цыпочках к старику. Пол скрипнул два раза, и каждый раз мучительно хотелось мне провалиться сквозь землю. Наконец, мои пальцы остановились над обнаженным, сухим горлом, и я быстро клещами свел их, сжав горячее тело таким усилием, что заметался, как под непосильной тяжестью. Д'Обремона словно подбросило; весь выгнувшись, разом открыв с ужасным пониманием во взгляде белые, широко сверкающие глаза, глядел он на меня в упор, цепляясь до боли неожиданно сильными пальцами за мои руки. Удвоив усилия, я потряс жертву,— и она стихла. Еще я не отошел от постели, как, дико заверещав, кот вцепился в мое лицо, исступленно кусая и царапая где попало. Безумно крича от боли и ужаса, я оторвал проклятого оборотня, сломал ему спину и придушил босыми ногами, но пока он змеей бился в моих руках — и руки, и лицо, и грудь залились кровью. Его когти, даже у сдохшего, остались выпущенными. Покончив со всем этим, я присел на пол у сбитой, бешено развороченной стариковской постели — и был так слаб, что ребенок мог бы связать меня, не ожидая сопротивления.

VI

Утром я закопал старика и закопал все алмазы, кроме того, что мог удобно нести с собой. Я взял самые крупные блестящие камни, счетом двести пятьдесят штук, и зашил их в свой пояс. Умывшись, перевязав руки и расцарапанное лицо, я наскоро сколотил плот, вырубил правежный шест и поплыл вниз по реке, мечтая о веселой разгульной жизни, цвет удовольствий которой обещал шумный Париж.

Прошло не более месяца, как после многих блужданий и приключений я, побрякивая в кармане пятью назначенными в продажу алмазами, стучал в дверь

Фонфреда, мастера золотых дел, жившего на улице Сент-Ануа; к этому ювелиру направил меня за три небольших камня и тысячу клятв, что больше дать не могу,— кривой маленький слуга гостиницы «Золотая шпора».

Наступил вечер, и на улице было тихо, почти безлюдно. Вверху двери имелось небольшое четырехугольное отверстие, забранное решеткой, сквозь которое подозрительный Фонфред рассматривал посетителей. Едва успел я, сгорая от нетерпения, постучать второй раз, как внутри дома раздались шаги и в окошечке мелькнул острый худой нос,— нос, неприятно напомнивший мне нос д'Обремона. Затем, странно блеснув, круглый, немигающий глаз остался среди решетки. Он не мигал, не двигался, не изменял направления взгляда, и взгляд его был безжизненно-ясен, как блеск стекла. Пересилив волнение, я вскричал:

— Кто за дверью?! Открой! Я хочу говорить с Фонфредом.

Скрипнув, прозвенел ключ, и я увидел мертвого д'Обремона. Одну руку он, улыбаясь, протягивал мне, а другой старался отцепить полу халата: какой-то гвоздь задержал ее. Дико крича, затрясся я и обомлел, корчась от ужаса; гремящий туман окружил меня, земля проваливалась, весь я стонал и плакал, как мученик на дыбе... Не помню, как я решился открыть глаза, но, открыв их, увидел, что не лесной призрак, а тучный человек в богатой одежде держит меня за плечи, встряхивая и приговаривая:

— Кто ты? И что с тобой?

Я, выпучив глаза, смотрел на него, еле переводя дыхание; затем, немного опомнившись, сослался на усталость, на лихорадку и, поговорив в этом роде довольно долго, дабы отвести подозрение, сказал, что имею продать несколько бриллиантов по поручению одного лица, назвать которое не могу.

— Хорошо,— сказал Фонфред,— пойдем посмотрим товар. Должен тебе сказать, что я нисколько не любопытен.

Успокоенный таким заявлением, я прошел с ним в его обширную мастерскую и там, вынув алмазы, бросил их на стол, ожидая, что мастер Фонфред подскочит от изумления.

Фонфред, прищурясь, весьма спокойно сгреб к себе камни и принялся исследовать их, временами поднимая на меня замкнутый, испытующий взгляд. Я сидел, как на иголках. Больше всего мучило меня незнание истинной цены драгоценностей; поэтому, чтобы не вышло что-нибудь, решил я заломить как можно больше. Вдруг Фонфред покраснел, и я объяснил это волнением жадности. Он сказал:

— Милый друг, алмазы эти ты продаешь, разумеется. Без компаньона я не могу решить, какая сумма прилична их блеску и редкости. Подожди меня здесь; наше совещание продлится недолго.

Он вышел. Блаженное чувство наполняло меня — предвкушение радостного, пышного богатства. Дверь грозно и стремительно распахнулась; стража, гремя оружием, наполнила комнату, и я вскочил, как пораженный стрелой. Впереди всех стоял Фонфред, указывая на меня жестокой рукой:

— Вот мошенник, ребята! Он пытался продать мне, под видом алмазов, простое стекло. Отведите его в тюрьму.

— Стекло, иегодяй?! — завопил я, бросаясь к предателю.— Погодите, он хочет меня ограбить!

— Смешно грабить нищего пройдоху, как ты,— возразил Фонфред.— Твои камни — стекло. Один из них я оставлю, как доказательство, а остальные...— и он, смеясь, бросил в окно гибельные мои алмазы.— Впрочем, у тебя, верно, найдется еще достаточно гнусных подделок...

Все это я писал и дописывал в тюрьме. Утром меня повесят. Тюрьма — та самая, откуда я изловчился скрыться, разогнув поленом решетку. Сторожа узнали меня, и я вынес побои, едва не отправившие злосчастного Франсуа на тот свет.

В часы, когда мрак, голод, бешенство и тоска изливались рыданиями, когда чувства и мысли сливались в беззвучный вой,— передо мной вставал призрак задушенного. Как ужасно его кроткое, безумное, худое лицо! Две черные руки впиваются в его шею, а он пытается оторвать их и шепчет. Когда он, наконец, скрывается, растаяв в таинственной бездне загробных ужасов, я все еще слышу:

— Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье. И пестрых тюльпанов, обостряющих слух. И медвяниц, прогоняющих ночное томление. Не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше...

Старик — ты делал стекло, в наивной и безумной мечте представляя, что помощью волшебства создашь несметное состояние! О, хилый дурак, жалкий безумец, одевающий Францию в бархат, кружева и парчу,— мне нужны алмазы! Ты стар был и полумертв, а я силен, я много хочу съесть и выпить, я могу бегать, прыгать, любить — все могу, а ты — ничего.

Он верил, что сундук полон алмазов. Будь проклят!

А, Монфокон,— я вижу тебя! Вот твоя виселица, вот петля. Здравствуй и прощай, темный палач!

ЛЕСНАЯ ДРАМА

I

Ганэль инстинктивно не любил темноты: в ее объятиях действительность казалась ему двусмысленной и преступной по отношению к нему, привыкшему с малых лет подвергать свои поступки трезвой критике дня. Поэтому, когда ночь с ее красотами, тоскливой бессонницей и бесполезными вздохами отошла в прошлое, а лес стал виден по-утреннему,— Ганэль покинул таинственный ночлег, умылся свежей надеждой и несколько успокоился.

В течение по крайней мере двух часов он терпеливо различал годную для копыт дорогу, устремляя лошадь туда, где ясные лесные просветы, окутанные гигантской бахромой листьев, открывали воздушную зеленую перспективу. Сворачивая из стороны в сторону, перескакивая обросшие папоротником стволы упавших деревьев, заблудившийся человек сначала еще держался какого-то смутного, совершенно фантастического направления, но пышное однообразие чащи скоро утомило его, закружи-

ло, переплело мысли о доме с черными винтами ползучих железных пальм, саблевидной листвой панданусов, нежными азалиями и высокой травой; этот бесконечный немой хор дышал тревожным ароматом болот и полузасохших ручьев, преследуя обессиленное внимание звоном в ушах и редкими голосами птиц. Вспотев, бледный от тоскливого напряжения, Ганэль изругал тяжеловесной, художественной бранью всех праздношатающихся зверей. Зверь, так неудачно замеченный им милях в тридцати от дома, был молодой рысью; рысь и пуля Ганэля скрылись в одном направлении. На этом следовало бы и покончить, но здесь вмешался дьявол, сделав предположение, что рысь ранена. Ганэль, вняв сатане, расплачивался теперь сутками яростного блуждания в дебрях. Охота — дело бродяг, прогуливающих ценные шкуры за прилавком увеселительных заведений, где им дают четверть того, что могли бы получить они, выждав сезон.

Раздражение Ганэля перешло на весь мир: он находил его нелепым, плохо устроенным, с лесами, лишенными шоссейных дорог. Так, злобно продвигаясь вперед, он переживал чувство раскаяния и неопределенной мстительности, как вдруг за донесшимся со стороны треском послышались мягкие удары копыт, и на просвет солнечного пятна выехал всадник.

Движение радостного испуга со стороны Ганэля осталось им незамеченным.

— Наконец-то! Постойте! — вскричал Ганэль.

Неизвестный остановился, лениво повернув голову. Это был массивный, немолодой человек с седыми висками; изменчивый лесной свет неуловимо играл выражением его спокойного, привычно-надменного лица, блестящего полуизжитыми глазами. Одного взгляда, брошенного на костюм незнакомца, посадку и худощавую лошадь, было достаточно даже и для такого неопытного в лесных делах, как Ганэль, чтобы он разом уяснил себе, с кем имеет дело.

Ганэль, хотя в нем текла смешанная кровь, был сыном своей страны, где пестрое население иногда показывает городским улицам красноречивую фигуру охотника. За спиной каждого из этих смелых, часто преступных людей болтаются хвосты слухов, перекраиваемые в легенды и сплетни.

Ганэль не любил бродяг. Человек, встрече с которым, несмотря на предубеждение, так искренно он обрадовался теперь,— коротко вздохнул и сделал рукой неопределенный жест; в руке качалось ружье. На одно мгновение Ганэлю почудилось, что глаза охотника смотрят дальше, чем нужно; он машинально обернулся. За плечами никого не было.

— Я один,— сказал Ганэль, удерживаясь от резких проявлений восторга.— Я заблудился непостижимым образом. Меня зовут Ганэль, я владею двумя фермами на плато Святого Терентия. Торговля маслом. Возвращаясь из города, соблазнился зверьком и... измучен последствиями.

Охотник рассеянно покачал головой, словно Ганэль сделался для него предметом скучных, малоинтересных размышлений.

— Плохо заблудиться,— предупредительно улыбаясь, сказал Ганэль.— Как подумаешь, что сутки пропали даром, теперь пропадают вторые, а жена...— Неуверенный, что супруга жаждет его возвращения, Ганэль бросил эту тему.— Тысяча извинений. Встретив вас, я так обрадовался. Бог, видимо, пожалел меня. «Уж эти-то,— сказал я себе,— отважные лесные скитальцы знают лес, как я свои пять пальцев. Помоги им всевышний! Жизнь их красива и тяжела, это не скучный учет процентов. Что делать? Каждому свое».

Он умолк с некоторым замешательством, так как охотник не заражался его возбуждением, а просто смотрел. В этих зорких неподвижных глазах мог прочесть что-либо только бог, зверь или младенец. Передохнув, Ганэль снова заговорил. Равнодушное молчание охотника подстрекало его болтать всякий вздор вернее затяжных реплик; он мучился, но не мог удержаться, чувствуя все большую неловкость от собственной заискивающей словоохотливости:

— Я жив и боюсь смерти. Кое-где обнаруживаются проказы: говорят, возвратился Фиас, и обглоданный муравьями труп в междуречьи — дело его рук. Может быть, это и пустяки, но странствовать при таких условиях не совсем смешно. Сегодняшний день хорош на всю жизнь. Мне чертовски везет. Увидев вас, я как будто уж прибыл домой. Пожалуйста, укажите мне верный путь!

Охотник вытащил из кармана мешочек с табачными листьями, расправил один из них на колене и принялся свертывать сигаретку так тщательно, что Ганэль обиделся.

Казалось, он не существует для этого человека в лисьей шапке, из-под которой серебрилась проседь висков, внушавшая торговцу одновременно и уважение и терпеливую злость. Ганэль вздохнул, молитвенно складывая руки на лошадиной гриве. Прозрачный дымок окутал лицо охотника; он затянулся еще, вынул изо рта сигаретку и сказал:

— Мое имя Роэнк. Мои советы будут вам бесполезны.

— Как? — не понимая, спросил Ганэль.— Места эти, конечно, вы знаете.

— Знаю.

— Итак?!

— Не выйдет толку.

Плотный комок застрял в горле Ганэля; он проглотил его.

— Вы забавляетесь на мой счет...

Охотник опередил его взглядом.

— Глупости. Ищите дорогу сами. Вы заблудились так удачно, что указания не принесут вам никакой пользы. Требуется посторонняя помощь, понимаете. Отсюда вас надо вывесть. В противном случае вы сделаете круг и расплачетесь.

— О, я не дурак и очень хорошо понимаю все это,— угрюмо сказал Ганэль,— только вы дело имеете не с нищим. Какую сумму вы желаете получить?

Охотник рассеянно скользнул по комковатой, встревоженной физиономии.

— Если бы вы знали, с кем говорите,— хладнокровно сказал он,— то, конечно, были бы осторожнее. Прощайте, у меня совершенно нет времени.

Красный от бешенства Ганэль протянул руку, машинально уцепившись за рукав блузы Роэнка. Он был так взволнован и унижен, что рот его, открытый было для бессвязного лепета, закрылся судорожным движением губ без звука.

— Так,— сказал, наконец, он,— но я могу погибнуть. Вы — язычник. Вы не имеете права!

— Язычник? Пусть так. Хотя вы, по-видимому, желаете объяснения. Это легко. Отпустите рукав. Сегодня, клянусь вам, я занят делом, которое для меня важнее, чем ваше общество. Я делаю его раз в месяц в одно и то же число. Но я сказал и так больше, чем следовало. Прибавлю еще, что сегодня мне более, чем когда-либо, хочется быть с душой, свободной от чужих дел и чужих жизней. Всякий имеет право на это. Прощайте.

— Указания! — закричал Ганэль.— Указания, только одного указания!

— Вы можете сомневаться или нет, это дело ваше,— сказал, побледнев, Роэнк,— но я еще раз повторяю, что слова будут бесполезны.

— Теперь,— с отчаянием произнес Ганэль,— я рад был бы встретиться даже с Фиасом, прозванным Темным Королем, хотя о нем ходят дурные слухи. Этот человек, конечно, был бы великодушнее вас.

Роэнк отъехал, но обернулся, и грустная улыбка его снова подала Ганэлю некоторую надежду.

Охотник сказал:

— Фиас сообщил бы вам то же самое.

И он удалился сдержанной рысью, нагибаясь и посматривая из-под руки во все стороны.

Раздавленный непонятной жестокостью, с инстинктивным страхом потерять из вида единственного живого человека, Ганэль уныло двинулся вслед за Роэнком, держась, однако, на почтительном от него расстоянии. Деревья стояли реже, круговорот их нарушался залитыми солнцем полянами с травой, достигающей лошадиных морд; ехавший впереди человек казался человеческой головой, плывущей в травяном озере. На ходу, охваченный сложным вихрем воспоминаний, соображений, расплывчатых мыслей, проголодавшийся Ганэль вынул из перекидной сумки кусок жареной свинины, съел ее и стал немного спокойнее; в глубине лесных зарослей лениво кричали птицы.

II

Так двигались они с час, пересекая одну за другой залы полян. Наконец, Ганэль ясно увидел, что охотник остановился. Это повергло торговца в новое замешательство. Он замялся, но через минуту, с оптимизмом,

свойственным его касте, решил, что Роэнк раскаялся и поджидает обиженного им человека с очень хорошими намерениями. Все же, пришпоривая свою Долорес, коммерсант предусмотрительно стушевался в тень деревьев, думая подъехать незамеченным; в худшем случае это имело бы вид натянутой, но случайной встречи. Расчет его готов был уж оправдаться, так как до охотника оставалось не более тридцати шагов, как вдруг пониженные голоса сзади заставили Ганэля повернуть в сторону. Жестоко проученный для того, чтобы заблаговременно радоваться новым встречам, скорее испуганный, чем ликующий, он притаился и насторожил уши.

Некоторое время казалось, будто сам лес роняет звуки, напоминающие полувиятный шепот; затем, почти вплотную к Ганэлю, шагом, на серой и черной лошадях проехали двое, смутно похожие на Роэнка лисьими шапками и свернутыми у седельных лук одеялами из цветной шерсти. Один, помоложе, сидевший на черной лошади, был краснощекий парень; второй, с глазом, обвязанным куском черной материи, отличался желтым цветом лица и хищной длиной рук. Содержание их разговора, не имеющего в себе ничего специально угрожающего для Ганэля, заставило, однако, последнего воздержаться от демонстрации своей особы и просьб. Краснощекий сказал:

— Если мы не в тылу — все пропало. Он не даст обойти.

— Это игра наверняка,— ответил перевязанный человек.

— Объясните.

— Вы маленький,— жалобно сказал он,— и я должен постоянно вразумлять вас. Раз в месяц, в одно и то же число — в одном месте. Как раз сегодня 11-ое.

— О,— встрепенулся краснощекий, как будто пораженный этим указанием,— неужели бы вы решились? Я отказываюсь понимать вас.

— Глупости, китайская церемония. Деликатность — враг безопасности. Что же остается еще по вашему мнению?

— Я думаю, что...

Конец фразы отлетел глухим бормотанием; ему ответило выразительное «ха» перевязанного человека: круп серой лошади, удаляясь, блеснул на солнце вспо-

тевшей шерстью, и Ганэль облегченно вздохнул. Проклятый лес, полный обманчивого, благоуханного великолепия, таинственных разговоров, шорохов и опасностей, душил его трусливой тоской. Никогда не выбраться ему отсюда!

На ферме, хорошенькой ферме, с розами и вкусным запахом сухого навоза, теперь пьют кофе; в тенистых аллеях и на дворе воздух вздыхает по трескучему, сварливому голосу Ганэля, а он, как последний бродяга, прячется за деревьями, остерегаясь каждого встречного.

Разжалобленный и злой, измученный и ненавидящий все, Ганэль бессильно посмотрел в ту сторону, где, подняв голову, лошадь Роэнка и неподвижный ее всадник, казалось, ожидали чего-то именно из той части леса, где прозвучал странный диалог. Торговец спешил. Долорес заметно прихрамывала, он не обращал на это внимания, понукая животное бессловесным чревовещанием и солидными ударами каблуков. Он собирался уже выехать из опушки, но в этот момент Роэнк, стегнув лошадь, поскакал влево и исчез среди гигантских деревьев, оставив за собою стиснутые зубы безвредного своего преследователя.

Худшее, видимо, предстояло впереди.

Повернув в ту же сторону, что и Роэнк, Ганэль с решимостью отчаяния стремился догнать охотника, заранее готовый на всякие унижения, лишь бы не остаться совсем одному в пустыне. Инстинктивно держась ближе к голубым вырезам опушки, он проскакал, не разбирая дороги, с полмили, завертелся в седле, оглядываясь, и, вздрогнув, с расцарапанным лицом, еле дыша, круто остановил лошадь, кладя на всякий случай руку по соседству с револьвером.

Перед ним, не далее пятнадцати шагов, блеснули глаза Роэнка. Охотник был не один, он слушал с карабином в руках и тихо покачивал головой. Лицо его выражало нетерпеливое, насильственное внимание. Против него, спиной к красиощекому, человек с завязанным глазом усиленно жестикулировал, показывая рукой на север, и быстро, неразборчиво говорил; лошади их обнюхивали друг друга и фыркали.

Ганэль еще не успел сообразить что-либо, колеблясь между желанием объявить себя и желанием провалить-

ся сквозь землю, как вдруг резкое восклицание вывело его из оцепенения, сменив это неприятное ощущение зудом тоскливого любопытства.

— Этому не бывать! — крикнул Роэнк.— И вы это лучше, чем кто-либо, знаете, Нуарес. Проваливайте скорее!

— Фиас,— возразил собеседник еще более громким голосом,— упрямство бесполезно, а вы один. Признайте наши права.

Ганэль вспотел. В следующее мгновение ему показалось, что биение сердца, усиливаясь, оглушает его. «Фиас»! Слово это прозвучало эхом в самой глубине его внутренностей. Две верховые фигуры, находившиеся перед ним, как будто вышли из забытого сновидения; в позах их было что-то угрожающее и высокомерное. Душа Ганэля съежилась и заныла. Кто они? Холодея, он вообразил на одно мгновение, что именно его особа служит предметом грозного собеседования.

Новый приступ волнения заставил Ганэля пропустить мимо ушей целый ряд фраз; он успокоился лишь тогда, когда услышал следующее заявление Роэнка-Фиаса:

— Я охотился у этого озера, Нуарес, еще в то время, когда вас драли за уши. Вы можете угрожать, преследовать, но я не изменю себе. Озеро принадлежит мне!

— Нет!

— Говорите «нет», если это вам нравится.

— Да, я говорю и подтверждаю.

— Как хотите.

— Фиас, мне поручено сегодня в последний раз поговорить с вами. Когда я отъеду — будет поздно.

Охотник поднял голову.

— Ты отъедешь с пулей в голове, собака, если не оставишь меня! — Он щелкнул курком, а Нуарес бешеным движением взвил лошадь на дыбы и прыгнул в сторону.

— Темный Король! — закричал он, исчезая в тенях и солнце леса.— Ты сегодня заплатишь мне с процентами! Берегись!

Фиас пригнулся к седлу в тот самый момент, когда из стволов грянул белый клубок дыма.

Удержав свою гнедую кобылу, он прицелился, выстрелил и поскакал в том направлении, куда скрылся перевязанный человек.

Бледный, как рука чахоточного, Ганэль машинально схватил ружье, не решаясь тронуться с места. Долорес вытянула шею, почувствовала пороховой дым и протяжно заржала. Торговец проклял судьбу; оглушенному сознанию его казалось, что ржет не только животное: что лес, небо, земля, воздух и даже сам он, Ганэль, залились этим пронзительным, дребезжащим, осужденным продолжаться до бесконечности, мучительным лошадиным криком.

Теперь он не сомневался, что присутствие его, конечно, замечено. Это подтвердил выстрел, раздавшийся в отдалении. Пуля, противно жикнув у самого лица Ганэля, щелкнулась о дерево, оставив после себя желание лететь сломя голову прочь — куда-нибудь, без остановки и рассуждения.

Ганэль, дернув изо всей силы повод, ссадил руку и ударил Долорес кулаком между ушей.

III

Озеро — предмет спора охотников — совсем не интересовало Ганэля. Проскакав заросли, избитый кустами и сучьями, он в изнеможении остановился на границе леса. Девственная трава леса блестела нежным, как глубина неба, поворотом реки; на горизонте, за плавающими точками птиц, синело далекое плоскогорье. Жаркая тишина обнимала землю; ее нарушил выстрел.

Слишком натерпевшийся, чтобы и теперь потерять голову, Ганэль ограничился на этот раз сознанием временной безопасности. Пышно разросшаяся опушка скрывала его вместе с загнанной лошадью. Судьба, как видно, определила ему быть свидетелем лесной драмы. Он посмотрел в направлении выстрела: из травы, возле бесформенного серого пятна, плыл тонкий дымок; он не успел растаять, как рядом с ним вспыхнул другой, и звук, напоминающий треск сломанной палки, пролетел в лесу.

«Кто в кого? — подумал Ганэль.— И куда летят пули?»

Забыв об усталости, поглощенный жутким созерца-

нием смертельной игры, он устремил взор к расползающимся зловещим дымкам; тотчас же справа от него ответил карабин Фиаса. Враги Темного Короля и он сам были невидимы. Торговец лишь заметил провал смятой травы и желтое пятно шапки. Угадав, что это тот, кого он ненавидел теперь всем существом, Ганэль рассмеялся.

— Их двое, голубчик,— мстительно прошептал он.— Посмотрю я, как ты выкрутишься.

Неизбежные для злорадного ума мысли о провидении и возмездии услужливо осенили пылающую голову Ганэля; он сладострастно повозился с ними и стал смотреть. Враги торопливо обменивались выстрелами; иногда, низко хватая траву, пули просекали ее особенным звуком, напоминающим разрыв тонкой материи.

Тянулся дым; прозрачный его налет льнул к траве или медленно отходил в сторону; от этого зрелища вспыхало пожаром души, смятением и сосредоточенным, сквозь стиснутые зубы, дыханием человека. Фиас выстрелил, по счету Ганэля, семь раз; восьмого он ждал но в этой части зеленого лугового тумана наступила вдруг полная тишина. От серого пятна грянул еще выстрел, потом другой, и все стихло. Тогда, как будто ничего не случилось, краснощекий медленно вынырнул из травы, заслоняя себя вихляющимся в его руках телом убитого Нуареса. Черная лошадь, вместе с своей товаркой служившая защитой от пуль, вскочила и встряхнулась, а серое пятно судорожно било ногами, усиливаясь подняться: простреленная спина не держала его. Краснощекий прыгнул в седло через плечо прислоненного им к лошади Нуареса и поскакал прочь; труп, согнувшись, упал; Фиас выстрелил. Беглец обернулся, прокричал что-то и нырнул в темную колоннаду леса.

Проводив круглыми от беспокойства глазами конную фигуру, Ганэль увидел Темного Короля. Фиас встал медленно и неровно, как бы неуверенный в победе; выпрямившись, он уронил карабин и не обратил на это внимания. Лошади у него не было. Постояв немного, он тронулся, слегка пошатываясь, к месту засады, остановился, поднял руки и опустил их, дрожа всем телом. Ганэль не видел его лица; перед ним, удаляясь, двигалась, размахивая руками, приседающая человеческая фигура в шапке, иногда сворачивая в сторону или

отступая назад, как бы с намерением кружиться на одном месте. Движения его делались все более возбужденными и насильственными; он упал.

«Если рана смертельна, Темный Король не встанет»,— подумал обрадованный Ганэль, вытянув шею.

Фиас неуклюже, тихо ворочаясь, утвердился на четвереньках, оттолкнулся руками и выпрямился. С колен подняться труднее: он сделал это не ранее, чем через минуту, почти теряя сознание от боли и слабости. Когда он пошел снова, Ганэль вспомнил танцующих на канате.

— Дело обстоит плохо,— сказал торговец.— Этот продырявлен насквозь.

Охотник, одолев некоторое расстояние, упал вновь, лицом вперед, но мягко и очень медленно.

Истерзанный тревожными впечатлениями Ганэль, вздыхая, уныло и терпеливо ждал. Фиас не шевелился, его плечи неподвижно темнели в траве; быть может, он набирался сил, оглушенный внезапным головокружением.

Зной усиливался, тени становились короче, земля тяжело вздыхала, отравленная сухим безветрием. Фиас лежал.

— Роэнк! — пугаясь собственного голоса, крикнул Ганэль.— Фиас!

Птица, певшая над его головой, умолкла; почти уверенный, что для Темного Короля все кончено, Ганэль направился к нему рысью, с чувством свирепого добродушия и снисходительности, естественной у человека, обиды которого заглажены чужой смертью. Пестрая от крови трава, встреченная копытами лошади, заставила его зажмуриться. Ему не было ни страшно, ни весело, ни тоскливо, ни скучно; продолжительное отчаяние проветривает некоторых людей, делая их пустыми. Шагах в трех от Фиаса Ганэль спешился и, вытягивая голову вперед, а рукой крепко прижимая к спине повод, любопытно заглянул сбоку. Охотник лежал грудью на краю небольшого, грубо обделанного камня; ноги Фиаса, согнутые с колен, неестественно расползлись; голова, охваченная руками, пряталась в складках шерстяной блузы. Бессильная поза человека выражала смерть. Ганэль так это и понял; соболезнующее, на всякий слу-

чай, лицо торговца приняло выражение тупой задумчивости.

Подойдя вплотную, он щелкнул пальцами.

— Такова участь отчаянных. Я жив.

Эта мысль без слов походила на торжественный удар кулаком в грудь. Потом заинтересованный Ганэль осмотрел камень. В верхней его части темнело круглое углубление, род маленькой ниши, прикрытой стеклом. За стеклом желтела выцветшая от времени фотография, изображавшая молодую женщину. Под нишей, правильно высеченная твердой рукой, тянулась надпись:

Беглецы из Порт-Энна. 11 ноября.
Мери Роэнк, 24 лет.
18.. года.
Бессмертна.

Измученный Ганэль поднял брови. Наплыв сложных и непривычных мыслей заставил его долго жевать губами. Могила или причудливый кабинет? Подумав, он искренно возмутился:

— Была ли эта женщина женою Фиаса или любовницей — она, судя по всему, умерла, и надпись являлась отчаянным, преступным кощунством; за это и погиб Фиас. Ловушка Нуареса основана на точном математическом расчете: раз в месяц имела все шансы за себя и ни одного против. Конечно.

С постным сердцем, равно враждебным смерти и бессмертию, охваченный суеверным предчувствием, тоскою по дому и раздражением против непонятных поступков некоторых чрезмерно гордых людей, Ганэль поместился в седло и направился к берегу неизвестной реки. Ровно через трое суток в лагере переселенцев его снабдили, за хорошую сумму, лодкой и проводником, но в настоящее время он не знал, что так случится. Поэтому, обернувшись к месту недавней схватки, он, в виде мести за свою мнимую гибель,— искренне пожелал камню и трупу провалиться в недра земли.

РАССКАЗЫ 1918—1930 гг., ПЕЧАТАВШИЕСЯ В ПЕРИОДИКЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТПАВШЕГО ЛИСТА

I

Ранум Нузаргет сосредоточенно чертил тростью на веселом песке летнего сквера таинственные фигуры. Со стороны можно было подумать, что этот грустный худой человек в кисейной чалме коротает бесполезный досуг. Однако дело обстояло серьезнее. Чертя арабески, изученные линии которых в процессе их возникновения помогали его напряженной воле посылать строго оформленные волны беззвучного разговора,— Ранум Нузаргет вел страстную речь своей сильной, жестоко наказанной душой с далеким углом земли —приютом Великого Посвящения.

Прошел час. Ранум высказал все. Раскаяние, скорбь, тоска — ужас отверженности,—все передал изгнанник в далекую, знойную страну, Великому Посвящению. Трепет незримых струн, соединявших его с вездесущей волей Высшего из Высших, того, чье лицо он, Ранум Нузаргет, не удостоился видеть,— трепет опал. Струны исчезли. Ранум поднял голову и стал ждать ответа.

Перед ним, взад-вперед, пестрой сменой одежд и лиц шло множество городского люда. В этом огромном городе, кипящем лавой страстей,— алчности, гнева, изворотливости, страха, тысячецветных вожделений, растерянности и наглости,— Ранум испытывал острые мучения духа, стремящегося к покою блаженного созерцания, но вынужденного пребывать в грязи, крови и тьме несовершенных существ, проходящих низшие воплоще-

ния. Военный ад и социальное землетрясение мешали ему совершать внутреннюю работу. Заразительность настроения миллионов, чувствительная любому горожанину, с неизмеримо большею силой проникала в Ранума, так как малейшее внимание его изощренной силы позволяло ему читать мысли, более — знать всю сокровенную сущность человеческой личности.

Он пристально смотрел на прохожих, временами любопытно оглядывавших белый халат, чалму и тонкое, коричневое лицо индуса с неподвижными, черными глазами, остающимися в памяти как окрик или удар. Пока что Ранум не видел ничего особенного. Двигался прикрытый однообразной формой ряд обычных мерзостей, но среди них, на исходе срока ожидавшегося ответа, прошел некто,— ничем не замечательный нашему наблюдению и поразительный для Ранума. Ему было лет тридцать; одет он был скромно, здоров, с приятным, легким лицом и твердой походкой.

Ранум глубоко вздохнул. Душа прохожего, совершенно ясная ему, была мертва как часы. Ее механические функции действовали отлично, свидетельством чему служили живой, острый взгляд прохожего, его перегруженность заботами о семье и пище, но магическое начало души, божественный свет Великой силы потух. Роза, потерявшая аромат, могла бы стать символом этого состояния. Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Беспрерывный их ряд в грубой схеме возможно выразить так: тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, пресытился ими, огрубел и умер — стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот воли, среди многоформенной кипучести водных сил, неизменно сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда.

Ранум встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешения. Меж тем, уловив тон судьбы в отношении этого прохожего, иог видел, что не далее как через два часа мертвый духом умрет и физически. Пока он еще не мог определить, какой род смерти прикончит с ним, но проникся к несчастному великим состраданием. Человек, оканчивающий свои дни с мертвой душой, выходил навсегда из круга совершенствования и конеч-

ного достижения блаженства Нирваны. Он переживал свое последнее воплощение. Он терял все, не подозревая об этом.

Прохожий, ужаснувший Ранума, скрылся в толпе, но индус мысленно видел его путь среди городских улиц. Пока он оставил его, прислушиваясь к ответу Великого Посвящения.

Ответ этот раздался подобно шуму крови или музыкальному восприятию. Он был мрачен и краток. Ранум услышал:

«Тому, чье имя ныне,— Отпавший Лист.

Еще не кончен срок очищения.

Ранум! Ты вернешься, когда не будешь страдать. Сильно земное в тебе; разрушь и проснись».

II

Ранум был жертвой силы воображения. Ему давалось очень легко то, над чем другие ученики иогов трудились годами. Начало воспитания — отправные точки концентрации внутренней силы заключаются в упражнениях, часть которых может быть здесь рассказана.

Сидя в строго условленной позе, в обстановке и времени, определенных вековым ритуалом, ученик представляет на своем темени точку. Представление должно иметь силу реальности. Следующим усилием является превращение — воображением — этой точки в пламенный уголь. Затем: уголь описывает сплошной огненный круг вокруг сидящего и плоскость круга вертикальна земле. Затем к р у г начинает вращаться справа налево с быстротой волчка,— так что сидящий видит себя заключенным в огненной сфере.

Средняя продолжительность — в отдельности — достижений этих такова: т о ч к а — от одного до семи дней; у г о л ь — от трех месяцев до одного года; к р у г — от трех до пяти лет; с ф е р а — от пяти до семи.

Исключительная сила воображения помогла Рануму овладеть всей этой серией упражнений менее чем в один год. Тридцати лет он готовился уже принять Великое Посвящение.

За три дня до совершения таинства он пал,— его смял бунт связанных молодых сил, взрыв желаний. Все

чистые цветы его духовного сада испепелились безудержным пожаром. Находясь в пустыне, в полном одиночестве, ради последнего сосредоточия высших размышлений, он дал себе — молниями воображения, материализующего представления,— все земное: власть, роскошь, негу и наслаждение. Сияющий, разноцветный рай окружал его.

Когда он очнулся, неумолимое приказание изгнало его в мир. Здесь среди потоков темной, материальной жизни он должен был пробыть до того времени, когда в тягчайших испытаниях и соблазнах станет бесстрастен и нем к земному. Кроме того, под страхом полного уничтожения ему было запрещено проявлять силу. Он должен был идти в жизни простым свидетелем временных ее теней, ее обманчивой и пестрой игры.

III

Скорбь, вызванная о т в е т о м, прошла. Поборов ее, Ранум услышал над головой яркий, густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы и, не вставая, приблизился к человеку, летевшему под голубым небом на высоте церкви.

Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым, сытым лицом с напряженными, налитыми злой волей чертами и за всем его хорошо развитым, здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищением перед этим ужасным, какое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силой ее гипноза.

Труба шестиэтажного дома скрыла на минуту белое видение, гулко сверлящее воздух, но Ранум тайным путем сознания, постичь которое мы бессильны,— установил уже связь меж бандитом и прохожим с мертвой душой. Человек с мертвой душой должен был погибнуть от снаряда, брошенного на углу Красной и Черной улиц. Ранум заставил себя увидеть его, медленно вышедшего из лавки по направлению к остановке трамвая. Он увидел также не заполненную еще падением бомбы

пустую кривую воздуха и понял, что нельзя терять времени.

«Да,— сказал Ранум,— он умрет, не узнав радости воскресения. Это — тягчайшее из злодейств, мыслимых на земле. Я не дам совершиться этому».

Он знал, что погибнет сам, вмешавшись нематериальным проявлением воли в материальную связь явлений, но даже тени колебания не было в его душе. Ему дано было понимать, чего лишается человек, лишаясь радости воскресения мертвой души. Ужас потряс его. Он сосредоточил волю в усилие длительного порыва и перешел,— в н у т р е н н о,— с скамьи сквера на белое сверло воздуха, к пьяному нсступлением человеку и там заградил его дух безмолвными приказаниями.

Летевший человек вздрогнул; им овладели смятение и тоска. Его члены как бы налились свинцом; в глазах потемнело. Его сознание стало безвольным сиом. Не понимая, что и зачем делает, он произвел ряд движений, существенно противоположных назначенной себе цели. Аппарат круто повернул в сторону, вылетел над рекой, к огромной пустой площади н, мягко нырнув вниз, разбился с смертельной высоты о кучи булыжника.

Ранум услышал гул неразрушительных взрывов и понял, что совершил преступлеиие. Выпрямившись, спокойно сложив руки, он ожидал казни. В это время от клена, распустившего над его головой широкие, тенистые ветви, на коленн Ранума упал отклеванный птицей зеленый лист, и Ранум машннально поднял предсмертный подарок дерева.

Тогда из глубины дивных пространств Индии, из воздуха и из сердца Великого Посвящения услышал он весть, заставнвшую его улыбнуться:

«Брат наш, Отпавший Лист, ты совершил великое преступление!

Оно прощено,— ради жертвы, перед которою ты не остановился.

Отныне — оторванный навсегда от святого дерева,— ты, слишком непокорный, чтобы быть с нами, но и не заслуживший уничтожения,— ибо восстал против смерти духа,— будешь одннок и вечно зелен живой жизнью, подобной тому листу, какой держишь в руке».

Ранум поцеловал душистый кленовый листик и с легким сердцем удалился из сквера.

СИЛА НЕПОСТИЖИМОГО

В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни.

Ф. Купер. «Мерседес-де-Кастилья».

I

Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае — нечто, огромнее сознания, основанное, быть может, на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.

Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище — возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их — повторим это — увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.

Такое же именно отношение к сущему — отношение музыкальной приподнятости — составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны — действующим лицом пьесы без названия и конца — предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам — публика и герой пьесы — был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.

Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было — как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ — полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.

Однако память Дюплэ по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища; звукн, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо — музыкальное обаяние.

Грациан Дюплэ был скрипач.

II

Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза, в двух столь различных ведомствах ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и

беспрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румиера, и он в тот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его двадцатый по числу треск, заметив слуге, что, если посетитель не выкажет особой настойчивости,— не лишним будет напомнить ему об окончании через пять минут приемного часа доктора.

Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румиер отложил в сторону бледный снимок цветущих утреиних облаков и перешел к письменному столу, где встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности, типа рыночных проходимцев, одетого безотносительно к моде и с сомнительною опрятностью; он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах; лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых гребнем; нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, тридцать с небольшим лет.

— Я музыкант,— сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно,— и чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюплэ.

Около года назад среди снов, ощущения и деталн которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив — неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь. Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов; услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер; есть нечеловеческое в ее величии, меж тем как красота звукосочетаний неизмеримо превосходит все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам, нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню и, тщетно цепляясь за в п е ч а т л е н и е,— единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар-птицы,— пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесятеряет жажду погибающе-

го в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива; раз зная, п о м н я, что слышал эту чудесную музыку, я тем не менее бессилен удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно прошу вас приложить все ваше искусство или к укреплению моей памяти, или же — если это можно — к прямой силе внушения, под неотразимым давлением которой я мог бы сыграть (я захватил скрипку) в присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различной важности следствия может дать этот опыт: первое — что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости,— меж тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз; тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряю от этого; второе следствие — нотное закрепощение мелодии — неизмеримо важнее. Быть может, весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками, или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может, изменится, сдвинувшись на основах своих, самое сознание человечества, потому что,— повторяю и верю себе в этом,— сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное.

Дюплэ высказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией; его манера говорить выказывала человека, привычного к рассуждениям не только лишь о вещах банальных или семейных; взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия, и Румиер нашел, что опыт, во всяком случае, обещает быть интересным. Однако, прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюплэ об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии.

— Вы,— сказал Румиер,— не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся (надо допустить это) бессильным восстановить несуществующее. Допуская, что эта мелодия — лишь поразительно ясное

представление — желание, жажда, — все, что хотите, но не сама музыка, — я могу наградить вас тяжелым душевным заболеванием: даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно.

— Я готов, — сказал Дюплэ. — Распорядитесь принести мою скрипку.

Когда это было исполнено и Дюплэ со смычком и скрипкою в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румиер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием.

— Грациан Дюплэ! — сказал доктор, испытывая непривычное волнение. — Приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения.

— Я повинуюсь, — мертвенно ответил Дюплэ.

Квартира Румиера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен; крупный холодный пот стекал по его лицу. Румиер, помедлив, сказал:

— Дюплэ! Вы слышите музыку, о которой мне говорили.

Дюплэ затрепетал; невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий как стихающий гул колокола стон огласил комнату.

— Я слышу! — вскричал Дюплэ.

— Теперь, — дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом, — теперь, — продолжал Румиер, — вы играйте то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте!

Дюплэ встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюплэ, Румиер понял, что слушать дальше н е л ь з я. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы р а с с к а з а т ь их. Румиер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна и что под действием такой музыки человек — кто бы он ни был — совершит все с одинаковой яростью упоения — величайшее злодейство и величайшую жертву. Тоскливый страх овладел им; сде-

лав усилие, почти нечеловеческое в том состоянии, Румиер вырвал скрипку из рук Дюплэ с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества, и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул:

— Дюплэ! Вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна, сядьте и проснитесь!

Дюплэ, сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной тоски; он помнил лишь, зачем пришел к Румиеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос.

— Следовало ожидать этого,— сказал Румиер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением.— Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта.

После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румиера, Дюплэ, растерянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь, с первых шагов, догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек; он был чрезвычайно возбужден; взглянув на скрипку Дюплэ и мельком поклонившись, человек этот спросил:

— Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась; случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы?! Вопрос мой не праздн: я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня, от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы?

Дюплэ, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство овладело им. Оставив своего собеседника, с быстротой оскорбительной и тревожной, он кинулся назад, позвонил и менее чем через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связность речи; задыхаясь, он крикнул:

— Ты скрыл!.. Скрыл!.. Негодяй! Знаешь ли ты, что взял у меня?! Хуже убийства! Нет прощения! Смерть!.. Смерть за это!

Он бросился на Румиера и повалил его, наиося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они не без труда связали Дюплэ, который после того распоряже-

нием доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу.

С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу с тоской и слезами играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых беспрерывно. Иногда, среди вариаций на одну, особенно грустную тему, из-под смычка слетали странные такты, заставляющие бледнеть,— вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее... но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полном горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, прекрасное зрелище.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ОТЦА И МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИ

I

В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кро-

ме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимая затейливые очертания сна или футурнстического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа,— значилось там,— я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкап мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

— Он уехал, барышня,— сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки

в бородатом лице,— он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

— Да, время идет,— согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

— Это конюшня,— сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела.— Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминулись. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

— Папа, ты,— детка мой, измучилась без тебя! — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

— Боже мой,— сказал он, садясь и снова обнимая ее,— полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

— Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни

старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

— Что же? — сказал, смеясь, Дрэп.— Ну, вижу тебя.

— А еще?

— Что такое?

— Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!

Т е п е р ь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был вымыт, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

— Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестеть.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

— Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

— Я нашла на кухне немного угля.

— Вероятно, какие-нибудь крошки.

— Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

— В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

— Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

IV

Он стал разом седеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа,— выражения, которого она уже не

могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

— Но, папа,— сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение,—неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

— Хорошо ли тебе, папа? — сказала она.— Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стона, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

— Да,— сказал он, отнимая от лица руки,— я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая,— а мне понадобится еще лет пять,— я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

— Ну, вот мы и дома!

ПУТЕШЕСТВЕННИК УЫ-ФЬЮ-ЭОЙ

Это пролетело в Ножане.

Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того, отдельно, в разное время — Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.

Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но не обозрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег,— четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.

Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того, чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и три месяца.

Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.

Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел на улицу из гостиницы «Голубой Кролик».

В этот момент невиннейший ветерок змейкой промел уличную пыль.

Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный малюсенький ветерок, от чего поднялся крошечный пыльный смерчик и засорил мне глаза.

Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой штопаной и грязной, что, надо думать, побыла она довольно на мачте. Его мутная борода торчала вперед, как клок сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной веревкой.

Как поднялась пыль, то я не мог толком рассмотреть его лицо... Черты эти перебегали, как струи; я припомнил лишь огромные дыры хлопающих, волосатых ноздрей и что-то чрезвычайно ветреное во всем складе пренеприятной, хотя добродушной, физиономии.

Мы как-то сразу познакомились, с первого взгляда. Положим, я был подвыпивши; кроме того, оба заговорили сразу, и к тому же я никогда не слышал, чтобы у человека так завлекательно свистело в носу. Что-то

было в этом неудержимом высвистывании от нынешней капающей и скребущей музыки. И он дышал так громко, что с улицы улетели все голуби.

Он сказал:

— А? Что? Эй! Фью! Глаз засорил? Чихнул? Не беда! Клянусь муссоном и бризом! Пассатом и норд-вестом! Это я, я! Путешественник! Что? Как зовут? Уы-Фью-Эой! Ой! А-а! У-у-ы!

Я не тотчас ответил, так как наблюдал охоту степенного человека за собственным котелком. Котелок летел к набережной. Оглянувшись, я увидел еще много людей, ловивших что бог пошлет: шляпы, газеты, вырванные из рук порывом пыльной стихии; шлепнулся пузатый ребенок.

— Ну, вот...— сказал Фью (пусть читатель попробует величать его полным именем без опасности для языка),— всегда неудовольствие... беготня... и никогда... клянусь мистралем, ну, и аквилоном... никогда, чтоб тихо, спокойно... А хочется поговорить... уы... у-у-у... по душам. Нагнать, приласкать. А ты недоволен? Чем? Чем? Чем, клянусь, уже просто — зефиром, с чего начал.

Кто объяснит порывы откровенности — искренности, внезапного доверия к существу, само имя которого, казалось, лишено костей, а фигура вихляется как надутая воздухом. Но сей бродяга так подкупающе свистел носом, что я сказал все.

Фью загудел: «Ах так? Клянусь насморком! Клянусь розой ветров! Везде быть? Все видеть? Из шага в шаг? Все города и дома? Все войны и пески? Забрать глобус в живот? Ой-ой-ой-ой! Фью-фью! Это я видел! Я один, фью! И никто больше! Слушай: клянусь братом. С тех пор, как существует что-нибудь, что можно видеть глазами,— я уже везде был. И путешествовал без передышки. Заметь, что я никогда не дышу в себя, как это делаете вы раз двадцать в минуту. Я не люблю этого. Хочешь знать, что я видел? Как раз все то, что ты не видел, и то, что ты. Что англичане? Дети они. Возьми проволоку и уложи в спираль вокруг пестрого шара от полюса до полюса, оборот к обороту — это я там был! Везде был! Помнишь, когда еще не бы-

ло ничего, кроме чего-то такого живого, скользкого и воды? И страшнейших болот, где, скажем, тогдашняя осока толщиной в мачту. Ну, все равно. Я путешествовал на триремах, галиотах, клиперах, фрегатах и джонках. Короче говоря, на каком месте ты ни развернешь книгу истории...»

— Жизненный эликсир,— сказал я,— ты пил жизненный эликсир?

— Я ничего не пью. И ты не пей. Вредно! Клянусь сирокко! Пей только мое дыхание. Слушай меня. Я врать не буду. Хочешь? Хочешь пить дыхание? Мое! Мое! Клянусь ураганом!

Мы в это время подошли к набережной, где немедленно, на разрез течению, бросился по воде овал стремительной ряби, а плохо закрепленные паруса барок, выстрелив, как бумажные хлопушки, выпятились и уперлись в воздух. Крутая волна пошла валять лодки с борта на борт.

— Да, выпить бы чего...— пробормотал я.

В тот же момент пахнуло нам в лицо с юга. Странный, резкий и яркий, как блеск молнии, аромат коснулся моего сердца; но ветер ударил с запада, дыша кардифом и железом; ветер повернул ко мне свое северное лицо, облив свежестью громадного голубого льда в свете небесной разноцветной игры; наконец, подобный медлительному и глухому удару там-тама, восточный порыв хлынул в лицо сном и сладким оцепенением.

Вдруг вода успокоилась, облака разошлись, паруса свисли. Я оглянулся: никого не было. Только на горизонте нечто, подобное прихотливому облаку, быстро двигалось среди белых, ленивых туч с вытянутым вперед обрывком тумана, который, при некотором усилии воображения, можно было счесть похожим на чью-то бороду.

Ах, обман! Ах, мерзостный, все высмыгавший, все видевший пересмешник! О, жажда, ненасытная жажда видеть и пережить все, страсть, побивающая всех других добрых чертей этого рода! Ветер, ветер! С тобой всегда грусть и тоска. Ведь слышит он меня и стучится в трубу, где звонко чихает в сажу, выпевая рапсодию.

Шалун! Я затопил печку, а он выкинул дым.

БЕЛЫЙ ШАР

Первый удар грома был оглушителен и резок, как взрыв.

Разговор оборвался. Сантус, сохраняя запальчивое выражение лица, с каким только что перешел к угрозам, сжал рукой свою длинную бороду и посмотрел на расстроенного Кадудара так, как будто гром вполне выражал его настроение,— даже подкреплял последние слова Сантуса, разразившись одновременно. Эти последние слова были:

— Более — ни одного дня!

Кадудар мог бы сравнить их с молнией. Но ему было не до сравнений. Срок взноса арендной платы минул месяц назад, между тем дожди затопили весь урожай. И у него не было никакого денежного запаса.

Как всегда, если один человек сказал что-нибудь непреложно, а другой потерял надежду найти сколько-нибудь трезвое возражение, длится еще некоторое время молчаливый взаимный разговор на ту же тему.

«Злобное, тупое животное! — подумал Кадудар.— Как мог я заставлять себя думать, думать насильно, что такой живодер способен улыбнуться по-человечески».

«Жалкий пес! — думал Сантус.— Ты должен знать, что меня просить бесполезно. Мне нет дела до того, есть у тебя деньги или нет. Отдай мое. Плати аренду и ступай вон, иначе я выселю тебя на точном основании статей закона».

Второй удар грома охватил небо и отозвался в оконном стекле мгновенным жалобным звоном. Волнистые стены туч плыли стоймя над лесом, иногда опуская к земле свитки тумана, цепляющиеся за кусты, подобно клубам дыма паровозной трубы. Налетел хаос грозы. Уже перелетели с края на край мрачных бездн огненные росчерки невидимого пера, потрясая искаженным светом мигающее огромное пространство. Вверху все слилось в мрак. Низы дышали еще некоторое время синеватыми просветами, но и это исчезло; наступила ночь среди дня. Затем этот хлещущий потоками воды мрак подвергся бесчисленным, непрерывным, режущим глаза падениям неистовых молний, разбегающихся среди небесных стремнин зигзагами адских стрижей, среди

умопомрачительного грохота, способного, казалось, вызвать землетрясение. В комнате было то темно, то светло, как от пожара, причем эта смена противоположных эффектов происходила с быстротой стука часов. Кадудару казалось, что Сантус скачет на своем стуле.

— Серьезное дело! — сказал он, беря шляпу.— Закройте окно.

— Зачем? — холодно отозвался Сантус.

— Это гроза не шуточная. Опасно в такой час сидеть с раскрытым окном.

— Ну, что же,— возразил Сантус,— если меня убьет, то, как вы знаете, после меня не остается наследников. Ваш долг исчезнет, как дым.

Вексель все еще лежал на столе, и Кадудар резонно подумал, что здесь наследники ни при чем. Действительно, порази Сантуса гром, ничего не стоило бы расправиться с этим клочком бумаги. Просто Сантус подсмеивался.

— Я не понимаю вас,— сказал Кадудар и сделал шаг к двери.— Мне не до шуток. Прощайте.

— Останьтесь,— сказал Сантус,— хотя ваш дом близко, но в такую погоду вы подвергаетесь серьезной опасности.

— Пропадет долг? — язвительно спросил Кадудар.

— Совершенно верно. А я не люблю терять своих денег.

— В таком случае я доставлю вам несколько неприятных минут,— Кадудар открыл дверь.— Пусть я промокну, как собака, но под защитой вашего крова оставаться я не хочу.

Он замер. Небольшой светящийся шар, скатанный как бы из прозрачного снега, в едва уловимом дыме электрической эманации, вошел в комнату — мимо лица Кадудара. Его волосы трещали и поднялись дыбом прежде, чем ужас запустил зубы в его сердце. Шар плавно пронесся в воздухе, замедлил движение и остановился над плечом Сантуса, как бы рассматривая человека в упор, не зная еще, что сделать,— спалить его или поиграть.

Сантус не шевелился так же, как не шевелился и Кадудар: оба не имели сил даже перевести дух, внимали движению таинственного шара с чувством к о н ц а. В комнате произошло нечто непостижимое. За дверцей

буфета начало звенеть, как если бы там возилась человеческая рука. Дверной крючок поднялся и опустился. Занавеска взвилась вверх, трепеща, как от ветра; неясный, мучнистый свет разлился по всем углам. В это время шар был у ног Сантуса, крутясь и передвигаясь, как солнечное пятно колеблемой за окном листвы. Он двигался с неторопливостью сытой кошки, трущейся о хозяина. Вне себя, Сантус двинул рукой, чтобы убрать стоявшее возле него ружье, но, как бы поняв его мысль, шар перекатился меж ног и занял сторожевую позицию почти у приклада.

— Кадудар,— сказал дико и тихо Сантус,— уберите ружье!

Должник помедлил не долее трех биений сердца, но все же имел силу п о м е д л и т ь, в то время как для Сантуса эта пауза была равна вечности.

— Отсрочка,— сказал Кадудар.

— Хорошо. Полгода. Скорей!

— Год.

— Я не спорю. Бросьте ружье в окно.

Тогда, не упуская из вида малейшего движения шаровидной молнии, описывающей вокруг ног Сантуса медленные круги, все более приближающие ее к магнетическому ружью, Кадудар, весь трясясь, перешел комнату и бросил ружье в окно. В это время он почувствовал себя так, как если б дышал огнем. Его правая рука, мгновенно, но крепко схватив со стола вексель, нанесла ему непоправимые повреждения.

Казалось, с удалением предмета, способного вызвать взрыв, шар погрузился в разочарование. Его движение изменилось. Оставив ноги Сантуса, он поднялся, прошел над столом, заставив плясать перья, и ринулся в окно. Прошло не более вздоха, как из-под ближайшего холма раздался рванувший по стеклам и ушам гром, подобный удару по голове. Молния разорвалась в дубе.

Встав, Сантус принужден был опереться о стол. Не лучше чувствовал себя и Кадудар.

— Все? — спросил Саитус.— Вы довольны?

— Дайте вексельный бланк,— спокойно ответил Кадудар,— я — не грабитель. Я перепишу наш счет на сегодняшнее число будущего года. Таким образом, вы сохраняете и деньги и жизнь!

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ

I

— Итак, она вам отказала обоим?—спросил на прощанье хозяин степной гостиницы.— Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

— Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

— Но что же особенного узнал трактирщик? — хмуро возразил Кист.— Ну... любил ты... любил я... любили одну. Ей — все равно... Вообще, был ведь разговор этот о женщинах.

— Ты не понимаешь,— сказал Род.— Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушились.

Как сказал Кист, «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.

II

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба — Род и Кист — пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Од-

нако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорятся только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

— Ступайте,— сказала Кэт.— Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып»...

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смешение скал — отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня — обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, а з а т е м начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но, в общем, казалась на подходящих для того местах доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой — налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род — его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отде-

ленный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако, из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину — значило сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

— Будь дерево,— сказал Род,— но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

— Надо думать, что перед тобой натянуто черное полотно,— сказал Род,— только и всего. Представь, что пропасти нет.

— Разумеется,— сказал Кист рассеянно.— Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

— Итак...— начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку.

— Сначала я, а потом ты,— сказал он.— Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

— Готово,— сказал Кист.— Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, неожиданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль — одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста,— и это сбило его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного — рука Рода скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз.

— Отпусти! — сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому.— Ты свалишься, говорю тебе! — продолжал Род.— Отпусти меня и не забывай, что именно на тебя посмотрела она особенно.

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль — мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась..

Кист взглянул вниз; затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец, лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

— А где Род? — поспешно спросила она, едва подала руку.— Или вы одни, Кист?!

«Если ты сделала выбор, то не ошиблась»,— подумал вошедший.

— Род...— повторила Кэт.— Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

ВСТРЕЧИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В апреле 1927 года в Феодосию пришел парусник капитана Дюка — «Марианна», и я уже уговорился с ним о поездке на этом судне до Мессины, откуда имел уже телеграмму от капитана Грея, сообщавшую, что его судно «Секрет» будет ожидать меня для выполнения нашей общей затеи: посещения Зурбагана, Лисса, Сан-Риоля, Покета и иных мест, где произошли события, описанные мною в книгах «Алые паруса», «Золотая цепь», «Блистающий мир» и проч.

Я прибыл на «Марианне» в Мессину 16 мая. Со мной ехали Томас Гарвей и его жена Дези, история которых описана мной в еще не вышедшем романе «Бегущая по волнам» [1]. Я снова увидел Ассоль; ничто не изменилось в ней, кроме возраста, но об этих вещах говорить печатно, вне форм литературного произведения, недопустимо. Я ограничусь кратким отчетом.

Прощаясь с Дюком, я взял с него обещание, что в следующий его рейс на Черное море он съездит со мной в Москву. Прибыв в Лисс, мы застали честно дожидавшихся нас Санди Пруэля, Дюрока и Молли. Тогда же я послал телеграмму Друду в Тух, близ Покета, получив краткий ответ от его жены Тави: «Здравствуйте и прощайте». Ничего более не было сообщено нам, причем

---

[1] Настоящие имена всех моих друзей и знакомых не могут быть упомянуты по вполне понятным причинам.— *А. С. Г.*

несколько позже Гарвей получил известие от доктора Филатра, гласившее, что Друд отсутствует и вернется в Тух не раньше июня.

2 июня «Секрет» прибыл в Каперну, селение, так взбудораженное несколько лет назад явлением «Алых парусов». Ассоль не захотела сойти на берег, так же поступил и Грей. Мы ограничились тем, что послали гонца и шлюпку за Летикой, уже давно жившим в Каперне, женатым и по-прежнему говорящим стихами; как умею, перевожу его новости: «Там, где домик был уютный, бедный, дикий и простой, поселился дачник мутный, домик снес, построил свой. Вас, Ассоль, с волненьем вижу; помнить горд и видеть рад; вас ничем я не обижу, потому, что я—комрад. Видеть Грея, капитана, с вами—для меня равно, что из прошлого тумана выдвигается звено. Будьте счастливы и верьте, что единственный наш путь — помнить о друзьях до смертн, любящих — не обмануть».

Его взяли с собой, и дальше мы следовали в дружном обществе в Зурбаган. Уже я знал о гибели Хоггея, крупного миллионера, бесчеловечные опыты которого с живыми людьми (см. «Пропавшее солнце») возбудили наконец судебный процесс. Хоггей застрелился, приказав, чтобы его сердце было помещено в вырезанный из целого хрусталя сосуд с надписью: «Оно не боялось ни зла, ни добра». Там же, тщательно разыскивая адреса, я нашел Режи, «королеву ресниц». Ее материальное положение было ужасно, и мы сделали для нее, что могли.

Самое сильное впечатление произвело на меня посещение Лисса, а в частности дворца Ганувера на мысе Гардена, и его могилы, носящей следы тщательной заботы Дюрока и Молли. Вся могила была в цветах: в желтых розах, символах золота и любви.

Самый дворец, отошедший по сложному иску к сомнительному наследнику Ганувера, который даже не жил в нем, стал нам доступен лишь после особой любезности управляющего, Генри Симпсона, которому, как и всем, помогавшим мне, считаю обязанностью выразить живейшую благодарность.

Мы посетили залу с падающимн стенами, но ток был закрыт, и Дези тщетно ощупывала чешуйчатые колонны,

добиваясь того эффекта, какой описан в «Золотой цепи». Во всяком случае, она с удовольствием осмотрела дом. Молли ушла; ее воспоминания были еще тяжелы и сильны. Смотря на большую дверь, я снова представил, как она стремительно появилась тогда, сказав в особой тишине полного гостями зала: «Я пришла, как обещала. Не печальтесь теперь».

Санди Пруэль — теперь здоровый 28-летний лейтенант флота — сказал мне, что осенью состоится его брак с другой Молли — дочерью бывшего слуги Гануверa — Паркера.

В Лиссе мы начали разъезжаться. Ассоль и Грей отправились домой на своем «Секрете»; Молли и Дюрок выехали поездом в Сан-Риоль. Дези и Гарвей остались со мной. Летика проигрался в каком-то притоне, и ему пришлось дать денег на возвращение.

Самые глубокие впечатления остались у меня от этой поездки, которые я надеюсь переработать в небольшую книгу. Я лично возвратился пароходом в Суэц, откуда меня доставил в Одессу «Теодор Нетте», и вместе с паломниками я благополучно достиг порта.

В Феодосии я был уже 3 сентября 1927 г. Некоторые подробности будут сообщены позднее, чтобы они были, как сказала однажды Дези Гарвей о сухарях, «приятно спечены».

СЛАБОСТЬ ДАНИЭЛЯ ХОРТОНА

I

Судьба оригинально улыбнулась одному погибшему человеку, известному под именем «Георг Избалованный».

Его настоящее имя было Георг Истлей. Он сумел убедить равнодушного прохожего человека с золотыми зубами, что всего три фунта поставят его на ноги, при этом был он так остроумен и красноречив, что прохожий увлеченно пожелал Истлею «полной удачи, твердости и энергии».

Оба расстались взволнованные. В тот же вечер Истлей Избалованный засел в пустом складе доков и проиграл свои три фунта одной теплой компании, вплоть до последнего шиллинга. К утру явился лодочник Сайлас Гарт, у которого не было денег, но была охота играть. Он заложил в банк свою лодку; к полудню следующего дня, начав действовать последним шиллингом, Истлей выиграл у него лодку, весла и пустился вниз по реке, сам не зная зачем.

Это было не совсем то, на что рассчитывал прохожий с золотыми зубами, тронутый, может быть, первый и единственный раз в жизни жаром, какой вложил в исповедь свою Истлей Избалованный,— но после кабаков, притонов, панели светлая вода реки так воодушевила Истлея, что еще хмельной, ничего не теряя и ни о чем не жалея, он решил плыть вниз по течению до Сан-Риоля. Надо сказать, что в мечтах начать «новую» жизнь человек этот провел сорок два года и так привык начинать, что кончить уже не мог. Все-таки он хотел воспользоваться счастливым толчком мысли, переменить если не жизнь, то ее сорт.

На дорогу он купил большой хлеб, табаку и питался одним хлебом, к чему, впрочем, привык.

Наступил вечер, и опустился холодный туман. Мечтая о теплом ночлеге, Истлей пристал к берегу на огонек одинокого окна. Он привязал лодку и взобрался на холм. Запинаясь в тьме о валявшиеся бревна и пни, он пришел к бревенчатому дому, толкнул огромную дверь и очутился перед человеком, сидевшим на кожаном табурете. Уставив приклад ружья в край стола, а дуло держа направленным против сердца, человек этот пытался дотянуться правой рукой до спуска.

— Не надо! — вскричал Истлей, с ужасом бросаясь к нему.— Не надо! Она придет!

От неожиданности самоубийца уронил карабин и обратил бородатое лицо к Истлею; с этого лица медленно сходила смертная тень.

Он глубоко вздохнул, отшвырнул карабин ногой, встал, засунул руки в карманы и подошел к гостю.

— Она придет? — сказал человек, всматриваясь в Истлея.

— Вы можете быть совершенно уверены в этом,— ответил Истлей.— Я приехал в лодке, чтобы сообщить

вам эту радостную весть. Так что — стреляться глупо. Все будет очень хорошо, поверьте мне, и не хватайтесь за орудие смерти.

Человек схватил Истлея за ворот, поднял его, как кошку, потряс и бросил на кучу шкур.

— А теперь,— сказал он,— ты мне объяснишь, кто эта «она» и что значит твое вторжение!

Истлей задумчиво потер шею и взглянул на спасенного. Его сильное, страстное лицо с по-детски нахмуренными бровями ему нравилось. Он не был испуган и без запинки ответил:

— Это объяснить трудно. Я крикнул первое, что мне пришло в голову: «Она». Позвольте подумать. «О н а» — это может быть прежде всего, конечно, та женщина, которой вы пленились так давно, что у вас успела вырасти борода. Быть может также, «о н а» — бутылка виски или сбежавшая лошадь. Если же вы лишились у в е р е н н о с т и, то знайте, что это и есть самая главная «она». Обычно с ней приходят все другие «они». Уверяю вас, «она» отлучилась на минуту, вероятно, чтобы принести вам что-нибудь закусить, а вы сгоряча обиделись.

Самоубийца расхохотался и пожал руку Истлея.

— Благодарю,— сердечно сказал он,— ты меня спас. Это была минутная слабость. Садись, поужинаем, и я тебе расскажу.

Спустя час, после солонины и выпивки, Истлей знал всю историю Даниэля Хортона. Рассказана она была нескладно и иначе, чем здесь, но суть такова: Хортон преследовал идею победы над одиночеством. Он был голяк, сирота, без единой близкой души и без всякого имущества, кроме своих мощных рук. Скопив немного денег работой по сплавке леса, Хортон сел на дикий участок и задался целью обратить его в цветущую ферму. Разговорившись, изложил он все свои мечты: он видел в будущем целый поселок; себя, вспоминающего, с трубкой в зубах, то время, когда еще он корчевал пни и пугал бродячих медведей; с ним будут жена, дети... «Короче говоря,— сделаю жизнь!» Так он выразился, стукнув кулаком по столу, и Истлей понял, что перед ним истинный пионер.

Как сильно он переживал эти пламенные видения, так же сильно поразила его сегодня внезапная, никогда

не посещавшая мысль: «А что, если ничего не выйдет?» Как известно, в таких случаях вариации бесконечны. Ночь показалась безотрадной, вечер — ужасным, молчание и тишина леса — зловещими. Вероятно, он переутомился. Он впал в отчаяние, поверил, что «ничего», и, не желая более в мучениях коротать дикую ночь, схватил ружье.

— Это была реакция,— заметил Истлей.— Я появился совершенно своевременно, в конце четвертого акта.

— Живи со мной,— сказал Хортон, прямо не говоря, что рассчитывает на кое-какую помощь Истлея, но уверенный, что тот сам станет работать.— Здесь пока грязно и дико, но ты увидишь, как я все переверну.

— По-моему,— проговорил Истлей, взбираясь с ногами на скамью и сибаритствуя с трубкой в зубах,— это помещение очаровательно. Обратите внимание на эффект света очага среди свежесрубленных стен. Это грандиозно! Свежий, наивный романтизм Купера и Фанкенгорста! Запах шкур! Слушай, друг Хортон, ты счастливый человек, и, будь я художником, я немедленно нарисовал бы тебя во всем очаровании твоей обстановки. Она напоминает рисунок углем на штукатурке старой стены, средн роз и пчел. Хочешь, я расскажу тебе историю Нетти Бемпо, знаменитого «Зверобоя»?

В четвертом часу ночи приятели мирно храпели на куче сухой травы. Хортон вдруг проснулся, схватил лежащее возле него ружье и закричал:

— Берегись, гуроны заходят в тыл! Болтун! — сказал он, опомнясь и посмотрев на спящего Истлея.— Занятный болтун.

II

Совместное жительство двух столь разных натур скоро обнаружило их вкусы и методы. Едва светало, Хортон уходил пахать расчищенный участок земли, готовил для продажи плоты, рубил дрова, пек лепешки, варил, мыл, стирал. Он был самолюбив и ничего прямо не говорил Истлею, но часто раздражение охватывало его, когда, войдя домой поесть, он заставал Избалованного,

который, прикидывая глазом, ставил в разбитый горшок прекрасные лесные цветы, приговаривая: «Они лучше всего на фоне медвежьей шкуры, которую ты растянул на стене», или возился с пойманным молодым дроздом, кормя его с пальца кашей.

Истлей старался днем не попадаться на глаза своему суровому и усталому хозяину; он обыкновенно мечтал, лежа в лесной тени, или удил рыбу, но к вечеру он появлялся с уверенным и развязным видом, отлично зная, что Хортон ценит его общество и скучает без него вечером. Действительно, злобствуя на лентяя днем, к вечеру Хортон начинал ощущать странный голод; он ждал рассказов Истлея, его метких замечаний, его анекдотов, воспоминаний; не было такой вещи или явления, о которых Истлей не знал чего-то особенного. Он рассказывал, из чего состоит порох, как лепят посуду, штампуют пуговицы, печатают ассигнации; залпом читал стихи; запас его историй о подвигах, похищениях и кладах был бесконечен. Не раз, сидя перед освещенной дверью, он говорил Хортону о действии т и ш и н ы, отражениях в воде, привычках зверей и уме пчел, и все это знал так, как будто сам был всем живым и неживым, что видят глаза.

Днем Хортон сердился на Истлея, а вечером с нетерпением ожидал, какое настроение будет у Избалованного — разговорчивое или замкнутое. В последнем случае он приносил из своего скудного запаса кружку водки; тогда, поставив локти на стол, дымя трубками и блестя глазами, оба погружались в рассуждения и фантазии.

Однажды случилось, что Хортон свихнул ногу и угрюмо сидел дома три дня. С бесконечным раздражением смотрел он, как, мучаясь, полный отвращения и тоски, Истлей рубит дрова, носит воду, стараясь не утруждать себя никаким лишним движением; как крепко он скребет в затылке прежде, чем оторваться от трубки и посолить варево, и раз, выведенный из себя отказом Истлея пойти подпереть изгородь (Истлей сказал: «Я вышел из темпа, погоди, я поймаю внутренний такт»), заявил ему:

— Экий ты бесстыжий, бродяга!

Ничего не сказал на это Истлей, только пристально посмотрел на Хортона. И тот увидел в его глазах отброшенное ружье. Устыдясь, Хортон проворчал:

— Ноге, кажется, лучше; через день буду ходить.

Когда он выздоровел, Истлей принес ему десять корзин, искусно сплетенных из белого лозняка. Они были с крышками, выплетены затейливо и узорно.

— Вот,— сказал он,— за эту неделю я сделал десяток, следовательно, через месяц будет их пятьдесят штук. На рынке в Покете ты продашь их по доллару штука. Я выучился этому давно, в приюте для безработных... Не расстраивайся, Хортон.

Сдавленным, совершенно ненатуральным голосом Хортон поинтересовался, почему Истлей облюбовал такое занятие.

— Случайно,— сказал Истлей.— Я увидел старика с прутьями на коленях, на фоне груды корзин, среди других живописных вещей, куч свеклы, корзин с рыбой, цветов и фруктов на рынке; это было прекрасно, как тонкая акварель. Пальцы старика двигались с быстротой пианиста. Ну-с... что еще? Я бросил переплетать книги и выучился плести корзины...

Несколько дней спустя, утром, приятели сидели на берегу реки. Близко от них прошел пароход; на палубе стояли мужчины и женщины, любуясь зелеными берегами. Ясно можно было разглядеть лица. Высокая, здоровая девушка взглянула на двух сильных, загорелых людей, взиравших, оскалясь, на пароход, вернее — на нее, и безотчетно улыбнулась.

Пароход скрылся за поворотом.

— Быть может, это о н а и была,— заметил Истлей,— так как все бывает на свете...

— Что ты хочешь сказать?

— Я говорю, что, может быть, о н а придет... Эта самая... Помнишь, что я сказал, когда ты... С ружьем?!

— Кто знает! — сказал Хортон и расхохотался.

— Никто не знает,— подтвердил Истлей.

Хортон, в значительной мере усвоивший от Истлея манеру в и д е т ь и выражаться, глубокомысленно произнес:

— Обрати внимание, как прозрачны тени! Как будто по зеленому бархату раскинуты голубые платки. И — это живописное дряхлое дерево! Красивые места, черт возьми!

— Согласен,— сказал Истлей.

ВЕТКА ОМЕЛЫ

Н. В. Крутикову.

Многие прочтут и перечитают эти страницы, в которых описывается одна из самых ужасных битв на земле.

Речь идет о Фингасе Тергенсе, помощнике начальника конторы автобусного сообщения между Гертоном и Тахенбаком. В одно памятное утро, после безобразной бессонной ночи, горького расстройства жены и собственного не менее горького раскаянья, Тергенс дал Катрионе слово «не пить»,— то есть обещание, равное для мужчины, привыкшего к возбуждению алкоголем, примерно тому, как если бы горный козел отказался перепрыгивать пропасти. Дал Тергенс такое обещание не по отношению к какому-нибудь одному виду напитка, и не на ограниченный срок—месяц, год, два года,—а на всю жизнь, обещание никогда не пить ничего спиртного, что бы оно ни представляло собой. Оценить смелое решение выполнить такой подвиг смогут только те, кто пьет, сам дает обещания и убеждается в бессилии своем сдержать их.

За семь лет Тергенс пять раз клятвенно обещался жене бросить пить с того самого момента, когда эти пламенные обещания слетали с его уст, доставляя отчаявшейся женщине весьма краткое утешение, потому что не проходило трех дней, как Тергенс являлся подвыпившим, браня жену за жестокое отношение к «потребностям мужчины», который, чтобы быть мужчиной вполне, должен курить, пить и играть. Все те обещания Тергенс давал наполовину искренно, наполовину с целью избежать слез и упреков. Поэтому-то он так легко их нарушал, втайне надеясь, что Катриона когда-нибудь примирится с его привычками сидеть вечером в «Ветке омелы». Наконец страстное негодование жены, собственные мысли о ней, так горячо любимой и так мало получающей действительного отдыха среди беспросветных своих забот о попивающем муже, заставило Тергенса решиться — в н у т р и с е б я—дать обещание не только вслух, но и самому себе. Его решение утвердилось в момент, когда уже под утро все время не спавшая Катриона ответила на его обещание — «не плачь, пожалуйста, я пить больше не буду» — гневным возгласом:

— Ты опять врешь! Сколько раз ты обещал?! Уж лучше молчи. Так горько, так неприятно теперь слышать мне эту твою ложь. Ты только и думаешь, что о своих удовольствиях.

— Так ли уж ты-то безгрешна? — угрюмо заметил Тергеис, сознавая, что говорит чепуху; ои никогда не видел ничего худого от Катрионы.— Подумай о своих недостатках.

— У меня нет недостатков,— горько плакала молодая женщина, всхлипывая и сморкаясь; и Тергенс внимательно посмотрел на нее, тронутый этой простотой так, что улыбнулся.— Какие у меня грехи? Скажи, чем я грешна?

— Чем?! Найдется, если подумать... я не говорю что-нибудь особенное.

— Тогда говори.

— Не хочу говорить, не хочу расстраивать тебя еще больше.

— Начал, так говори! Какие у меня грехи? ну?!

— Значит, ты безгрешна?

— Безгрешна,— упрямо и жалобно повторила Катриона, рыдая в подушку.— Я ничем не грешна.

«Да, она имеет право сказать так»,— думал Тергенс, с нежностью смотря на жену и, как ни тяжело было ему, забавляясь ее ответами. Катриона всегда старалась облегчить ему жизнь, матерински заботилась о нем и делалась мрачной, только когда он пил. Если же Тергенс был трезв, Катриона веселела, оживлялась, но вечный страх снова увидеть пьяного мужа часто заставлял ее горько задумываться.

С своей стороны, Тергенс припомнил все ссоры с женой из-за вина, подавленность и раздражительность после выпивки, напрасные траты денег и, первый раз в жизни, серьезно захотел расстаться с бутылкой. Правда, он любил возбуждение, доставляемое алкоголем, но если в молодые годы это возбуждение таило прелести страны грез, волшебного превращения будней в заманчивое странствие среди вещей и людей, с как бы заново открывающимся значением событий, то к сорока годам слиняло и возбуждеиие. Привычка пить приспособила его разум оценивать окружающее почти трезво даже при больших дозах водки; будучи крепко пьян, мысленно Тергенс был трезв, отчего часто скучал. Поэтому ничего,

кроме вреда, болезней и разлада семейной жизни, не предстояло ему в дальнейшем; следовало ему бороться теперь уже не с психической, а с физиологической потребностью пить. Он захотел отплатить Катрионе за ее преданность так, как она больше всего желала, и дал наконец знаменитое обещание, но без клятв, без падения на колени, а зная, что решение твердо, просто повторял:

— Катриона, перестань плакать. Я пить больше не буду.

Молодая женщина немного стихла; что-то новое послышалось ей в этих сумрачных словах мужа. Подумав, она опять принялась плакать.

— Ах! Что говорить! — сказала Катриона.— Уж это который раз ты обещаешь. Ты опять врешь.

Тергенс знал, что не лжет, но его жена, искушенная горьким опытом, знать этого не могла. Все-таки на душе у него стало спокойно. Он повторил:

— Пить больше не буду. Никогда я не говорил так серьезно, как этот раз. Что тебе еще?

— Как же я могу верить?

— Поверишь. Я раньше давал тебе ненастоящие обещания. Сегодня говорю правду. Теперь не только ты хочешь, чтобы я не пил. Я сам не хочу пить. Я предпочитаю мирную, хорошую жизнь. А ты мне помоги доверием, то есть не говори, что не веришь.

Утро занялось пасмурное, с резким ветром, под стать состоянию Тергенса. Катриона оделась, начав делать свои дела с завязанной головой,— у нее всегда сильно болела после таких историй голова,— а Тергенс, мучаясь похмельем, на службу не пошел, однако вышел проветриться и, так как трактиры были уже открыты, решил доказать сам себе твердость своего решения. Против одного маленького трактирчика с увитым зеленью входом, куда раньше заходил только случайно, Тергенс остановился и начал убеждать себя в том, что небольшой стакан водки бессилен изменить его решение; такая доза была бы действительно полезна ему теперь, пока его организм так неспокойно, тяжело боролся с отравленностью. Однако он знал коварную силу «старых дрожжей» и боялся вновь охмелеть. Пока Тергенс размышлял, кто-то хлопнул его по плечу.

Оглянувшись, он увидел своего приятеля Стима Говарда, счетовода железнодорожного управления.

— Войдем,— сказал Говард.— Вид у вас совершенно больной. Я тоже хочу принять капли. Вчера пересидел у Фальберга, а может быть, перепил. А вы где хватили?

— Случайно я попал в «Ветку омелы»,— ответил Тергенс.— Да у вас рука дрожит.

— У вас тоже трясется.

— Я не пью,— сказал Тергенс с неловким чувством выходки, рассчитанной на простофилю.

— Чего не пьете?

— Ничего. Сегодня я дал жене слово не пить.

— Хе-хе!.. Бедняга. Я тоже дал вчера слово не пить. Не только жене, но сестре, теще и дочери. Иначе эту публику невозможно успокоить. Они нас понять не могут.

— Это дело другого рода, Говард,— вздохнул Тергенс, вспоминая, как плакала Катриона.— Я решил не пить и обещал совершенно серьезно никогда не брать в рот проклятого виски.

— Да? Так не одно виски может утешить вас. Выпейте грог.

— Я сказал, что не буду пить ничего.

— Да ну?! Как же вы это так... неосторожно?!

— Что делать? Пришла, видно, пора кончить с бутылкой. Но и то сказать, выпито было за всю жизнь слишком достаточно. Надо наконец подумать о ней.

Говард недоверчиво всматривался в приятеля и по задумчивости его, которая передавала без слов что-то действительно важное, увидел свою ошибку. Тергенс не шутил.

— Однако...— сказал Говард.— Ну, если так, я рад. А я выпью. Тут дают копченый язык с горчичным соусом. Зачем вы тут стоите в таком случае? Прощальное платоническое свидание?

— Я хотел пропустить стаканчик,— произнес Тергенс.— Хотел и не хотел; пока что мне трудно понять себя. Я даже хотел зайти. Я зайду,— вдруг решил он,— и посижу с вами, но пить не буду.

Говард сострадательно усмехнулся, думая, что насту-

пил естественный конец обетам приятеля; он не стал его раздражать соответствующими шутками, говоря себе: «Как сядет, так нальет. Как нальет, так выпьет. А когда выпьет, мы с ним переберемся в «Ветку омелы».

Говард был страшно удивлен, когда Тергенс, заказав малый стакан виски, вылил водку себе на руки, вымыл их драгоценной специей, вытер платком и с довольным видом заплатил озадаченному слуге.

Такое действие «вокруг водки» отчасти заменило ему лечение. Оставив Говарда размышлять над своим поступком, Тергенс дошел до конца улицы, где на склоне холма находилось Гертонское кладбище. Одна историческая могила притягивала его расстроенную душу. Тергенс остановился у старого камня, глубоко всосанного землей; сама могила от древности превратилась в грубый бугор, но гертонцы берегли ее, не давая перекопать, так как гений своего рода истлел под этим памятником. Лет сорок назад высеченная надпись гласила:

«Здесь лежит Гаральд О'Коннор. Он прожил 135 лет и всю жизнь пил. Он пил весной и летом, осенью и зимой, каждый день, и в пьяном виде был так страшен, что сама смерть боялась его. Однажды, по ошибке, он был трезв; тогда смерть осмелилась и умчала О'Коннора».

«Однажды по ошибке был трезв,— думал Тергенс, разглядывая эту смешную и ужасную надпись, говорящую о неимоверном количестве литров виски, рома и пива.— Не по ошибке ли трезв сегодня и я? Да... но О'Коннор не хотел бросать пить. Он ошибся. А я ошибся бы, если бы выпил опять. Тут разница».

Солнце разогнало облака, и ветка старого клена, под тенью которого лежал камень, бросала на его поверхность чистую тень листьев, не знающую смут и страстей. У подножия памятника рос дикий розмарин; летали мухи и пчелы. Тергенс посмотрел на свои руки, покрытые налившимися, вздутыми венами, ушел домой, съел две тарелки горячего супа и лег спать.

Следующие семь дней прошли спокойно. Пока алкоголь еще не окончательно испарился из тела Тергенса, он сдерживал свое обещание без труда, доставляя этим бесконечную радость начавшей отдыхать жене; но как только последний атом спирта оставил Тергенса,— очи-

щенные, обозлившиеся нервы потребовали привычного возбуждения. Напрасно он сосал какие-то лекарственные лепешки, утешался крепким чаем и кофе,— нервы твердили одно: «Подавай виски!» Особенно остро злостная потребность в вине сказывалась, когда он хотел есть; тогда, казалось, дух захватило бы от блаженства глотнуть персиковой или перцовки. В таких случаях Тергенс старался скорее наесться и непременно вначале крепким, горячим супом, который обладал свойством временно обмануть нервы, делая в желудке горячо, как от водки. Вообще заметил он, что при всяком сильном желании выпить немедленная еда устраняет это желание, и приучил себя есть как можно больше, чтобы желудок никогда не оставался пустым.

Иногда, проходя мимо «Ветки омелы», Тергенс испытывал мучительно вкусное сосание во внутренностях, особенно если из раскрытых дверей доносились звуки стекла, но, вздохнув, начинал думать о горе и слезах женщины, которая глубоко поверила наконец его обещанию.

Через месяц Тергенс уже перестал думать о выпивке. Это произошло оттого, что он физически забыл услады страсти к питью. Однажды осенью, поздно вечером, вернулся он домой, страшно уставший после сдачи годового отчета; вошел в столовую и с удивлением увидел тщательно накрытый стол, коробку рыбных консервов, копченый язык, прибор и стакан голубого стекла, боясь верить, что последний, самый главный, предмет сервировки есть бутылка виски, уже откупоренная. Катриона радушно поцеловала Тергенса, говоря:

— Ты, должно быть, очень устал, милый. В таких случаях можно немного выпить. Рюмка не беда. Не сердись. Пусть это будет последний раз.

Как в памятную ночь обещания Катриона почувствовала, что Тергенс не лжет, так Тергенс теперь почувствовал, что Катриона решительно и мужественно испытывает его. Стало ему забавно и хорошо.

— Да, я выпью, пожалуй,— рассеянно сказал Тергенс.— Это ты хорошо придумала.

Твердой рукой налил он полный стакан, взглянув на начинающую бледнеть Катриону, поднес стакан к губам и, засмеявшись, бросил его в угол, облив водкой рукав пиджака.

— Теперь уже нет соблазна,— сказал Тергенс. — Нет, честное слово, нет. Пусть будет иногда скучно, вяло; даже пусть будет трудно жить и работать; пусть хочется подчас трактирной романтики; но пусть будет чисто. Я видел на кладбище ветку клена над могилой дедушки О'Коннора. Наступил ее черед расти.

12 апреля 1929 г. Москва

ВОР В ЛЕСУ

На окраине Гертона жили два вора: Мард и Кароль — с наружностью своей профессии. Мард имел мрачный кривой рот, нос клювом и стриженые рыжие волосы, а Кароль был толстогуб, низколоб и жирен.

Недавно оба приятеля вышли из тюрьмы и еще не принимались ни за какие дела. Кароль пользовался милостями одной базарной торговки, а Мард подрабатывал у вокзалов и театров, всучивая программы представлений или перетаскивая чемоданы. Они нуждались и зверски голодали подчас, но память о плетках надзирателей была еще свежа у них, так что воры боялись пуститься на новое преступление.

Они выжидали выгодный, безопасный случай, но такой случай не представлялся.

Иногда Мард по целым дням валялся на койке, заложив руки под голову и размышляя о жизни. Ему было сорок лет: шестнадцать лет он провел в тюрьмах, а остальное время пил, дрался и воровал. Ему предстояло умереть в больнице или тюрьме.

Скоро овладела им безысходная грусть, и Кароль вынужден был кормить своего приятеля, ругая его при том собакой и дармоедом, на что Мард после страшных проклятий заявлял:

— Не беспокойся. Рано или поздно я заплачу тебе.

Прошла зима, в течение которой Кароль совершил — один — две удачные кражи, но все пропил сам, сам все проиграл в карты и к весне очутился не в лучшем положении, чем Мард. Оба питались теперь гнилы-

ми овощами, что выбрасываются рыночными торговцами, и мечтали о мясе, булках, водке. Все распродав, воры остались босые, в лохмотьях.

От голода и нервности мысли Марда приняли странное направление. У него появилась идея придумать что-нибудь такое заманчивое, хотя бы неосуществимое, вокруг чего можно было бы собрать несколько человек с деньгами,— хорошо поесть, поправиться, отдохнуть.

Однажды, бродя по улицам, Мард нашел четырехугольный листок пожелтевшего пергамента, выпавший, вероятно, из старой книги. Ничего не говоря Каролю, Мард выпросил у прохожих немного денег, купил чернил, перо и забрался в дальний угол грязного трактира за пустой стол. Ему предстояло сочинить план мнимого клада.

Мард развел чернила водой, сделав их совсем бледными, и написал на пергаменте:

«Вверх по реке Ам от Гертона, шестьсот миль от Покета. По устью четыре мили. За скалой озеро; третий песчаный мыс. Два камня возле воды; первый камень в полдень даст тень. Между концом тени и вторым камнем по середине линии вниз пять футов 180 тысяч долларов золотом завязаны в брезент Г. Т. К. и, то же, Д. Ц. Они не знают».

Первый раз за долгое время на мрачном лице Марда растрескалось подобие улыбки, когда он перечитал свое сочинение.

Сложив пергамент несколько раз, вор сунул эту записку в подошву своего стоптанного башмака, надел башмак и ходил так, не разуваясь, неделю, отчего документ сильно слежался, даже протерся по сгибам.

Тогда Мард разбудил рано утром Кароля и сел к нему на кровать.

— Слушай, Кароль,— сказал Мард в ответ на сонную брань сожителя,— я решил поделиться с тобой своим секретом. В тюрьме два года назад умер один человек, с которым я был дружен, и вот этот человек — Валь Гаучас звали его — передал мне документ на разыскание клада. Смотри сам. 180 тысяч долларов.

Кароль ожесточенно сплюнул, но, прочтя записку, поддался внушению искусной затеи, начав, как водится, задавать множество вопросов. Однако Мард хорошо

приготовился к испытанию и, толково ответив на все вопросы, окончательно убедил Кароля, что лет десять назад на реке Ам был ограблен пароход, везший большие суммы денег для банка в Гель-Гью; нападающие подверглись преследованию, но успели зарыть добычу, а сами после того были все перебиты, кроме одного Валь Гаучаса. Валь Гаучас вскоре попал в тюрьму, где и умер.

Кароль был недоверчив, но, по роковому свойству людей недоверчивых, раз поверив во что-нибудь, готов был защищать свою уверенность с пеной у рта. Охотнее всего люди верят в неожиданную удачу. Воображение Кароля распалилось: Мард поддакивал, горячился, и воровским мечтам не было конца.

— Один я не мог бы ничего сделать,— признался Мард,— так как я не умею доказывать, увлекать; и нет у меня знакомств на реке. А у тебя есть. Так вот — достань катер или большую лодку; придется владельца судна взять в долю.

Кароль побежал в веселый дом, сгоряча уговорил теток-хозяек дать в долг пять долларов, купил водки, сигар, еды и досыта угостил приятеля, завалившегося после того спать; затем Кароль ушел.

Три дня он не появлялся. На четвертый день Кароль пришел с высоким веселым человеком в тяжелых сапогах — хозяином парового катера, Самуэлем Турнай, согласившимся дать судно для разыскания клада. У Турная водились деньги. Он был человек положительный и рассуждал резонно, что ради воздушной пустоты два опытных вора не устремятся к глухим верховьям реки.

Видя, как быстро, уже без его участия, двигается развитие замысла, Мард немного опешил. Однако, представив всю прелесть спокойной, сытой жизни на катере в течение трех-четырех недель, окончательно положился на свою изворотливость и столько наговорил Турнаю, что тот выкурил подряд четыре сигары.

Поздно ночью три человека решили дело: Турнай давал катер, ехал сам, давал продовольствие, табак, виски и приобретал для воров хорошую одежду, а также оружие: револьверы и винтовки.

На другой же день в пять утра катер «Струя» направился из Гертона вверх по реке Ам. Некоторая путанность записки, составленной Мардом, не обескураживала Турная: он знал хорошо реку, и, по его твердому

убеждению; фраза «по устью четыре мили» означала приток Ама, Декульт,— узкую быструю речку со скалистыми берегами.

— Декульт именно в шестистах милях от Гертона,— говорил Турнай,— но не от Покета; зачем упомянут Покет, неизвестно; должно быть, чтобы сбить с толку непосвященных. Меня не проведешь. Если не Декульт, то Мейран, впрочем, мы обследуем, если понадобится, все речки. Карта со мной.

За время путешествия среди живописных берегов реки Мард отдохнул, поправился; он много ел, вдоволь пил водку и спал, как младенец в утробе матери. В разговорах о кладе он приводил тысячи азартных, тонких предположений, рассуждал о предстоящих покупках и удовольствиях. Однако, чем дальше подвигался катер к Декульту, по берегам которого действительно были озера, тем чаще Мард задумывался.

«В конце концов, на что я надеюсь? — спрашивал себя Мард.— Пройдет еще месяц, золота нигде не окажется, и меня изобьют до полусмерти, а может быть, убьют, думая, что я хотел воспользоваться судном лишь для того, чтобы проехать к месту клада, которое скрыл от них».

Итак, ничего не произошло; затея не повернулась как-нибудь неожиданно выгодно; катер плыл; Кароль и Турнай стремились отыскать несуществующее богатство.

«На что я надеялся?» — повторял Мард, сидя ночами у борта и рассматривая дикие темные берега.

За два дня до прибытия в устье Декульта Мард заболел. Ночью он метался, стонал; его рвало и трясло. Чрезвычайно обрадованные случаем избавиться от третьего дольщика, приятели стали уговаривать Марда слезть на берег.

— Так как,— говорил Кароль,— наверное, у тебя тиф или воспаление мозга. Дадим палатку, ружье; все даднм. Ты поправляйся и жди нас. Твоя доля будет тебе вручена, когда вернемся с золотом.

Для приличия Мард впал в угрюмость, заставил компаньонов поклясться, что его не бросят и не обманут, и остался на берегу в лесу, снабженный палаткой, ружьем, одеялом, припасами и топором.

Когда катер удалился, Мард встал, огляиулся и улыбнулся.

— Опять можно жить спокойно,— сказал он, закуривая трубку и выпивая стаканчик рома,— а хину я принимать не буду.

Сняв палатку, Мард перенес свое имущество мили на полторы дальше, к отлогому песчаному берегу, и начал жить, как дачник Робинзоновой складки. Он убивал лосей, коз, уток, ловил рыбу и месяца через полтора стал так здоров, силен, что начал подумывать о возвращении.

Казалось, катер пропал без вести,— Мард более не видел его.

— Наткнулись на камень где-нибудь,— объяснял его исчезновение Мард,— или проплыли обратно ночью, когда я спал.

Лес на берегу состоял из огромных, высоких и прямых деревьев. Мард срубил несколько штук, очистил их от ветвей и скатил рычагами на воду, где увязал стволы вместе отмоченной корой кустарника. Эта работа понравилась ему; медленное падение деревьев, самый звук топора — звонкое, сочное щелканье — и отчетливые линии пристраивающихся один к одному на веселой воде свежих стволов,— вся новизна занятия пленила Марда. Начал он подумывать, что неплохо было бы сбить большой плот, чтобы продать его по дороге долларов хотя бы за двадцать. Назначив себе сто штук, Мард, однако, увлекся и навалил двести, но когда они вытянулись плотом на песке, не стерпел и прибавил еще пятьдесят.

Никто ему не мешал, не лез с советами, не подгонял, не останавливал. Изредка на речной равнине чернел дым случайного парохода или скользил парус неизвестных промышленников, но большей частью было пусто кругом.

Между тем началась дождливая пора. Ам разлился и снял плот Марда с песчаной отмели. Мард сделал из тонкого бревна руль, поставил свою палатку и, отрубив причал, двинулся вниз по течению. Почти беспрерывно лил дождь, ветер волновал реку, течение которой усилилось благодаря прибылой воды, так что Мард три дня не спал, все время работая рулем, чтобы плот несся посередине реки. Питался Мард сушеной рыбой, заготовленной им еще летом, и желудевым кофе.

К вечеру четвертого дня плавания Мард завидел селение и начал подбивать плот к берегу. Вокруг села заметил он другие плоты, готовые для отправки. Едва его

плот поравнялся с домами села, как с берега выехала лодка, управляемая тремя бородатыми великанами; они причалили к плоту и взошли на него, тотчас предложив Марду продать плот. Не зная, что его плот состоит из ценных пород, Мард весело подумал, что хорошо бы взять долларов пятьдесят, и, убоясь, не покажется ли цифра очень большой, начал мяться, но один бородач, хлопнув его по плечу, вскричал:

— Что думать! Берите триста, и дело кончено!

Мард согласился, между тем плот стоил вдвое дороже. Плотовщики сосчитали бревна, уплатили деньги и пошли с Мардом в местную лавку, где вор купил приличное платье взамен изношенного и выпил с торговцами. Ему сообщили, что на другой день отплывает в Гертон парусное судно; Мард пошел к хозяину, уговорился с ним и за небольшую плату стал пассажиром.

«Теперь я уплачу Каролю и Турнаю все их расходы на меня,— размышлял Мард, помогая матросам чистить трюм, нагруженный свиньями,— конечно, они меня выругают, но мы попьянствуем, и дело с кладом забудется».

Судно плыло в Гертон двадцать шесть дней. Приехав, Мард снял номер в гостинице, побрился, выпил и отправился гулять по улицам гавани. Задумчиво шел он, не зная, сейчас ли искать Кароля, или отложить на завтра, как вдруг быстрая рука схватила его плечо.

— Мард!

— А! Кароль!

Кароль задохнулся, догоняя Марда. Они стояли улыбаясь; Мард несколько смущенно и весело, а Кароль — колюче и хитро.

— Так вы бросили меня?!

— Едва живые вернулись. Ты нашел золото?

— Дурак ты, Кароль,— сказал Мард,— я нарубил плот и продал его. О, были приключения. Двести пятьдесят бревен!

— Что же мы стоим? Идем в «Чертов глаз»! Угощай.

— Есть,— согласился Мард.— А где Туриай?

— Турнай нас ждет.

Оживленно рассказывая о своих похождениях, Мард с Каролем пришли в грязный притон и заняли, по сове-

ту приятеля, маленькую комнату во дворе трактира. Едва они сели, как вошли трое парней. Чувствуя недоброе по их лицам, Мард встал из-за стола, но Кароль ударом в глаз сбил его с ног. Мард упал; четверо сели ему на руки и ноги.

— Сволочи! — сказал Мард.

— Где золото? — начал Кароль допрос.— Ты все подстроил. Высадился, где тебе было надо, под видом, что болен.

— Опять ты дурак! — закричал Мард.— Я хотел сам дать тебе денег — сто долларов. Клада не было! Я выдумал это! Я изголодался, понимаешь? Я чудил от голода! Говорят тебе, что я сбил плот и продал его!

Марда начали бить. Его лицо превратилось в кровавое мясо, сердце хрипело, глаза ничего не видели, сломаны были два ребра, но в передышках, обливаемый водкой, не попадавшей в его рот, для оживления, Мард упорно твердил:

— Клада не было. Вот клад: мозоли мои!

Допрос и истязания длились три часа. Мард обеспамятел, стонал и, наконец, собравшись с силами, плюнул Каролю в лицо.

Его повесили в чулане за комнаткой, продев веревку за потолочную балку. Когда Кароль схватил за ящик, на котором стоял, шатаясь, Мард, умирающий прохрипел:

— Не вовремя убиваешь ты меня, Кароль. Я хотел... делать плоты... хотел... и тебя взять.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.

Теперь внимание их было привлечено лежащим без

движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.

— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего.— Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.

— Я голоден... и я жив,— пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался.— Это был обморок.

— Реймер! — сказал Стильтон.— Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.

Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.

Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился с Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб.

Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита.

Бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.

Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдум-

кой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.

Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:

— Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фуитов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу.

Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дома, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить,— я буду ежемесячно присылать вам десять фуитов. Моего имени я вам не скажу.

— Если вы не шутите,— отвечал Ив, страшно изумленный предложением,— то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста,— как долго будет длиться такое мое благоденствие?

— Это неизвестно. Может быть, год, может быть,— всю жизнь.

— Еще лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?

— Тайна! — ответил Стильтон.— Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.

— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!

Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.

Прощаясь, Стильтон сказал:

— Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год,— словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится...

— Черт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет.— Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный! Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день поллитра керосина!

Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.

Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:

— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума... но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!

Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»

— Однако вы тоже дурак, милейший,— сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю.— Что веселого в этой шутке?

— Игрушка... игрушка из живого человека,— сказал Стильтон,— самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.

Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезным, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.

По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.

— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом.— Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.

— Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон.— Что произошло? Возможно ли это?

— Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?

— Я разорился... несколько крупных проигрышей... паника на бирже... Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?

— Я несколько лет зажигал лампу,— улыбнулся Ив,— и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.». Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.

К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением.

«Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня.— Он ждет обещанных чудесных вещей... да, он хоть имеет надежды, а я... я почти разорен!» — Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком...

— А дальше? — тихо спросил Стильтон.

— Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то ис-

полнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком...

Наступило молчание.

— Я давно не подходил к вашему окну,— произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон,— давно... очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа... лампа, озаряющая темноту ночи... Простите меня.

Ив вынул часы.

— Десять часов. Вам пора спать,— сказал он.— Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне,— быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте... хотя бы спичку.

11 июля 1930 г.

БАРХАТНАЯ ПОРТЬЕРА

I

Пароход «Гедда Эльстон» пришел в Покет после заката солнца.

Кроме старого матроса Баррилена, никто из команды «Гедды» не бывал в этом порту. Сама «Гедда» попала туда первый раз,— новый пароход, делающий всего второй рейс.

Вечером, после третьей склянки, часть команды направилась изучать нравы, кабаки и местных прелестниц.

Эгмонт Чаттер тоже мог бы идти, но сидел на своей койке, наблюдая, как перед общим, хотя принадлежащим боцману Готеру, небольшим зеркалом сгрудились пять голов: матросы брились, завязывали галстуки и, в подражание буфетчику, обмахивали начищенные сапоги носовыми платками.

Баррилен, сидя у конца стола, пил кофе.

Чаттер не знал, что Баррилен жестоко ненавидит его за примирение двух матросов. Эти матросы обыграли Баррилена, и он искусно стравливал их, тонко клевеща Смиту на Бутса, а Бутсу на Смита. Дело вертелось на пустяках: на украденной фотографии, на соли, подсыпанной в чай, на сплетне о жене, на доносе о просверленной бочке с вином. Однако, посчитавшись взаимно, Бутс и Смит схватили ножи, а Чаттер помирил их, растрогав напоминанием о прежней их дружбе.

Человек злой и хитрый, Баррилен умел быть на хорошем счету. Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом. В каждом порту он всегда верно указывал — тем, кто не знал этого,— лавки, трактиры, публичные дома, цены и направления.

— Чаттер! — сказал Баррилен, подсаживаясь к нему.— Разве ты не пойдешь танцевать в «Долину»? — так назывался квартал известного назначения.

Чаттер подумал и сказал:

— Нет.

— Что же так?

— Сам не знаю. Я, видишь, еще утром припас две баики персиковой настойки. Сегодня было уж очень душно, должно быть, от этого я и мрачен.

— Ты купил чашку в Сайгоне?— спросил Баррилен, помолчав.

— Купил.

— Покажи!

— Не стоит, Баррилен. Просто фарфоровая чашка с Фузи-Ямой и вишнями.

Матросы, хлопая друг друга по спине и гогоча, как гуси на ярмарке, вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чаттеру хорошенько перестирать свои подштанники. Тогда Баррилен приступил к цели.

— Тебе это дело понравится,— сказал он, тщательно обдумав картину, которую собрался нарисовать простодушному человеку.— Я знаю Покет, Лисс и все порты этого берега; я бывал два раза в Покете. Я сам не пойду в «Долину», хоть веди меня туда даром. Двадцать лет одно и то же... везде. Тут есть одна порченая семья, богатые люди. Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай. Их семь душ: четыре сестры и три их приятельни-

цы,— хорошей масти, одна другой лучше. Денег они не берут. Напротив того: ешь и пей, что хочешь, как в нашем салоне. Но они, понимаешь, заводят знакомство только с моряками. Следующее: они сами не пьют, но любят, чтобы матрос ввалился пьяный, завязав ногами двадцать морских узлов. Без этого лучше не приходить. Негритянка проводит тебя через раззолоченную залу к бархатной портьере из черного бархата с золотыми кистями. Тут должен ты ожидать. Она уйдет. Потом занавески эти вскроются, и там ты увидишь... у них это шикарно поставлено! Фортепьяно, арфы, песни поют; можешь также нюхать цветы. Виски, рому, вина — как морской воды! Все образованны, везде т о н: «прошу вас», «будьте добры», «передайте горчицу», и что ты захочешь, все будет деликатно исполнено. Там смотри сам, как лучше устроиться. Хочешь сходить?

Истории такого рода весьма распространены среди моряков. Расскажи приведенную нами выдумку кто-нибудь другой, Чаттер ответил бы, смеясь, полдюжиной аналогичных легенд; но он безусловно верил Баррилену, и его потянуло к духам, иллюзиям, музыке. Поверив, он решился и приступил к действию.

— Пусть будет у меня внутри рыбий пузырь вместо честной морской брюшины,— вскричал Чаттер,— если я пропущу такой случай! Это где?

— Это вот где: от набережной ты пойдешь через площадь, мимо складов, и выйдешь на Приморскую улицу. У сквера стоит дом, № 19. Стучи в дверь, как к себе домой после двух часов ночи. Будь весел и пьян!

— Пьян... Это хорошо! — заметил Чаттер.— Потому что мы непривычны... Значит, ты там был?

— Да, в прошлом году. Меня просили посылать только надежных ребят.

Зная настойчивый характер Чаттера в нетрезвом виде, Баррилен посылал его по вымышленному адресу. Этот или другой — все равно: адрес превратится в поле сражения.

Чаттер был молод — тридцать три года! Он переоделся в новый костюм и выпил бутылку настойки. Но обстановка кубрика была еще трезвой. Чаттер выпил вторую бутылку. Теперь кубрик напился. Койка поползла вверх, вместо одного трапа стало четыре. По одному из них Чаттер вышел, как ему казалось, прямо на улицу,

в тень огромных деревьев, заливаемых электрическим светом. Память изменяла на каждом шагу, кроме сброшенной в нее якорем цифры «19» и названия улицы. Чаттер прошел сквозь толпы и бег экипажей, сквозь свет, мрак, грохот, песни, смех, собачий лай, запах чесноку, цветов, апельсинных корок и саданул по большой желтой двери, согласно всем правилам церемониала, внушенного Барриленом.

Едва успела отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения.

Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь:

— Если вы попали сюда раньше меня,— сказал он,— это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. Мест хватит. Я матрос — матрос «Гедды Эльстон». Я верю товарищу. Дом...— номер тот самый. «Прошу вас...», «будьте добры...», «передайте горчицу...» Куда мне идти? Семь лет брожу я от девок к девкам, из трактира в трактир, когда здесь есть музыка и человеческое лицо. Мы очень устаем, капитан. Верно, мы устаем. Баррилен сказал: «Раздвинется, говорит, бархатная портьера». Это про ваш дом. «И там, говорит,— да! — там... как любовь». То есть настоящее обращение с образованными людьми. Я говорю,— продолжал он, идя за хмуро кивающим бородачом,— что Баррилен никогда не лжет. И если вы... куда это вы хотите меня?

— Вот вход! — раздался громовой голос, и Чаттер очутился в маленькой комнате — без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа.

«Он силен, чертова борода! — размышлял Чаттер, прислонясь к стене.— Должно быть, сломал плечо».

Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. «Лей, дождь! — говорил Чаттер.— Я, верно, задремал, когда шел по улице. Я не боюсь воды, нет. Однако, был ли я в 19 номере?»

Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело, и Чаттер, глубоко вздохнув, угрюмо закричал:

— Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать, а я не губка, чтоб стерпеть этакую водицу!

Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами.

— Выходи! — сказал великан, таща Чаттера за руку.— Посмотри-ка в глаза! Теперь — переоденься. На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра.

Дрожа от сырости, Чаттер скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил, сказал «тьфу» и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения.

— Теперь,— приказал мучитель Чаттеру, стоявшему с тихим и злым видом,— читай вот это место по книге.

Он схватил матроса за ноющее плечо, сунул ему толстую книгу и ткнул пальцем в начало страницы.

Попятясь к столу, Чаттер сел и прочел:

...Руки моей поэтому. Вот здесь
Цветы для вас: лаванда, рута
И левкой я вам даю,
Цветы средины лета, как всего
Приличнейшие вашим средним летам...
Приветствую я всех!

Камилл

Будь я овцой...[1]

— Довольно! — сказал бородач.— Попробуй повторить!

— Я понимаю,— ответил, сдерживая ярость, Чаттер.— Вы, так сказать, осматриваете мои мозги. Не хочу!

Бородач молча встал, указывая на душевую кабину.

— Не надо! — буркнул Чаттер, морщась от боли в плече.— «Руки моей поэтому...» Ну, одним словом, как вы старик, то возьмите, что похуже — например: мяту, лаванду, а розы я подарю кому-нибудь моложе тебя. Тут Камилл говорит: «Будь я овцой, если возьму ваше дрянное сено!»Теперь пустите.

— Пожалуй! — ответил бородач, подходя к Чаттеру.— Не сердись. Завтра заберешь свое платье сухим.

— Хорошо. Кто же вы такой?

— Ты был в квартире командира крейсера. Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос! — сказал капитан, тронутый видом гуляки.— Вот она, бархатная портьера, которую ты пошел искать! — Он дернул его за ворот рубашки.— Она раскроется, когда ты захочешь этого. А теперь марш по коридору, там тебя выпустят.

[1] Из «Зимней сказки» Шекспира.

— Ладно, ладно! — буркнул Чаттер, направляясь к выходу.— У вас все — загадки, а я еще хмелен понимать их. Большая неприятность произошла. Эх!

Он махнул рукой и вышел на улицу.

II

Коварная выходка Баррилена теперь была вполне ясна Чаттеру, но он думал об этом без возмущения. Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватило матроса: чувство старшего в отношении к жизни. Он шел, глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущиеся, колыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец, Чаттер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая — испытанное средство от опьянения. Но ему негде было его сварить. Продолжая идти в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую, освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом,— она шила.

Теперь Чаттер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу — так же просто, как заговаривают с детьми.

— Сварите мне, пожалуйста, чаю,— сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине.— Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут десять и вывалюсь.

Простота обращения передалась женщине, и, слегка улыбнувшись, она сказала:

— Присядьте. Вы, верно, моряк?

— Да, я матрос,— ответил, опускаясь на стул, Чаттер как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким, темным от оспы лицом.— Верно, ваш муж? Я заплачу,— продолжал Чаттер.

Вынув из кармана горсть серебра и золота, жалованье за три месяца, он бросил деньги на стол.

Три покатившиеся монеты, затрепетав, легли посре-

ди клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену.

— Кэрри,— сказал он женщине,— что тут у вас?

— Ты видишь?! Зашел... принес чай и просит сварить,— тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани.

— Приятно! Джемс Стиггинс,— сказал муж, протягивая руку Чаттеру.— Я шорник. Кэрри все сделает. Сидите спокойно. Деньги ваши возьмите, не то, если потом растратите, будете думать на нас.

Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню.

— Много не сыпь,— сказал он ей,— нам больше останется. Задержи его. Он дурак. Подлей в чай чуть-чуть рому.

Когда он ушел, Кэрри понюхала чай. Хороший чай, с чудным запахом, совсем не тот, какой покупала Гертруда, сестра Стиггинса. Кэрри не разрешалось покупать ничего. А она очень любила чай. Он веселил ее, заглушая желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра.

Подумав, Кэрри высыпала в чайник полжестянки чая.

Между тем перед задумавшимся Чаттером предстала Гертруда. Стиггинс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак.

Забрав со стола деньги, Чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет сорока, с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас подчинить свое жестокое лицо радушной улыбке.

— Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк,— говорил Стиггинс.— Он выпьет чаю, как у себя дома, в семье, не правда ли, Труда? Он дал мне гинею,— видишь? — купить к чаю кекс и орехов. Ты сходишь. Ná! А сдачу храни, в следующий раз ему снова дадим чаю и кекс.

Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню.

Едва слышно напевая, Кэрри варила чай.

— Как он попал? — спросила Гертруда, показывая монету.— Говоришь — увидел тебя? Так иди же, пусть

он видит тебя. Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками сходит Джемс. Он много истратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески.

Не смея ослушаться, Кэрри, не поднимая глаз на Чаттера, передала мужу взятую у Гертруды гинею.

— Ты сам...

Стиггинс вышел, а Гертруда принесла чайник.

— Сейчас, сейчас,— говорила она, расставляя посуду.— Наш гость мучается, но он будет пить чай.

Кэрри взглянула на Чаттера, потом на комод. Большой новый комод стоял у стены, как идол. Комод отнял у Кэрри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Кэрри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт,— она ясно видела, что он силен, сыт и бодр.

Чаттер сказал:

— Я вам наделал хлопот?

— О нет, нисколько,— ответила Кэрри.

— Да, наделал!— повторил Чаттер.

Некоторое время он пил, не отрываясь, свой чай из большой глиняной кружки и, передохнув, увидел Стиггинса, пришедшего с кексом, сахаром, пакетом орехов.

— Дай же мне чаю! — сказал Стиггинс сестре.— Кэрри, нарежь кекс. Наш славный моряк начал отходить. Домашняя обстановка лучше всего.

— Кэрри, ты не объешься? — сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастиой кусок кекса.— Ишь! Взяла лучший кусок.

Кэрри положила кекс; глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слез.

— Пусть она ест! — сказал Чаттер, подвигая поднос к Кэрри.— «Руки моей поэтому...» Кэрри, это стихи! «Будь я овцой! Я вам дарю цветы средины лета!»

— Интересно!— заявила Гертруда, жуя полным ртом.

Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся; она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения.

— Чаю, тетушка Риден! — предложила Гертруда.— Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс!

— Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Кэрри,— монотонио пробормотала ста-

рушка, оглядываясь с лукавством и хитростью.— Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай. Кто же этот ваш гость? Не родственник?

— Родственник! — вдруг сказала Кэрри, у которой странно переменилось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели.— Мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют и есть театр. Не правда ли?

Она смотрела прямо в глаза Чаттеру, и он так же прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чаттер уже выпил свой чай. Пока он, встав, искал, а затем нашел кепи, Стиггинс переглянулся с женой и больно придавил ей ногой ногу.

— Только смотри! — мрачно шепнул он.

Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, Чаттер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед.

На улице она горько расплакалась.

— Четыре года! — говорила Кэрри, припав к хмуро обнявшей ее руке Чаттера.— Четыре года! Но больше я не вернусь. Возьмите меня и уведите, куда хотите, чтобы я только могла заработать! Можете ли вы это? Вы можете... можете!

— Бедняга! Не реви! — сказал Чаттер.— Ведь ты мне дала чаю, Кэрри, ты будешь пить его из чашки с Фузи-Ямой! Пойдем, то есть возьмем извозчика, а завтра «Гедда Эльстон» выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет. «Будь я овцой!..»

Буфетчик нерадостно выслушал Чаттера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертлявее, но Чаттер обещал ему свое жалованье за два месяца, и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимые платье и белье.

За своими вещами Чаттер съездил в дом № 19 на другой день.

Вот все.

Еще надо сказать, как утром Чаттер доконал Баррилена, подтвердив портьеру, музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи.

— Их пела одна красавица,— сказал Чаттер.— Ты слушай!

Руки моей поэтому...
Будь я овцой. Дарю я вам цветы.
Берите, когда дают, хотя вы есть старик.
Приличнейший левкой для ваших лет!
Цветы средины лета.

После этого, все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, Чаттер запустил руку в свою «бархатную портьеру», почесал грудь и лег спать.

ПАРИ

I

— Это напоминает пробуждение в темноте после адской попойки,— сказал Тенброк,— с той разницей, что память в конце концов указывает, где ты лежишь после попойки.

Спангид поднял голову.

— Мы приехали?!

— Да. Но куда, интересно знать?!

Тенброк сел на кровати. Спангид осматривался. Комната заинтересовала его — просторное помещение без картин и украшений, зеленого цвета, кроме простынь и подушек. На зеленом ковре стояли два ночных столика, две кровати и два кресла. Было почти темно, так как опущенные зеленые шторы, достигая ковра, затеняли свет. Утренние или вечерние лучи пробивались по краям штор — трудно было сказать.

— Не отравился? — спросил Тенброк.

— Нет, как видишь. Идеальное сонное снадобье,— отозвался Спангид, все еще осматриваясь.— Который час?

— Часов нет,— угрюмо сообщил Тенброк, обшарив ночной столик.— Их унесли, как и всю нашу одежду. Таулис честно выполняет условия пари.

— В таком случае, я буду звонить.

Спангид нажал кнопку стенного звонка.

Тенброк, вскочив, подбежал к окну и отвел штору. Окно было из матового стекла.

— Даже это предусмотрено! — воскликнул Тенброк, бросаясь к второму окну, где убедился, что фирма «Мгновенное путешествие» имеет достаточный запас матовых стекол.— Слушай, Спангид, я нетерпелив, любопытен; пари непосильны для меня. Кажется я с п р о ш у! Однако... пять тысяч?!

— Как хочешь, но я выдержу,— отозвался Спангид,— хотя мне так сильно хочется узнать, где я, что, если бы не возможность одним ударом преодолеть нужду, я тотчас с п р о с и л бы.

Тенброк, закусив губу, подошел к двери. Она была заперта.

— Следовательно, еще нет шести часов утра,— сказал он, с облегчением хватая свой оставленный Таулисом портсигар и закуривая.— Вероятно, Таулис еще спит.

— Пусть спит,— отозвался Спангид.— У нас есть сигары и зеленая комната. Мы везде и нигде. Равно можем мы сейчас лежать в одном из прирейнских городков, на мысе Доброй Надежды, среди сосен Иоллостонпарка или снегов Аляски. Кажется, Томпсон насчитал 93 пункта? Угадать немыслимо. Нет матерьяла для догадок. В шесть часов вечера, согласно условию пари, Таулис даст нам съесть по серой пилюле, и, спустя какое-то, небудущее для нас время, мы очнемся на восточных диванах Томпсонова кабинета, куда легли после ужина. Покорно, как овцы, как последние купленные твари, мы протрем свои проданные за пять тысяч глаза, устроим наши дела, и, месяца через три, добрая душа — Томпсон — может быть, скажет нам: «Вы были на одном из самых чудесных островов Тихого океана, но предпочли счастью с м о т р е т ь и б ы т ь ваш выигрыш. Не желаете ли повторить игру?..»

— Проклятие! Это так,— сказал Тенброк.— Я понимаю тебя; тебе свалилась на плечи куча сестриц и братцев, которых надо поставить на ноги, но зачем я... У меня солидное жалованье. Знаешь, Спангид, я с п р о ш у. Тогда узнаешь и ты, г д е мы.

— Ты забыл, что в таком случае нас, по условию, разделят; тебя увезут, а я должен буду съесть серую пилюлю.

— Я забыл,— тихо сказал Тенброк.— Но я, все равно, не выдержу. Искушение слишком огромно.

— Всю жизнь буду себя презирать, однако стерплю,— вздохнул Спангид.— Ради одного себя.

— Не ругайся, Спангид. Предприятие, где я служу, не так прочно, как думают. Представился случай. Я уцепился. Ты же мне его и представил. Идея была твоя.

— Ну хорошо, что там... Вот и Таулис.

Повернув ключ, вошел Таулис, агент Томпсона, сопровождающий спящих путешественников на безукоризненных аэропланах фирмы. Одет он был так, как на «отъездном» ужине у Томпсона,— в смокинг; климат страны не вошел с ним.

— В долю! в долю! — закричал Тенброк.— Две тысячи долларов за честное слово тайны! Где мы?

— Видите ли, Тенброк,— ответил Таулис,— среди моих многих скверных привычек есть одна, самая скверная: я привык служить честно. Вы в Мадриде, в Копенгагене, Капре, Москве, Сан-Франциско и Будапеште.

Таулис вынул часы.

— Шесть часов. Пари сделано, игра начинается. Чай, кофе или вино?

— Водка,— сказал Спангид.

— Кофе! — сказал Тенброк.— И газету!

— Ту, которую я привез из Лисса?—Невинно осведомился Таулис.— Бросьте, джентльмены. Это о ч е н ь детская хитрость.

II

5 сентября 1928 года фирма «Мгновенное путешествие» в лице ее директора Фабрициуса Томпсона заключила оригинальное пари с литератором Метлаэном Спангидом и его другом Корнуэлем Тенброком, служащим в конторе консервной фабрики.

Согласно условию, каждый из них получал пять тысяч долларов, если, переправленный за несколько тысяч миль в один из географических пунктов, охваченных сферой действия «Мгновенного путешествия», проведет там двенадцать часов, с шести утра до шести вечера, не узнав, где он находился. Доставку на место и обратно приятели должны были провести в бессознательном состоянии.

Если бы естественное любопытство превозмогло, проигрыш выражался бы в следующем.

Тенброк должен поступить на службу фирмы «Мгновенное путешествие» и служить первый год без жалованья.

Спангид обязывался написать рекламную статью о своих впечатлениях человека, очнувшегося «неизвестно где» и узнавшего — «где». С приложением фотографий, портрета автора и снимков зданий фирмы эта статья должна была появиться бесплатно в самом распространенном журнале «Эпоха», что брался сделать Томпсон.

Характер произведений Спангида, любившего описывать редкие психические состояния, давал уверенность, что статья вполне удовлетворит цели фирмы.

В основу деятельности фирмы Томпсона было положено всем известное ощущение краткой потери памяти при пробуждении в темноте после сильного отравления алкоголем или чрезмерной усталости. Очнувшийся вначале не соображает, где он находится, причем люди подвижного воображения любят задерживать такое состояние, представляя, как при появлении света они окажутся в каком-то месте, где никогда не были или не думали быть. Эта краткая игра с самим собою в неизвестность оканчивается большей частью тем, что очнувшийся видит себя дома. Но не всегда.

Согласно расчетам Томпсона и его компаньонов, клиент фирмы — само собой — все изведавший, объевшийся путешествиями богатый человек, которому захотелось новизны, уплатив десять тысяч долларов, принимал снотворное средство, действующее безвредно и быстро. Перед этим он нажимал хрустальный шарик аппарата, заключающего в себе номера девяносто трех пунктов земного шара, где находились заранее приготовленные помещения в гостиницах или нарочно построенных для такой цели зданиях. Выпадал номер, ничего не говорящий клиенту, но это был его выигрыш — самим себе назначенное неизвестное место. Он терял сознание, его вез — день, два, три и более — мощный аэроплан, после чего человек, купивший путешествие, попадал в условия пробуждения Спангида и Тенброка.

Проходило десять минут. Тогда являлся агент, сопровождающий бесчувственное тело клиента, и говорил:

— Доброе утро! Вы в...

За десять минут полной работы сознания очнувшийся пассажир, с законным на то правом, мог представлять себя находящимся в любой части света — в городе, деревне, пустыне, на берегу реки или моря, на острове или в лесу, потому что фирма не страдала однообразием. Клиент мог выиграть Париж и пещеру на мысе Огненной Земли, берег Танганайки и остров Южного Ледовитого океана. Конечный эффект напряженного состояния стоил дорого, но многие, испытавшие такую забаву, уверяли, что нет ничего восхитительнее, как ожидание разрешения.

Отказавшись от предложения написать для фирмы статью-рекламу за деньги, Спангид охотно принял пари, будучи уверен, что устоит. Насколько противно было ему писать рекламу, хотя предлагалась сумма значительно более пяти тысяч,— настолько выигрыш подобным путем был в его характере. Он не писал больших вещей, не находя значительной темы, а мелочами зарабатывал мало. После смерти отца на его руках осталось трое: девочка и два мальчика. Им надо было помочь войти в жизнь.

Идея пари увлекла Тенброка, и одним из условий Спангид поставил фирме: заключение пари одновременно с Тенброком, который должен был не разлучаться с ним до конца опыта. Они должны были разделиться, лишь если один проигрывал.

Итак, начался день. Где?

III

— Да, где?—сказал Тенброк, когда Таулис внес кофе, водку и сандвичи.— Кофе как кофе...

— Водка как водка,— подхватил Спангид,— и сандвичи тоже без географии. Я не Шерлок Холмс. Я ни о чем не могу догадаться по виду посуды.

Таулис сел.

— Я охотно застрелюсь, если вы догадаетесь, где мы теперь,— сказал он.— Напрасно будете стараться узнать.

Его гладко выбритое лицо старого жокея чем-то сказало Спангиду о перенесенном пути, о чувстве нахождения себя в далекой стране. Таулис з н а л; это передавалось нервам Спангида, всю жизнь мечтавшего о путе-

шествиях, и, наконец, совершившего путешествие, но так, что как бы не уезжал.

Неясный шум доносился из-за окна. Шаги, голоса... Там звучала жизнь неведомого города или села, которую нельзя было ни узнать, ни увидеть.

— Уйдите, Таулис,— сказал Спангид.— Вы богаты, я нищий. Я сам ограбил себя. Теперь, получив пять тысяч, я буду путешествовать целый год.

— Я не выдержу,— отозвался Тенброк.— Кровь закипает. Сдерживайте меня, Таулис, прошу вас. Я не человек железной решимости, как Спангид, я жаден.

— Крепитесь,— посоветовал Таулис, уходя.— Звонок под рукой. Платье, согласно условию, вы не получите до отъезда. Оно сдано... гм... тому, который контролирует вас и меня.

Пленные путешественники умылись в примыкающей к комнате уборной и снова легли. Выпив кофе, Тенброк начал курить сигару; Спангид выпил стакан водки и закрыл глаза.

«Не все ли равно? — подумал он на границе сна.— Узнать... это не по карману. Долли, Санди и Августу надо жить, а также учиться. Милые мои, я стерплю, хотя никому, как мне, не нужно так путешествие со всеми его чудесами. Я буду думать, что я дома».

Он проснулся.

— Дикая зеленая комната,— сказал Тенброк, сидевший на кровати с третьей сигарой в зубах.

— Где мы? — спросил Спангид.— О!..

— В дикой зеленой комнате,— повторил Тенброк.— Четыре часа.

Спангид вскочил.

— Низко, низко мы поступили,— продолжал Тенброк.— Я продал себя. Что ты чувствуешь?

— Не могу больше,— сказал Спангид, пытаясь сдержать волнение.— Я не рожден для железных касс. Я тряпка. Каждый мой нерв трепещет. Я узна́ю, узна́ю. Таулис, примите жертву и отправьте ее домой.

Тенброк бросился к нему, но Спангид уже позвонил.

Вошел Таулис.

— Обед через пять минут,— сказал Таулис и по лицу Спангида догадался о его состоянии.— Два часа пустяки, Спангид... молчите, молчите, ради себя!

— Проиграл! Плачу́! — крикнул Спангид, смеясь и

выпрямляясь, как выпущенная дикая птица.— Одежду, дверь, мир! Томпсон не богаче меня! Где я, говорите скорей!

Спангид был симпатичен Таулису. Пытаясь уговорить его шуткой, Таулис сказал:

— Клянусь честью, тут нет ничего интересного! Вы жестоко раскаетесь!

— Пусть. Но я раскаюсь; *я* — за себя.

— А вы? — Таулис взглянул на Тенброка.

— Я никогда не отделаюсь от чувства, что я предал тебя, Спангид,— сказал Тенброк, пытаясь улыбнуться.—В самом деле... если место неинтересное...

Его замешательство Спангид почти не заметил. Таулис вышел за платьем, а Спангид, утешая Тенброка, советовал быть твердым и выдержать оставшиеся два часа ради будущего. Когда Таулис принес платье, Спангид быстро оделся.

— Прощай, Тенброк,— взволнованно сказал он.— Не сердись. Я в лихорадке.

Ничего больше не слыша и не видя, он вышел за Таулисом в коридор. Впереди сиял свет балкона. В свете балкона и яркого синего неба блестели горы.

Волнение перешло в восторг. Стоя на балконе, Спангид был глазами и сердцем там, г д е б ы л.

На дне гнезда из отвесных базальтовых скал нисходили к морю белые дома чистого, небольшого города. Вход в бухту представлял арку с нависшей над ним дугой скалы, промытой тысячелетия назад волнами или, быть может, созданной в таком виде землетрясением. Склоны гор пестрели складками гигантского цветного ковра; там, в чаще, угадывались незабываемые места. Под аркой бухты скользили высокие паруса.

— Город Фельтон на острове Магескан, неподалеку от Мадагаскара,— сказал Таулис.

— Славится удивительной прозрачностью и чистотой воздуха, но нет здесь ни порядочной гостиницы, ни театра. Этот дом, где мы, выстроен на склоне горы Тайден фирмой Томпсона. Аэроплан или пароход?

— Я останусь здесь,— сказал Спангид после глубокого молчания.— Я выиграл! Потому что я сам, своей рукой, вытащил из аппарата этот остров и город. Мы летели... Летели?! Два или три дня?

— Четыре,— ответил Таулис.— Но что будете вы здесь делать?

— У меня будут деньги. Я напишу книгу, — целую книгу о «неизвестности разрешенной». Я выпишу моих малюток сюда. Еще немного нужды, потом — книга! Бедняга Тенброк!

— Теперь я еще более уважаю вас,— сказал Таулис,— а о Тенброке не беспокойтесь. Он был бы истинно разочарован тем, что он не в Париже, не в Вене!

КОМЕНДАНТ ПОРТА

I

Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взошел Комендант. Это был очень популярный в гавани человек семидесяти двух лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша, личико было тщательно выбрито. Седые бачки торчали, подобно плавникам рыбы; из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешевая тросточка Коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своем убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая старательная починка. Лопнувшие двадцать два раза желтые ботинки Коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепко цветного шелка.

Заботливо потрогав воротничок, а затем ерзнув плечами, чтобы уладить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову набок.

— Том Ластон! — воскликнул Комендант веселым, дрожащим голосом.— Я так и знал, что опять увижу вас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бетси, которая там... далеко. Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?

— Кутгей! — крикнул Ластон в пространство.— Пришел Комендант. Что?

— Гони в шею! — прилетел твердый ответ.

Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение, игривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост в момент усилий постигнуть хозяйское настроение.

— Ну вот, сразу в шею! — отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего Комендант присел, как складной.— Я думаю, Кутгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, Комендант, Кутгей шутит.

— Чего шутить! — сказал, подходя к нему, Кутгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий.— Когда ни явись в Гертон, обязательно придет Комендант. Даже надоело. Шел бы, старик, спать.

— Я только что с «Абрагами Репп»,— залепетал Комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара.— Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете «Репп» уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Толби. Замечательный человек! Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство?

— Кури,— сказал Кутгей, суя старику черную сигарету.— Держи крепче своей лапкой — уронишь.

— Ах, вот и господин капитан! — вскричал Комендант, живо обдергивая пиджачок и суетливо подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр.— Добрый вечер, господин капитан! Добрый вечер, бесконечно уважаемая и... гм... Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке? Не штормовали? Здоровье... в наилучшем состоянии?

— А... это вы, Тильс! — сказал, останавливаясь, капитан Генри Гальтон, высокий человек лет тридцати пяти, с крупным обветренным лицом.— Еще держитесь... Очень хорошо! Рад видеть вас! Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню, к Бутлеру, там побеседуете. Всего наилучшего. Мери, вот Комендант.

— Так это вы и есть? — улыбнулась молодая женщина.— «Комендант порта»? Я о вас слышала.

— Меня все узнают! — старчески захохотал Тильс,

держа в одной руке сигарету, в другой — доллар и тросточку.— Моряки великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. Меня влечет на палубу... как... как... как...

Не дослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо приподняв им вслед фуражку, докончил, обращаясь к Ластону:

— Молодчина ваш капитан! Настоящий штормовой парень. С головы до ног.

Тут следует пояснить, что Коменданта (это было его прозвище) в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был, наконец, уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдовая сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Ревекка Бартельс.

Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд, давала десять центов на самочинные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов.

Закурив дрожащей, ссохшейся рукой сигарету, Комендант правильными мелкими шагами направлялся к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом.

— Я чувствовал, что ты явишься, Тильс! — сказал он, наконец, подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе.— Где был? «Стеллу» ты, надо думать, не заметил, она стала за нефтяной пристанью, напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют.

— Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер,— ответил, вздохнув, Тильс и, придвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости.— Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Гм... Я уже был на «Стелле». Тогда

там еще не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так! Но я, знаете ли, я скоро ушел, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне... ну да... недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона и что... Естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему... к бравым морякам... к палубе... Но это у меня всегда, и вы знаете...

Тильс, загрустив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасного ликера.

— Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик,— сказал Бутлер.— Верно? Выпьем и забудем этих прохвостов. Твое здоровье! Мое здоровье! Алло! Гоп!

Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно воззрился на Тильса, который, медленно процедив свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «ам». Прослезясь и высморкавшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку.

— Еще?

— Благодарю вас. Быть может, потом. Гром и молния! «Стелла» — хороший пароход, очень хороший,— говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась.—Ее спустили со стапеля в тысяча девятьсот первом году. Черлей больше не служит на «Ревуне», я видел его вчера в гостинице Марлея. «Отдохну, говорит. Вот что,— говорит Черлей,— у меня счеты неладные с компанией, не выплатили полностью премии». Был сегодня в «Черном быке», заходил справляться, как и что. Все благополучно. Румпер перенес пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда! Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюд или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. «В Филиппинах,— говорит Ватсон,— да, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо». «Рояль Стар» потонул. Говорят здесь, попал в циклон. Пушки и ядра! Вы знали Симона Лакрея? Пирата? Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после... одного дела. Так вот, он сказал: «Зазубрину» не потопили бы, говорит, если бы, говорит, им не помог сам дьявол». Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лакрей, прямо скажу! Гром и молния! Я тогда гово-

рил ему: «Знаете что, Лакрей, берите меня. На абордаж! Гип, гип, ура! На жизнь и смерть!» Но он чем-то был занят, он не послушался. Тогда и «Зазубрина» была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол...

— Конечно, Комендант,— сказал Ластон, появляясь в дверях кухни,— ты навел бы у них порядок.

— Естественно,— подтвердил Тильс.— Даже очень. Естественно.

Выпив еще стаканчик, Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света. Однако уже он два раза назвал повара «сеньор Рибейра», принимая его за старшего механика парохода «Гренель», а Ластона — «герр Бауман», тоже путая с боцманом шхуны «Боливия», и тогда повар нашел, что пора выставить Коменданта. Для этого было только одно средство, но Комендант безусловно подчинялся ему. Подмигнув повару, Ластон сказал:

— Ну, Комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на «Пилигрима». Сейчас будем перешвартовываться.

Тильс съежился и исподлобья, медленно взглянул на Ластона, затем нервно поправил воротничок.

— «Пилигрима» я знаю,— залепетал Тильс жалким голосом.— Это очень хороший пароход. В тысяча девятьсот четырнадцатом году две пробоины на рифах около Голодного мыса... ход двенадцать узлов... Естественно.

— Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам,— притворно серьезно сказал повар.

Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и, с трудом отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов, ясно представленная, выгнала из его головы дребезжащий старческий хмель; он остыл и устал.

— Я лучше пойду домой,— сказал Тильс, стремительно улыбаясь Бутлеру и Ластону, которые, скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза.— Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже восьми. Швартуйтесь, ребята, качайте свое корыто на «Пилигрима». Ха-ха! Счастливой игры! Я пошел...

— Вот история! — воскликнул Бутлер.— Уже и пошел. Ей-богу, Комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги!

— Нет, нет, нет! Я должен, должен идти,— торопился Тильс,— потому что, вы понимаете, я обещался прийти раньше.

— А отсюда вы куда? — сказал, входя, молодой матрос Шенк.

— Здравствуйте, молодой человек! Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой...

— Матушки, чтобы вы не сбились,— отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в Морской клуб. Там за буфетом служит одна девица — Пегги Скоттер.

— Пегги Скоттер? — шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не труся больше перед толстыми канатами «Рекорда».— Как же не знать? Я ее знаю. Отличная девица, клянусь выстрелом в сердце! Я вам говорю, что знаю ее.

— Тогда скажите ей, что ее дружок Вилли Брант помер от чумы в Эно месяц тому назад. Только что пришел «Петушиный гребень», с него был матрос в «Эврике», где сидят наши, и сообщил. Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете; вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?

— Правда,— решительно сказал Ластон, двинув ногой.

— Правда,— согласился, помолчав, Бутлер.

— Только, смотрите, сразу. Не мучайте ее. Не поджимайте хвост,— учил Шенк.

— Да, тянуть хуже,— поддакнул Бутлер.— Отрезал и в сторону.

Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжелое, как на работе, дыхание моряков.

— Дело в том,— снова заговорил Шенк,— что от вас это будет все равно как шепот дерева, что ли, или будто это часы протикают: «Брант по-мер от чу-мы в Эно». Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен напиться.

— Да. Сразу! — хрипло крикнул Тильс и топнул ножкой.— Смело и мужественно. Сердце чертовой дев-

ки — сталь. Настоящее морское копыто! Обещаю вам, Шенк, и вам, Бутлер, и вам, Ластон. Я это сделаю немедленно.

II

Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснушчатая, курносая; ее серые глаза смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза.

Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покрой обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга, часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал.

— Смотрите, Мели, пришел Комендант,— сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде.— Он метит сюда. Ну, ну, трудись ножками, старый болтун!

Еще издали кланяясь буфетчице, Тильс вплотную подступил к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбнулась его торжественно таинственному лицу.

— Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая, как всегда...— начал Тильс, но замигал и тихо докончил: — Надеюсь, рейс был хорош... Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете?

— Хотите, Комендант? — сказала Пегги, протягивая ему бисквит.— Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома... без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что, как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.

— Благодарю вас,— сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман.— Да... Когда приедет Брант. Пегги! Пегги! — вдруг вырвалось у него.

Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков.

Пегги удивилась, потому что Комендант никогда не

позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась.

Тильс не мог решиться договорить,— за этим веселым буфетом с веселыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую мог бы сразить Пегги словами истины о ее Бранте, и трусливо засеменил прочь, кланяясь с изворотом, спереди назад, как шатающийся волчок.

Пегги больше не разговаривала с Мели о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса: «Пегги! Пегги!» Она думала о Бранте целый час, стала мрачна, как потухшая лампа, и, наконец, ударила рукой о мраморную доску буфета.

— Дура я, что не остановила его! — проворчала Пегги.— Он чем-то меня встревожил.

— Разве вы ие поняли, что Комендант пьяненький? — сказала Мели.— От него пахло, я слышала.

Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда несколько дней спустя девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок.

— Вот и я, девочка,— сказал Тильс, появляясь, наконец, дома, старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машиной.— Очень устал. Все, кажется, благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на «Травиате», на «Стелле», на «Абрагаме Репп», на «Рекорде». Встретил капитана Гальтона. «Здравствуйте,— говорит мне капитан.— Здорово, говорит, Тильс, молодчина! Вы еще можете держать паруса к ветру». Приглашал в театр. Однако при шумном обществе я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит, доллар и это... Нет, я ошибся, бисквит дала Пегги Скоттер. Умер ее жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались... слезы, крик... Я ушел.

— Вы ничего не сказали Пегги, братец,— отозвалась Ревекка.— Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами.

Прошел год. Снова пришел «Рекорд». Но Комендант не пришел,— он умер оттого, что закашлялся, поперхнувшись супом. Тильс кашлял и задыхался так долго, что

в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд; старик ослабел, лег и через два дня не встал.

— Чего-то не хватает,— сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера.— Кто теперь расскажет нам разные новости?

Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошел дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и краснорожий.

— Здорово! — загремел он, махая дикого вида шляпой.— Как плавали, морячки? Рейс был хорош? Семейство еще живое? Ну-ну! Угостите стаканчиком!

— Кто ты есть? — спросил Бутлер.

— Комендант порта! Тильс сдох, ну... я за него.

Ластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной.

— Прощай! — сказал матрос.— Больше не приходи.

— Странное дело! — возопил парень, когда отошел на безопасное расстояние.— Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить,— воры, мошенники, пройдохи, жратва акулья!

— Нет, нет,— ответил с палубы, не обижаясь на дурака, Ластон.— Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, «был ли хорош рейс».

1929 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДОРОГА НИКУДА. *Роман.* Впервые — отдельным изданием: М., Федерация, 1930.

Мейсонье Жан Луи Эрнест (1815 — 1891) — французский художник.

Хаггард, Генри Райдер (1856—1925) — английский писатель.

Казуар — крупная бегающая птица с неразвитыми крыльями.

Кабестан — лебедка с вертикальным валом.

Ричард I (1157—1199) — английский король, прозванный Львиное Сердце.

Инфернальная женщина (лат. infernalis — адский) — роковая, «адская» женщина.

Цейхгауз — помещение для хранения запасов оружия, воинского снаряжения, продовольствия.

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА

Вокруг света. Впервые — газета «Русская воля», 1916, 31 декабря.

Уистити — южноамериканская обезьяна.

Брак Августа Эсборна. Впервые — журнал «Красная нива», 1926, № 13.

Как бы там ни было. Впервые — журнал «Огонек», 1923, № 31.

Победитель. Впервые — журнал «Красная нива», 1925, № 13.

«Скульптор, не мни покорной...» — строки из стихотворения Т. Готье «Искусство».

Белый огонь. Впервые — сборник «Белый огонь», Пг., Полярная звезда, 1922.

Берн-Джонс, Эдуард (1833—1898) — английский художник.

Шесть спичек. Впервые — журнал «Красная нива», 1925, № 45.

Возвращение. Впервые — журнал «Республиканец», 1917, № 37.

«Продолжение следует». Впервые — «Синий журнал», 1917, № 5. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 5, Л., Мысль, 1927.

Борьба со смертью. Впервые — «Свободный журнал», 1918, № 2. Под заглавием «Вырванное жало» — газета «Мир», 1918, 8 сентября.

Пьер и Сурина. Впервые, под заглавием «Воскресение Пьера»,— газета «Утро России», 1916, 17 апреля.

Создание Аспера. Впервые — журнал «Огонек», 1917, № 25.

Морганатическая жена — неравнородная, т. е. не принадлежащая к царствующему роду, не имеющая прав престолонаследия; этих же прав лишались и дети от такого брака.

Фра-Диаволо (прозвище Михаила Пецца) — известный разбойник.

Обезьяна. Впервые, под заглавием «Обезьяна-сапуи»,— «Красный журнал», 1924, № 4. Печатается по изд.: А. С. Грин. Полн. собр. соч., т. 5, Л., Мысль, 1927.

ОГОНЬ И ВОДА

Огонь и вода. Впервые, под заглавием «Невозможное — но случилось»,— «Синий журнал», 1916, № 9.

Гнев отца. Впервые — журнал «Красная нива», 1929, № 41.

Акварель. Впервые — журнал «Красная нива», 1928, № 26.

Измена. Впервые — журнал «Красная нива», 1929, № 2. Печатается по сборнику «Огонь и вода», М., Федерация, 1930.

Два обещания. Впервые — журнал «Красная нива», 1927, № 17.

Глаголь коридора — коридор в форме буквы «Г» (по старославянски — «глаголь»).

Враги. Впервые — журнал «Огонек», 1917, № 14.

Кювье, Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель.

Истребитель. Впервые — журнал «Пламя», 1919, № 60.

Барка на Зеленом канале. Впервые — журнал «Всемирная панорама», 1909, № 27. Под заглавием «Ловушка для крыс» — газета «Петроградский листок», 1916, 9—10 сентября. Печатается по сборнику «Огонь и вода», М., Федерация, 1930.

Отравленный остров. Впервые, под заглавием «Сказка далекого океана»,— журнал «Огонек», 1916, № 36.

Фоквейль — один из передних парусов на судне.

Легенда о Фергюсоне. Впервые — журнал «Смена», 1927, № 7.

Шестьдесят шесть — карточная игра.

Корнет-а-пистон — медный духовой музыкальный инструмент.

Наивный Туссалетто. Впервые — журнал «Аргус», 1913, № 8. Под заглавием «Грозное поручение» — «Синий журнал», 1918, № 14. Печатается по сборнику «Огонь и вода», М., Федерация, 1930.

Стилет — небольшой кинжал с трехгранным клинком.

Ученик чародея. Впервые — журнал «Огонек», 1917, № 17. Печатается по сборнику «Огонь и вода», М., Федерация, 1930.

Лесная драма. Впервые — журнал «Всемирная панорама», 1911, № 31. Печатается по сборнику «Огонь и вода», М., Федерация, 1930.

РАССКАЗЫ 1918—1930 гг., ПЕЧАТАВШИЕСЯ В ПЕРИОДИКЕ

Преступление Отпавшего Листа. Впервые — журнал «Огонек», 1918, № 3.

Сила непостижимого. Впервые — журнал «Огонек», 1918, № 8.

Новогодний праздник отца и маленькой дочери. Впервые — «Красная газета», веч. вып., 1922, 30 декабря.

Путешественник Уы-Фью-Эой. Впервые—«Красная газета», веч. вып., 1923, 31 января.

Пассат — постоянный северо-восточный ветер.

Зефир — здесь: теплый западный ветер.

Мистраль — холодный северный или северо-восточный ветер.

Аквилон — сильный северный ветер.

Триремы — у древних римлян — суда с тремя рядами весел.

Кардиф — здесь: уголь — от английского города Кардиффа, известного угольными шахтами.

Белый шар. Впервые — журнал «Товарищ Терентий» (Свердловск), 1924, № 8.

Четырнадцать футов. Впервые — журнал «Красная нива», 1925, № 24.

Встречи и приключения. Впервые, в другой редакции, под заглавием «Встречи и заключения»,— журнал «Нева», 1960, № 8.

«Теодор Нетте» — Нетте Т. И. (1896—1926) — советский дипломатический курьер, убитый в буржуазной Латвии при исполнении служебных обязанностей. Его именем был назван пароход на Черном море.

Слабость Даниэля Хортона. Впервые — журнал «Красная нива», 1927, № 29.

Купер, Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский писатель, автор серии романов о североамериканских индейцах.

Нетти Бумпо — охотник, герой серии романов Ф. Купера «Кожаный чулок».

Гуроны — племя североамериканских индейцев.

Ветка омелы. Впервые — журнал «Красная нива», 1929, № 21.

Крутиков Н. В. — юрист Союза писателей СССР.

Вор в лесу. Впервые — журнал «Красная нива», 1929. № 52.

Зеленая лампа. Впервые — журнал «Красная нива», 1930, № 23—24.

Бархатная портьера. Впервые, с предисловием М. Шагинян,— журнал «Красная новь», 1933, № 5.

Парш. Впервые — журнал «Красная новь», 1933, № 5.

Комендант порта. Впервые — журнал «Красная новь», 1933, № 5.

Эспланада — широкая улица с аллеями посредине.

Суперкарго — лицо, ведающее приемом и выдачей груза на судне, обычно — второй помощник капитана.

Ю. Киркин.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГА НИКУДА. *Роман* 3

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА...

Вокруг света 234
Брак Августа Эсборна 244
Как бы там ни было 250
Победитель 254
Белый огонь 259
Шесть спичек 265
Возвращение 273
«Продолжение следует» 278
Борьба со смертью 287
Пьер и Суринэ 293
Создание Аспера 300
Обезьяна 307

ОГОНЬ И ВОДА

Огонь и вода 313
Гнев отца 320
Акварель 325
Измена 330
Два обещания 338
Враги 344
Истребитель 349
Барка на Зеленом канале 356
Отравленный остров 362
Легенда о Фергюсоне 377
Наивный Туссалетто 381
Ученик чародея 387
Лесная драма 400

РАССКАЗЫ 1918—1930 гг.,
ПЕЧАТАВШИЕСЯ В ПЕРИОДИКЕ

Преступление Отпавшего Листа 412
Сила непостижимого 417
Новогодний праздник отца и маленькой дочери 423
Путешественник Уы-Фыо-Эой 428
Белый шар 432
Четырнадцать футов 435
Встречи и приключения 439
Слабость Даниэля Хортона 441
Ветка омелы 447
Вор в лесу 453
Зеленая лампа 459
Бархатная портьера 464
Пари 473
Комендант порта 480

Примечания 489

А. С. ГРИН

Собрание сочинений
в шести томах

Том VI

Редактор тома
Е. И. Прохоров

Оформление художника
А. И. Неровного

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 29.04 80. Подписано к печати 02.09 80.
Формат 84×108½₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая» Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,46. Уч.-изд. л. 27,01. Тираж 600 000 экз.
(1-й завод: 1—200 000). Изд. № 2221. Заказ № 438.
Цена 2 р. 40 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва Краснопролетарская, 16.

Индекс 70687

2 p. 40 k.